

ISSN 1728-1938

# **СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ**

**2018 \* Том 17 \* № 1**

# **RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW**

**2018 \* Volume 17 \* Issue 1**

# СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2018  
Том 17. № 1

---

ISSN 1728-1938

Эл. почта: [puma7@yandex.ru](mailto:puma7@yandex.ru)

Веб-сайт: [sociologica.hse.ru](http://sociologica.hse.ru)

Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Тел.: +7-(495)-772-95-90\*12454

## Редакционная коллегия

### *Главный редактор*

Александр Фридрихович Филиппов

### *Зам. главного редактора*

Марина Геннадиевна Пугачева

### *Члены редколлегии*

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

### *Редактор веб-сайта*

Наиль Галимханович Фархатдинов

### *Литературные редакторы*

Каринэ Акоповна Щадилова

Перри Франц

### *Корректор*

Инна Евгеньевна Кроль

### *Верстальщик*

Андрей Михайлович Корбут

## Международный редакционный совет

Николя Айо (Университет Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александер (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожбен (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

## Учредители

- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Александр Фридрихович Филиппов

## О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

## Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

## Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и конверсационный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

## Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

## Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: [farkhatdinov@gmail.com](mailto:farkhatdinov@gmail.com).

# RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



**2018**  
**Volume 17. Issue 1**

---

ISSN 1728-1938

Email: [puma7@yandex.ru](mailto:puma7@yandex.ru)

Web-site: [sociologica.hse.ru/en](http://sociologica.hse.ru/en)

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90\*12454

## **Editorial Board**

### *Editor-in-Chief*

Alexander F. Filippov

### *Deputy Editor*

Marina Pugacheva

### *Editorial Board Members*

Svetlana Bankovskaya

Nail Farkhatdinov

Andrei Korbut

### *Internet-Editor*

Nail Farkhatdinov

### *Copy Editors*

Karine Schadilova

Perry Franz

### *Russian Proofreader*

Inna Krol

### *Layout Designer*

Andrei Korbut

## **International Advisory Board**

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)

Gary David (Bentley University, USA)

Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)

Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)

Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)

Alexander Marey (HSE, Russian Federation)

Peter Manning (Northeastern University, USA)

Albert Ogien (EHESS, France)

Anne W. Rawls (Bentley University, USA)

Irina Savelyeva (HSE, Russian Federation)

Victor Vakhshstayn (RANEPA, Russian Federation)

Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

## **Establishers**

- National Research University Higher School of Economics
- Alexander F. Filippov

## About the Journal

*The Russian Sociological Review* is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

*The Russian Sociological Review* publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

## Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

## Scope and Topics

*The Russian Sociological Review* invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

*The Russian Sociological Review* covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

## Our Audience

*The Russian Sociological Review* aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

## Subscription

*The Russian Sociological Review* is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

# Содержание

## ХАННА АРЕНДТ: НОВОЕ НАЧАЛО

- Трансформация публичного пространства в условиях революции:  
взгляд из перспективы Ханны Арендт . . . . . 9  
*Алексей Саликов, Алексей Жаворонков*

## SCHMITTIANA

- Работа Карла Шмитта «Состояние европейской юриспруденции» . . . . . 30  
*Райнхард Меринг*

## STUDIA SOVIETICA

- Место смерти: о значении Ленинградской блокады в позднесоветской  
культуре . . . . . 59  
*Ирина Каспэ*

## СТАТЬИ И ЭССЕ

- Депутаты Государственной Думы РФ: особенности карьеры после  
прекращения полномочий . . . . . 106  
*Денис Тев*

- «Узнай всю правду о своей грамотности!»: Тотальный диктант  
как форма флешмоба . . . . . 134  
*Марина Макарова, Валерия Симонова*

- Gender Contract in Online Commercials in Japan: A Critical Investigation  
of the Contemporary Discourse on the Work-Life Balance . . . . . 160  
*Ksenia Golovina*

- Персональная идентичность в эпоху модерна: конструкт пациента  
в холистической медицине на примере гомеопатического метода . . . . . 192  
*Михаил Добровольский*

## ОБЗОРЫ

- Большие данные в социологии: новые данные, новая социология? . . . . . 213  
*Катерина Губа*
- Экономическая стратификация: об определении границ доходных групп . . . 237  
*Василий Аникин, Юлия Лежнина*

## СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- (Со)знание как инструмент «устроения миров»: мультидисциплинарная  
перспектива . . . . . 274  
*Денис Подвойский*

## РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

- Социологическая «калорийность»: кулинарное, культурное  
и пространственное «измерения» еды . . . . . 302  
*Ирина Троцук*

## РЕЦЕНЗИИ

- Собиратели взгляда . . . . . 325  
*Наталья Самутина*
- «Русские беседы» Андрея Тесли: новые разговоры с любимыми  
собеседниками . . . . . 333  
*Мария Марей*
- Еще один «Город» Макса Вебера по-русски . . . . . 338  
*Олег Кильдюшов*

# Contents

## HANNAH ARENDT: NEW BEGINNING

- The Revolutionary Transformation of the Public Realm: An Arendtian Perspective . . . . . 9  
*Alexey Salikov, Alexey Zhavoronkov*

## SCHMITTIANA

- “The State of European Jurisprudence” by Carl Schmitt . . . . . 30  
*Reinhard Mehring*

## STUDIA SOVIETICA

- Site of Death: The Meanings of the Siege of Leningrad in Late Soviet Culture . . . . . 59  
*Irina Kaspé*

## ARTICLES AND ESSAYS

- Deputies of the State Duma of the Russian Federation: Career Characteristics  
after the Termination of Office . . . . . 106  
*Denis Tev*

- “Find Out the Truth about Your Literacy!” The Total Dictation as a Form of  
Flash Mob . . . . . 134  
*Marina Makarova, Valeria Simonova*

- Gender Contract in Online Commercials in Japan: A Critical Investigation  
of the Contemporary Discourse on the Work-Life Balance . . . . . 160  
*Ksenia Golovina*

- Modernity and Personal Identity: Patient’s Construct in Holistic Medicine  
(Homeopathy’s Case) . . . . . 192  
*Mikhail Dobrovolskiy*

## REVIEWS

- Big Data in Sociology: New Data, New Sociology? . . . . . 213  
*Katerina Guba*
- Income Stratification: Putting a Spotlight on the Boundaries . . . . . 237  
*Vasiliy A. Anikin, Yulia Lezhnina*

**SOCIOLOGICAL EDUCATION**

Knowledge and Consciousness as a “World-Constructing” Tool:

A Multidisciplinary Perspective . . . . . 274

*Denis Podvoyskiy*

**REFLECTIONS ON THE BOOK**

The “Sociological-Caloric” Value of Food: Culinary, Cultural, and Spatial

“Measurements” . . . . . 302

*Irina Trotsuk*

**BOOK REVIEWS**

Focusing the Gaze . . . . . 325

*Natalia Samutina*

“Russian Talks” by Andrey Teslya: New Talk with Favorite Companions . . . . . 333

*Maria Marey*

Another “The City” by Max Weber in Russian . . . . . 338

*Oleg Kildyushov*

# Трансформация публичного пространства в условиях революции: взгляд из перспективы Ханна Арендт\*

*Алексей Саликов*

Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: [dr.alexey.salikov@gmail.com](mailto:dr.alexey.salikov@gmail.com)

*Алексей Жаворонков*

Кандидат филологических и философских наук, старший научный сотрудник  
Института философии РАН  
Адрес: Гончарная ул., д. 12, стр. 1, г. Москва, Российская Федерация 109240  
E-mail: [outdoors@yandex.ru](mailto:outdoors@yandex.ru)

Настоящая работа посвящена исследованию взаимосвязи публичного пространства и революции, двух центральных понятий политической философии Ханна Арендт. Эта взаимосвязь играет ключевую роль в арендтовской теории революции, поскольку основной смысл революции — в освобождении от гнета и завоевании свободы, в разрушении старого политического пространства и создании нового, необходимого для проявления свободного действия. Главная цель нашего исследования заключается в установлении теоретической состоятельности идеи Арендт о влиянии революции на публичное пространство, как с точки зрения ее теоретической непротиворечивости и обоснованности, так и с позиции ее универсальности и адекватности для объяснения и понимания современных революционных событий. Для проверки полученных в теоретической части работы выводов об актуальности теории революции Арендт в работе предпринимается попытка использовать ее перспективу для рассмотрения нескольких примеров современных революций. Как показывает произведенный в рамках исследования анализ, тезисы Арендт относительно причин неудач революций, отсылающие к конкретным историческим примерам, начиная с XVIII века и заканчивая серединой XX века, во многом обоснованы, но в некоторых пунктах могут быть оспорены. В свою очередь, анализ конкретных современных примеров показывает, что применимость арендтовской теории в качестве базовой конструкции для анализа причин и следствий революций ограничена и нуждается в серьезной ревизии и коррекции, хотя и обладает рядом существенных достоинств.

*Ключевые слова:* Ханна Арендт, революция, публичное пространство, насилие, социальный вопрос, коммуникация

---

© Саликов А. Н., 2018

© Жаворонков А. Г., 2018

© Центр фундаментальной социологии, 2018

DOI: 10.17323/1728-192X-2018-1-9-29

\* В данной научной работе использованы результаты проекта «Реакция, справедливость и прогресс: социальный порядок в перспективе фронетических социальных наук», выполняемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2018 году.

Понятие «публичное пространство» — одно из центральных в политической философии Ханны Арендт, начиная с «Истоков тоталитаризма» и «*Vita activa*» и заканчивая большинством ее поздних трудов. В философских публикациях 1950-х и 1960-х годов, в особенности в работах «О революции» и «Венгерская революция и тоталитарный империализм», а также в «Между прошлым и будущим», «Истоках тоталитаризма», «*Vita activa*», «О насилии» и не в последнюю очередь в разговоре Арендт с Карло Шмидом на Северогерманском радио (см.: Арендт, Шмид, 2016; Саликов, 2016) это понятие раскрывается в том числе в контексте анализа феномена революции.

В чем же состоит связь между революцией и публичным пространством у Арендт? Когда в V веке до н.э. Демокрит утверждал, что существуют лишь атомы и пустота, эта мысль была революционной: для того чтобы было нечто — нужно еще и ничто. Поскольку для существования тел и для их движения необходимо пространство, любое действие возможно лишь при наличии пространства, в котором оно может происходить. Этот факт хорошо понимала и Ханна Арендт, когда, говоря о политике, подразумевала и необходимость наличия места, в котором могли бы происходить политические действия. Пространство публичности есть место, в котором, согласно Арендт, совершается политика, а человек может быть по-настоящему свободным. В свою очередь, свобода, где бы она ни существовала в качестве осязаемой реальности, «пространственно ограничена», т.е. нуждается в пространстве (Арендт, 2011: 384). К тому же быть свободным можно только в присутствии других, а для этого «необходима определенная территория, на которой люди могли бы собираться вместе, — политическое пространство» (Арендт, 2011: 35). Более того, свобода — это и есть возможность действия. Соответственно, если мы говорим о свободе политической или публичной, что для Арендт одно и то же, то свобода означает возможность действия и говорения в публичном пространстве. Когда такая возможность отсутствует или ограничена, складываются условия для революции, которая в понимании Арендт является реакцией людей на недостаток свободы и представляет собой попытку радикального преобразования общественной сферы. Поэтому истинной целью революции Арендт считает создание пространства свободы, публичного пространства, в котором всем была бы гарантирована свобода действия. Согласно этой трактовке, ценность революции заключается в том, что в ней заключен истинный дух политического и что она является основанием чего-то нового.

В настоящем исследовании мы ставим своей целью определить состоятельность тезисов Арендт о влиянии революции на публичную сферу и дать оценку ее теоретической и практической значимости, т.е. определить ее способность быть действенным инструментом для описания феномена революции в целом (см. также: Salikov, Zhavoronkov, 2017). Эта задача предполагает два ключевых шага. В первой части статьи мы критически проанализируем вывод Арендт о воздействии революции на публичную сферу, а также аргументы, приводимые ею в текстах, посвященных теме революции. Во второй части мы верифицируем выводы Арендт

на материале современных революций и сделаем заключение о ее эффективности в качестве теории, описывающей феномен революции.

## 1

Понятие публичного пространства, без которого невозможна политическая деятельность, обладает у Арендт двумя основными характеристиками. Во-первых, пространство публичности — это intersubъективное пространство, которое, в отличие от пространства физического, образуется не предметами, а коммуникативными связями и взаимодействием между людьми. Оно общее для его участников, не является ничьей собственностью и в равной степени принадлежит им всем. Пространство публичности возникает там, где люди, общаясь и совершая поступки, взаимодействуют друг с другом: «...действие и говорение учреждают некое пространство „между“, не привязанное ни к какой родной почве и способное распространиться повсюду в обитаемом мире. Пространственное „между“ есть пространство явленности (видимости) в широчайшем смысле, пространство, возникающее благодаря тому, что люди тут являются друг перед другом и не просто имеют место, как другие одушевленные или неодушевленные вещи, но именно выступают с открытым лицом» (Арендт, 2000: 263). Явленность, о которой говорит Арендт, — это обнаружение себя, своей позиции по вопросам обустройства общего для всех мира и тем самым представление себя и своей сущности «для других». Лишь проявляя себя перед другими, являя себя миру, человек становится видим и слышим для них.

Во-вторых, пространство публичности является местом, в котором люди открыто высказывают свое мнение и хотят быть услышаны другими. Пространство публичности не возникает автоматически везде, где есть несколько человек, и лишь по той причине, что люди являются существами, способными говорить и совершать поступки. Напротив, даже там, где оно существует, большинство предпочитает оставаться вне его. В публичном пространстве проявляется свобода. Это место, в котором возникает власть и возможны суждения и действия, поскольку в нем возможно проявление человеческой множественности. Оно соединяет и разъединяет одновременно, подобно тому как стол одновременно разделяет и соединяет тех, кто сидит вокруг него (Арендт, 2000: 69).

Следует, однако, учитывать, что Ханна Арендт строго разделяет частную и публичную сферу, четко и строго отграничивая политику от всех других областей человеческого бытия. В отличие от личного, публичное пространство является множественным, т. е. содержит в себе большое число самых разнообразных, нередко противоречивых точек зрения. Именно эта множественность и создает реальность, которая «возникает, наоборот, оттого, что, невзирая на все различия позиций и вытекающую отсюда множественность аспектов, очевидно все же, что все заняты одним и тем же делом. Если это тождество дела распадается и становится уже неощутимо, то никакая одинаковость „человеческой природы“ и уже

подавно никакой искусственный конформизм массового общества не помешают распаду общего мира на осколки» (Арендт, 2000: 75).

Лишь публичное пространство может гарантировать то, чего никогда не сможет чистая приватная жизнь. Суть приватного, частного заключается в отсутствии других. В частной жизни человек ведет себя так, как если бы никаких других не существовало бы, его действия в приватной сфере не имеют никакого значения для сферы публичной, и они не касаются никого, кроме самого человека (Арендт, 2000: 58). Одновременно с этим частная жизнь дает личное пространство, которое является условием для возможности проявить себя в пространстве публичности. Публичное и личное пространства дополняют друг друга и являются неотъемлемыми частями жизненного пространства в целом. Отсутствие или недостаток в любом из них вызывает болезненное ощущение и негативно влияет на качество и содержание человеческой жизни.

Отсутствие доступа к публичному пространству (как, впрочем, и ущемление личного пространства), как уже говорилось выше, вызывает ощущение несвободы. В своей работе «О революции» Арендт пишет о том, что человек, ощущающий себя несвободным, несчастен — и это несчастье толкает его на борьбу за свое освобождение. Так из желания несвободных людей обрести свободу возникают условия для революции. Иными словами, революция возникает как реакция определенной части граждан на отсутствие или недостаток свободы. При этом под свободой, по Арендт, следует понимать как свободу от нищеты и физического принуждения, так и свободу действия в политической сфере, т. е. публичную свободу. Первоначально целью восставших является не разрушение старого политического пространства, а скорее его переформирование в такое, в котором бы обеспечилась всеобщая свобода и равенство, отсутствие господства одних над другими.

Важно отметить, что Арендт проводит различие между свободой и освобождением: для нее устранение гнета и приобретение гражданских прав, завоеванных в результате освобождения, — это еще не свобода (Арендт, 2011: 97). Революция может освободить человека от оков, но для того, чтобы дать ему свободу, она должна обеспечить для нее место — пространство публичности. Таким образом, для того, чтобы революция была успешной, она должна решить две задачи: негативную, т. е. освободить человека, и позитивную — дать ему свободу и пространство для ее реализации.

Препятствием на пути свободного действия в публичном пространстве является бедность. Для Арендт бедность означает не только материальную нужду: это состояние порабощения, состояние отсутствия субъектности в политическом смысле слова. Крайняя нужда заставляет человека посвящать все свое время поиску средств к существованию, не давая ему возможности совершать действия в публичном пространстве. Бедняки задавлены необходимостью удовлетворять физические потребности, что лишает их любой политической способности (ср.: Moruzzi, 2000: 20). Надежда на освобождение от бедности толкает массы на участие в революции и к свержению прежнего режима. Однако свержение старого

режима ведет лишь к возможности создать свободу, но не решает социальных проблем. В этом, по Арендт, заключается причина, по которой столь многие революции, в том числе и Французская, так и не достигли своей цели. В ходе революций происходила подмена ее цели: вместо свободы главным становилось счастье, материальное благополучие людей. Однако для Арендт счастье или материальное благополучие не может быть целью политического действия. Свобода — вот единственный смысл политики: при помощи политики и посредством мышления в парадигме средство-цель невозможно ни решить социальные проблемы, ни ликвидировать бедность. Более того, пишет Арендт, «еще ни одна революция не смогла решить „социальный вопрос“ и освободить человека от бремени его потребностей» (Арендт, 2011: 151). Причина не только в том, что невозможно решить социальный вопрос политическими средствами: даже если люди оказывались способны добиться материального благополучия в результате революции, это не приводило к их участию в политической жизни (Арендт, 2011: 90). В результате свободное время тратилось на все что угодно, но только не на действие в публичном пространстве. Поэтому освобождение от материальной нужды — например, от потребности зарабатывать себе на жизнь — это важное предварительное условие свободы, дающее свободное время для дальнейшего обретения свободы, но свобода от нужды не должна быть целью революции.

Освобождение ассоциируется у Арендт с насилием. Насилие может быть средством для освобождения, а освобождение, в свою очередь, может быть целью на первом этапе революции, на этапе восстания, но не конечной целью революции: ведь «цель революции — основание свободы» (Арендт, 2011: 193). Революция, как и война, связана с насилием, отличаясь этим от всех других политических феноменов: «Одной из причин, почему войны столь легко превращаются в революции и почему революции столь склонны к провоцированию войн, является, несомненно, то, что насилие выступает своеобразным общим знаменателем обеих» (Арендт, 2011: 15). Насилие, полагает Арендт, может быть использовано для основания нового политического образования или для реформирования коррумпированного (Arendt, 1968: 139). Здесь может показаться, будто Арендт противоречит сама себе, принимая во внимание ее твердое убеждение, что насилие — это не политический феномен. Однако это не так: как справедливо отмечает, в частности, Аннабель Херцог, для Арендт насилие, использующееся для основания чего-то нового, еще не является политическим по той простой причине, что политика начинается только с того момента, как прекращается насилие (Herzog, 2017: 171). Вполне возможно действовать против несправедливости, используя насилие, но подобные действия не будут политическими, потому что настоящая политика нуждается в действии и говорении, которые несовместимы с насилием (см.: Kim, 2013: 396). Другое дело, что насилие может быть минимизировано, принимая относительно мирные формы: гражданское неповиновение закону, правителям, институтам, отказ в поддержке и согласии (Арендт, 2014: 57–58). Но даже подобное минимальное насилие, необходимое для разрушения старой власти, способствует групповому

консенсусу, улучшает согласованное взаимодействие между людьми (Herzog, 2017: 171). Подобным образом этот консенсус необходим и для основания новой власти, потому что власть — это способность действовать совместно, проявляющаяся только в группе людей: «Власть (power) соответствует человеческой способности не просто действовать, но действовать согласованно. Власть никогда не бывает принадлежностью индивида; она принадлежит группе и существует лишь до тех пор, пока эта группа держится вместе» (Арендт, 2014: 52). Решающим фактором здесь является уровень слабости действующего правительства. Арендт полагает, что революция есть следствие дезинтеграции власти в государстве (Арендт, 2014: 58). Если правительство не обладает достаточной властью, если его власть рушится, возможны революции. Однако «распад власти часто становится явен только при прямом столкновении; и даже тогда, когда власть уже валяется на улице, требуется какая-то группа людей, готовая к такому повороту событий, чтобы эту власть подобрать и принять на себя ответственность» (Арендт, 2014: 58).

Революция оказывается промежуточным моментом, временем перехода от старого публичного пространства к новому, точкой между прошлым и будущим. В ходе революции происходит уничтожение старого и учреждение нового пространства публичности. Однако сам момент перехода от старого пространства к новому проблематичен. Невозможно мгновенно уничтожить старое и создать новое. Революция не полностью уничтожает публичное пространство: скорее она разрушает единое пространство политического в государстве. При этом публичное пространство не может отсутствовать ни в один из моментов времени: ведь в нем нуждается сама революция для своей реализации. Публичное пространство, в котором разворачивается революция, возникает в виде советов (рабочих на фабриках, военных в армии), собраний городских и сельских общин и т. д. Эти локальные собрания на местах Арендт считает пространствами свободы для народа. Подобные советам образования, подчеркивает Арендт, возникали в ходе всех революций: во Франции, в России, в Венгрии и т. д. Они заполняли собой вакуум, возникавший после устранения старого режима и старого публичного пространства. В какой-то момент они становятся единственным средоточием власти в океане анархии. Советы, с одной стороны, вносили определенный порядок в образовавшийся хаос, но, с другой стороны, не подчинялись никакой высшей инстанции. Для Арендт именно эти элементарные республики, или советы, являются единственным реальным местом, где каждый мог быть свободен в позитивном смысле слова (Арендт, 2011: 355).

Удастся ли революции достичь своей цели и обеспечить народ пространством свободы в долгосрочной перспективе? В ходе анализа феномена революций Арендт приходит к неутешительному выводу: до сих пор ни одной революции не удалось реализовать свою основную цель, создать постоянные места для свободы, элементарные публичные пространства с гарантированным доступом для любого гражданина страны, своего рода «элементарные республики». Завершением революции становится учреждение республики с ее центральными органами

власти, где действующими субъектами являются представители народа, но не сам народ. Элементарные же публичные пространства — в виде советов, собраний городских и сельских общин — постепенно теряют свою силу и перестают быть местом публичной политики, а становятся в лучшем случае административными единицами, подчиненными центральной власти, местом решения социальных вопросов. В худшем случае они упраздняются. Арендт подчеркивает, что ни в одной современной республике не предусмотрено пространство свободы в том смысле, в каком оно задумывалось изначально, для создания которого и производилась революция (Арендт, 2011: 322). Ни во Франции, ни в России в результате революции не удалось трансформировать публичное пространство в истинное пространство свободы. Даже Американская революция, которую Арендт считает удачной, в отличие от Французской и многих других последующих революций, не смогла создать системы общедоступного пространства публичности. Арендт резюмирует: «...хотя революция и дала народу свободу, ей не удалось обеспечить пространство, где бы свобода могла реально существовать» (Арендт, 2011: 326). В результате революции не сам народ, но лишь его выборные представители получают возможность заниматься политической деятельностью.

В своих работах Арендт называет несколько причин, по которым революции не удастся создать необходимое для реализации свободы публичное пространство. В качестве первой в этом ряду можно назвать противоречие между парламентом, как источником и центром власти партийной системы, и народом, уступившим власть своим представителям (Арендт, 2011: 344). Это противоречие проявляется и в конфликте между представителями партии власти и учредительными собраниями, состоявшими из избранных представителей советов на местах. Арендт обнаруживает этот конфликт везде, «где рожденные революцией советы обращались против партии или партий, единственной целью которых была революция» (Арендт, 2011: 370). В итоге в ходе революции «элементарные республики» постепенно утрачивают свою конститутивную власть: она переходит к органам центральной власти, а советы со временем теряют свою значимость в качестве политического пространства. Этот процесс Арендт иллюстрирует на примере революций во Франции и Америке. В ходе Французской революции система советов вступила в конфликт с партийной системой. Во время революции возникло большое количество народных обществ и клубов, различного рода органов местного самоуправления, в том числе и знаменитые сорок восемь секций, сформировавшие со временем революционный муниципальный совет, Парижскую коммуну. В форме революционных народных обществ коммунальная система советов распространилась по всей Франции. Долгое время советы считались носителями духа революции, отождествляемой с духом публичности. Однако после прихода к власти Робеспьера началась война против народных обществ под предлогом единства и неделимости «великого народного общества французского народа». В итоге якобинцам удалось установить контроль над народными обществами, а первые органы республики оказались раздавленными центральным револю-

ционным правительством (Арендт, 2011: 342). Местом нахождения власти снова оказался парламент, а не народ (Арендт, 2011: 345). В Соединенных Штатах после победы революции городские общины и собрания, которые и представляли собой пространство свободы, не были инкорпорированы в конституцию образовавшей-ся федерации штатов. В итоге «публичные дела нации были препоручены Вашингтону и велись федеральным правительством. Однако правительства штатов и административные машины округов были слишком громоздки и неповоротливы, чтобы сделать возможным непосредственное участие; делегаты народа, а не сам народ, образовывали политическое пространство, тогда как те, кто делегировал их и кто теоретически был единственным законным носителем власти, навсегда остались за дверьми» (Арендт, 2011: 349–350).

Итак, Арендт видит причину поражения системы советов во внешнем воздействии со стороны партийной системы и центральных органов власти. Однако, как нам представляется, объяснение этому может быть и другим. В ходе революции потребность в участии в публичной политике испытывала лишь небольшая и наиболее активная часть населения, в то время как большая и менее активная его часть была заинтересована лишь в решении социальных вопросов. Поэтому политически активная часть постепенно перешла к профессиональному занятию политикой, в качестве представителей народа в соответствующих органах разного уровня. Более пассивная часть населения, в свою очередь, вполне удовлетворилась тем, что советы превратились в институты решения социальных проблем. Иными словами, не столько народ был лишен пространства для свободы, сколько произошел естественный процесс расслоения населения на политически активную часть и политически пассивную. Сама Арендт в «О революции» занимает элитистскую позицию, утверждая, что место в публичном пространстве должны занимать те, кто испытывает в этом потребность и готов тратить свое время и силы на политическую деятельность. «С точки зрения политики», утверждает Арендт, «они лучшие, и задача хорошего правления и признак хорошо устроенной республики состоит в том, чтобы они смогли занять место в публичной сфере, принадлежащее им по праву. Конечно, такая в подлинном смысле слова „аристократическая“ форма правления означала бы конец всеобщим выборам в том смысле, в котором мы понимаем их теперь» (Арендт, 2011: 390). В подобного рода элитарности политической деятельности Арендт не видит проблемы: ее она усматривает в том, что «политика стала профессией и карьерой и что „элита“ тем самым избирается в соответствии со стандартами и критериями, которые по своей сути являются неполитическими» (Арендт, 2011: 388). Таким образом, причина, по которой Арендт возражает против установления партийной системы представительства, заключается в профессионализации политики, из-за чего умирает сам дух политического. С другой стороны, в ответ на это возражение возникает неизбежный вопрос, возможно ли в принципе организовать общество, республику с большой территорией, без профессиональных политиков?

Второй причиной неудачи революции является излишняя концентрация власти в руках центральных органов власти, которую Арендт иллюстрирует на примере Американской революции. В ходе Американской революции «townhall meetings» (городские общины и собрания), эти демократические школы народа, не были учтены в Конституции образовавшейся федерации Штатов. В итоге «на основании Конституции публичные дела нации были препоручены Вашингтону и велись федеральным правительством. Однако правительства штатов и административные машины округов были слишком громоздки и неповоротливы, чтобы сделать возможным непосредственное участие; делегаты народа, а не сам народ образовывали политическое пространство, тогда как те, кто делегировал их и кто теоретически был единственным законным носителем власти, навсегда остались за дверьми» (Арендт, 2011: 349–350). Следует отметить, что Арендт в целом права, указывая на то, что практически ни одной революции не удастся избежать перекоса баланса власти в сторону центральных органов власти. Связано это, по всей видимости, с вынужденной защитой нового государства от внутренних или внешних врагов. Это, во-первых, требует хорошей координации и единого центра власти, а во-вторых, выдвигает на первый план военные и экономические вопросы, отодвигая политическую повестку на задний план.

Третьей причиной краха отдельных революций, например революции во Франции, Арендт называет подмену политических вопросов социальными. Как замечает Арендт, «страсть к публичной, или политической свободе легко можно спутать с другой, более горячей страстью — лютой ненавистью к господам, тоской угнетенных по свободе» (Арендт, 2011: 170). Отсюда и частое смешение политических и социальных требований в ходе революции, в результате чего «уничтожается революция в смысле основания новой государственной формы, т.е. пространства свободы» (Арендт, Шмид, 2016: 64). В какой-то момент, пишет Арендт, «революция изменила свое направление: свобода более не являлась ее целью, целью стало счастье народа» (Арендт, 2011: 97). Тем не менее «еще ни одна революция так и не смогла решить „социальный вопрос“, и все они, за редким исключением, в итоге потерпели неизбежное поражение вследствие террора, при помощи которого они это пытались сделать (Арендт, 2011: 151). В изложенных выше аргументах Арендт просматривается строгое разделение между политикой и экономикой, часто критикуемое арендтоведами за свою искусственность (см.: Benhabib, 1996; Bernstein, 1986; Pitkin, 1981). Многочисленные примеры дают основание полагать, что, вопреки мнению Арендт, экономические причины революции тесно связаны с политическими: экономическое бедствие, социальные проблемы становятся не менее значимой причиной, побуждающей широкие народные массы на восстание, чем стремление к приобретению политических прав и свобод. Свободное действие в публичном пространстве невозможно без освобождения от гнета нужды и тяжелого труда, не оставляющего времени для политической деятельности.

Наконец, в качестве причины неспособности революции выполнить свое предназначение Арендт указывает на вмешательство извне, произошедшее, например,

в Венгрии. Венгерская революция потерпела неудачу не по причине внутренних факторов, а из-за подавления ее Советским Союзом. Хотя трудно не согласиться с Арендт в том, что Венгерская революция была подавлена армиями стран Варшавского договора, но это, впрочем, еще не означает, что она не потерпела бы неудачу от внутренних причин в дальнейшем: для того, чтобы давать какие-либо общие оценки перспектив и итогов этой революции, она должна была бы продлиться более длительное время. Тем не менее интервенция, даже в случае ее успешного отражения, бесспорно, является фактором, негативно влияющим на внутренние процессы, протекающие в революционном государстве. Прежде всего это относится к вынужденной и чрезмерной централизации и милитаризации новой республики, к так называемой «революционной необходимости», которой она оправдывается. В результате такой трансформации политические дебаты откладываются на более позднее время, а на передний план выступают военные и экономические вопросы. В качестве примера можно привести Октябрьскую революцию и последующую за ней интервенцию: в условиях необходимости отразить внешнюю агрессию власть от народных советов быстро перешла к центральным революционным органам Советской России.

Итак, в работах Арендт мы обнаружили четыре основных причины неудачи революции по созданию настоящего пространства свободы. Три из них обусловлены внутренними факторами, а одна — внешними. Внутренние причины неудачи революции Арендт связывает с подавлением системы советов партийной системой и центральными органами власти, а также со смещением фокуса революции с политических вопросов на социальные. Здесь, как показывает анализ, утверждения Арендт не вполне справедливы. Подавление системы советов со стороны партийной системы и центральной власти обусловлены внутренней логикой становления республики и связанной с этим неизбежной централизацией власти, необходимостью концентрации власти в одном месте для эффективной защиты против внешних и внутренних врагов, что оставляет в компетенции советов лишь «социальные» проблемы. Кроме того, естественен и отток политически активных участников революции с низового уровня публичной политики на более высокий, что в итоге и приводит к ослаблению советов. Тезис Арендт о смещении цели революции с политических вопросов на социальные также не выглядит до конца убедительным и может быть оспорен: примеры революций XX и XXI веков доказывают, что обе эти сферы неразрывно связаны и решение одних из них невозможно без решения других. Что касается внешней причины поражения революции, с ней сложно не согласиться: интервенция является очевидным негативным фактором влияния на ход революции.

Одним из наиболее важных условий, которые должна выполнять философская теория или идея, претендующая на то, чтобы оставаться актуальной с течением вре-

мени, является способность адекватно описывать новую реальность, не вступая в конфликт с собственными основаниями. Прояснив вопрос об основаниях арендтовской идеи революции, предполагающей четкое различие между успешными и неудачными революциями, мы можем перейти к вопросу о ее актуальности. Его рассмотрение будет разбито на два этапа. Сначала мы достаточно прямолинейно расширим список предложенных Арендт примеров и кратко охарактеризуем три современных революции, которые, на наш взгляд, лучше всего подходят под предложенные Арендт критерии описания. Положительные и негативные результаты нашего анализа мы затем используем для прояснения и уточнения основных тезисов Арендт, привлекая для этого дополнительные ресурсы ее философии.

Как уже было упомянуто ранее, заданные Арендт критерии успешной революции столь строги, что под них не вполне подходит ни одна революция прошлого. В то же время в краткосрочной и долгосрочной перспективе каждая из упоминаемых ею революций имеет отличные от других следствия, приводящие в конечном счете к увеличению свободы политического действия. Этот специфический критерий относительного успеха позволяет, по логике Арендт, сравнивать одну революцию с другой. Если мы хотим задать себе вопрос о применимости основных тезисов Арендт к некоторым современным революциям, равно как и к не упомянутым ею революциям прошлого, нам потребуется вернуться к отправной точке ее аргументации, для того чтобы определить границы предложенной ею концепции революций.

В своем разговоре с политологом Карло Шмидом, посвященном недавнему выходу ее книги «О революции», Арендт настаивает на необходимости отличать «настоящие» революции от альтернативных форм социальных и политических преобразований, некоторые из которых традиционно принято называть революциями. Так, Культурная революция в Китае, согласно Арендт, не может считаться настоящей, поскольку в ее основе лежал не социальный импульс снизу, а, напротив, организованное сверху движение, по крайней мере в своей начальной фазе инициированное и направляемое Коммунистической партией Китая. Кроме того, арендтовская идея революции намеренно исключает из рассмотрения такие принятые выражения, как «Коперниковская революция» или «Кантовская революция». Еще одно ограничение задано хронологическими рамками: говоря об истоках европейской идеи революции, Арендт подчеркивает, что революции возникли лишь в XVII–XVIII вв., а до этого происходили восстания, целью которых было заменить плохого правителя на лучшего, но не упразднить саму структуру властных отношений. В дальнейшем мы будем придерживаться предложенных Арендт хронологических границ — с XVII века до нашего времени, — дополняя список предложенных ею ключевых примеров (Французской, Американской, Октябрьской и Венгерской революции).

Вполне очевидно, что истоки и отличительные черты каждой революции всегда уникальны<sup>1</sup>. Это обстоятельство, однако, нисколько не мешает нам обратиться к вопросу о том, какие революции могут служить примером существенных изменений публичной сферы. Поскольку не все революции XVII–XXI вв. отвечают предложенным Арендт критериям, дополнительный список потенциальных «кандидатов» оказывается относительно коротким. Наиболее свежими примерами являются революции в Тунисе и на Украине. В свою очередь, самым первым примером революции, с некоторыми оговорками, оказываются ключевые события Английской гражданской войны (1642–1651), а также последующих четырех десятилетий, вплоть до так называемой «Славной революции» 1688 года, поскольку эти события приводят к кратковременному упразднению монархии и служат катализатором развития английского парламентаризма.

Хотя Арендт прямо называет XVII век отправной точкой своей хронологии революций, она редко упоминает о единственном заметном примере из этого периода — Английской гражданской войне, которая впервые в европейской истории завершилась осуждением и казнью монарха<sup>2</sup>. Причина осторожности Арендт, по всей видимости, заключается в опасении понятийного смешения, о котором она упоминает в беседе с Карло Шмидом: «настоящая» Английская революция, завершившаяся упразднением монархии, часто не называется таковой<sup>3</sup>, а слово «революция» парадоксальным образом употребляется для описания процесса восстановления монархии в 1688 году (Arendt, 1965: 51–52). Кроме того, Арендт, возможно, учитывает и долгосрочные последствия революции: гражданская война в Англии в конечном счете не смогла обеспечить полную отмену института монархии и привела лишь к росту авторитета парламента, хотя это и уменьшило социальную напряженность (последнее, несомненно, является важным достижением, в особенности если сравнивать события в Англии с Французской революцией). И хотя в этом свете совершенно не удивительно, что Английская революция не получает у Арендт статуса ключевого примера, она все же играет не последнюю роль в ее аргументации — в качестве прелюдии к Французской и Американской революциям. Неоднократно встречающиеся у Арендт прямые и косвенные упоминания о судьбе Карла I представляются, таким образом, вполне объяснимыми.

К наиболее интересным примерам, способным пополнить предложенный Арендт список, относятся Июльская революция 1830 года во Франции, ряд евро-

---

1. Тем не менее вполне возможно — по крайней мере, в определенных случаях — говорить о структурных сходствах между отдельными революциями, произошедшими в один и тот же период (будь то, например, европейские революции 1848–1849 годов или революции «арабской весны»).

2. Важным исключением является не учтенное в русском переводе немецкое издание «О революции», в котором Карл I назван врагом свободы политического действия своих граждан (Arendt, 1965: 313; пер. мой. — А. Ж.): «...так говорили многие абсолютные правители — и не в последнюю очередь (не худшим образом) Карл I, которого Англия отдала под суд и который объявил в свою защиту, что свобода человека „состоит в том, что им управляют законы, гарантирующие ему жизнь и собственность; она не состоит в участии в управлении, это ее не касается“. В этих словах мы слышим смертный приговор всем органам, в которые спонтанно объединяется народ».

3. Эта особенность характерна в первую очередь для англоязычной традиции.

пейских революций 1848–1849 года, Мексиканская революция, Египетская революция 1919 года, Кубинская революция, события Пражской весны 1968 года, Иранская революция, революция в Никарагуа, а также революция 1989 года в Румынии. Впрочем, из перспективы арендтовского анализа лишь немногие из них можно назвать даже относительно успешными: ведь речь у Арендт идет не просто о победе сторонников революции, а о возрастании свободы политического действия. В этом смысле Германская революция 1848–1849 года потерпела неудачу в тот момент, когда было распущено Франкфуртское национальное собрание, а его члены подверглись политическим преследованиям. Мексиканская революция, начавшаяся в 1911 году, переросла в долгосрочную гражданскую войну, унесшую сотни тысяч жизней, пока в 1920 году наконец-то не удалось организовать полноценные, всеобщие президентские выборы. Египетская революция 1919 года добилась лишь небольших успехов: внося вклад в формирование парламентской системы, она не привела к независимости Египта. Революции на Кубе и в Иране, по сути, способствовали возникновению авторитарных режимов в форме однопартийных государств. Наконец, Пражская весна, подобно Венгерской революции, завершилась интервенцией советских войск, но в случае с Чехословакией эти войска были усилены контингентами стран Варшавского пакта.

Чтобы ответить на вопрос об актуальности концепции Арендт, мы рассмотрим три недавних (или относительно недавних) примера, которые — по крайней мере, на первый взгляд — лучше всего отвечают ее идее революции: Румынскую революцию 1989 года, революцию 2011 года в Тунисе и Украинскую революцию (Евромайдан 2013–2014 годов). В качестве единственной не мирной революции, совершившейся в ходе распада СССР и Организации Варшавского договора, Румынская революция представляется «классическим» для Арендт примером. Уже в своей начальной стадии мирные гражданские протесты в Румынии сопровождались актами насилия, совершавшимися как режимом Чаушеску, так и представителями оппозиции. Ключевая фаза революции началась с попыток Чаушеску насильственно подавить декабрьские протесты в Тимишоаре, а закончилась его осуждением без суда и быстрой казнью. Характер и темп событий наглядно иллюстрирует атмосфера вокруг последней публичной речи генерального секретаря Румынской коммунистической партии, произнесенной им 21 декабря, вскоре после трагических событий в Тимишоаре: Чаушеску говорит о прошлых достижениях «социалистической революции», а в этот же момент, в том числе и в непосредственной близости от его дворца в Бухаресте, происходят революционные, но уже антикоммунистические волнения. Стремительно развивавшаяся Румынская революция имеет сразу несколько отличительных особенностей, совпадающих с упомянутыми у Арендт. Она начинается в форме протестов «снизу» и сопровождается формированием местных советов. Кроме того, ее главной целью является достижение политической свободы<sup>4</sup>, дающей гражданам возможность проводить

---

4. Подробнее см.: Siani-Davies, 2005: 286.

внутриполитические реформы. Впрочем, эта цель так и не была достигнута, поскольку на первых «свободных» выборах 1990 года отсутствовала реальная политическая конкуренция<sup>5</sup>, а избранный президент Ион Илиеску, как и его преемник, без энтузиазма отнеслись к решению вопроса о тщательном и детальном расследовании событий 1989–1990 годов. Исследователи Румынской революции (например: Hutter, 2015: 57–59) справедливо констатируют недолговечность ее результатов, во многом нивелированных новой, постсоветской автократией, заимствовавшей свои ключевые элементы у советской и досоветско-монархической системы правления. Именно отмеченный выше недостаток существенных обновлений является наиболее важным фактором, не позволяющим считать Румынскую революцию образцовой иллюстрацией относительно успешной революции по Арендт. Более того, неспособность — и нежелание — сформировать в 1990 году правительство, представляющее широкий спектр публичных позиций и мнений, прямо противоположны арендтовской трактовке публичной роли индивидуальных мнений (δόξα). В «О революции» Арендт подчеркивает, что Французская и Американская революции привели к осознанной или как минимум неосознанной реабилитации мнения, в свое время дискредитированного Протагором и Платоном с целью придать большой вес коллективным интересам множества. Эта линия аргументации в общих чертах, хотя и с некоторыми отличиями в понимании консенсуса большинства, продолжает тезисы Руссо: последний в своей работе «Об общественном договоре» (1762) подчеркивает необходимость сосуществования различных мнений в парламенте, предостерегая от опасностей, к которым приводит формирование больших политических союзов, создаваемых с целью пропаганды одного мнения как единственно возможной истины. В случае с революцией 1989 года недооценку публичного мнения следует рассматривать не только в историческом контексте событий в Румынии: ее важные причины лежат в иной области, а именно в сфере коммуникации. В этой связи нетрудно заметить существенные различия между Румынской революцией и более недавними революциями в Тунисе и на Украине. Мы поясним их в ходе дальнейшего анализа.

Даже из актуальной перспективы 2018 года, позволяющей рассматривать Арабские революции на фоне последующих преобразований в затронутых ими странах, Тунисская революция представляется не только первой, но и, пожалуй, единственной революцией «арабской весны», отвечающей большинству критериев Арендт. Постреволюционное правительство в Тунисе смогло объединить в себе представителей разных социальных групп, отстаивающих отличные друг от друга (экономические, религиозные и др.) мнения и интересы. Более того, коалиционная структура правительства не изменилась и в результате следующих выборов; в частности, удалось избежать политического вмешательства военных, как это произошло в Египте. С другой стороны, начальная стадия революции в Тунисе,

---

5. Новый президент Ион Илиеску, бывший член Коммунистической партии, вышедший из нее задолго до Румынской революции, одержал на выборах 1990 года сокрушительную победу с результатом 85 % голосов. Последовавшие за выборами гражданские протесты были подавлены правительством.

вопреки идее Арендт о первичности политических проблем перед решением «социального вопроса», была отмечена гражданскими протестами, вызванными как минимум двумя конкретными социальными проблемами — высокими ценами на еду и безработицей, в особенности среди молодежи. При этом хорошо известное трагическое событие, послужившее катализатором для «жасминовой революции», — самосожжение торговца фруктами Мохаммеда Буазизи — было вызвано не только социальными, но и политическими причинами<sup>6</sup>. К самоубийству Буазизи подтолкнуло ощущение беспомощности и бесперспективности его попыток донести свое мнение до местного правительства: его поступок, по сути, стал символом несправедливости, которую он ощущал. Эту же несправедливость, т.е. неспособность повлиять на социальную и политическую ситуацию в собственной стране, ощущали и публично осуждали многие граждане страны, в том числе и абсолютное большинство тунисских юристов, принявших участие в последующей национальной забастовке и протестах. Значительный масштаб последних был, с одной стороны, результатом их координации в социальных сетях, а с другой — объяснялся неудачными попытками правительства силой подавить начальные протесты. После бегства президента Бена Али 14 января 2011 года по стране прокатилась новая волна протестов, вызванных недостаточными политическими реформами. Протесты завершились лишь в марте, после роспуска правящей партии и объявления о выборах в конституционную ассамблею. В этом отношении Тунисская революция, согласно критериям Арендт, представляется более успешной в сравнении с Румынской — не потому, что она способствовала решению «социального вопроса» (в краткосрочной перспективе это было бы в любом случае невозможно), а по причине ее важных политических и юридических последствий, включающих и увеличение свободы политического действия граждан Туниса.

Как и в случае с «жасминовой революцией», причины украинского Евромайдана (ноябрь 2013 — февраль 2014 года) лежат сразу в двух областях, т.е. связаны как с социальными, так и с политическими проблемами. Одним из важных факторов, способствовавших началу первой волны протестов, стал отказ президента Виктора Януковича подписывать договор об ассоциации с Европейским союзом. В глазах протестующих это соглашение, точное содержание которого было известно гораздо более узкому кругу людей, имело не только политическое значение, т.е. являлось шансом на дальнейшую интеграцию с Европой, но и играло важную экономическую роль — в качестве возможного инструмента решения социальных проблем. Первоначально мирные протесты вскоре столкнулись с попытками их силового подавления, лишь поспособствовавшими их продлению и постепенному расширению. Подобно многим другим недавним революциям, революция на Украине закончилась отставкой президента и формированием промежуточного пра-

---

6. О том, что для граждан Туниса социальные (экономические) и политические проблемы представляются в равной степени важными, свидетельствуют и данные социальных опросов. Так, в ходе опросов 2014 года 24–27 % жителей страны назвали социальную поддержку и защиту прав человека наиболее важными задачами демократического правительства (см.: Benstead et al., 2014).

вительства. По окончании активной фазы Евромайдана было объявлено о начале политических и социальных реформ, многие из которых на настоящий момент по-прежнему не осуществлены, даже несмотря на то обстоятельство, что многие известные участники Евромайдана по результатам следующих выборов получили места в Верховной раде, дающие им возможность реализовать свои планы. Кроме того, события Евромайдана дали новую пищу уже существовавшим разногласиям между восточной и западной частями страны, вылившимся в протесты, а затем и в вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях. Из современной перспективы всесторонняя оценка событий на Украине представляется возможной лишь в ограниченной степени — не только по причине того, что многие начавшиеся во время или сразу после Евромайдана и непосредственно связанные с ним события (политический конфликт вокруг Крыма, вооруженный конфликт на востоке Украины) по-прежнему не завершились, но и потому, что пока неясны результаты объявленных политических реформ, многие из которых отложены или пересмотрены в свете продолжающегося военного конфликта. И хотя политический курс Украины пока не имеет однозначного направления, соединяя в себе демократические, олигархические и радикально-националистические элементы, мы без сомнения можем говорить о Евромайдане как об одном из центральных примеров современных революций<sup>7</sup>.

Описанные выше примеры проливают свет на сильные места, но также и на пробелы в арендтовском анализе революций. Одной из ключевых проблем является несоответствие предложенного Арендт определения революции современному языковому употреблению этого слова, а также многим принятым академическим трактовкам. Хотя даже расширенный список соответствующих критериям Арендт исторических примеров и без того довольно короток, многие исследователи утверждают, что в него нельзя включать мирные революции, в частности, революцию 1989–1990 года в ГДР<sup>8</sup>, хотя причины и основные цели этой революции совпадают с упомянутыми в работах Арендт. Впрочем, эти требования нельзя считать обоснованными, поскольку они противоречат предложенному Арендт определению насилия, а также введенному ею различию между освобождением и свободой. Отсутствие физического насилия в ходе «фазы освобождения» доказывает лишь, что текущее правительство обладает достаточной властью, чтобы преодолеть кризис без насильственного подавления протестов: выбирая силовой ответ, наблюдаемый нами на примере Румынии, Туниса и Украины, правительство, по

---

7. Как и в случае с Румынией, в обсуждении событий на Украине многие политики и политологи, в особенности в России, намекали на искусственную природу революции, трактуя ее скорее как государственный переворот (т. е. подчеркивая тем самым ее намеренный характер: ср. Арендт, 2014: 17–18). Тем не менее в пользу этой теории до сих пор не было представлено убедительных доказательств. Сама Арендт всегда крайне скептически относилась к подобным трактовкам, ставящим своей целью продемонстрировать, что революции всегда «устриваются» кем-то извне (см.: Арендт, 2014: 57).

8. Эта проблема неоднократно упоминалась исследователями (см., например: Bäckler, 1994: 117). Вопрос о возможности ненасильственной революции впервые был поднят Ноамом Чомски в ходе дебатов с Арендт и Сьюзен Сонтаг: Chomsky et al., 1967.

сути, демонстрирует собственную слабость, не оставляя себе иных вариантов для решения проблемы<sup>9</sup>. Из выбранной Арендт перспективы можно предложить два объяснения отсутствию насилия в ходе революции: 1) протестующие опасаются спровоцировать правительство на применение насилия или 2) правительство утрачивает власть в такой степени, что его приказам перестают подчиняться армия и полиция (см.: Арендт, 2014: 57–58)<sup>10</sup>. В ходе революции может также применяться нефизическое насилие, направленное против государственной системы и политических институтов и противоположное таким «сущностно» мирным занятиям, «как мышление и труд» (Арендт, 2014: 19). Такое насилие может выражаться словесно или, как было упомянуто ранее, проявляться в публичных актах гражданского неповиновения. К сожалению, Арендт не развивает эти аргументы и тем самым не до конца проясняет вопрос о связи между насилием — а также его отсутствием — и революциями.

Недостаточно внимания Арендт уделяет и вопросу о том, где пролегает порой трудноразличимая граница между революцией и гражданской войной: в своих работах она не проводит четкого разграничения между ними, характеризуя гражданскую войну как возможное (и весьма вероятное, как мы видим даже на примерах Французской, Американской и Октябрьской революций) следствие революции, но не поясняя, в какой момент революция превращается в полноценный вооруженный конфликт. Более того, многие ее аргументы, касающиеся насилия, тесно связывают революции с гражданскими войнами, делая указанное разделение практически невыполнимой задачей.

Следующая проблема, а именно уже упомянутая недооценка социальных мотивов революционных протестов, заметная на современных примерах революций в Тунисе и на Украине, представляет собой хорошо известный исследователям недостаток теории Арендт. С одной стороны, трудно оспаривать аргумент Арендт о том, что экономические требования тесно связаны с благосостоянием отдельного человека (или его *oikos*, о котором Арендт пишет во второй главе своей работы «*Vita activa*») и не должны смешиваться с проблемами, характерными для публичного пространства. С другой стороны, мы видим, что в определенных обстоятельствах социальные требования могут принять политический характер. Недостаток продуктов питания и других предметов первой необходимости вынуждает заниматься тяжелым трудом, лишая человека времени и возможности свободно выбирать себе занятие. И хотя невозможность вырваться из этого бесконечного цикла (получить более высокую зарплату, найти лучшую работу, донести свои требования до представителей власти и т. д.) вовсе не обязательно превращает человека в политического активиста, недостаток свободы может побудить его критически пересмотреть свое социальное положение и подумать об альтернативах — не только для самого себя, но и для друзей, коллег или знакомых, составляющих его круг

9. Подробнее об оппозиции насилия и власти см.: Арендт 2014: 54–67.

10. Если среди полицейских или военных возникают разногласия, это может привести к вспышке физического насилия, а в некоторых случаях и к началу гражданской войны.

общения. Тем самым социальный вопрос, как вопрос о частном благосостоянии, может превратиться в проблему благосостояния социальной группы в государстве, а затем и в проблему государства в целом.

Важной отличительной чертой мышления Арендт является его подчеркнутая актуальность. Ее стремление понять специфические социальные и политические тенденции настоящего времени в свете трансформаций прошлого помогает Арендт описывать современные ей феномены. Однако те же самые аспекты подвергают ее аргументы неизбежному риску стремительного устаревания вследствие культурных, социальных и политических изменений. Подобной судьбы на первый взгляд не избегает арендтовская идея о характерном для начальной стадии революций формировании местных советов. Учитывая то, как развивались события в Тунисе и на Украине, мы можем спросить себя, не следует ли пересмотреть аргумент Арендт с учетом современных форм и инструментов коммуникации? Не будет ли, например, более уместным говорить о сообществах, возникающих на базе социальных сетей? Впрочем, если мы перенесем наше внимание с узкого вопроса о политической роли локальных советов на арендтовскую идею политической организации индивидов как необходимой предпосылки коллективного действия, мы увидим, что сама Арендт смогла бы описать новые способы коммуникации и политического действия с помощью своих собственных терминов, таких как «пространство видимости» (*space of appearance*) и «согласованное действие» (*acting in concert*). Более того, поднятая выше проблема способна помочь нам установить новую связь между теориями мышления и действия у Арендт.

Следует отметить, что коммуникативная и организационная роль социальных сетей (таких как «Фейсбук» и «Твиттер») как нового публичного пространства, с одной стороны, несколько переоценивается во многих исследованиях революций в Тунисе и на Украине<sup>11</sup>, а с другой, напротив, недооценивается и, как правило, обходится стороной в арендтоведении. Чтобы сделать этот аспект продуктивным для анализа современных революций, нам следует обратиться к арендтовской концепции мнения, сформировавшейся в полемике с Платоном и Аристотелем (см. в особенности: Arendt, 2004), связав ее с идеями сообщества, мышления и действия. Выражаясь языком Арендт, политическая роль социальных сетей состоит в создании широкого круга индивидуальных мнений, доступных широкой публике<sup>12</sup>. С одной стороны, завоевание поддержки определенного сообщества часто

---

11. Впрочем, в некоторых аспектах эти исследования, наоборот, недооценивают специфическую роль социальных сетей в Восточной Европе (в особенности на Украине и в России), более часто используемых в качестве платформ для политических дебатов в сравнении со странами Западной Европы.

12. Хотя для Арендт более важно подчеркнуть публичную роль мнения, в отличие от истины разума и истины факта, она подчеркивает, что последняя играет ключевую роль в политической сфере, выступая гарантом того, что мнения основаны на свидетельствах, т.е. представляют собой точное отражение событий и обстоятельств, касающихся множества индивидов. В своем эссе «Истина и политика» она утверждает, что, в то время как мнения «вдохновлены различными интересами и стремлениями» и тем самым существенно отличаются друг от друга, «свобода мнения становится фарсом,

позволяет привлечь внимание политиков и традиционных СМИ, так что в некоторых случаях частные мнения изначально непубличных личностей могут иметь долгосрочные следствия, становясь стимулом политических действий. С другой стороны, отдельные высказывания политиков, интерпретируемые традиционными СМИ, далеко не всегда представляющими весь спектр мнений, в социальных сетях становятся предметом широкой публичной дискуссии, напоминающей нам о греческом состязании (ἀγών) между индивидуальными мнениями, каждое из которых не отрицает остальные<sup>13</sup>. Расширение публичной сферы посредством социальных сетей, в свою очередь, помогает уменьшить разрыв между мышлением и действием. Детальное исследование основных следствий этого феномена из арендтовской перспективы могло бы по-новому осветить давний вопрос об отношении между двумя главными элементами философии Арендт.

## Литература

- Арендт Х. (1996). Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И. В. Борисовой и др. под ред. М. С. Ковалевой и Д. М. Носова. М.: ЦентрКом.
- Арендт Х. (2000). Vita activa, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В. В. Бибикина. СПб.: Алетейя.
- Арендт Х. (2011). О революции / Пер. с англ. И. В. Косича. М.: Европа.
- Арендт Х. (2014). О насилии / Пер. с англ. Г. М. Дашевского. М.: Новое издательство.
- Арендт Х., Шмид К. (2016). Право на революцию: разговор между профессором Карло Шмидом и философом Ханной Арендт / Пер. с нем. А. Саликова // Социологическое обозрение. Т. 15. № 1. С. 56–74.
- Саликов А. (2016). Предисловие к публикации «Право на революцию» // Социологическое обозрение. Т. 15. № 1. С. 54–55.
- Arendt H. (1965). Über die Revolution. München: Piper.
- Arendt H. (1968). Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought. New York: Viking Press.
- Arendt H. (2004). The Promise of Politics. New York: Schocken Books.
- Bäcker R. (1994). The Collapse of Communism and Theoretical Models // Krygier M. (ed.). Marxism and Communism: Posthumous Reflection on Politics, Society and Law. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. P. 111–120.

---

если не гарантирована фактическая информация, а сами факты являются предметом спора» (Arendt, 1968: 238).

13. Разумеется, вполне очевидно, что политическая роль социальных сетей далеко не всегда положительна. Социальными и политическими дебатами в интернете можно манипулировать, намеренно радикализируя их, а сетевые «сообщества» способны изолировать себя от других, препятствуя дискуссии и возникновению альтернативных мнений по определенным темам и отстаивая монополию единственного мнения как «объективной» истины. Описанные выше сценарии полностью противостоят идее Арендт о публичном пространстве как сфере сосуществования различных индивидуальных мнений.

- Behnhabib S.* (1996). *The Reluctant Modernism of Hannah Arendt*. London: SAGE.
- Benstead L., Lust E., Malouche D., Wichmann J.* (2014). *Tunisian Elections Bring Hope in Uncertain Times* // *Washington Post*. 27.10.2014. URL: <https://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/10/27/tunisian-elections-bring-hope-in-uncertain-times/> (дата доступа: 26.02.2018).
- Bernstein R.* (1986). *Rethinking the Social and the Political* // *Bernstein R. Philosophical Profiles: Essays in a Pragmatic Mode*. Cambridge: Polity Press. P. 238–259.
- Bowman P., Stamp R.* (2011). Introduction // *Bowman P., Stamp R.* (ed.). *Reading Rancière*. New York: Continuum. P. 1–18.
- Chomsky N.* (1967). *The Legitimacy of Violence as a Political Act? Noam Chomsky Debates with Hannah Arendt, Susan Sontag et al.* URL: <https://chomsky.info/19671215> (дата доступа: 26.02.2018).
- Herzog A.* (2017). *The Concept of Violence in the Work of Hannah Arendt* // *Continental Philosophy Review*. Vol. 50. № 2. P. 165–179.
- Hutter R.* (2015). *Revolution und Legitimation: Die politische Instrumentalisierung des Umbruchs 1989 durch die Postkommunisten in Rumänien*. Berlin: Frank & Timme.
- Kim M. K.* (2013). *Rethinking Arendt's Constitutional Thought on Violence and the Social Question* // *Teoria politica*. Vol. 3. P. 395–404.
- Moruzzi N. C.* (2000). *Speaking Through the Mask: Hannah Arendt and the Politics of Social Identity*. Ithaca: Cornell University Press.
- Pitkin H. F.* (1981). *Justice: On Relating Private and Public* // *Political Theory*. Vol. 9. № 3. P. 327–352.
- Salikov A., Zhavoronkov A.* (2017). *The Public Realm and Revolution: Hannah Arendt Between Theory and Praxis* // *Estudos Ibero-Americanos*. Vol. 43. № 3. P. 513–523.
- Siani-Davies P.* (2005). *The Romanian Revolution of December 1989*. Ithaca: Cornell University Press.

## The Revolutionary Transformation of the Public Realm: An Arendtian Perspective

*Alexey Salikov*

PhD, leading research fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: dr.alexey.salikov@gmail.com

*Alexey Zhavoronkov*

PhD, senior research fellow, Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences

Address: Goncharnaya str., 12/1, Moscow, Russian Federation 109240

E-mail: outdoors@yandex.ru

The paper examines the relation between the public realm and revolution, the two central concepts of Hannah Arendt's political philosophy. This relation plays a key role in Arendt's theory of revolution, since the key purpose of a revolution is the liberation from oppression and the achievement of freedom, and the destruction of an old political realm and the creation of a new one, both of which are needed for the manifestation of free action. The main goal of our study is to analyze Arendt's idea of the influence of revolutions on the public realm by examining its theoretical and practical scopes. In order to verify the conclusions concerning the actual applicability of Arendt's theory of revolution, we analyze several cases of modern revolutions from that standpoint. Arendt's arguments concerning the causes of the failures of revolutions, made on the basis of several historical examples of revolutions from the 18th to the mid-20th century, are largely justified, even though these arguments still can be challenged to some extent. On the other hand, the analysis of the concrete examples demonstrates the limits of the applicability of this theory as a model of a description of contemporary revolutions. Although the theory has a number of significant advantages, it is still in need of considerable revision.

**Keywords:** Hannah Arendt, revolution, public realm, violence, social question, communication

## References

- Arendt H. (1965) *Über die Revolution*, München: Piper.
- Arendt H. (1968) *Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought*, New York: Viking Press.
- Arendt H. (1996) *Istoki totalitarizma* [The Origins of the Totalitarianism], Moscow: CentrKom.
- Arendt H. (2000) *Vita activa, ili O dejatel'noj zhizni* [The Human Condition], Saint Petersburg: Aleteya.
- Arendt H. (2004) *The Promise of Politics*, New York: Schocken Books.
- Arendt H. (2011) *O revoljucii* [On Revolution], Moscow: Europa.
- Arendt H. (2014) *O nasilii* [On Violence], Moscow: Novoe izdatel'stvo.
- Arendt H., Schmid K. (2016) Pravo na revoljuciju. Razgovor mezhdu professorom Karlo Schmidom i Hannoj Arendt (1965) [Das Recht auf Revolution: Gespräch zwischen Prof. Dr. Carlo Schmid und der Philosophin Hannah Arendt (1965)]. *Russian Sociological Review*, vol. 15, no 1, pp. 56–74.
- Bäcker R. (1994) The Collapse of Communism and Theoretical Models. *Marxism and Communism: Posthumous Reflection on Politics, Society and Law* (ed. M. Krygier), Amsterdam/Atlanta: Rodopi, pp. 111–120.
- Behnhabib S. (1996) *The Reluctant Modernism of Hannah Arendt*, London: SAGE.
- Benstead L., Lust E., Malouche D., Wichmann J. (2014) Tunisian Elections Bring Hope in Uncertain Times. *Washington Post*, 27.10.2014. Available at: <https://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/10/27/tunisian-elections-bring-hope-in-uncertain-times/> (accessed 26 February 2018).
- Bernstein R. (1986) Rethinking the Social and the Political. *Philosophical Profiles: Essays in a Pragmatic Mode*, Cambridge: Polity Press, pp. 238–259.
- Bowman P., Stamp R. (2011) Introduction. *Reading Rancière* (eds. P. Bowman, R. Stamp), New York: Continuum, pp. 1–18.
- Chomsky N. (1967) The Legitimacy of Violence as a Political Act? Noam Chomsky debates with Hannah Arendt, Susan Sontag et al. Available at: <https://chomsky.info/19671215> (accessed 26 February 2018).
- Herzog A. (2017) The Concept of Violence in the Work of Hannah Arendt. *Continental Philosophy Review*, vol. 50, no 2, pp. 165–179.
- Hutter R. (2015) *Revolution und Legitimation: Die politische Instrumentalisierung des Umbruchs 1989 durch die Postkommunisten in Rumänien*, Berlin: Frank & Timme.
- Kim M. K. (2013) Rethinking Arendt's Constitutional Thought on Violence and the Social Question. *Teoria politica*, vol. 3, pp. 395–404.
- Moruzzi N. C. (2000) *Speaking Through the Mask: Hannah Arendt and the Politics of Social Identity*, Ithaca: Cornell University Press.
- Pitkin H. F. (1981) Justice: On Relating Private and Public. *Political Theory*, vol. 9, no 3, pp. 327–352.
- Salikov A., Zhavoronkov A. (2017) The Public Realm and Revolution: Hannah Arendt between Theory and Praxis. *Estudos Ibero-Americanos*, vol. 43, no 3, pp. 513–523.
- Siani-Davies P. (2005) *The Romanian Revolution of December 1989*, Ithaca: Cornell University Press.

## Работа Карла Шмитта «Состояние европейской юриспруденции»\*

*Райнхард Меринг*

Профессор Высшей педагогической школы в Гейдельберге  
Адрес: Keplerstraße, 87, Heidelberg, Deutschland D-69120  
E-mail: [mehring@ph-heidelberg.de](mailto:mehring@ph-heidelberg.de)

*Олег Кильдюшов*  
(переводчик)

Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: [kildyushov@mail.ru](mailto:kildyushov@mail.ru)

Статья представляет собой новую редакцию доклада профессора Высшей педагогической школы в Гейдельберге Райнхарда Меринга, известного биографа и исследователя творчества Карла Шмитта. Она была специально переработана для публикации в русском издании. В частности, учитывая интересы отечественной публики, автор добавил отдельный раздел об образе России в работах К. Шмитта. В нем кратко реконструируются шмиттовские представления о «ментальной географии» — месте Европы и Германии в XX веке, а также о геополитической принадлежности Советской России. Завершается первая часть интересной спекуляцией автора о том, как классик воспринял бы ситуацию в современной Российской Федерации. Далее, в начале следующей части излагается методологическое кредо исследователя, позволяющее, на его взгляд, адекватно работать с текстами такого сложного автора, как Шмитт. Во второй части рассматриваются редакции работы «Состояние европейской юриспруденции» и контекст ее возникновения, в частности говорится о докладах военного времени (1943–1944), уже содержавших смысловое ядро последующей публикации (1950). В третьем разделе реконструируется шмиттовский взгляд на историю юриспруденции, начиная с 1920-х годов. Заключительная, четвертая часть, посвящена анализу структуры самой работы. В качестве удачной иллюстрации в жанре истории идей приводится «зеркальный кабинет» Шмитта, т. е. набор референтных авторов, с которыми он себя отождествлял в разные годы. Завершается статья выводом об эвристическом потенциале работ классика, позволяющих многое понять в актуальных политико-правовых дебатах.

*Ключевые слова:* Карл Шмитт, юриспруденция, национал-социализм, история идей, Фридрих фон Савиньи, Россия, большевизм

© Mehring R., 2018

© Кильдюшов О. В., перевод, 2018

© Центр фундаментальной социологии, 2018

DOI: 10.17323/1728-192X-2018-1-30-58

\* Впервые опубликовано: Mehring, 2017b. Работа «Состояние европейской юриспруденции» цитируется здесь по перепечатке в шмиттовском сборнике «Verfassungsrechtliche Aufsätze: Materialien zu einer Verfassungslehre» (Berlin, 1958) с помощью аббревиатуры VRA. Подробнее о представленном здесь общем подходе см.: Mehring, 2009, 2017c, 2017a.

Данный текст представляет собой доклад, прочитанный мною на коллоквиуме Гейдельбергского института международного права имени Макса Планка по приглашению его директора Армина фон Богданди. В переработанной форме он был опубликован в «Журнале зарубежного публичного и международного права» (*Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*). Таким образом, он адресован в первую очередь профессиональной немецкой юридической публике и призван пояснить немецким юристам, не являющимся специалистами по Шмитту и, как правило, мало интересующимися историей возникновения старых текстов, некоторые герменевтические проблемы, связанные с пониманием этого сочинения. При этом его целью, помимо простого комментирования данной работы, было приблизить читателя к сложным поздним трудам Шмитта по международному праву. Сам Шмитт рассматривал публикацию этой небольшой брошюры весной 1950 года в качестве введения к «Номосу земли», вышедшему несколько месяцев спустя, в декабре 1950-го. Сейчас мой комментарий, публикуемый здесь по-русски благодаря дружеским усилиям проф. Александра Филиппова и Олега Кильдюшова, адресуется другой публике, с другими интересами и с другим уровнем шмиттоведения. Хотя далеко не все в тексте можно было переписать для этой аудитории, тем не менее мною добавлены некоторые пояснения, а что-то, наоборот, удалено. Но самое главное — в него включены следующие предварительные замечания к концепту Европы и образу России у Шмитта.

### **Вводные замечания к образу России у Карла Шмитта**

Когда Шмитт в 1950 году говорит о «европейской юриспруденции», он имеет в виду не Европейский союз, учрежденный Римскими договорами лишь в 1957 году; в условиях разделения мира во время холодной войны он и не помышляет о включении сюда России и русской публики. Для Шмитта большевистский Советский Союз не относится к Европе. Впрочем, он также отличал старую Европу от «западного полушария» — англосаксонского мира, который критиковал в «Номосе земли» столь же резко, как до и после 1933 года.

Шмитт помещает Германию и Европу между Востоком и Западом. При этом он, как и многие немецкие интеллектуалы после 1900 года, находился под сильным впечатлением от русской культуры и религиозности. Однако, в отличие от Томаса Манна, Макса Вебера или, позднее, философского «экзистенциализма», на него не так сильно повлияли великие русские писатели XIX века. Толстой и Достоевский не входили в число его любимых авторов, более охотно он читал французскую литературу и лирику авангарда, начиная со Стендаля и Бодлера. В своих академических поездках с докладами он не забирался дальше Восточной Пруссии, Венгрии и Румынии и никогда не посещал Советский Союз. Но он проявлял большой интерес и симпатию к Юго-Восточной Европе и православию.

В 1926 году он женится на сербке православного вероисповедания, которая сохраняла приверженность православной вере и вращалась в Берлине в кругу рус-

ской общины. После Русской революции Берлин вообще стал пристанищем и убежищем для русских эмигрантов. Шмитт имел много знакомых среди них, о чем свидетельствуют записи в его дневниках. Можно было бы подумать о том, что, с учетом его антилиберальных и «авторитарных» установок и государственно-теоретических позиций, «византийское» и «православное» христианство должно было быть ему ближе, нежели приверженность «римскому католицизму», о которой он скорее неохотно и стратегически — чтобы добиться церковного расторжения своего первого брака — заявляет в сочинении «Римский католицизм и политическая форма» (1923/1925). Шмитт не был верным сыном католической церкви и на «прямой вопрос» о религиозной вере — тот самый вопрос славной Гретхен к доктору Фаусту у Гете, который вошел в немецкую поговорку, — так никогда и не дал совершенно искреннего и догматически удовлетворительного с точки зрения «Рима» ответа. Однако эту относительную близость и чувствительность его политической теологии к православному христианству я не могу обсуждать здесь более подробно.

Здесь важно в первую очередь то, что Шмитт проводил строгое различие между старой русской культурой и религиозностью и советским большевизмом. Его неприятие марксизма и большевизма носит категорический характер: он однозначно отвергает марксистскую «идею классовой борьбы» и марксистскую линию, которая ведет от Маркса и Энгельса через Ленина к Сталину. Это видно уже по его сочинению «Духовно-историческое состояние современного парламентаризма» 1923 года. А в работе 1926 года «Ключевой вопрос Лиги Наций» Шмитт объявляет размежевание с Советским Союзом условием существования Лиги Наций. Исходя из своего различия «друг-враг», он предполагал, что размежевание с открытым врагом, Советским Союзом, может привести к минимальному консенсусу и относительной «гомогенности» Лиги Наций. Такое отграничение от Советского Союза он и назвал «ключевым вопросом Лиги Наций». В последующие годы он критиковал непоследовательность в его проведении как «трансформацию» и самоуничтожение этой организации. Таким образом, геополитически он не относил СССР к Европе, хотя мог бы рассматривать марксистский Советский Союз как собственно экспортный продукт Запада и пример «европеизации».

Чтобы исключить Россию из состава Европы, Шмитт уже в 1923 году в своем сочинении о парламентаризме разработал своеобразное различие между марксизмом и анархизмом (Mehring, 2013): анархизм он приписывал России, Востоку и Азии, связывая его исключительно с Бакуниным, причем Бакунина он понимал именно как русского. Уже в 1923 году он поражался триумфу «марксизма на русской почве» (Schmitt, 1926: 77; Шмитт, 2000а: 252) и объяснял победу большевизма соединением в нем марксизма и анархизма. В готовности анархизма к активным действиям и насилию он видел подлинный рецепт успеха революции, который был стратегически инструментализирован Лениным. Шмитт называл Бакунина «русским анархистом», который «именно в люмпен-пролетариате» увидел носителя революции, который и представлял для него «отворачивающуюся от Европы

русскость» (Schmitt, 1984: 64; Шмитт, 2000б: 153). При этом он признавал: «Я знаю, что в русской ненависти к западноевропейскому образованию может быть больше христианства, чем в либерализме и немецком марксизме» (Ibid.). Изображая «монгольский лик большевизма» (Schmitt, 1926: 89; Шмитт, 2000а: 254), он имел в виду следующее: «Пролетарское насилие вновь сделало Россию московитской» (Schmitt, 1926: 88; Шмитт, 2000а: 253).

Русскоязычному читателю, безусловно, хорошо знакомы эти высказывания Шмитта. Также для него довольно проблематично то, что Шмитт исключал Советский Союз из Европы и относил его к Востоку. Таким образом, он использовал и варьировал резкие полемические различия Запада и Востока. При этом он не исключал европейских возможностей для православного христианства. Конечно, в 1944 году, как и в 1950-м, когда было написано «Состояние европейской юриспруденции», он рассматривал Советский Союз как врага. Однако Шмитт не отождествлял «субстанцию» Европы с процессом европейского объединения и Европейским союзом после 1957 года. Воплощение европейского наследия и традиции после 1945 года он видел скорее в авторитарной Испании генерала Франко, победившего в гражданской войне, нежели в Федеративной Республике Германии, которой он отказывал в суверенной государственности. После 1945 года Шмитт считал франкистскую Испанию второй родиной и с конца 1950-х годов, когда его единственная дочь Анима вышла замуж за испанца, ежегодно проводил там свой летний отпуск. Как известно, Шмитт не был сторонником либеральной демократии и предпочитал президентские демократии и более авторитарные государства, нежели парламентская демократия ФРГ. За что он выступал бы сегодня, является спекулятивным вопросом, на который невозможно ответить. Но если бы сегодня он с его взглядами и его учением о конституции перенесся из Веймарской Республики в современную Россию, то, вероятно, отнесся бы к ситуации в ней с критической симпатией. После этих предварительных замечаний переходим к анализу брошюры 1950 года.

### **Редакции работы «Состояние европейской юриспруденции»**

Работа «Состояние европейской юриспруденции» хорошо подходит в качестве введения в чтение юридических трудов Карла Шмитта. Юрист найдет здесь то, что ожидает и что действительно можно использовать как противоядие от сверхспециализированной правовой догматики: европейское образование, историческую дистанцию и актуальность. Шмиттовская краткая история инструментализации «легальности» и его сомнения по поводу значительного «ускорения» процедур могут показаться юристу знакомыми, а высказывание о «моторизованном законодателе» (VRA: 404) — метким. А когда у него речь заходит о «вытеснении законов распоряжениями» (VRA: 404) и звучит слово «указ», это легко ассоциируется с «режимом кризиса в ЕС» или «Дональдом Трампом». Кажется, что эта работа Шмитта не отягощена политическими проблемами, но вместе с тем — очень ак-

туальна. В ней нет спекуляций и герметичных правовых понятий, затрудняющих восприятие, что выглядит свежо и стимулирующе.

Однако подход этого рода — относительно беспроблемный и не осложненный, прямо-таки пробуждающий аппетит к такому автору, как Шмитт, — должен вызывать опасения и инициировать противоположные герменевтические усилия. При рецепции сочинения сегодня можно — как бы в рамках объективной герменевтики — абстрагироваться от его автора и истории возникновения, воспринимая и актуализируя центральные тезисы независимо от контекста, словно оно было написано вчера или сегодня. Не нужно стремиться понять работу точно так же или даже лучше самого автора — мы должны переводить «классиков» на наш язык и переносить в нашу академическую ситуацию. Например, «идеализм» ныне выглядит иначе, чем во времена Платона. Так что, несколько утрируя, сегодня можно строить аргументацию в духе платонизма и даже быть платоником, не цитируя Платона.

Подобное абстрагирование особенно необходимо в случае такого автора, как Шмитт, в чьих сочинениях встречаются разнообразные проблематичные мотивы и интенции. Здесь нужно действовать очень осторожно и избирательно, поэтому для актуализации некоторых выдвинутых Шмиттом тезисов надо просто отказаться от ссылок на него. После 1945 года он сам неоднократно советовал это своим последователям, призывая их избегать недоразумений и не вредить карьере упоминанием его имени. Кто цитирует Шмитта, тот, помимо обязательной систематической аргументации, вынужден обращаться к дополнительным объяснениям и образцам. Он как бы открывает второй фронт на заминированной местности, по которой можно передвигаться лишь с большой осторожностью. Таким образом, иногда целесообразно просто избегать ссылок на Шмитта или четко обозначить свое избирательное отношение к определенным тезисам. Кто не готов отказываться от этого и открыто ссылается на Шмитта, тот должен контролировать свои ссылки исторически и более детально осмыслять то, что данный политико-полемический автор и изобретательный военный техник дискурса когда-то на самом деле связывал со своими тезисами. В противном случае объективная герменевтика, отказывающаяся от исторической перестраховки, легко попадает в ловушку дискурсивного стратега. Рекомендуются тем строже следовать максиме удвоенной осторожности, чем более академичным и беспроблемным кажется текст Шмитта.

В работе «Состояние европейской юриспруденции» Шмитт сам призывает к историческому «дистанцированию» и строгой историзации. Чтобы, так сказать, расчистить путь для трезвой актуализации, я и предпринял попытку такой историзации. Сначала я расскажу об истории возникновения и публикации данного текста, после чего в кратком очерке остановлюсь на более ранних вариантах истории юриспруденции у Шмитта. Своеобразие же данной работы я покажу через детальный анализ ее аргументации и структуры, проясняя смысл обращения автора к работам берлинского юриста Фридриха фон Савиньи, которое оказывается для него парадигмой исторического дистанцирования. Шмитовское отождествление

себя с Савиньи прочитывается нами как автобиографическая легенда, преднамеренно созданная с целью политической инструментализации прошлого, что сбивало с толку уже первых читателей текста.

Представим себе положение Шмитта как автора в начале 1940-х годов: с превращением войны в тотальную в результате вторжения в Россию и вступления в нее США Шмитт замолкает как национал-социалистический публицист. Он уже понимает, что его концепция национал-социалистического «порядка большого пространства» в Центральной Европе потерпела крах и что победа в мировой войне, вероятно, будет зависеть от господства в воздухе. Поэтому его сочинение «Земля и море» уже в конце 1942 года маркировало отказ от «международно-правовой» апологии национал-социализма и повторный переход к «апокалиптическому» видению современности как чрезвычайного положения. После 1945 года Шмитту как серьезно дискредитированному сотрудничеству с национал-социализмом автору было запрещено публиковаться. С основанием Федеративной Республики Германии он запланировал в 1950 году свой публицистический «камбэк» сразу в виде четырех монографий. Сначала он выступил с брошюрой «Состояние европейской юриспруденции» как юрист, затем выпустил небольшие книги «Доносо Кортес в общеевропейской традиции» и «Ex Captivitate Salus» в жанрах истории идей и автобиографии, и, наконец, завершить его триумфальное возвращение должна была в конце 1950 года большая обобщающая работа по истории международного права «Номос земли в праве народов *jus publicum euroraeum*».

В то время Шмитт еще надеялся с помощью такого публицистического наступления восстановить свою репутацию интеллектуального мастера правой мысли и заново утвердить свою роль в «европейском» политическом дискурсе. 8 февраля 1950 года он записал в «Глоссарии»: «Попытка Хайдеггера вернуться заслуживает оценки „вполне удовлетворительно“ (для обеих сторон); Готфрид Бенн выступил просто на „отлично“; Эрнст Юнгер позорно провалился. Посмотрим, как финиширую я» (Schmitt, 2015: 226). Бенн был известным поэтом-экспрессионистом и эссеистом, Хайдеггер — философом, а Эрнст Юнгер, с которым Шмитт был дружен с 1930 года, — героем Первой мировой войны, военным писателем и эссеистом. Бенн, Юнгер, Хайдеггер и Шмитт — главные имена «классики» правого интеллектуализма в Германии тех лет и сейчас их изучают и обсуждают по всему миру. Начиная с осени 1948 года Бенн опубликовал множество статей и поэтических сборников. Кроме того, Шмитт здесь имеет в виду прежде всего «Лесные тропы» Хайдеггера и «Излучения» Юнгера. Тогда у него еще не было определенных ожиданий по поводу публичной реакции на его собственный «камбэк». Несколько недель спустя, 21 мая 1950 года, уже после выхода первых рецензий, он отметил, несколько разочарованно, разгневанно и удивленно: «Европейская юриспруденция? Где она и что она? А честь ее один лишь я храню»<sup>1</sup>. Только бы не написать этому

1. Гёльдерлин Ф. Смерть Эмпедокла. Акт 1, 4. В русском переводе Я. Э. Голосовкера это место отсутствует, поскольку использован первый вариант сочинения, а Шмитт цитирует второй вариант. Подсказано П. В. Резвых. — *Прим. ред.*

д-ру Левальду, этому утонченному губителю (Lewald, 1950: 377). Non decet scribere ei qui vult proscribere» (Schmitt, 2015: 230). Латинский комментарий переводится так: «Не следует писать тому, кто хочет объявить тебя вне закона». Шмитт отсылает здесь к отрицательной рецензии на свое сочинение в журнале «Neue Juristische Wochenschrift», озаглавленной «Карл Шмитт redivivus», и цитирует фрагмент драмы Фридриха Гёльдерлина «Смерть Эмпедокла». Отождествление себя с Эмпедоклом глубокомысленно намекает на трагедию гения, ведь преследуемый народом досократик — номотет и царь философов — бросился в кратер вулкана Этна. Гёльдерлин поэтически передает это [в стихотворении «Эмпедокл»]:

Und du in schauerndem Verlangen  
Wirfst dich hinab in des Aetna Flammen / ...  
Doch heilig bist du mir, wie der Erde Macht,  
Die dich hinwegnahm, kühner Getöteter!  
Und folgen möchte' ich... dem Helden<sup>2</sup>.

Уже в скором времени Шмитт начнет сравнивать рецепцию своего сочинения с «охотой на ведьм» и для усиления эффекта будет «с большой пользой перечитывать „Cautio Criminalis“ графа Шпее 1631 года» (Schmitt, 2015: 232)<sup>3</sup>.

Его работа «Состояние европейской юриспруденции» впервые вышла в марте 1950 года в виде отдельной брошюры в международном издательстве Тюбингенского университета. В 1958 году она вновь была опубликована в составе сборника «Статьи по конституционному праву» (Verfassungsrechtliche Aufsätze) с глоссой об истории написания и пояснениями о взаимоотношениях между Савиньи и Гегелем. Юрист Савиньи и философ Гегель одновременно преподавали в начале XIX века в Берлинском университете и при этом конфликтовали друг с другом. Они представляли различные «школы»: «историческую школу» и философско-систематическую школу гегельянства, из которой вышел марксизм. Небольшим тюбингенским издательством руководил Серж Майвальд (Serge Maiwald), единственный близкий ученик Шмитта, защитивший у него диссертацию в Берлине и намеревавшийся габилитироваться там же. В это время Майвальд издавал журнал Universitas, в котором появились многие первые послевоенные публикации Шмитта. Таким образом, Майвальд был для Шмитта важным организатором его литературного возвращения, однако он умер в 1952 году в молодом возрасте; только ему Шмитт посвятил некролог (Schmitt, 1952: 447–448)<sup>4</sup>.

Относительно истории создания текста Шмитт подчеркивает (VRA: 426), что в 1943–1944 годах он неоднократно зачитывал это сочинение в качестве «докла-

2. Hölderlin, 1943: 19. «А ты, взыскующий, в трепете / Низвергаешься в пламя Этны ... / Но для меня ты свят, как власть земли, / Тебя забравшей прочь, отважный убиенный! / Я за героем следом ... отправиться хотел бы». — Прим. ред.

3. Это немецкий юрист сформулировал правило *in dubio pro reo* (в случае сомнений — в пользу обвиняемого). — Прим. ред.

4. Перепечатано в книге: Schmitt, 2005: 872–874.

да» в Бухаресте, Будапеште, Мадриде и Коимбре на немецком, испанском и французском языках, а выйти оно первоначально должно было в декабре 1944 года к 60-летию Йоханнеса Попица. При национал-социализме Попиц был прусским министром финансов. После покушения на Гитлера 20 июля 1944 года он был арестован как один из заговорщиков и повешен 2 февраля 1945 года в Плётцензее. То, что юбилейный сборник планировался, подтверждается сохранившейся в архиве Шмитта перепиской этого периода с издателем Вернером Вебером<sup>5</sup>. В вопросе о том, каковы были взаимоотношения Шмитта и Попица, если судить по известным источникам, не все понятно. Однако несомненно, что в конце войны Шмитт все еще сохранял довольно тесные отношения с Попицем. Но, насколько мы знаем, Попиц не предпринимал попыток включить Шмитта в круг заговорщиков. И насколько мне также известно, Шмитт никогда не заявлял об этом, даже когда, уже после смерти Попица, посвятил ему свои «Статьи по конституционному праву» и тем самым несколько инструментализировал его имя для подтверждения легенды об эзотерической оппозиционности своих сочинений.

О том, как соотносятся доклады с опубликованной брошюрой, кое-что можно сказать с определенностью: в замечаниях об истории создания текста (VRA: 426) Шмитт указывает на полную или частичную публикацию доклада 1944 года на венгерском языке. Возможно, некоторые версии доклада сохранились в архиве Шмитта. О своих поездках с выступлениями Шмитт был обязан докладывать руководству университета. В этих сообщениях подчеркивается его национал-социалистическая миссия, поэтому их следует читать с осторожностью. Вот что он пишет о докладе в Бухаресте:

Доклад на юридическом факультете в Бухаресте был посвящен теме «Влияние юристов на формирование европейского духа»... В своем выступлении я показал, что европейская юриспруденция как наука возникла в борьбе с теологией и что сегодня она вынуждена защищаться от нигилистической технизации. В этом положении между теологией и техникой я обнаружил параллель с нынешним состоянием европейского духа в целом. В частности, я указал на Савиньи как на великого европейского и одновременно немецкого юриста. Те слушатели, что внимали моим пояснениям, очень хорошо их поняли, как я мог узнать из сообщений бухарестских газет и последующих разговоров. Масса же слушателей, напротив, вообще не понимала по-немецки и, казалось, не опознавала даже имена собственные вроде Савиньи. Вследствие этого мне удалось дочитать доклад до конца лишь ценой больших усилий. Но я осознавал, что нахожусь в важнейшем месте, которое на протяжении двух поколений до сих пор было шлюзом для культурного проникновения Франции в Румынию и что впервые сила французской традиции была здесь сломлена. Только осознание этого позволило мне продержаться в очень сложной для оратора ситуации.<sup>6</sup>

5. Об этом см. мои замечания: Mehring, 2009: 414ff., 434ff.; из последних работ о Попице см.: Nagel, 2015.

6. Universitätsarchiv HU-Berlin, Personalakte PA Carl Schmitt 159a, Bl. 46f; см.: Tilitzki, 1998.

Бухарестское выступление Шмитта названо аналогично докладу «Формирование французского духа легистами», с которым он выступил в Париже, выполняя схожую культурно-политическую миссию. В нем Шмитт отстаивал националистический гегемонизм и подчеркивал превосходство «немецкого правового мышления». То, что он говорит в сообщении о «позиции» или положении юриспруденции «между теологией и техникой» и о Савиньи, составляет основу последующей публикации. Сохранился машинописный текст осени 1944 года, который Шмитт послал для публикации в юбилейном сборнике. Он был обнаружен в архиве влиятельного юриста Рудольфа Сменда, и его значительные отличия от печатной версии 1950 года были отмечены в издании переписки Шмитта со Смендом (Mehring, 2012: 113–115). Например, речь Шмитта о «дистанции», «убежище» и «крипте» юриспруденции является более поздней вставкой. Но самое главное — машинопись 1944 года имела другое окончание. Так, Шмитт среди прочего писал:

Закончить я хотел бы признанием. Подлинная тайна великого подъема в юриспруденции, произошедшего в 1814 году, заключается в союзе научного духа с пробужденным войной сознанием новой и юной силы. Таким образом, в страданиях нынешней мировой войны также содержатся новые ростки научного духа. Даже во время битв, в грохоте механизмов и под атаками с воздуха они сумеют найти таинственную тишину, необходимую для их роста, и однажды расцветут и принесут свои плоды. Это доверие, а не программа для раскопок, и его я черпаю из призыва Савиньи к юристам. Дух европейской юриспруденции вернется к самому себе, и гений, не оставивший нас в ужасах прошлых столетий, спасет и в этой мировой войне.

Этот вывод по тональности соответствует общим заключительным формулам других публикаций Шмитта времен войны, в которых референтный автор сменяется с Вергилия на Гельдерлина (Mehring, 2017a: 320f.). Шмитт всегда вел точные списки<sup>7</sup>, какие машино- и рукописные тексты и кому он давал. Печатную версию 1950 года он посылал около 100 раз, не в последнюю очередь дружественным иностранным коллегам. Таким образом, историю текста и ближайший круг адресатов применительно к этой публикации можно прояснить достаточно точно. Конечно, Шмитт не везде читал свой объемистый трактат целиком. Строгого тождества между докладами 1943–1944 годов и публикацией 1950 года нет. Однако нельзя говорить и о значительной намеренной фальсификации текста. Шмитт ослабил гегемонистскую направленность своего сочинения, придав отсылке к Савиньи оборонительный и консервативный оттенок. Тем не менее, с точки зрения авторского права, сегодня, вероятно, позволительно говорить об относительном тождестве текста 1950 года с его редакциями в форме докладов.

---

7. RW 265-19600.

## Шмиттовская история юриспруденции

Шмитт постоянно разрабатывал сложные исторические генеалогии. При этом он отстаивал свой собственный канон, выступая против канона мейнстрима. Авторы, на которых он преимущественным образом ссылаясь, становились для Шмитта аргументами, с помощью которых он маркировал «духовно-исторические» констелляции, этапы и линии в агональных столкновениях<sup>8</sup>. Грубо можно выделить три основные линии: линию нововременной теории государства от Жана Бодена и Томаса Гоббса до Гегеля; линию «органического» государственного мышления, проходящую от Гегеля через Лоренца фон Штейна, Рудольфа фон Гнейста и Отто фон Гирке до Рудольфа Сменда; линию механистически-нормативистского правового мышления от Пауля Лабанда до Герхарда Аншютца и Ганса Кельзена. С этими именами Шмитт связывал важнейшие этапы в истории юриспруденции. В своей истории понятия «диктатура» он впервые проработал эти линии на конкретном материале. Они начинают превращаться в строгие каноны в 1922–1923 годах — с «Политической теологии» и «Духовно-исторического состояния современного парламентаризма». Альтернативное различие между «органической» и «механистически-нормативистской» линией дается в 1930 году в брошюре о Гуго Преуссе и его месте в немецкой теории государства («Hugo Preuß: Sein Staatsbegriff und seine Stellung in der deutschen Staatslehre»)<sup>9</sup>. В «Политической теологии» вводится оппозиция децизионизма и нормативизма, Гоббса и Кельзена — в качестве начала и конца нововременного государственно-правового мышления; затем в «Легальности и легитимности» усиливается критика легализма и позитивизма. В эпоху национал-социализма, в 1934 году, Шмитт в своем сочинении «О трех видах юридического мышления» добавляет к этому «конкретное мышление о порядке и форме», которое он авторизовал с помощью Гегеля (детально его политико-правовые предпосылки и духовно-исторические линии мы здесь опускаем).

Сочинение «О трех видах...» вышло весной 1934 года. В дальнейшем шмиттовская национал-социалистическая догматика изменяется после 30 июня 1934 года с выходом статьи «Фюрер защищает право». Я уже давно отстаиваю тезис, что эта статья означает поворотный момент в тогдашней публицистике Шмитта и маркирует изменение стратегии в его апологии национал-социализма<sup>10</sup>. В это время Шмитт хоронит свою первоначальную надежду на совместимость нацизма с конституцией, переходит с оптики «нормального состояния» на апокалиптическую оптику «чрезвычайного положения» и перестраивается с юридически-институционального оправдания национал-социализма на антисемитские смыслополагания. Ключевым словом здесь для него является «непосредственная» справедливость. Она обозначает «чрезвычайное государственное право» в условиях «чрезвычай-

8. О шмиттовской политике в отношении канона см.: Mehring, 2017a: 37ff., 337ff.

9. Перепечатана в качестве приложения к книге: Schmitt, 2016; также см.: Schmitt, 1937.

10. Об этом см.: Mehring, 2009: 351ff.; о предшествующей попытке «институционального» осмысления см.: Mehring, 2017e.

ного положения», противопоставляемого нормальной ситуации правового государства. Шмитт пишет: «Фюрер защищает право от самого негодного злоупотребления, когда он в момент опасности непосредственно создает право своей силой вождя как высшего судебного главы» (Schmitt, 1934c)<sup>11</sup>. В это время Шмитт хоронит логику специфического правового кода и разделения морали, политики и права и понимает национал-социализм как персоналистское «государство фюрера». Он немедленно добавляет историю понятия «правовое государство», проводя различие между легалистским правовым государством и персоналистским «государством справедливости». Вполне возможно и даже вероятно, что он, как и его берлинский коллега и боевой товарищ по национал-социализму Карл Август Эмге, рассматривал это «государство фюрера» в качестве диктаторского и террористического Левиафана, не питая особых иллюзий по поводу обеспечения правопорядка в рамках этой системы. Поэтому поиски внутренне- и внешнеполитических врагов радикализируются, и в 1935–1936 годах он пишет свои самые ужасные тексты. С крайним цинизмом он теперь бросается в апологию террористического государства и при этом маркирует различие между другом и врагом не в последнюю очередь антисемитски.

Так, он приветствовал принятие Нюрнбергских расовых законов, опубликовав в «Deutsche Juristen-Zeitung» статью с чудовищным названием «Конституция свободы» (Schmitt, 1935a: 1133–1135), и организовал конференцию на тему «Еврейство в юриспруденции». Крайне национализированная история юриспруденции вроде «Трех видов юридического мышления» теперь получает сильное антисемитское кодирование идеи закона — от Спинозы до Лабанда и Кельзена.

Шмитт постоянно национализировал свою историю юриспруденции. При этом он противопоставляет ее развитие в Германии прежде всего Франции и Англии. Его книга рецензий «Поворот к дискриминационному понятию войны» также национально кодирована (Schmitt, 1938). Эта национализация правового мышления продолжается и в «Номосе земли». Шмитт связывает «децизионизм» и этатизм с «земным» и континентальным «французским духом», а универсалистский «нормативизм» — с «морским мышлением» англосаксонской традиции. Превосходство «немецкого правового мышления» в начале 1940-х годов он доказывает, ссылаясь на Гегеля, в таких своих крупных работах, как «Германское общее *государственное право как пример образования юридической системы*» (Das «allgemeine deutsche Staatsrecht» als Beispiel rechtswissenschaftlicher Systembildung) или «Формирование

---

11. Перепечатано в книге: Schmitt, 1940b: 199–203 (200). [Здесь цитируется по русскому переводу: Шмитт, 2010: 265.]

Шмитт аргументирует ссылками на революционную оборону, чрезвычайное государственное право, эпохальное изменение легитимности и конституции, а также на ограниченную по времени и объему действенность противозаконного «непосредственного правосудия» «периодом трех дней» (с. 269). В этой статье Шмитт в буквальном смысле требует возвращения к легальности *status quo ante*. Но политически он понимал всю иллюзорность этих требований и рассматривал «государство фюрера» с его «непосредственной» (не обеспеченной позитивным правом) справедливостью как чрезвычайное положение.

французского духа легистами» (Schmitt, 1940a, 1942b). Эти трактаты представляют несомненный интерес с точки зрения прочерченных в них линий истории науки. Их выводы были включены в обобщающее сочинение «Состояние европейской юриспруденции», при этом нуждается в отдельном осмыслении то, почему Шмитт внезапно заменяет ссылки на Гегеля в качестве центрального референтного автора ссылками на Савиньи, а в 1958 году так же неожиданно хоронит отсылку к Савиньи своей глоссой об их взаимоотношениях. Чтобы подробнее узнать, какой наработанный материал вошел в брошюру 1950 года, необходимо еще внимательнее рассмотреть шмиттовскую историю юриспруденции с 1934 года.

После своей брошюры «О трех видах юридического мышления» Шмитт опубликовал целый ряд небольших статей, в основном в «Немецкой юридической газете» (*Deutsche Juristen-Zeitung*) и в «Журнале академии немецкого права» (*Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht*), в которых профилирование подлинного «национал-социалистического правового мышления»<sup>12</sup> связывалось с историческими суждениями о «пути немецкого юриста» (Schmitt, 1934a, 1936a, 1936b). Шмитт также написал несколько интересных статей, которые можно рассматривать как теоретико-правовой анализ усиливающейся утраты формы и паралича кода легальности. Здесь достаточно назвать лишь статью «Кодификация или новелла?» (Schmitt, 1935b) или важный трактат «Сравнительный обзор новейшего развития проблемы законодательного наделения полномочиями» 1936 года, включенного и в сборник «Позиции и понятия» 1940 года. Таким образом, Шмитт на обширном материале проанализировал разрушение и паралич кода легальности, в том числе в сравнительной европейской перспективе, и связал выявленное изменение и утрату значимости «легальности» с поворотом к определенному «типу» юриста и «правоохранителя» (*Rechtswahrers*). Подобный вывод о переходе формы права от легальности к габитусу и типу судьи и юриста был сделан им уже в его ранней работе «Закон и приговор» (Schmitt, 1912) на основе изучения течений в тогдашней правовой мысли — движения в поддержку «свободного права» и социологии права.

Итак, я не пытаюсь утверждать, что шмиттовскую историю юриспруденции следует в первую очередь понимать как диагностику проблемы и что в ней очень рано правовые презумции были перенесены с законодателя и модуса легальности на понимание справедливости у профессиональных юристов. Однако Шмитт постоянно демонстрировал в качестве аналитического вывода деструкцию модуса легальности. При этом он всегда придерживался аргументации в духе «активного нигилизма» Фридриха Ницше: «Падающего — подтолкни!» Эмпатическая речь Шмитта о «сдерживателе» и «катехоне» по своему пафосу, как и недоверностью, соотносится с отрицанием радикального обострения, усиления и ускорения разрушительных тенденций, которые он формулирует логически и риторически очень точно. При этом в его остроумии можно разглядеть момент трагичности:

---

12. Об этом см.: Schmitt, 1934b, 1936c: 619–620.

рационализирующий, принципиальный и систематизирующий взгляд Шмитта способен увидеть лишь разрушительные тенденции. Таким образом, Шмитт почти неизбежно становится «ускорителем против воли» (Schmitt, 1942a). Именно эту трагическую логику он обсуждает на примере Савиньи и Гегеля, с которыми себя отождествляет. Самозванный «сдерживатель», видимо, часто спрашивал сам себя, не является ли он на самом деле «ускорителем».

## Анализ структуры работы

### *Смысловое ядро отождествления с Савиньи*

Сочинение «Состояние европейской юриспруденции» предваряет начало разработки «Номоса земли» (к тому времени Шмитт давно считал войну проигранной). Параллельно он писал доклад «Доносо Кортес в общеевропейской интерпретации» (Schmitt, 1949)<sup>13</sup>. В это время он очень гибко перестраивается с «Германии» на «Европу», но поскольку его «теория большого пространства» (Schmitt, 1939)<sup>14</sup> — с 1939 по 1942 год — требовала и обосновывала германскую Центральную Европу, семантический сдвиг не слишком велик: нацистская Германия оккупировала Европу, немецкая наука стремится быть европейской. При этом если Доносо Кортес был автором, с которым он отождествлял себя уже в 1920-х годах, то Савиньи теперь внезапно занимает место Гегеля. В это время Шмитт расширяет свой «зеркальный кабинет»: к отражениям добавляются Франсиско де Витория (Schmitt, 1950a: 98–141) и Алексис де Токвиль (Schmitt, 1950c: 25–33). При этом для Шмитта историческая параллельность ситуации гораздо важнее отдельных случайных идентификационных масок. В качестве исторических параллелей ему служат прежде всего три эпохи: позднеантичный период раннего христианства, который Шмитт прямо называет «большой параллелью»; раннее Новое время как переход от конфессиональных гражданских войн к светской государственности; и период около 1848 года — время провала буржуазной революции в Германии, краха немецкого идеализма и поворота к позитивизму, материализму и натурализму.

Шмитт рассматривал провал революции 1848 года как историческую трагедию и негативный переломный момент в национальной истории. Но, в отличие от Рудольфа Сменда, его предшественника на боннской кафедре, он не выдвигал никакой позитивной утопии гражданского общества. Собственно, его видение истории вряд ли позволяет понять столь сильную оценку неудачи 1848 года. Во всяком случае, у Шмитта текущее «духовно-историческое» состояние всегда отражалось в разнообразных перспективах целой когорты авторов 1848 года: Доносо Кортеса, Лоренца фон Штейна, Карла Маркса, Бруно Бауэра, Юлиуса Шталя, Алексиса де Токвиля, а в «Состоянии европейской юриспруденции» еще и Савиньи. Обращение в 1950 году к Савиньи — первое и единственное отождествление себя с про-

13. Перепечатано в: Schmitt, 1950b.

14. До 1942 года вышло четыре расширенных издания.

фессиональным юристом, встречающееся в трудах Шмитта. Здесь важно, что Савиньи для него — не только автор «манифеста» 1814 года, но именно «несчастливая фигура» (VRA: 418) в «несчастной роли» министра законодательства и президента прусского Государственного совета перед 1848 годом.

При этом он не упустил возможности заметить, что Савиньи уже вскоре «вернулся к себе и достиг европейского величия» (VRA: 419). Не исключено, что прусский государственный советник Шмитт<sup>15</sup>, которого в 1933 году во вновь учрежденный Государственный совет ввел один из главных нацистских политиков Герман Геринг, именно в ходе изучения истории Государственного совета пришел к позднему отождествлению себя с Савиньи. Сразу после назначения в Государственный совет летом 1933 года Шмитт начинает заниматься историческими исследованиями этого института, а вскоре привлекает к ним своих учеников — Гейдана де Русселя и Ганса Шнайдера. Вероятно, не в последнюю очередь благодаря знакомству с реабилитационной работой Шнайдера по истории прусского Государственного совета (Schneider, 1952) Шмитт начинает отождествлять себя с Савиньи. Это отождествление и является тем, что составляет смысловое ядро и определяет своеобразие работы «Состояние европейской юриспруденции» по сравнению с другими вариантами шмиттовской истории юриспруденции. Этим отождествлением с Савиньи объясняется заход с историей римского права и призыв к «дистанцированию от легальности государства законодательства».

### *О теоретико-правовом анализе кризиса*

Поясним ход мысли в этой работе. «Состояние европейской юриспруденции» разделено на шесть глав — Шмитт говорит о шести «стадиях» в истории права. Он исходит из исторического факта: существования общеевропейской юриспруденции, и в качестве «конкретных порядков», предшествующих индивидуальным формам ее преломления в различных государствах, называет прежде всего рецепцию римского права и «рецепцию конституционализма» (VRA: 397) в общем учении о государстве. Здесь нас не должно интересовать все то, что в национал-социалистической юриспруденции, включая Шмитта, было сказано и написано после 1933 года<sup>16</sup> против рецепции римского права. Это относится и к хорошо знакомому Шмитту состоянию дискуссии, которая тогда характеризовалась прежде всего публикациями Франца Виаккера и Пауля Кошакера. Следует попутно заметить, что в своих высказываниях об общеевропейской рецепции римского права Шмитт совершенно умалчивает о такой ее «духовно-исторической» предпосылке, как христианство. В брошюре юриспруденция, ввиду ее специфики, последовательно обособляется автором от теологии и потому христианство здесь не затрагивается, в отличие от «Номоса земли».

15. Об этом см.: Blasius, 2001; Mehring, 2017a: 80-97; также см. только что вышедшую работу: Lethen, 2018.

16. Краткий обзор см.: Stolleis, 1999: 339f.

После двух глав о римском праве следует глава о «кризисе легальности государства законодательства» в XIX и XX веках. Вначале Шмитт отстаивает здесь оригинальный и интересный тезис, впервые емко сформулированный еще Юлием Кирхманом (Kirchmann, 1848), что этот кризис в XIX веке сначала смягчался и тормозился благодаря той роли, что играли юристы и юриспруденция во времена больших кодификаций. В результате кодификации закон представал в систематическом порядке как единство и целостность по отношению к интервенциям законодателя, выступая к тому же еще и как относительно автономная и объективная сила и величина. Применительно ко второй стадии кризиса Шмитт диагностирует разрушение формы закона со стороны, как он говорит, «моторизованного законодателя», который скрывает свои притязания на то, что изданные им акты будут иметь всеобщий и долгосрочный характер, переходя к предписаниям и распоряжениям. Таким образом, с помощью оригинальных формулировок он повторяет выводы своего теоретико-правового анализа относительно разрушения формы закона (который уже с начала 1920-х годов был у него общим теоретико-правовым мотивом), чтобы похоронить «буржуазное правовое государство»: Шмитт выступал за диктатуру как государственную форму XX века, поскольку считал необратимым процесс изменения модуса управления от закона к распоряжениям.

Этой теоретико-правовой перспективы, позволяющей анализировать разрушительные тенденции, он продолжает придерживаться и после 1933 года, углубляя и дифференцируя ее. Его значение как юриста при национал-социализме не в последнюю очередь заключается в сохранении верности этой теоретико-правовой перспективе анализа. Но в то время не один только Шмитт наблюдал национал-социалистическое разрушение формы закона. Здесь можно было бы назвать и другие тексты: например, лишь недавно опубликованный доклад его боннского ученика Эрнста Рудольфа Хубера, сделанный во время зимнего семестра 1944–1945 годов<sup>17</sup>. В своих статьях о национал-социалистической юриспруденции Хорст Драйер также указывал на такого рода теоретико-правовой вклад нацистской науки (Dreier, 2016)<sup>18</sup>. Что касается написанных Шмиттом при национал-социализме критических теоретико-правовых статей, то бесспорно, что он как аналитик паралича правовой формы одновременно являлся апологетом ускоряющегося разрушения. Уже говорилось о том, что создаваемые им точные понятийные конструкции почти неизбежно носили двойственный характер и ускоряли те тенденции, постижению которых способствовали.

#### *«Расщепление права»: ответ как вопрос*

Последние две главы работы дают ответ о диагнозе кризиса. Точнее было бы говорить о максимах поведения при профессиональном обращении с «проблемой легальности». В этом, помимо новых формулировок, заключается подлинное зна-

17. Об этом см.: Grothe, Mehring, 2016.

18. Об этом см. мою рецензию: Mehring, 2017d: 53–57.

чение данного сочинения по сравнению с предыдущими версиями истории юриспруденции. Пятая глава называется «Савиньи — парадигма первого дистанцирования от легальности государства законодательства». Название сформулировано так, что наводит на мысль рассматривать самого Шмитта в качестве автора парадигмы второго дистанцирования для второго этапа (XX века). Уже говорилось, что он указывал не только на манифест Савиньи 1814 года, но и на его более позднюю «несчастную роль» и «противоречие», заключавшееся в том, что этот критик кодификации законов стал «министром по делам пересмотра законов». Как было сказано выше, здесь Шмитт не в последнюю очередь пытается провести историческую параллель со своим собственным участием в национал-социалистическом Государственном совете. Таким образом, это отождествление себя с Савиньи можно отнести к обширному полю самооправдательных легенд и стратегий извинения государственного советника Шмитта после 1945 года.

Шмиттовская легенда о его деятельности в качестве государственного советника гласит, что Шмитт был «этатистским сдерживателем» в духе прусской традиции, который сначала верил в совместимость национал-социализма с конституцией и в надежде на его приручение сделал стратегическую ставку на Геринга, но после 30 июня 1934 года отказался от попытки его институционально-этатистского осмысления. Таким образом, легенда о государственном советнике связана с легендой об этатизме, для поддержания которой Шмитт после 1945 года порой охотно ссылаясь на свою частную аудиенцию у Муссолини в 1936 году<sup>19</sup>. Эта легенда о государственном советнике выполняла после 1945 года не в последнюю очередь функцию самооправдания, отвлекая внимание от длительного сотрудничества с его ментором из числа ведущих национал-социалистических политиков Гансом Франком, к «кругу» которого он причислял себя до конца 1936 года.

Обращая здесь внимание на автобиографическую легенду и смысл отождествления Шмиттом себя с Савиньи, мы не ставим под сомнение высказывания и исследования, связанные с самим Савиньи. Однако, как бы детально ни анализировал Шмитт Савиньи, его позицию сложно представить систематически. Он выделяет прежде всего «учение Савиньи об источниках права» (VRA: 411), однако не разделяет его учения о «народном духе», которое Шмитта никогда не интересовало. Учение об источниках права он преобразует, явным образом не проясняя, в тезис, который выделяет курсивом: «*Юриспруденция сама есть подлинный источник права*» (VRA: 412). Объяснение здесь такое: «Для нее закон — лишь материал, который она оформляет и облагораживает, насколько это возможно; научная форма, которую способна придать она одна, позволяет раскрыть и завершить присущее материалу закона единство, производя тем самым „органическую жизнь, оказывающую обратное формирующее воздействие на самое вещество“» (VRA: 412)<sup>20</sup>.

19. Об этом см.: Schmitt, 1936c: 619–620.

20. Шмитт цитирует по сочинению: Savigny, 1840: 46.

Здесь невозможно определить границы самоотождествления Шмитта с Савиньи. Конечно, с точки зрения систематики верно, что институционализированная юридическая наука оказывает определяющее влияние на правовую культуру и правовое развитие общества. Законы формулируются юридически, конституционные органы обеспечивают установление норм и контроль, и не только судьи являются профессиональными юристами. Если считать, что юриспруденция как «источник права» придает правовым материям систематическую форму, то политико-правовые задачи государственного советника Савиньи значительно отличались от задач национал-социалистической юриспруденции. Шмитт молчит об этом. Конечно, своим «учением о большом пространстве» и докладами за рубежом он заявил о притязаниях немецкой юриспруденции на лидерство и выдвинул имперский концепт утверждения национал-социалистической юриспруденции в «Центральной Европе». После 1945 года с помощью семантического смещения к «европейской» правовой науке и к «*jus publicum euroraeum*» он незаметно отказывается от имперских притязаний, содержащихся в его требовании формирования «системы юриспруденции».

В брошюре 1950 года «Состояние европейской юриспруденции» он уже не дает подробного объяснения тезисам о юриспруденции как «источнике права» и о многогранном воздействии юриспруденции на государственные законы, а лишь идеально-типически различает три национальные культуры в юриспруденции: английского «практика» *case law*, французский тип легиста и «призыв» Савиньи к историческому дистанцированию. Затем он добавляет несколько сильных тезисов о развитии германистики после Савиньи: называет швейцарского историка права и исследователя античности Иоганна Якоба Бахофена, обнаружившего так называемое «материнское право», «истинным наследником Савиньи» (VRA: 416) и помещает самого себя в «Номосе земли» на линию Савиньи—Бахофен. Академический смысл этого поворота к «мифологическим исследованиям» здесь уточнить невозможно. Даже любую систематическую рецепцию Шмитт воспринимает в полемической форме; он актуализирует Савиньи не как важного теоретика источников права и, следовательно, философа права, но как полемического автора, участвовавшего в спорах своего времени. Он пишет:

Я вижу секрет его [Савиньи] великого внешнего и внутреннего воздействия в чем-то совершенно ином. Его призыв был первым сознательным дистанцированием от мира установлений. Его значение заключается не в аргументации, а в духовной ситуации, которая собственно придает историческое величие его главному аргументу, его учению о непреднамеренном возникновении права, поскольку это она превращает юриспруденцию в противоположный полюс по отношению к чисто фактически установленному праву, не забрасывая право естественно-правовыми лозунгами гражданской войны. (VRA: 418)

Значение «классика» Шмитт усматривал не столько в трансисторических истинах, сколько в репрезентации им «кризиса» или «ситуации». Он всегда воспри-

нимал авторов очень селективно — как представителей определенной, хорошо выписанной перспективы в рамках своего общего конституционно-исторического подхода, то есть не следовал ни за одним из авторов буквально, а прочитывал их произведения с точки зрения современности, как отражения конституционно-политических констелляций. Он не следовал слепо за кем-либо, поэтому его невозможно назвать просто «гоббсианцем» или «гегельянцем». В главе о Савиньи об этом сказано фраза, которую он позже неоднократно повторит: «Историческая истина истинна лишь однажды» (VRA: 415). Вероятно, здесь Шмитт имеет в виду ответ на исторический вызов или «вопрос». Дialeктический ответ дает «„органической жизни“ (Савиньи) новый поворот и историческую возможность. Савиньи открыл методическую альтернативу историческому пониманию права через осознание „опасности механизации и технизации права“» (VRA: 420).

В последней главе Шмитт сформулировал свое принципиальное видение ситуации, используя противоположные ключевые понятия «теология и техника», «легальность и легитимность». В «Номосе земли» он подчеркивает с помощью доходчивой формулы, что европейская юриспруденция возникла «между теологией и техникой» (Schmitt, 1950a: 6) и остается затертой ими. Эта формулировка проблемы встречается, по сути, и в «Состоянии европейской юриспруденции». Но там повторяющиеся рассуждения о «расщеплении права на легальность и легитимность» воздействуют сильнее (VRA: 422, 424, 425). При этом Шмитт связывает легитимность с теологией, а легальность — с юридической техникой. «Моторизованный законодатель» коррелирует с «подчиненной инструментализацией» (VRA: 422) правового техника, неспособного занять дистанцию. Шмитт заканчивает работу критическими словами о «смертельной легальности» и «умерщвляющем озаконивании права» (VRA: 425).

В отличие от Савиньи, он не формулирует никакой сильной альтернативы. Его брошюра — это только диагноз кризису. В ней не содержится никакой ясной позиции относительно собственной правовой политики и разрушения модуса легальности при национал-социализме. Ведь в период национал-социализма Шмитт сам форсировал «расщепление права на легальность и легитимность», отделяя «легитимность» персоналистски интегрированного «государства фюрера» от модуса легальности и «противопоставляя легитимность легальности», если цитировать прорывную диссертацию Хассо Хофманна (Hofmann, 1964). Шмитт выбрал легитимность Гитлера в противовес поддержанию правопорядка средствами «буржуазного правового государства». Самокритику у него можно обнаружить лишь в том смысле, что теперь он, помимо критики модуса легальности, отказывается от сильных притязаний в пользу «легитимности», помещая ее рядом с «теологией» и «естественно-правовыми лозунгами гражданской войны». Таким образом, если сначала Шмитт восхваляет юридическое «учение Савиньи об источниках права», то завершается его сочинение собственным отказом от легитимности.

При этом Шмитт избегает упоминания основного понятия и ключевого слова, с помощью которого он сам ответил на «расщепление права на легальность

и легитимность»: речь идет о «номосе». Две юридические публикации 1950 года должны были дополнять друг друга: в «Состоянии европейской юриспруденции» в качестве диагноза кризиса формулируется вопрос о расщеплении легальности и легитимности, на который в «Номосе земли» дается положительный ответ. При этом Шмитт указывает на то, что в его речи о «номосе» обозначен позитивный источник права, помимо истории международного права в каких-либо «мифологических исследованиях». Однако здесь невозможно вывести то, что не было целью брошюры 1950 года: критике легализма или позитивизма здесь нельзя противопоставить никакой работающий концепт легитимности и никакое систематически убедительное определение соотношения легальности и легитимности. Следует лишь отметить, что и «Номос земли» описывает историю упадка — это мастерский рассказ об «исторической легитимности», или о происхождении и гибели классически-нововременного, «недискриминационного» международного права. При этом в первом приближении «спациальный» (spatialer) подход Шмитта к «пространству», его историю взаимосвязи «пространства и права, порядка и локализации» (Schmitt, 1950a: 17) можно рассматривать как вариант понимания значимости права со стороны социологии права. Шмитт вновь указывает на власть как основу права: право является легитимным только тогда, когда оно применяется эффективным и принудительным образом. Напротив, бессильная Европа не может далее формировать международное право.

### Ранняя рецепция

Мы не можем здесь детально обсуждать соотношение брошюры «Состояние европейской юриспруденции» с другими изданиями 1950 года: «Номос земли», «Ex Captivitate Salus», «Доносо Кортес в общеевропейской интерпретации» или же со статьей «Проблема легальности», где ориентация чиновников на легальность изображается как властный ресурс Гитлера и где отстаивается — сегодня часто критикуемая — легенда о пособничестве правового позитивизма «легальной революции» национал-социализма. Также важны глоссы, добавленные при перепечатке текста в сборнике «Статьи по конституционному праву» 1958 года. Так, в глоссе к «Состоянию европейской юриспруденции» Шмитт выступает уже против Савиньи и на стороне Гегеля, потому что последний лучше понимал актуальную форму легальности и легитимности; в глоссе к статье «Проблема легальности» он исторически более точно определяет «расщепление легальности и легитимности», датируя его начало «периодом реставрации после 1815 года» (VRA: 449) и прочерчивая линию стратегической инструментализации легальности после Карла Маркса. Об этом также можно многое сказать. Но мы лишь вновь повторим, что «Состояние европейской юриспруденции» как первая крупная публикация в ФРГ вышла в марте 1950 года — за три четверти года до «Номоса земли». При этом на Пасху 1950 года Шмитт отправил книжечку Эрнсту Юнгеру, оставив самому адресату определить, что имеется в виду в сочинении. Его посвящение звучало так:

*Dilexi justitiam et odi iniquitatem*<sup>21</sup>

*propterea a) unxit me Dominus meus oleo laetitiae; sic Psalm 44(45) 8;*

*b) morior in exilio; sic ultima verba S. Gregorii VII Papae*

Эрнст Юнгер должен был выбрать, какое посвящение лучше подходит. В первом варианте Шмитт цитирует место из Библии: «Я любил справедливость и ненавидел беззаконие, поэтому помазал меня мой Господь елеем радости». Во втором варианте он цитирует последние слова папы Григория VII о своей покинутости Богом, в которых обыгрывается сцена распятия: «Я любил справедливость и ненавидел беззаконие, поэтому умираю в изгнании». Хотя в это время, в 1950 году, Шмитт и искал повторного сближения с католической церковью, но его старый товарищ и друг Эрнст Юнгер очень точно знал, что Шмитт собственно не считал необходимым, чтобы религиозное обетование спасения опосредствовало институты, он разделял библейское непосредственное отношение к Богу. Шмитт отстаивал принципиальное позитивное отношение к религии и видел себя «помазанным елеем радости». Однако в это время его публицистическое возвращение столкнулось с некоторым сопротивлением. Многочисленные рецензенты указывали на апологетическое сглаживание истории. Укажем лишь на две реакции значимых его боннских учеников.

Эрнст Форстхофф отреагировал на сочинение в письме от 16 марта 1950 года выражением преданного одобрения и представил детальные соображения по «управлению» рецепцией (Mußgnug, 2007: 68f.). Напротив, конституционно-теоретически более независимый Эрнст Рудольф Хубер в многостраничном письме от 16 июня 1950 года оспорил практически все, о чем написал Шмитт. Хубер иначе интерпретировал роль Савиньи и поменял местами стороны фронта между легальностью и легитимностью. Он защищал модус легальности от критики Шмитта и критиковал притязания от имени легитимности. Он писал так:

При всей полемике против легалистской инструментализации нельзя забывать и о том, что на этом заключительном этапе разложения не только «закон», но и «естественное право» становятся инструментом произвола, дискриминации и террора. Ссылки на «конкретный порядок», «здоровое понимание права и народа», на иррациональные энергии, на природу или разум, на справедливость и человечность, на христианское естественное право и божественную правовую заповедь превращаются, как и закон, в орудие планомерной дискриминации, лишения прав и уничтожения. Таким образом, разложение становится полным только тогда, когда к открытой жестокости псевдолегалистских установлений добавляется яд псевдолегитимистских заверений, при содействии всегда функционирующей юриспруденции. Возникает вопрос, где в таком состоянии еще можно найти прибежище для нефальсифицированного правового сознания? (Grothe, 2014: 365f.)

21. Об этом см.: Mehring, Dechert, 2017.

Хотя Шмитт собственно разделял этот критический взгляд на притязания со стороны легитимности на естественно-правовые «лозунги гражданской войны», Хубер очень точно указал своему учителю по Боннскому университету на то, что полемическое выступление против «легальности» отвлекает от апологий национал-социалистической легитимности и тем самым препятствует честному разбору его собственной роли. Несомненно, что в шмиттовском отождествлении себя с Савиньи Хубер также увидел подобный стратегический маневр по уклонению от ответственности и апологетическую легенду. Таким образом, Хубер подчеркивал, что критика «расщепления легальности и легитимности» не должна пренебрегать и вопросом о легитимности.

### Актуализированный вывод

Вначале я провел различие между историзирующим прочтением и привязанной к современному контексту рецепцией. Были названы некоторые аспекты строгой историографии. При этом ссылка Шмитта на Савиньи как автора парадигмы «дистанцирования» была проинтерпретирована как автобиографическая легенда, не соответствующая его деятельности в качестве национал-социалистического государственного советника. Но если перенести сочинение Шмитта в другую эпоху и рассмотреть с точки зрения нынешнего времени, то некоторые сильные тезисы его работ окажутся применимыми и стимулирующими дальнейшие размышления. Указание Шмитта на предшествующие культурные и исторические общеевропейские конституционные стандарты кажется правильным; теоретико-правовой анализ разложения модуса легальности, а также общие идеи о «моторизованном законодателе» и об опасности утраты дистанции в фрагментированной правовой системе также оказываются точными и работающими. Что касается паралича формы закона, то именно у Дональда Трампа в его твиттере мы можем наблюдать, как развивается этот паралич. Сегодня наблюдательные юристы могут навскидку назвать сразу несколько теоретико-правовых и культурно-правовых проблем вроде кризисного режима в ЕС в последние годы, юридически сомнительного, не соответствующего либерально-демократическим принципам и политической культуре либеральной демократии<sup>22</sup>. При более трезвом и дифференцированном теоретико-правовом анализе шмиттовский кризисный диагноз стадий разложения правового кода может стать во многих отношениях весьма актуальным. При этом совершенно бесспорны рационализирующая роль и возможности юриспруденции; в конце концов, правовая политика реализуется преимущественно юристами. Монополия юристов в политике и управлении имеет, однако, определенные границы и риски. И все это возможно с разных точек зрения обсуждать в связи с работой Шмитта.

---

22. Так, например, на уровне ЕС принимается соглашение об оказании финансовой помощи, при этом игнорируются права парламента и парламентская процедура в Германии.

Наряду с апологетической версией отождествления Шмиттом себя с Савиньи, здесь мы прежде всего показали, что Шмитт решает проблему «расщепления права на легальность и легитимность» только критикой легальности, сознательно оставляя без внимания вопрос о легитимности. Разумеется, философско-правовое определение соотношения легальности и легитимности является незаменимым; о различных концептах и амбициях легитимности также можно сказать кое-что позитивное, вместо огульного осуждения как «лозунгов гражданской войны». Это было ясно и самому Шмитту. Однако в своей работе «Состояние европейской юриспруденции» Шмитт отказывается от философско-правового ответа и ограничивается диагностикой кризиса, поскольку ответ он хотел дать, и дал, в «Номосе земли», вышедшем несколько месяцев спустя. Насколько он убедителен с точки зрения систематики, это другой вопрос. В любом случае его юридические сочинения соотносятся между собой как вопросы и ответы: при этом, если «Состояние европейской юриспруденции» все еще разворачивается в рамках привычных юридических терминов и проблем, то ответ Шмитта в «Номосе земли» сформулирован весьма своеобразно и герметично. В том числе и поэтому «Состояние европейской юриспруденции» — сравнительно популярное сочинение, тогда как «Номос земли» читатели скорее избегают из-за громоздкости этого текста, несмотря на успешную политику в вопросах терминологии, в частности введении ключевого понятия «*jus publicum europaeum*»<sup>23</sup>. В принципе, я готов согласиться со Шмиттом в том, что значение «классика» не столько в удовлетворительных ответах, сколько в своевременной артикуляции определенных проблем и констелляций. И если Шмитт описывает XX век как «второй этап» кризиса легальности законодательного государства, то сегодня, вероятно, следует говорить о «третьей стадии», когда либерально-демократические конституционные стандарты отделились от национальной государственности, а проект современного конституционного государства в целом достиг пределов, за которыми его структурное тождество еще может быть сохранено.

В 1965 году виднейший ученик Шмитта в Боннском университете Эрнст Рудольф Хубер опубликовал сборник статей «Национальное государство и конституционное государство» (Huber, 1965), само название которого говорило о новых задачах и вопросах: были ли стандарты современного конституционного государства привязаны к национальному государству как таковому? Было ли политическое единство «нации» субстанциальным ядром легитимности конституционного государства? Зависит ли система легальности конституционного государства с его правовой структурой от этого мощного источника легитимности? Для демократизации конституционной системы ресурс национальной солидарности был относительно самостоятельным источником мощи. Так, сегодня вновь рассматривается и подчеркивается историческая взаимосвязь процессов формирования наций и демократизации. Известный историк Генрих Август Винклер высказался об этом

---

23. Об этом см.: Bogdandy, Hinghofer-Szalky, 2013.

очень ярко: «Ориентированный на универсальные принципы „конституционный патриотизм“, несомненно, был очень полезен для старой Федеративной Республики, но его недостаточно для обоснования солидарности, необходимой объединенной Германии, — солидарности национальной» (Winkler, 2015: 34f.).

В своем «Учении о конституции» (Schmitt, 1928: 125ff., §§ 12–13) Шмитт в целом уже отстаивал мнение, что хотя принципы «буржуазного правового государства» — организационный принцип разделения властей и принцип распределения основных прав — опираются на «понятие закона правового государства», однако это понятие размывается, его основная функция парализуется в процессе поворота к «исполнительному государству» и перехода от закона к «распоряжению». Сегодня размывание основных прав мы видим не только в том, что касается права на убежище, права на «самостоятельное распоряжение личными данными» (*informationelle Selbstbestimmung*) или права на свободу вероисповедания. Внимательное наблюдение за этим процессом — ответственная задача юридической науки. Сочинения о кризисах по понятным причинам часто воспринимаются осторожно и скептически. Сочинения Шмитта — это «троянские кони», это коварное оружие в дискурсе, эти сочинения тянут за собой много такого, чего на самом деле не желали. «Состояние европейской юриспруденции» также не столь безобидно и бесп проблемно, как может показаться. Но несмотря на это, или именно из-за этого, оно при трезвом прочтении очень хорошо работает в качестве юридического введения в семантический космос Карла Шмитта.

## Литература

- Шмитт К. (2000а). Духовно-историческое состояние современного парламентаризма / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца // Шмитт К. Политическая теология. М.: КАНОН-пресс-Ц. С. 155–256.
- Шмитт К. (2000б). Римский католицизм и политическая форма / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Шмитт К. Политическая теология. М.: КАНОН-пресс-Ц. С. 99–154.
- Шмитт К. (2008). Номос Земли в праве народов *jus publicum Europaeum* / Пер. с нем. К. Лощевского и Ю. Коринца под ред. Д. Кузницына. СПб.: Владимир Даль.
- Шмитт К. (2010). Фюрер защищает право // Шмитт К. Государство и политическая форма / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова. М.: Высшая школа экономики. С. 263–270.
- Blasius D. (2001). Carl Schmitt: Preußischer Staatsrat in Hitlers Reich. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bogdandy A. von, Hinghofer-Szalky S. (2013). Das etwas unheimliche *Ius Publicum Europaeum*: Begriffsgeschichtliche Analysen im Spannungsfeld von europäischem Rechtsraum, *droit public de l'Europe* und Carl Schmitt // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht. Bd. 73. S. 209–248.

- Dreier H.* (2016). Staatsrecht in Demokratie und Diktatur: Studien zur Weimarer Republik und zum Nationalsozialismus. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Grothe E.* (Hg.). (2014). Carl Schmitt — Ernst Rudolf Huber: Briefwechsel 1926–1981. Berlin: Duncker & Humblot.
- Grothe E., Mehring R.* (2016). Das «Problem des geheimen Gesetzes» und die Grenze des «Führernotrechts»: Erstveröffentlichung von Ernst Rudolf Hubers Vortrag «Gesetz und Maßnahme» aus dem Wintersemester 1944/45 // *Der Staat*. Bd. 55. S. 69–96.
- Hofmann H.* (1964). Legitimität gegen Legalität: Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts. Neuwied: Luchterhand.
- Hölderlin F.* (1943). Sämtliche Werke. Bd. 3. Berlin: Propyläen-Verlag.
- Huber E. R.* (1965). Nationalstaat und Verfassungsstaat: Studien zur Geschichte der modernen Staatsidee. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Kirchmann J.* (1848). Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft. Berlin: Springer.
- Lethen H.* (2018). Die Staatsräte: Elite im Dritten Reich. Berlin: Rowohlt.
- Lewald W.* (1950). Carl Schmitt redivivus // *Neue Juristische Wochenschrift*. № 3.
- Mehring R.* (2009). Carl Schmitt: Aufstieg und Fall: Eine Biographie. München: C. H. Beck.
- Mehring R.* (Hg.). (2012). «Auf der gefahrenvollen Straße des öffentlichen Rechts...»: Briefwechsel Carl Schmitt—Rudolf Smend 1921–1961. Berlin: Duncker & Humblot.
- Mehring R.* (2013). Politische Theologie des Anarchismus: Fritz Mauthner und Gustav Landauer im Visier Carl Schmitts // *Hartung G.* (Hg.). *An den Grenzen der Sprachkritik: Fritz Mauthners Beiträge zur Sprach- und Kulturtheorie*. Würzburg: Königshausen & Neumann. S. 85–111.
- Mehring R.* (2017a). Carl Schmitt: Denker im Widerstreit: Werk — Wirkung — Aktualität. Freiburg: Karl Alber.
- Mehring R.* (2017b). Carl Schmitts Schrift Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft // *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*. Bd. 77. Heft 4. S. 853–875.
- Mehring R.* (2017c). Carl Schmitt zur Einführung. Hamburg: Junius.
- Mehring R.* (2017d). Ulrich Bröckling: Gute Hirten führen sanft: Über Menschenregierungskünste // *Philosophischer Literaturanzeiger*. Bd. 70. Heft 4. S. 53–57.
- Mehring R.* (2017e). Vom Staatsrat zum Führerrat? Carl Schmitts Staatsrat-Projekt 1933 // *Mehring R.* Carl Schmitt: Denker im Widerstreit: Werk — Wirkung — Aktualität. Freiburg: Karl Alber. S. 80–97.
- Mehring R., Dechert N.* (2017). Ernst Jünger/Carl Schmitt: Widmungen in Büchern // *Jünger-Debatte*. Bd. 1. S. 183–204.
- Mußgnug D.* (Hg.). (2007). Ernst Forsthoff — Carl Schmitt: Briefwechsel 1926–1974. Berlin: De Gruyter.
- Nagel A.* (2015). Johannes Popitz (1884–1945): Görings Finanzminister und Verschwörer gegen Hitler: Eine Biographie. Köln: Böhlau.
- Savigny F. von.* (1840). System des heutigen römischen Rechts. Bd. 1. Berlin: Veit.

- Schmitt C.* (1912). *Gesetz und Urteil: Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis.* Berlin: O. Liebmann.
- Schmitt C.* (1926). *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus.* München: Duncker & Humblot.
- Schmitt C.* (1928). *Verfassungslehre.* München: Duncker & Humblot.
- Schmitt C.* (1934a). *Der Weg des deutschen Juristen // Deutsche Juristen-Zeitung.* Bd. 39. S. 691–698.
- Schmitt C.* (1934b). *Nationalsozialistisches Rechtsdenken // Deutsches Recht.* Bd. 4. S. 225–229.
- Schmitt C.* (1934c). *Der Führer schützt das Recht: Zur Reichstagsrede Adolf Hitlers vom 13. Juli 1934 // Deutsche Juristen-Zeitung.* Bd. 39. S. 945–950.
- Schmitt C.* (1935a). *Die Verfassung der Freiheit // Deutsche Juristen-Zeitung.* Bd. 40. S. 1133–1135.
- Schmitt C.* (1935b). *Kodifikation oder Novelle? Über die Aufgabe und Methode der heutigen Gesetzgebung // Deutsche Juristen-Zeitung.* Bd. 40. S. 919–925.
- Schmitt C.* (1936a). *Aufgabe und Notwendigkeit des deutschen Rechtsstandes // Deutsches Recht.* Bd. 6. S. 181–185.
- Schmitt C.* (1936b). *Die geschichtliche Lage der deutschen Rechtswissenschaft // Deutsche Juristen-Zeitung.* Bd. 41. S. 15–21.
- Schmitt C.* (1936c). *Faschistische und nationalsozialistische Rechtswissenschaft // Deutsche Juristen-Zeitung.* Bd. 41. S. 619–620.
- Schmitt C.* (1937). *Der Staat als Mechanismus bei Hobbes und Descartes // Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie.* Bd. 30. S. 622–632.
- Schmitt C.* (1938). *Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff.* München: Duncker & Humblot.
- Schmitt C.* (1939). *Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte: Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht.* Berlin: Deutscher Rechtsverlag.
- Schmitt C.* (1940a). *Das «allgemeine deutsche Staatsrecht» als Beispiel rechtswissenschaftlicher Systembildung // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft.* Bd. 100. S. 5–24.
- Schmitt C.* (1940b). *Positionen und Begriffe.* Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt.
- Schmitt C.* (1942a). *Beschleuniger wider Willen oder: Problematik der westlichen Hemisphäre // Das Reich.* vom 19. April. S. 3–5.
- Schmitt C.* (1942b). *Die Formung des französischen Geistes durch den Legisten // Deutschland-Frankreich. Vierteljahresschrift des Deutschen Instituts.* Paris 1. S. 1–30.
- Schmitt C.* (1949). *Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation // Die neue Ordnung.* Bd. 3. S. 1–15.
- Schmitt C.* (1950a). *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum.* Köln: Greven.
- Schmitt C.* (1950b). *Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation.* Köln: Greven.
- Schmitt C.* (1950c). *Ex Captivitate Salus.* Köln: Greven.

- Schmitt C.* (1952). Zum Gedächtnis von Serge Maiwald // *Zeitschrift für Geopolitik*. Bd. 23. Heft 7. S. 447–448.
- Schmitt C.* (1984). *Römischer Katholizismus und politische Form* (1923/25). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schmitt C.* (2005). *Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C.* (2015). *Glossarium: Aufzeichnungen aus den Jahren 1947 bis 1958*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C.* (2016). *Der Hüter der Verfassung*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schneider H.* (1952). *Der preußische Staatsrat 1817–1918*. München: C. H. Beck.
- Stolleis M.* (1999). *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*. Bd. 3: Staatsrechtswissenschaft und Verwaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur 1914–1945. München: C. H. Beck.
- Tilitzki C.* (1998). *Vortragsreisen Carl Schmitts während des Zweiten Weltkriegs // Schmittiana*. Bd. 6. S. 191–270.
- Winkler H. A.* (2015). *Wider die postnationale Nostalgie // Winkler H. A. Zerreißproben: Deutschland, Europa und der Westen: Interventionen 1990 bis 2015*. München: C. H. Beck. S. 30–36.

## “The State of European Jurisprudence” by Carl Schmitt

### *Reinhard Mehring*

Prof., Dr., Pädagogische Hochschule Heidelberg  
Address: Keplerstraße, 87, Heidelberg, Deutschland D-69120  
E-mail: mehring@ph-heidelberg.de

### *Oleg Kildyushov (translator)*

Researcher, National Research University Higher School of Economics  
Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000  
E-mail: kildyushov@mail.ru

The article provides an analysis of “The State of European Jurisprudence” by Carl Schmitt. The article offers a brief reconstruction of Schmitt’s “mental geography”, that is, his thoughts on the place of Europe and Germany in the history of the 20th century, as well as on the geo-strategic affiliation of Soviet Russia. The first part ends with the author’s interesting reflections on how Schmitt would perceive the situation in the contemporary Russian Federation. At the beginning of the next section, the scholar presents his research framework which, in his opinion, allows him to adequately deal with the texts of such a complex author as Carl Schmitt. The second part also considers the different versions of a given paper and the context of its origin; this part pays special attention to Schmitt’s wartime lectures of 1943–1944 which already contained the semantic core of their subsequent 1950 publication. The third section reconstructs Schmitt’s reception of the history of jurisprudence which started in the 1920s. The fourth and final part analyses the structure of the paper itself. It presents Schmitt’s concept of the “cabinet of mirrors” as a kind of extremely successful illustration for the history of ideas: it is a set of referenced authors with whom

he identified himself with during various years. The article ends with the conclusion stating the great heuristic potential of Schmitt's oeuvre which contributes substantially to the understanding of current political and legal disputes. This article is a new version of a public lecture delivered by Reinhard Mehring, Professor of the Heidelberg University of Education, and a renowned biographer and scholar of Carl Schmitt. The article was revised for this Russian publication. The author, taking the particular interests of an Russian audience into account, added a special fragment on the significance of Russia's image in Schmitt's works.

**Keywords:** Carl Schmitt, jurisprudence, National Socialism, the history of ideas, Friedrich von Savigny, Russia, Bolshevism

## References

- Blasius D. (2001) *Carl Schmitt: Preußischer Staatsrat in Hitlers Reich*, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bogdandy A. von, Hinghofer-Szalky S. (2013) Das etwas unheimliche Ius Publicum Europaeum: Begriffsgeschichtliche Analysen im Spannungsfeld von europäischem Rechtsraum, droit public de l'Europe und Carl Schmitt. *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht*, Bd. 73, S. 209–248.
- Dreier H. (2016) *Staatsrecht in Demokratie und Diktatur: Studien zur Weimarer Republik und zum Nationalsozialismus*, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Grothe E. (Hg.) (2014) *Carl Schmitt — Ernst Rudolf Huber: Briefwechsel 1926–1981*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Grothe E., Mehring R. (2016) Das «Problem des geheimen Gesetzes» und die Grenze des «Führernotrechts»: Erstveröffentlichung von Ernst Rudolf Hubers Vortrag «Gesetz und Maßnahme» aus dem Wintersemester 1944/45. *Der Staat*, Bd. 55, S. 69–96.
- Hofmann H. (1964) *Legitimität gegen Legalität: Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts*, Neuwied: Luchterhand.
- Hölderlin F. (1943) *Sämtliche Werke*, Bd. 3, Berlin: Propyläen-Verlag.
- Huber E.R. (1965) *Nationalstaat und Verfassungsstaat: Studien zur Geschichte der modernen Staatsidee*, Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Kirchmann J. (1848) *Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*, Berlin: Springer.
- Lethen H. (2018) *Die Staatsräte: Elite im Dritten Reich*, Berlin: Rowohlt.
- Lewald W. (1950) Carl Schmitt redivivus. *Neue Juristische Wochenschrift*, no 3.
- Mehring R. (2009) *Carl Schmitt: Aufstieg und Fall: Eine Biographie*, München: C. H. Beck.
- Mehring R. (Hg.) (2012) *„Auf der gefährlichen Straße des öffentlichen Rechts...“: Briefwechsel Carl Schmitt — Rudolf Smend 1921–1961*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Mehring R. (2013) Politische Theologie des Anarchismus: Fritz Mauthner und Gustav Landauer im Visier Carl Schmitts. *An den Grenzen der Sprachkritik: Fritz Mauthners Beiträge zur Sprach- und Kulturtheorie* (Hg. G. Hartung), Würzburg: Königshausen & Neumann, S. 85–111.
- Mehring R. (2017) *Carl Schmitt: Denker im Widerstreit: Werk — Wirkung — Aktualität*, Freiburg: Karl Alber.
- Mehring R. (2017) Carl Schmitts Schrift Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft. *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, Bd. 77, Heft 4, S. 853–875.
- Mehring R. (2017) *Carl Schmitt zur Einführung*, Hamburg: Junius.
- Mehring R. (2017) Ulrich Bröckling: Gute Hirten führen sanft: Über Menschenregierungskünste. *Philosophischer Literaturanzeiger*, Bd. 70, Heft 4, S. 53–57.
- Mehring R. (2017) Vom Staatsrat zum Führerrat? Carl Schmitts Staatsrat-Projekt 1933. *Carl Schmitt: Denker im Widerstreit: Werk — Wirkung — Aktualität*, Freiburg: Karl Alber, S. 80–97.
- Mehring R., Dechert N. (2017) Ernst Jünger/Carl Schmitt: Widmungen in Büchern. *Jünger-Debatte*, Bd. 1, S. 183–204.
- Mußgnug D. (Hg.) (2007) *Briefwechsel Ernst Forsthoff — Carl Schmitt 1926–1974*, Berlin: De Gruyter.
- Nagel A. (2015) *Johannes Popitz (1884–1945): Görings Finanzminister und Verschwörer gegen Hitler: Eine Biographie*, Köln: Böhlau.
- Savigny F. von (1840) *System des heutigen römischen Rechts*, Bd. 1, Berlin: Veit.

- Schmitt C. (1912) *Gesetz und Urteil: Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis*, Berlin: O. Liebmann.
- Schmitt C. (1926) *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus*, München: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (1928) *Verfassungslehre*, München: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (1934) Der Weg des deutschen Juristen. *Deutsche Juristen-Zeitung*, Bd. 39, S. 691–698.
- Schmitt C. (1934) Nationalsozialistisches Rechtsdenken. *Deutsches Recht*, Bd. 4, S. 225–229.
- Schmitt C. (1934) Der Führer schützt das Recht: Zur Reichstagsrede Adolf Hitlers vom 13. Juli 1934. *Deutsche Juristen-Zeitung*, Bd. 39, S. 945–950.
- Schmitt C. (1935) Die Verfassung der Freiheit. *Deutsche Juristen-Zeitung*, Bd. 40, S. 1133–1135.
- Schmitt C. (1935) Kodifikation oder Novelle? Über die Aufgabe und Methode der heutigen Gesetzgebung. *Deutsche Juristen-Zeitung*, Bd. 40, S. 919–925.
- Schmitt C. (1936) Aufgabe und Notwendigkeit des deutschen Rechtsstandes. *Deutsches Recht*, Bd. 6, S. 181–185.
- Schmitt C. (1936) Die geschichtliche Lage der deutschen Rechtswissenschaft. *Deutsche Juristen-Zeitung*, Bd. 41, S. 15–21.
- Schmitt C. (1936) Faschistische und nationalsozialistische Rechtswissenschaft. *Deutsche Juristen-Zeitung*, Bd. 41, S. 619–620.
- Schmitt C. (1937) Der Staat als Mechanismus bei Hobbes und Descartes. *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, Bd. 30, S. 622–632.
- Schmitt C. (1938) *Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff*, München: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (1939) *Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte: Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht*, Berlin: Deutscher Rechtsverlag.
- Schmitt C. (1940) Das "allgemeine deutsche Staatsrecht" als Beispiel rechtswissenschaftlicher Systembildung. *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, Bd. 100, S. 5–24.
- Schmitt C. (1940) *Positionen und Begriffe*, Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt.
- Schmitt C. (1942) Beschleuniger wider Willen oder: Problematik der westlichen Hemisphäre. *Das Reich*, 19 April, S. 3–5.
- Schmitt C. (1942) Die Formung des französischen Geistes durch den Legisten. *Deutschland-Frankreich: Vierteljahresschrift des Deutschen Instituts*, S. 1–30.
- Schmitt C. (1949) Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation. *Die neue Ordnung*, Bd. 3, S. 1–15.
- Schmitt C. (1950) *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Köln: Greven.
- Schmitt C. (1950) *Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation*, Köln: Greven.
- Schmitt C. (1950) *Ex Captivitate Salus*, Köln: Greven.
- Schmitt C. (1952) Zum Gedächtnis von Serge Maiwald. *Zeitschrift für Geopolitik*, Bd. 23, Heft 7, S. 447–448.
- Schmitt C. (1984) *Römischer Katholizismus und politische Form (1923/25)*, Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schmitt C. (1998) Duhovno-istoricheskoe sostojanie sovremennogo parlamentarizma [The Spiritual and Historical State of Modern Parliamentarism]. *Politicheskaja teologija* [Political Theology]. Moscow: KANON-press-C, pp. 155–256.
- Schmitt C. (1998) Rimskij katolicizm i politicheskaja forma [Roman Catholicism and Political Form]. *Politicheskaja teologija* [Political Theology]. Moscow: KANON-press-C, pp. 99–154.
- Schmitt C. (2005) *Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (2008) *Nomos Zemli v prave narodov jus publicum Europaeum* [The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum], Saint Petersburg: Vladimir Dahl.
- Schmitt C. (2010) Fjurer zashhishhaet pravo [The Führer Upholds the Law]. *Gosudarstvo i politicheskaja forma* [The State and the Political Form], Moscow HSE, pp. 263–270.
- Schmitt C. (2015) *Glossarium: Aufzeichnungen aus den Jahren 1947 bis 1958*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (2016) *Der Hüter der Verfassung*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schneider H. (1952) *Der preußische Staatsrat 1817–1918*, München: C. H. Beck.

- Stolleis M. (1999) *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Bd. 3: Staatsrechtswissenschaft und Verwaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur 1914–1945*, München: C. H. Beck.
- Tilitzki C. (1998) Vortragsreisen Carl Schmitts während des Zweiten Weltkriegs. *Schmittiana*, Bd. 6, S. 191–270.
- Winkler H. A. (2015) Wider die postnationale Nostalgie. *Zerreissproben: Deutschland, Europa und der Westen: Interventionen 1990 bis 2015*, München: C. H. Beck, S. 30–36.

## Место смерти: о значении Ленинградской блокады в позднесоветской культуре\*

*Ирина Каспэ*

Кандидат культурологии, независимый исследователь

Адрес: ул. Солянка, д. 3, стр.1, офис 14, Москва, Российская Федерация 109028

E-mail: [ikaspe@yandex.ru](mailto:ikaspe@yandex.ru)

В данной статье предпринимается попытка выяснить, какое место блокадный Ленинград занимал на «когнитивной карте» позднесоветской культуры (1960–1980-е годы). Образ, или, точнее, образы, осажденного города, воспроизводившиеся в эти десятилетия, рассматриваются автором в связи с проблематикой пространственного восприятия. В центре исследования — Пискаревское кладбище, особое пространство, вынесенное за пределы «исторического Петербурга» и организованное для выполнения мемориальных задач. Однако автор отказывается формулировать свои цели в терминах «коллективной памяти» и исследует те символически нагруженные и экзистенциально значимые практики, которые скрываются за мемориальной риторикой и в действительности не имеют отношения к мнемоническим процедурам. Статья опирается на два типа источников: к одному относятся советские альбомы и туристические брошюры, посвященные Пискаревскому кладбищу, к другому — воспоминания респондентов о посещении этого мемориала в позднесоветское время. В первом случае речь идет о нормативном взгляде, регламентирующем аффекты и задающем режимы скорби, во втором — о возможностях реконструкции сложного персонального опыта, нередко сопряженного, как показывается в статье, с глубокими эмоциональными потрясениями. Дополняя друг друга, эти источники позволяют увидеть образ блокадного Ленинграда как своего рода проекцию представлений о смерти, как символический «ад», располагавшийся на противоположном полюсе от символического «рая» — утопического коммунистического будущего.

*Ключевые слова:* Ленинградская блокада, поздний социализм, коммеморативное пространство, сакральное пространство, утопическое пространство, культура смерти

© Каспэ И. М., 2018

© Центр фундаментальной социологии, 2018

DOI: 10.17323/1728-192X-2018-1-59-105

\* Статья подготовлена в рамках коллективного проекта «Изоляционизм и советское общество: ментальные структуры, политические мифологии и культурные практики (1946–1985)» (ШАГИ РАНХиГС, 2017). Это мой первый опыт работы с исследовательскими интервью, и я признательна коллегам — Татьяне Кобзаревой, Любви Борусяк, Евгению Воробьевой (Вежлян), Светлане Маслинской, Сергею Ушакину, — чьи советы меня очень поддержали. Я бесконечно благодарна Игорю Вишневецкому, Константину Шумову, Евгению Когану и всем анонимным респондентам за готовность включиться в эмоционально тяжелый разговор и за ту глубину, которую приобретали наши беседы. Если мне не вполне удалось ее здесь передать, это целиком моя ответственность.

У врага из поля зренья  
Исчезает Ленинград.  
Зимний где? Где Летний сад?  
Здесь другое измеренье:  
Наяву и во плоти  
Тут живому не пройти.

Виталий Пуханов.  
«В Ленинграде, на рассвете...» (2009)

## Образы блокадного города. Канон и аффект

### *Увеличительное стекло*

Около десяти лет назад, когда процитированное в эпиграфе стихотворение вызвало напряженную полемику, его автор, Виталий Пуханов, ответил на многочисленные претензии формулировкой «Блокаду нужно снимать» (Пуханов, 2009: 281), имея в виду, что сама тема осажденного Ленинграда заблокирована, сопряжена с серьезными дискурсивными препятствиями. Действительно ли существует такой блок? Как допустимо и как нельзя говорить о Ленинградской блокаде? Кто может и кто не может быть в этом случае субъектом речи? Пожалуй, с подобными вопросами сегодня, так или иначе, встречается любая попытка коснуться этой темы не с позиции свидетеля и не с позиции исследователя свидетельств.

Игорь Вишневецкий, предпринявший такого рода попытку в повести, а несколько позднее в фильме «Ленинград»<sup>1</sup>, заметил в интервью со мной, что определенный консенсус, который сложился вокруг образа блокадного Ленинграда, делает этот образ «увеличительным стеклом», позволяющим говорить о советском опыте Второй мировой (Великой Отечественной) войны в целом — о вытесненных, невидимых, неназванных сторонах этого опыта. При этом Вишневецкий делает акцент на персональной значимости подобного разговора — для себя и для своих сверстников:

Мы поняли, что мы последнее поколение, которое может что-то рассказать про то, что чувствовали наши родители, у которых не было языка <чтобы> все это рассказать. <...> В их поколении, я думаю, никого не было, кто нашел бы с их точки зрения... и вообще... адекватный язык, чтобы описать войну. И может быть даже, чтобы описать советскую действительность. <...> Я пытался писать про то, что могли испытать мои родители [в этом же интервью Игорь Вишневецкий рассказывает о тяжелом опыте оккупации, который пережил в Донском крае его отец. — И. К.], но это перешло в повесть «Ленинград». Первые черновики были о Ростове-на-Дону, но потом материал перешел в совершенно другую повесть — о блокаде. Почему? Блокада — это некое увеличительное стекло. Это некий <...> сгусток всего того, что связа-

1. Повесть была опубликована в 2010 году, в 2014-м завершилась работа над экранизацией — Вишневецкий является и ее режиссером, и исполнителем главной роли.

но было с советско-военным опытом. <...> Ленинград — это случай когда... существует консенсус общественный, что вот да, в этом месте происходили зверские вещи. Общественного консенсуса даже вот, например, по поводу моего родного города Ростова-на-Дону не существует <...> Потому что... чтобы начать об этом говорить, нужно признать некоторые вещи, которые очень тяжело признать. А с Ленинградом существует консенсус — там было зверство. Поэтому об этом можно говорить. Если я начинаю говорить о Ленинграде, общество как-то спокойно к этому относится... Хотя, например, к тому, что делал я, общество относилось не спокойно. <...> Если бы я стал говорить о Ростове-на-Дону, то меня бы вообще... мне даже страшно представить, куда бы меня записали.

Далее, отвечая на мой вопрос, автор «Ленинграда» упоминает о множественных упреках, которые были обращены к нему и к его повести, — от замечаний, что повесть слишком хорошо написана (подразумевалось, что в данном случае это недопустимо), до обвинений в нигилизме и даже тоталитарных симпатиях. Мне бы хотелось зафиксировать этот особый статус блокадной темы: с одной стороны, безусловно, существует консенсус относительно того, что в осажденном Ленинграде происходило что-то предельно, запредельно страшное, с другой — такой консенсус все же не защищает повесть «Ленинград» от эмоциональных (и, на мой взгляд, явно несправедливых) реакций, а возможно — прямо их провоцирует. С последним тезисом Игорь Вишневецкий вряд ли бы согласился (он склонен вписывать подобные отклики на его книгу в контекст «общественной дискуссии об отношении к советскому»), мне, однако, видится здесь прежде всего указание на то, что блокадная тема остается зоной аффективной сопричастности.

Подчеркну: речь не идет об опыте семейной причастности к блокаде; собирая материалы для этой статьи, я искала свидетельства тех, чьи семьи *не были* в блокадном городе, тех, для кого непосредственный блокадный опыт не является событием семейной истории. Разумеется, в ходе такого поиска я сталкивалась с достаточно разными способами выстраивания отношений с блокадной темой, в том числе с весьма дистанцированными. Но при этом отчетливо регистрируются случаи очень сильной вовлеченности, о которой рассказывают даже с несколько удивленными интонациями.

В подобных нарративах аффект сопричастности может мотивироваться ленинградской идентичностью — как в пронзительном тексте, который я получила по электронной почте в ответ на объявление о поиске респондентов для устного исследовательского интервью:

Сколько я себя помню, столько блокадная тема прочно внутри меня, острое чувство сопереживания никогда не покидает меня. При этом никто из моих близких (а часть нашей семьи всегда жила в Ленинграде) в блокаду не погиб — так случилось, что в самые первые дни войны они уехали к своим родным в Новгород, куда война пришла еще раньше, и оттуда эвакуировались в Кировскую область. Когда вернулись, в квартире ничего не было тронут

и — о ужас! — на кухне с тех самых времен стоял пакет риса и бутылка подсолнечного масла. Как же все переживали, как поверить не могли в такую несправедливость — ведь кому-то это могло спасти жизнь. И рассказы ленинградцев, и книжки, которые я в детстве читала, произвели на всю жизнь такое глубокое впечатление, что много-много лет я постоянно по-детски подсчитывала, сколько дней можно протянуть на тех продуктах, что были в доме. А выбросить даже маленький кусочек хлеба и сейчас рука не поднимается. В общем, это память крови.

Однако для выражения подобных чувств вовсе не обязательна какая бы то ни было «кровая», биографическая связь с Ленинградом-Петербургом; нарратив сопричастности может строиться и через констатацию абсолютной немотивированности аффекта: «У меня никто не погиб в блокаду. И я не знаю, почему именно она — не оборона Севастополя или Сталинграда — для меня ТАКАЯ большая тема», — автор этой записи, обнаруженной мной в соцсетях, позднее в интервью со мной пояснила:

У нас в роду вообще нет людей из Питера и поэтому, как бы, у меня, ну, условно говоря, родового послания у меня нет, да... У меня нет ничего, что могло бы мне напоминать по роду об этом... У меня подмосковные и брянские корни... То есть мне по сути должны быть ближе, там, э-э-э, партизаны брянских лесов и, там, защита, оборона Москвы. Не говоря о том, что, например, там брат моей бабушки погиб вот среди этого пушечного мяса, которое бросили на защиту Москвы. Но почему-то именно Ленинград, а не Сталинградская битва для меня вот боль такая, что... <...> Я жила на Волге, мое детство прошло на Волге, то есть это недалеко вроде бы Сталинград, да, Волгоград. <...> Например, Сталинградская битва меня никогда не затрагивала. Ну, я знаю дом Павлова вот, например, но такого личного отношения у меня никогда не было. К блокаде у меня, конечно, совершенно личное отношение. (ОГ<sup>2</sup>)

Как вспоминает моя респондентка, это чувство личной вовлеченности в блокадную тему впервые переживается ею в семь или восемь лет во время просмотра документального фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» (1965) и закрепляется через семейный воспитательный ритуал, связанный с едой:

У нас в семье была поговорка, мне отец говорил, если я что-нибудь там не доедала, или мама говорила: «А вот в блокадном Ленинграде тебя вот за то, что ты сейчас вот выбросила...» И у меня вот возник этот вопрос: «А что такое в блокадном Ленинграде?» Мне что-то рассказывали, но что рассказывали, я уже не помню, я понимала, что когда мне показали вот этот вот кусочек хлеба, который давали на день, я всегда с тех пор и до сих пор, кстати, я всегда вот если я выбрасываю хлеб или еду <...> у меня прям сразу вспоминается этот кусочек хлеба и чувство вины такое острое... Хотя я прекрасно понимаю, что, например, по поводу голодающих детей Сомали у меня вот

---

2. Сведения о респондентах см. в конце статьи.

такого никогда не было. Вот... Но я всегда остро понимаю, что вот этот кусочек хлеба, если бы я могла туда переправить, он бы спас какие-то жизни, но понятно, что это совершенно сказочная история. ...И вот это чувство вины выжившего перед теми, кто умер, оно очень острое именно почему-то по поводу блокады... (ОГ)

В данном случае мне хотелось бы избежать психоаналитических ракурсов и обратить внимание не столько на переживание вины, сколько на саму историю нереализованной и нереализуемой помощи жителям блокадного Ленинграда, встроенную в нарратив сопричастности, — на отчаяние, связанное с повседневной доступностью того, что могло бы помочь, и недоступностью изолированного, осажденного города, оставшегося в прошлом. Собственно говоря, подобный аффект сопричастности далеко не сводится к чувству вины, за ним стоит сложный эмоциональный ряд — я еще вернусь позднее и к его описанию, и к интервью, процитированному выше. Пока для меня важно прежде всего констатировать саму возможность очень сильной и очень устойчивой вовлеченности:

Да, для меня это прямо вот больная тема, это прямо вот какая-то тема... <...> Когда у меня подруга — она петербурженка такая, настоящая, и у нее как раз там погибли люди, на Пискаревском лежат... — и когда она... — для нее это, понятно, боль семейная, — какие-нибудь вещи перепощивает <в фейсбуке>, у меня вот... я начинаю... я не могу не начать читать потому что мне это... и я в то же время эскапируюсь, там, на первых минутах, потому что для меня это такая невыносимая боль, что я не могу этого много... <...> Я стараюсь об этом не думать, не смотреть, не расчесывать это — да, но я всё равно постоянно вот как-то таким... — как у детей интерес к чужой смерти... — я всё равно вот это в поле своего внимания каким-то образом держу. (ОГ)

Констатация аффекта сопричастности блокадной теме позволяет сделать первый, еще достаточно неуверенный, шаг к разговору о том, каким был статус этой темы в городской культуре позднего социализма, какое *место* блокадный Ленинград занимал в позднесоветских конструкциях реальности.

### *Школьное сочинение*

Мальчик шел по улицам блокадного Ленинграда. Спотыкался об снежные струги. И видел, как замерзли на каналах вспенившиеся волны. У него тонкий нос, впалые от голода щеки, густые брови и пронзительные серые глаза. Щеки на ветру зарумянились. Чтобы не замерзнуть, он взял и намотал на голову бабушкин платок. Бабушка уже умерла. Его осеннее пальтишко не спасало от холода. Поэтому мальчик грел руки в рукавах. Косо надетая мамина шапка с лисицей на отвороте грела, но от холода не спасала. Мальчик обошел труп на санках и подумал, что хоронить некому. У него тоже были санки, он катался на них и возил воду из Невы. Он уже не думал, по какой стороне улицы идти, где было написано «Эта сторона опасна во время обстрела».

Но шел. Ему было больше некуда идти. И тут он увидел трамвай. Он просто стоял на путях. Мальчик решил согреться и залез внутрь. В трамвае стало тепло и пахло колбасой. Он закрыл глаза, вспомнил, что у него дома есть еще горбушка хлеба и уснул.

Но Ленинград выжил и победил!

Это сочинение было написано пермским школьником, учеником шестого (возможно — пятого) класса приблизительно в 1978 году. Во всяком случае, так сегодня датирует это событие сам автор — фольклорист, журналист и литератор Константин Шумов, замечая, не без некоторой самоиронии, что, по его ощущениям, впоследствии «„память“ об этом тексте сыграла свою роль» в его профессиональном самоопределении. «Понятно, что в момент создания сочинения у меня в голове сидели стереотипы „Дневника Тани Савичевой“, фотографий из общего доступа. <...> И еще понятно, что последняя фраза — в принципе „газетная“». Комментируя в электронной переписке любезно присланный мне школьный текст, Шумов предполагает, что тут, в числе прочего, отразились впечатления от поездки на Пискаревское кладбище в начале 1970-х, соглашается с возможностью влияния андерсеновской «Девочки со спичками» и оговаривает: «Запах колбасы, видимо, от наших пустых прилавков, я не понимал, что должен быть запах свежего хлеба. <...> Трамвай, видимо, с фотографий, я не понимал, что зимой в трамвае не может быть тепло». Получившуюся многослойную конструкцию неточно было бы назвать интертекстуальной — она соединяет не только разные тексты, но разные практики — повседневные, мемориальные, читательские; вербальные, визуальные, кинестетические впечатления, полученные из очень разных источников, накладываются друг на друга, образуя, собственно, то, что является детской рецепцией блокадной темы. На этом примере можно увидеть модель сборки образа блокады — в данном случае не имеющего никакого отношения к семейной истории, но, по всей видимости, значимого.

Немаловажно, что исходное задание, которое следовало выполнить в сочинении, касалось вовсе не блокады и даже не войны; как поясняет Шумов, ученики должны были представить «портрет человека», описание внешности. Он подчеркивает, что «не понимает и не помнит», почему принял решение использовать для этой цели нарратив о блокаде, но хорошо помнит, что испытывал во время письма «сложные эмоции — от восторга до печали», что отождествлял себя с мальчиком и что именно с образом мальчика (а не, скажем, с «газетным штампом» о победившем Ленинграде) были связаны и восторг, и печаль.

Учительница мне поставила «четверку», зачитав текст вслух на уроке. Что ей не понравилось, я не помню. Да, ей не понравился финал, что мальчик умер... Мой одноклассник после урока хлопал меня по плечу и говорил «Костя, ты прав, Ленинград выжил и победил»...

Неуместность темы смерти в контексте школьной тренировки дескриптивных навыков, вероятно ощущаемая учительницей, позволяет увидеть, что именно смерть и портретируется в процитированном сочинении, что в нем «проигрывается» (возможно — присваивается, подвергается внутренней адаптации через модулы восторга и печали) сюжет умирания, постепенного приближения к смерти, постепенной утраты всего, что связывает человека с жизнью. Акцентируя тот факт, что пространством, куда помещается этот сюжет (или наоборот — пространством, которое провоцирует развитие этого сюжета), становится именно блокадный Ленинград (по сути, занимающий место святочного, праздничного, оживленного, полного консьюмеристских соблазнов зимнего города из андерсеновской сказки), я попробую сделать еще один шаг к постановке своей исследовательской задачи.

В этой статье образ, или, точнее, образы, блокадного Ленинграда, воспроизводившиеся в позднесоветское время, я буду рассматривать в связи с пространственным восприятием. Мой предмет — город, нанесенный не на географическую, а на когнитивную карту позднесоветской культуры: город, который пытаются вообразить и представить, который наделяют символическим и, более того, сакральным значением. Я намеренно не опираюсь сейчас на терминологию, связанную с памятью (хотя и не вполне от нее отказываюсь), — мне представляется, что когда эта терминология используется в качестве основного исследовательского инструментария, она существенно сужает возможности разговора о подобных символических пространственных практиках. В этом плане для меня наиболее значим тот факт, что, вводя в оборот свой знаменитый термин «места памяти», Пьер Нора указывает на принципиальную множественность функций, которые приписываются в современной культуре коммеморативным пространствам; по сути, он постулирует, что за мемориальной риторикой в действительности стоят смыслы и практики, не имеющие никакого отношения к мнемоническим процедурам, но при этом чрезвычайно символически нагруженные (Нора, 1999). Делая центром своего исследования Пискаревское кладбище — особое пространство, вынесенное за пределы «исторического Петербурга»<sup>3</sup> и организованное для выполнения мемориальных задач, — я постараюсь показать, что рамка «коллективной памяти» не исчерпывает многообразие типов опыта, который там переживался, а возможно, и маскирует самые значимые и самые болезненные его формы.

### *Исследовательские подходы к блокадной теме*

Позднесоветские практики репрезентации Второй мировой войны и — в частности и в особенности — репрезентации Ленинградской блокады в исследовательской литературе последних лет описываются по преимуществу через проблематику вытесненной травмы.

---

3. О семантике локализации советских военных памятников см., напр.: Габович, 2015.

Прослеживая, как складывался канон повествования о Ленинградской блокаде в советской историографии, и убедительно демонстрируя, что в основе этого нарративного канона оказывались принципы и формулы соцреализма (сюжеты героической миссии, испытания на прочность, сознательной жертвы etc.), Татьяна Воронина замечает: «При этом исторической травме, полученной жителями блокадного города, не оставалось места. <...> Описание катастрофических обстоятельств повседневной блокадной жизни и личный травматический опыт блокадников долгое время оставались за пределами публичного дискурса как такового» (Воронина, 2013). Исследуя «иконографический блокадный канон» — тот набор визуальных образов, который закреплялся за блокадным Ленинградом в кинохрониках, а затем в художественных фильмах, использующих хроникальные кадры, — Наталья Арлаускайте вводит точный термин «pastepeзация», обозначающий и присвоение блокадным событиям безопасной исторической дистанции, статуса «завершенного прошлого», и специфическое «обеззараживание», установление контроля над случайностью и эксцессом. Как показывает Арлаускайте, уже на довольно ранних стадиях формирования «блокадного киноархива» травматичная образность «анестезируется» и «замораживается», чтобы несколько позднее стать частью мемориальных ритуалов (Арлаускайте, 2016).

При такой постановке проблемы «блокадный канон» преимущественно исследуется как особый политический проект, в ходе реализации которого решались задачи легитимации действующей власти и исключения из зоны публичного внимания потенциально конфликтных, взрывоопасных, подрывающих властную легитимность свидетельств (см., например: Блюм, 2004). Ни в коей мере не оспаривая правомерность и значимость исследовательской работы в этом направлении, я в то же время попробую увидеть образы блокады, воспроизводившиеся в позднесоветской культуре, в несколько ином ракурсе.

В этом отношении мне ближе подход Лизы Киршенбаум — в исследовании, посвященном мемуаризации и мемориализации блокады, она пытается работать с проблематикой сакрального и использует термин «миф», который представляется ей более точным, чем «коллективная память» (Kirschenbaum, 2006: 18). Опираясь на теоретические выводы коллег, изучавших нарративы непосредственных участников войн XX века, Киршенбаум предлагает отказаться от привычного отождествления мифа с фальсификацией и обманом: миф позволяет упорядочить страшный и не поддающийся осмыслению опыт, переконструировать собственную биографию и наделить смыслом травматические события. Так, на основе анализа мемуаров, дневников и устных интервью Киршенбаум заключает, что «ленинградцы, с трудом справляясь с болезненной реальностью блокады, часто — чтобы придать смысл трагедии <...> — присваивали государственные мифы и инкорпорировали медийные образы и лозунги в свои собственные воспоминания» (Ibid.: 11). Кроме того, столь сложно устроенная рецепция блокады наслаивалась на старый петербургский миф, адаптируя характерные для него «темы апокалипсиса и духовного очищения» (Ibid.: 15) и, собственно, образы зловещего, сверхъесте-

ственного, призрачного и населенного призраками города («Призраки блокады заселяли уже населенное призраками пространство» [Ibid.]).

Полина Барскова в одной из своих многочисленных статей о блокадных текстах и блокадном искусстве затрагивает проблематику, близкую к той, о которой идет речь у Киршенбаум, но пишет не о «мифе», а об «утопии», или, точнее, утопиях. Подчеркивая, что «блокада Ленинграда <...> для большинства в ней оказавшихся <...> была местом, крайне приближенным к тому, как западная христианская цивилизация рисует себе ад» (Барскова, 2015), Барскова задается целью показать, что в художественных произведениях, создававшихся непосредственно в осажденном городе, этот невыносимый опыт нередко репрезентировался через утопические дискурсы. Вообще «главным предметом блокадной репрезентации являлся сам город, произошел взрыв урбанистических изображений. Горожанин в блокаде остался с городом один на один» (Там же). При этом Барскова выделяет две стратегии репрезентации этого города, которые связывает с утопией. Одна из них — идеализация, вменение происходящему особой телеологии и возгонка смысла (как и Киршенбаум, Барскова упоминает идею об очищающей роли блокады — блокада интерпретировалась как неслучайное, провиденциальное событие, возвращающее подлинное предназначение и людям, и городу: «Пустой, суровый и величественный, блокадный город возмездия воспринимался очевидцами, связанными с традициями петербургской культуры, как город аутентичной петербургской *ужасной красоты*, определенной Александром Бенуа в начале XX века как истинное состояние и назначение Петербурга» [Там же]). В этом отношении, как замечает Барскова, не было особенных различий, скажем, между «личной» лирикой Ольги Берггольц и ее же гражданскими поэтическими текстами, которые встраивались в официальный пропагандистский нарратив, адресованный ленинградцам. Другая стратегия, тоже позволявшая хотя бы отчасти справиться с травматическим опытом и о нем говорить, но скорее оставшаяся за рамками официальных канонов, — остранение, изображение блокадного города как внезапно изменившегося, принципиально *иного*, ни с чем не сопоставимого места, где и пространство, и время приобретают специфические свойства: так, время описывалось «как травматически застывшее, замершее или буквально замерзшее» (Там же).

«Внутренним утопиям» — создававшимся внутри кольца блокады, обращенным к блокадникам или писавшимся «в стол» — Барскова противопоставляет утопический пропагандистский нарратив, предназначавшийся «для внешнего использования», «для аудитории Большой земли» (Там же): «В этой версии пропаганды „для внешнего использования“ город-фронт переживал трудные времена, сражаясь, и ни в чем принципиально не отличался от других фронтов. <...>. Блокада подавалась как арена тренинга, своего рода спортивный зал для развития тела и души образцового советского горожанина, безусловно доблестного стойка» (Там же).

Очевидно, что утопия осознанного, даже рационального блокадного стоицизма пережила не только военные годы, но и Советский Союз, по-своему абсорби-

руя и телеологический пафос, и петербургскую мифологию, и даже образы иного, искривленного городского пространства (я не исключаю, что именно на фоне этой утопии все прочие практики репрезентации блокады при взгляде из сегодняшнего дня могут восприниматься как утопические). Образец такого парамнезического симбиоза, наложенный на имперский миф, можно увидеть, скажем, в одной из статей «петербургского фундаменталиста» Александра Секацкого. Блокадным событиям здесь приписывается «некая предначертанность», а Петербургу присваивается миссия постоянного воспроизводства «вируса утопии» — «собственные житейские интересы живущих непрерывно приносятся в жертву символическому»; в этой традиции «добровольной, точнее говоря, естественной аскезы», в этой «смерти во имя символического» и заключается, по утверждению Секацкого, «особый русский путь» (Секацкий, 2004)<sup>4</sup>. Это, безусловно, случай интеллектуальной спекуляции, но он показывает, что сложный палимпсест, в действительности стоящий за позднесоветским «блокадным каноном», всё еще может быть актуализован и присвоен.

В данном исследовании мне хотелось бы уйти от описания «блокадного канона» как исключительно насильственного проекта. Я вовсе не сомневаюсь в его пропагандистской и цензурирующей роли, однако полагаю, что было бы неточно приписывать его авторство инстанциям «государства» или «власти» (к сожалению, в книге Лизы Киришенбаум в центре рассмотрения, по сути, остается «государственный заградительный миф» и его взаимодействие с «подлинной» персональной или семейной памятью — прослеживающееся здесь имплицитное противопоставление существенно упрощает замысел и несколько подрывает программу исследования мифа вне риторики фальсификации и обмана). На мой взгляд, тут требуются либо более конкретные (прежде всего институциональные) определения субъектности, либо более общие — например, «позднесоветская культура». Явное общественное сопротивление, которое вызывают сегодня попытки деконструкции или рационализации советских нарративов о Второй мировой войне, возможно, указывают именно на то, что эти нарративы представляли собой не просто властный, но *культурный* проект, хотя и не принимавшийся значительным числом непосредственных участников военных событий. В этом смысле позднесоветское «замораживание» болезненной памяти, «pasteлизация», свойственная любым мемориальным практикам, и, конечно, телеологический пафос могут быть рассмотрены и как форма травматического отстранения, и одновременно травматической фиксации опыта, который в рамках этой культуры не мог быть до конца осознан, назван и принят. Я предполагаю, что это касается не только опыта, пережитого лично, но и *чужого* опыта — такого катастрофического, как блокадный, — реальность которого было невозможно и необходимо принять.

---

4. На связь этих тезисов с официальным советским нарративом о Ленинградской блокаде указывает Станислав Львовский. По его же наблюдению, именно с этим текстом Секацкого «находится в прямом диалоге» стихотворение Виталия Пуханова, с которого я начала данную статью (Львовский, 2009: 263).

Но мне здесь видится и еще одно проблемное измерение, вообще не связанное с дискурсом травмы. Если попробовать увидеть утопизированный и сакрализированный образ блокадного города не только как властный, но как культурный проект, можно допустить, что проективное пространство, имеющее столь высокую символическую нагруженность, было каким-то образом востребовано этой культурой, было нужно для восполнения каких-то ее дефицитов, использовалось для поддержания ее смыслового порядка, отвечая не только на политические, но и, возможно, на экзистенциальные вопросы и запросы.

### **Пискаревское мемориальное кладбище в альбомах и брошюрах 1960–1980-х годов**

#### *Смысл и порядок*

Мемориальный комплекс, созданный на Пискаревском кладбище — на месте массовых захоронений горожан и военнослужащих, погибших во время Ленинградской блокады, — был открыт 9 мая 1960 года. Это один из первых в Советском Союзе мемориалов, посвященных событиям Второй мировой войны, и первый — посвященный блокаде.

Конкурс проектов Пискаревского мемориала проводился в феврале 1945 года, однако специфика послевоенной политики памяти и, вероятно, «Ленинградское дело» сделали реализацию такого рода проектов невозможной. К строительству мемориального комплекса приступили лишь в 1956 году; собственно, это было самое начало конструирования новых мест и новых ритуалов публичной памяти. Пискаревское кладбище, безусловно, внесло существенный вклад в формирование позднесоветских мемориальных канонов и вместе с тем отчетливо помечалось как особое, уникальное пространство. В данном разделе статьи на материале альбомов и туристических брошюр (постановление Совета Министров СССР 1961 года обязывало ленинградское Городское экскурсионное бюро включить в свои маршруты посещение Пискаревского кладбища) я покажу, как это пространство репрезентировалось и преподносилось.

Это пространство — пропилеи с музейной экспозицией, длинные ряды братских могил, Вечный огонь, привезенный (как и, позднее, на Красную площадь) с Марсова поля, шестиметровый монумент Матери-Родины на фоне стены с барельефами и текстом Ольги Берггольц — определяется как «некрополь», «архитектурно-скульптурный ансамбль» или «памятник» (Бродский, 1962; Петров, 1967, 1986). Нарратив о создании мемориала выстраивается как эпический — или утопический — рассказ о слаженной коллективной работе, представляющей собой торжество абсолютной рациональности и одновременно высокого творческого вдохновения. Здесь всё неслучайно, начиная с состава специалистов, участвовавших в проекте; подчеркивается, что почти все они причастны блокадным событиям — были в осажденном городе или воевали на Ленинградском фронте. При

этом «в тесном творческом союзе объединились талантливые мастера различных родов искусства» (Петров, 1977: 17) — памятник обладает синкретичностью и тотальностью утопии: тут задействуется архитектура, скульптура, поэзия, музыка; парковое искусство не называется прямо и преподносится как соучастие самой природы, которую удастся полностью взять под контроль и тоже подчинить решению мемориальных задач:

Архитекторы призвали на помощь еще одного художника — природу. Если присмотреться внимательнее, можно заметить, что разнообразные виды деревьев, посаженных на всей территории, — не просто зеленое обрамление, традиционное для кладбища. У них тоже своя роль. Четыре рябины перед пропилеями, роща лип у входа, шеренги вязов вдоль центральной аллеи, полукружье берез, охватывающее памятник, серебристые елочки на небольших террасах с тыльной стороны стены, стройные тополя, служащие фоном памятнику, два плачущих вяза, стоящие порознь на верхней площадке... Во всем этом — зоркий глаз, тонкий вкус, напряженная творческая мысль. (Там же: 33)

Речь, конечно, идёт не просто о тотально упорядоченном, но и о тотально семиотизированном пространстве, каждый элемент которого *имеет значение*. В туристических брошюрах оно описывается через герменевтику многочисленных знаков и аллегорий — такой способ описания, с одной стороны, как будто бы продолжает экскурсионный дискурс, который использовался для презентации достопримечательностей «исторического Петербурга», а с другой — указывает на то, что на Пискаревском кладбище нет места информационным шумам: «Всё просто и одухотворено единым глубоким смыслом» (Там же: 32).

О простоте мемориала, об отсутствии какой бы то ни было декоративной избыточности сообщается, пожалуй, наиболее часто. Приветствуется «свойственная монументальному искусству скупость в деталях», когда «нет ничего второстепенного, лишнего, отвлекающего внимание от главного, основного» (Бродский, 1962: 52).

«Нам казалось, что самым важным было найти такие простые и ясные формы, которые могли бы выразить величие беспримерного подвига защитников Ленинграда», — пишут архитекторы «Пискаревского кладбища» Евгений Левинсон и Александр Васильев (Там же: 24). «Мы почувствовали, что героическая и трагическая тема блокады не терпит никаких украшений и никакого подчеркивания и нажима, что она должна быть выражена языком простым, немногословным и суровым, как время», — замечает Борис Каплянский, один из скульпторов, работавших над барельефами (Петров, 1986: 36).

*Нейтральность, отсутствие, молчание*

Стремление к полному совпадению «формы» и «содержания», знака и референта, отвечающее и предписаниям соцреализма, и монументалистскому идеалу застывшего смысла, навечно окаменевшей правды, в данном случае тесно сопряжено с модусом «сдержанности». Или «нейтральности» — здесь вполне подходит термин, который семиотик и философ культуры Луи Марен использовал применительно к утопическим пространствам (Marin, 1990: xiii)<sup>5</sup>. Сдержанность тут, по сути, и есть правда; так, искусствовед В. Рогачев, комментируя скульптурное оформление Пискаревского кладбища, отмечает через запятую «волнующую правдивость и простоту» и «мужественную сдержанность в выражении глубоких и сильных чувств» (Бродский, 1962: 58). Эмоциональный контроль, способность управлять аффектами, связанными с травматичными воспоминаниями, в конце 1950-х (и позднее, в последние десятилетия социализма) соответствуют представлениям о неформальной, искренней репрезентации военного опыта, лишенной поддельного пафоса, и при этом чувствительной и тактичной по отношению к чужой боли. Показательно свидетельство сценариста Галины Шерговой, рассказывающей о своем участии в работе над телевизионной «Минутой молчания»: «Найти какие-то верные слова было очень важно, чтобы они не оскорбили ничьего слуха, сердца. Потому что это действительно уже без всякого пафоса было и живым и святым для всех нас»<sup>6</sup>.

Я не случайно упомянула «Минуту молчания» — этот ритуал представляется мне ключевым для понимания позднесоветских практик памяти. «Немногословный и суровый как время язык» тут, конечно, в пределе стремится к молчанию, оставляя место для пауз, пустот и знаков отсутствия — такие знаки вообще характерны для европейской мемориальной культуры второй половины XX века, но есть и советская специфика. Отчасти этот сюжет рассматривает в своем исследовании Лиза Киршенбаум. Она обращает внимание на то, как архитекторы Пискаревского мемориала описывают свои первые впечатления от ландшафта, который им предстояло преобразовать: «Перед нами встала печальная картина. Братские могилы были неравномерно разбросаны по территории кладбища. <...> Самым сильным впечатлением от осмотра этой местности была необычная широта, необъятный простор того, что впоследствии поэтесса Ольга Берггольц назвала „торжественно-печальным полем“. И это было, пожалуй, основным при выборе решения архитектурного проекта» (Бродский, 1962: 24). Киршенбаум полагает, что первоначальный замысел архитекторов — стеклянный обелиск между двумя стенами — должен был подчеркивать это ощущение бескрайнего и пустого пространства: «Архитекторы воображали несказанно пустой пейзаж и маленькое убежище. Прозрачный обелиск, расположенный в конце длинной аллеи, обрамленной

5. Подробнее: Каспэ, 2015.

6. Передача «Человек из телевизора» на радио «Эхо Москвы», 10 мая 2014 (<http://echo.msk.ru/programs/personstv/1316792-echo/>).

массовыми могилами, задавал парадоксальную точку зрения — будучи выполненным из стекла, традиционный монумент, обозначающий одновременно победу и смерть, казался бы бесплотным, почти невидимым» (Kirschenbaum, 2006: 194). Отказываясь от этого замысла в пользу шестиметровой Матери-Родины и объясняя такой выбор тем, что обелиск менее «выразителен», архитекторы, как считает Киршенбаум, «решили, что от них требуется что-то большее, чем обозначение пустоты без наделения ее смыслом и без предложения утешения. „Выразительная“ и очень видимая Мать-Родина по контрасту с прозрачным обелиском безошибочно воплощает и личную скорбь, и национальную идею» (Ibid.: 195). «Производство отсутствия», таким образом, заменяется «предложением утешения» (Ibid.: 193).

На мой взгляд, этот пример отчетливо показывает, как в позднесоветских коммеморативных пространствах работают регистры нейтральности, молчания, отсутствия. Монумент Матери-Родины (проект которого, как сообщает туристическая брошюра, скульпторы Вера Исаева и Роберт Таурит видоизменяли вплоть до самого окончания работы [Петров, 1977: 20]) действительно замыслился как «очень видимый» (с любой точки некрополя), и, вероятно, в самом деле казался «выразительным», поскольку представлял собой новое архитектурное решение — в сущности, именно с него в Советском Союзе начинается активное воспроизводство монументальных женских образов Родины (на момент создания Пискаревского мемориала аналогом монумента Исаевой и Таурита в этом отношении являлась только статуя «Скорбящей матери» в Трептов-парке в Берлине [скульптор Евгений Вучетич])<sup>7</sup>. И вместе с тем шестиметровая Мать-Родина *нейтральна*. Скупая мимика, в которой лишь угадывается скорбь. «Классические» черты лица без ярко выраженных гендерных признаков. «Классическое» одеяние, лишённое каких-либо элементов декора, кроме драпировки (на ранних стадиях проекта предполагалась военная форма, однако финальным решением стало «скромное простое платье» [Петров, 1986: 35]). Монумент, безусловно, призван напоминать знаменитый плакат Ираклия Тоидзе «Родина-Мать зовет!» и соответствует канонам, заданным мухинской Колхозницей, но в то же время Мать-Родина, созданная Исаевой и Тауритом, выглядит и как утяжеленная и феминизированная версия петербургских ангелов — тех, что на балюстраде Исаакиевского собора, или того, что на Александровской колонне. В альбомах и брошюрах о Пискаревском кладбище неизменно подчеркивается, что фигура Матери-Родины слегка наклонена вперед и поэтому кажется «как бы парящей над всем пространством некрополя» (Бродский, 1962: 27).

---

7. См. исследования Михаила Тимофеева, посвященные «использованию материнского образа в мемориальном искусстве». В числе прочего, анализируя советские коммеморативные практики, Тимофеев показывает, что этот образ преимущественно задействовался в скорбных контекстах — «его локализация связана чаще всего с мемориалами, созданными на месте погребения и находящимися на периферии городских поселений» (Тимофеев, 2015: 50). Об истории образа Родины-Матери в российской и советской визуальной культуре в целом: Рябов, 2006, 2014. См. также: Сандормирская, 2001.

Предваряя следующую главку статьи, замечу, что значительная часть моих респондентов — людей, посещавших Пискаревское мемориальное кладбище в советское время, — монумент Матери-Родины упоминает вскользь или даже не помнит:

Сейчас, можно я посмотрю на фотографии... Вот я совершенно не помню фигуру... Родины. Наверное, она уже стояла, безусловно. Она не отложилась <в памяти>. (ЕЧ)

КС: И там не было никаких вот этих бессмысленных... каких-нибудь статуй... скульптур... «Рабочий и колхозница»...

Интервьюер: Там была же Мать-Родина вот эта большая?

КС: А, вот она у меня благополучно вытеснилась из головы!

Но и подтверждая, что монумент запомнился, респонденты обычно не готовы нарративизировать это воспоминание, предпочитая переключаться на описание других впечатлений от мемориала, Мать-Родина как бы сливается с ними:

Интервьюер: А какие чувства сам этот памятник вызвал?

НТ: <долгая пауза> Не знаю даже, трудно сказать. Потому что здесь дело даже не в памятнике, а в общей атмосфере, она создавалась, ну, целиком... Огромное открытое пространство и... где-то вот открывается вид на памятник... Ну, трудно сказать даже. <долгая пауза> Горечь может быть... И какая-то такая печаль...

Двое из моих собеседников отметили, что памятник произвел «гнетущее» впечатление (АЯ), «подавлял» (ЛБ). Еще одна респондентка подчеркнула, что монумент Матери-Родины — первое, что бросилось ей в глаза на Пискаревском кладбище: он напомнил своими размерами скульптуру «Непокоренный человек» в Хатыни и заставил сразу почувствовать, что «здесь произошло что-то страшное» (КИ), — впрочем, и такого рода впечатления не поддаются дальнейшей нарративизации.

Мать-Родина и «очень видима», и незаметна. Она семантически понятна (что, безусловно, более соответствовало требованиям соцреализма, чем «формалистичный» прозрачный обелиск), и вместе с тем, не будучи специалистом, о ней вряд ли можно что-либо сказать. Эта обобщенная — до состояния абстрактного понятия — фигура легко утрачивает свое аллегорическое значение и очертания вообще, превращаясь в давящий фон, тяжелую тень, нависающую над мемориалом. Или — растворяется вовсе; в этом смысле Мать-Родина — тоже результат своего рода «производства отсутствия», однако не дискомфортно парадоксального, как было бы в случае стеклянного обелиска, а конвенционального, пастеризующего и именно поэтому способного провоцировать тот эффект утешения, о котором пишет Киршенбаум.

Регистры молчания и отсутствия поддерживаются нормами визуальной репрезентации Пискаревского кладбища: на альбомных фотографиях 1960-х — пер-

вой половины 1970-х годов (Бродский, 1962; Петров, 1967) мы, как правило, видим пустое, безлюдное, геометрически безупречное пространство, чаще всего снятое с верхнего ракурса. Лишь ближе к середине 70-х в туристические брошюры начинают попадать кадры, на которых удастся рассмотреть посетителей мемориала. Нередко это репортажные снимки, изначально предназначавшиеся для газетных полос, приуроченные к торжественным датам и фиксирующие те или иные моменты коммеморативных ритуалов. Один из таких ритуалов — возложение цветов 9 мая — попадает в объектив Анри Картье-Брессона, побывавшего в 1972 году в Ленинграде: его кадр, заполненный людьми, внимательный к человеческим лицам и превращающий мемориальный гранит и текст Ольги Берггольц в едва заметный фон, на котором происходит основное действие, — существенно корректирует принятые на тот момент советские каноны съемки.

### *Живые и мертвые*

Собственно, здесь мы подходим к вопросу о том, каково место субъекта в этом утопически безупречном и утопически нейтральном пространстве: кому оно адресовано и как выстраивается в данном случае конструкция адресата. В этом смысле особенно характерны самые ранние издания, посвященные Пискаревскому кладбищу. Так, альбом «Памятник героическим защитникам Ленинграда: Пискаревское мемориальное кладбище-музей», словно продолжая и имитируя монументальную стилистику и «скупой как время язык» («Была война. Была блокада. Была беспримерно героическая борьба ленинградцев за свой город, за свою жизнь, за свою Родину» [Бродский, 1962: 10]), предполагает специфическую двойную адресацию. Во-первых, тут создается эффект послания, отправляемого в будущее, — текст подражает древним (конечно, высеченным на камне) письмам и побуждает читателя увидеть происходящее с точки зрения далекого потомка: «Мы водрузили из гранита и мрамора, из чугуна и бронзы памятники скорби и славы над дорогими холмами братских могил. Мы высекли резцом на камне самые сердечные слова признательности. Пусть эти слова для всех времен будут как клятва и вселяют в души потомков мужество и великое чувство нерасторжимой связи поколений» (Там же: 11).

Во-вторых, используются реплики в побудительном наклонении, прямо окликающие адресатов-современников; разумеется, основная цель таких реплик — регламентация аффектов и создание нормативных режимов скорби: «Осторожней и тише ходите по каменным плитам. Под гранитной броней — прах сердец ваших предшественников. Прах горячих сердец, осветивших бессмертным пламенем подвига ваши жизни, ваши стремления к свободе и свету, ваши помыслы о грядущем» (Там же: 22).

Тишина и молчание — безусловно, те поведенческие модели, которые предписываются прежде всего: «Здесь всегда тихо. Только плывут над необъятным полем торжественные звуки музыки да шелестят на ветру ветви деревьев. А люди

говорят вполголоса или молчат, до конца отдаваясь власти глубоких чувств и дум» (Петров, 1967: 3). При этом регламентирующий текст не оставляет без расшифровки те «чувства и думы», которые должны стоять за молчанием: «Пусть торжественная тишина братских могил поможет нам сосредоточиться в помыслах своих о грядущем, поможет проникнуться мужеством наших героев» (Бродский, 1962: 23); «Поклянись молча перед прахом героев, как перед своей собственной совестью, что жизнь твоя будет похожа на их жизнь, тогда можно будет сказать, что подвиг их не напрасен, что жизнь их бессмертна. Здесь твои братья и сестры. В последние минуты жизни своей они не думали о себе, они думали о нас, ныне живущих» (Там же: 60).

Такая риторика постоянного возвращения к уже сказанному, семантического опустошения ритуальных формул и одновременно их телеологической возгонки, призывов сконцентрироваться и в то же время не думать о себе — своего рода риторика «заговаривания боли» — неоднократно описывалась. Но мне хотелось бы акцентировать то, что, на мой взгляд, в данном случае является смысловой опорой подобных конструкций — удостоверение особой связи с умершими. Они присутствуют непосредственно «здесь» (ср. рефрен в начале текста Берггольц: «Здесь лежат ленинградцы. / Здесь горожане...»), «под гранитной броней», и отвечают на молчание молчанием:

Тишь.  
Окаменевшее мгновение:  
Сорок третий год...  
Блокадный город...  
Здесь кошмарна плотность населения.  
Здесь просторно Памяти и Горю.  
Листьев опадающих шуршание.  
Тающий в растерянности снег.  
И невыносимое молчание  
Полумиллиона человек, —

это стихотворение Леонида Замiatнина (1937–1996) цитируется в брошюре, выпущенной уже в начале перестройки (Петров, 1986: 56). Но, пусть менее явно и ярко, ощущение соприсутствия тех, кто здесь похоронен, сопровождает, пожалуй, все тексты о Пискаревском кладбище. В ситуации сверхзначимости поминальной скорби и одновременно отсутствия погребальных обрядов перехода, несовместимых с материалистическими представлениями о смерти, работа памяти и горя понимается не как прощание, а как *удержание* погибших в состоянии соприсутствия или, что в данном случае то же самое, бессмертия.

Живые принимают личную ответственность за бессмертие мертвых. Это непосильное бремя инструментализируется через метафоры коллективной памяти и персонального воспроизводства подвига («Обнажите головы! Не дайте погас-

нута вечному огню! Это зависит только от вас, несущих эстафету павших героев» [Бродский, 1962: 7]), однако при внешней рациональности и понятности речь идет о процедурах, которые принципиально невозможно осуществить, — нельзя жить чужой жизнью и нельзя помнить о тех, кто не назван. По сути, именно об этом сообщает суггестивный текст Ольги Берггольц:

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.  
Так их много под вечной охраной гранита.  
Но знай, внимающий этим камням,  
Никто не забыт и ничто не забыто.

Как точно замечает Лиза Кишшенбаум, Таня Савичева — фактически «единственная известная „поименованная“ жертва блокады на Пискаревском»<sup>8</sup> (Kirschbaum, 2006: 206). Однако нарратив о Пискаревском кладбище предполагает, что — иррациональным образом — ни одно имя не будет предано забвению (и, следовательно, лишено бессмертия): «Родина! <...> Память твоя ясна и благородна. Ты навеки оставляешь в сердце своем имена своих сыновей и дочерей, отдавших жизнь за тебя. Материнское сердце не забывает ничего» (Бродский, 1962: 15) — очевидно, что эта мифологическая фигура сверхматери (в то же время являющаяся всего лишь персонификацией государства) замещает христианские представления о личном бессмертии и личных отношениях человека с Богом. Мы видим здесь, как безупречно рациональная утопия, не справляясь с переживаниями скорби и страха смерти, отступает перед языком сакрализации, однако не исчезает из поля видимости.

В брошюре 1986 года Пискаревское кладбище уверенно называется «священным местом». Но и в более ранних текстах — молитвенная сосредоточенность, к которой призываются посетители мемориала, или сама риторика добровольной жертвы («они добровольно обрекли себя на тяжкие лишения и остались в строю защитников колыбели Октября» [Петров, 1977: 52]) — безусловно, заимствуются из религиозных практик. Собственно, план Пискаревского кладбища (Бродский, 1962: 26–27) вполне соответствует трехчастной структуре православного храма — от притвора (его функцию выполняют пропилеи) до иконостаса, форму которого повторяет стела с барельефами и текстом Берггольц. Я далека от мысли, что архитекторы мемориала копировали храмовую структуру намеренно (строго говоря, они просто придерживаются тут «классических» принципов организации открытого пространства), и тем не менее это сопоставление отчетливо показывает, как устроено и что представляет собой позднесоветское сакральное. Глухая (хотя и относительно невысокая), испещренная буквами стена на том месте, где распо-

---

8. Имеется в виду, что в музейную экспозицию мемориала включены копии страниц из ее дневника; четырнадцатилетняя Таня Савичева умерла от дистрофии уже в эвакуации, в Горьковской области, и была похоронена там же.

лагался бы выход в алтарную часть, делает видимой герметичную и автореферентную природу этого сакрального опыта.

В своей книге «Небожественное сакральное» Сергей Зенкин подробно разбирает работу Эммануэля Левинаса «Тотальность и бесконечное», опубликованную в 1961 году — примерно тогда же, когда было открыто Пискаревское мемориальное кладбище. Левинас размышляет о «безликих богах», которые вторгаются в европейскую культуру с эпохой Просвещения и укрепляют свои позиции по мере дехристианизации. «С деистским божеством просветителей, — комментирует Зенкин, — невозможна личностная коммуникация, и в этом оно парадоксально сближается с архаическими божествами» (Зенкин, 2012: 306). Сакральное в этом случае воспринимается не как лицо, а как «среда, в которую всё погружено», что делает нереализуемым опыт встречи и диалога с Другим — речь может идти лишь о герметичном и непрерывном пространстве подобий, закрывающем доступ к подлинной, непредсказуемой, радикальной инаковости; бесконечность, как настаивает Левинас, подменяется тотальностью (Там же: 306–307).

Канонические нарративы о Пискаревском кладбище конструируют именно такое пространство тотальности, замыкающее аффект на самом себе, обеспечивающее встречу молчания с молчанием, — пространство, суггестивно утешительное и одновременно герметичное в том смысле, что для мертвых тут нет возможности выхода, а для живых — возможности ответа. При этом настойчивая апелляция к «помыслам о грядущем», особое смещение фокуса, которое размывает субъектность и позицию «здесь и сейчас» и побуждает увидеть мемориал «взглядом из будущего», — позволяют предположить, что подобное символическое пространство в каком-то смысле симметрично пространству далекой коммунистической утопии. Сакрализация прошлого связана с сакрализацией будущего, и в данном случае это, возможно, подразумевает, что Пискаревскому кладбищу присваиваются не только коммеморативные функции: образу вечной жизни, с которым соотносится утопия коммунизма, нарратив о Пискаревском кладбище противопоставляет образ вечной смерти. Впрочем, и то и другое в позднесоветском контексте означает бессмертие.

## Пискаревское мемориальное кладбище в воспоминаниях респондентов

### *Ресурсы эмоциональной памяти*

Как выглядело Пискаревское мемориальное кладбище с точки зрения «обычных» советских посетителей? Каким был реальный опыт — или, точнее, реальные опыты — нахождения в этом пространстве?

При помощи материалов, собранных в ходе исследования, я намереваюсь не столько предложить исчерпывающие ответы, сколько обозначить проблемное поле. Основные источники тут — полуструктурированные устные интервью, взятые у 20 анонимных респондентов. Нужно оговорить, что преимущественно

моими собеседниками стали образованные горожане, в значительной части — представители интеллектуальных профессий. Этот факт, безусловно, задает определенные рамки интерпретации полученных свидетельств. Нельзя исключить, однако, что именно такой состав респондентов позволяет иметь дело с особым навыком вербализации уникального и в то же время *общего*, общекультурного опыта.

При этом среди моих респондентов — люди разных возрастов (1946–1980 г.р.) и разных политических убеждений. В их числе почти нет ленинградцев-петербуржцев, чьи семьи пережили блокаду: единственное исключение — АЗ, имевший отношение к организации экскурсионных поездок на Пискаревское кладбище и любезно согласившийся поговорить об этом со мной. Двое информантов выросли в семьях, успевших эвакуироваться из Ленинграда до начала блокадных событий; еще четверо — в семьях, переехавших в Ленинград или Ленинградскую область уже после войны. По преимуществу же респонденты в интересующие меня 1960–1980-е годы жили не в Ленинграде, а в других городах — Москва, Пермь, Ростов-на-Дону, Белгород, Нарьян-Мар, Кривой Рог, Краматорск, Махачкала.

Иными словами, я опрашивала в первую очередь тех, кого Полина Барскова называет «аудиторией Большой земли» — тех, кто, предположительно, должен смотреть на блокадные события «внешним» взглядом. Разумеется, аутсайдерская позиция в действительности оказывается относительной: так, две респондентки упоминают о дальних родственниках-блокадниках, одна — о братьях матери и отца, погибших при обороне Ленинграда, еще один респондент отмечает, что проходил под Ленинградом срочную службу, и это повлияло на его восприятие Пискаревского кладбища как «солдатского мемориала» etc. Но большая часть информантов скорее отрицает какую бы то ни было биографическую связь и с Ленинградом, и с блокадой — во всяком случае, на момент первой поездки на Пискаревское. При этом поездка многими из них описывается как совершенно особый, оставивший очень сильные впечатления опыт.

Такой результат я связываю прежде всего с тем, что социологи определили бы как «смещение выборки»: на мое объявление о поиске респондентов, вероятнее всего, в первую очередь откликнулись люди, эмоционально вовлеченные в тему, ощущающие ее персональную значимость. Но подобная вовлеченность — и готовность говорить о своем опыте на языке эмоций — была для меня чрезвычайно важна. Именно на ресурсы эмоциональной памяти я старалась прежде всего ориентироваться в ходе интервью (используя ассоциативные методы, визуальные материалы etc.) — чтобы приблизиться к реконструкции впечатлений, полученных респондентами много лет назад, как правило в детстве, и доступных сегодня только через призму более поздних оценок и нарративов (надо сказать, что сами респонденты проблему недоступности давнего опыта видят и нередко прямо на нее указывают).

Диапазон чувств, о которых рассказывали мои собеседники, достаточно широк (собственно, об этом речь пойдет ниже), но в значительном числе случаев эти

чувства запомнились как очень интенсивные. Несколько раз в процессе бесед мне встречается непереходный глагол «прочувствовать»; в тех случаях, когда «прочувствовать» на Пискаревском кладбище по тем или иным причинам не удавалось (в качестве причин может указываться и слишком формальная обстановка, «обязаловка», «официоз», и слишком ранний возраст самих посетителей, а чаще — и то и другое вместе), эмоциональное отношение к Ленинградской блокаде нередко настигает респондентов позднее, в более зрелые годы. Некоторые информанты отмечают специфическую диссоциацию (она тоже связывается ими с детским возрастом) — чувства становятся своего рода объектом наблюдения и проверяются на соответствие норме:

Когда мы пришли домой, я продолжала быть в скорби... Может быть даже не столько быть, сколько делать на своем лице выражение, соответствующее этому состоянию... Как дети иногда чувствуют, что надо... ощущать. И стараются не выходить из образа дольше, чем им это свойственно. (ЕЧ)

Я думал... такая мысль меня всегда посещала в этих местах: ну, в итоге, я начал скорбеть, а в какой момент я должен перестать это делать? Вот, типа, отошли от кладбища, идем к автобусу... Там, не знаю, какие-то люди беседуют на посторонние темы... — какое бестактное и возмутительное поведение, они должны продолжать скорбеть! Я продолжаю идти с кислой мордой и родители, глядя на меня, убеждаются, что я тонко чувствующий ребенок, который вот так сильно переживает всё увиденное. (КС)

Самая младшая из участников интервью (ее воспоминания относятся уже к периоду перестройки) говорит об эмоциональном барьере, желании «не чувствовать», вытеснить аффект из своего восприятия блокады:

У меня становился ком в горле: то есть я понимала, что у меня это начинает вызывать слезы. То есть это боязнь — заплакать. Нежелание плакать. <...> И получалось, что включался такой барьер — вж — не хочу... Совсем нырять туда не хочу, сейчас у нас всё хорошо, мы живем в другое время, у нас всё отлично и всё хорошо. Какая-то защита такого рода срабатывала. <...> И ощущение что ты... что ты не хочешь сильно это впускать, потому что боишься что... <...> что будет больно. <...> То есть только не чувствовать, только не чувствовать, только не думать об этом... То есть вытеснить за пределы... <...> То есть нет места эмоциям. (МК)

Так или иначе, сами интервью, как правило, приобретали ярко выраженный аффективный заряд; случалось, что говорящие едва сдерживали слезы.

### *Большие контексты*

Для понимания «языков аффекта» мне представляются очень значимыми моменты, когда беседа, казалось бы, выходила за предложенные мной тематические рам-

ки. Почти все респонденты, так или иначе, упоминали (а нередко и рассказывали вполне развернуто) о страданиях, с которыми сталкивались их близкие во время Второй мировой (Великой Отечественной) войны — в эвакуации, в оккупации, на фронте. Многие говорили о голоде, очень многие — о послевоенном молчании фронтовиков, об их нежелании нарративизировать свое военное прошлое, вплоть до открытого требования к домашним не трогать этой темы. На мой взгляд, такие рассказы — важный результат исследования; я интерпретирую их не как повествовательные сбои, а как прояснение контекста, в котором воспринимались (или воспринимаются сейчас) блокадные образы. В этом смысле метафора «увеличительного стекла», которую использует, говоря о блокаде, Игорь Вишневецкий, возможно, так или иначе оказалась бы близка и другим моим собеседникам.

Когда начинаешь говорить про блокаду, то блокада оказывается в воспоминаниях такой точкой, куда стягивается куча вещей, связанных с войной. Например, сейчас я чуть не приписал блокаде кусок из воспоминаний моей мамы про то, как она ходила с моей бабушкой <...> получать по карточкам хлеб. И если там был довесочек, — то есть не удавалось сразу отрезать, там, сколько там нужно грамм — то ей его разрешалось съесть по дороге домой, и она очень надеялась на то, что это получится. Вот. Очевидно, что это история не про блокаду. Но <...> я чуть было не рассказал ее как блокадную историю. <...> Вот все воспоминания, связанные с военным голодом, с бомбежкой, с налетами, со всем этим — оно стягивается, конечно, к блокаде, потому что блокада была в советском детстве единым символом всего вот этого вот. (КС)

Контекст Великой Отечественной войны здесь, безусловно, является доминирующим, но не единственным. Называется (хотя, как ни странно, не часто) и другой значимый для позднесоветских лет контекст — «холодная война», гонка ядерных вооружений:

СМ: Знания о блокаде мне казались безусловно важными. Это как бы было априори.

Интервьюер: А вот почему?

СМ: Ну, потому что... ну, статус войны, катастрофы. Массовая гибель людей. Ну, война. Великая Отечественная война. Какие могут быть разночтения. Это... Это — катастрофическое событие, нужно о нем знать, чтобы оно не повторилось. <...> Это же шло в сопоставлении с возможной войной в 80-е годы. <...> Блокада существовала в этой системе совершенно органично. И атомная война, и борьба за мир, и плакаты, и доктор Хайдер и всё прочее, прочее — это всё очень связанные вещи. Борьба за мир. Борьба за мир — это отдельная интересная тема, которая производила на меня очень сильное впечатление эмоциональное. Может быть даже посильнее, чем блокада. Мне снились атомные ракеты.

«Было ощущение, что это может повториться, с каждым, нужно быть готовым. Ну, это нам насаждалось, вот это всё» (НП).

Наконец, еще одну контекстуальную рамку, в которую вписывается восприятие блокады, можно определить как выстраивание отношений собственно с «советским». Скажем, КС начинает разговор с развернутого воспоминания («Это длинное предисловие, но оно мне кажется важным») о формировании сложной картины мира «интеллигентного мальчика», московского пятиклассника конца 1970-х годов, в которой уместается и скепсис родителей по отношению к «советскому», и их решение «не воспитывать ребенка с детства в антисоветском духе», и детская разочарованность и одновременно зачарованность идеологическими дискурсами («Так как все время говорят одно и то же, оно, с одной стороны, раздражает, и ты хочешь это пародировать, на эту тему смеяться и всё остальное, а с другой стороны — приятно... да... Такая утешающая... Убаюкивает»), и, наконец, специфическая тоска по утраченной общности («Есть же вот счастливые люди, которые совпадают с официальной позицией»). Только задав этот контекст, КС переходит к рассказу о тех впечатлениях, которые произвел на него Пискаревский мемориал:

Доминирующим моим чувством там было именно ощущение, что вот это место, где мне не стыдно совпасть с официальной позицией. <...> Ну то есть я в этот момент, посещая кладбище... это был тот самый момент, когда я себя чувствовал, что я обычный советский школьник, я — пришел... То, что у меня есть некоторые разногласия с советским режимом, никак не дезавуирует то, что я скорблю по этим людям, и как-то испытываю, ну, естественные чувства, там, я не знаю, ненависти к нацизму и всякое прочее такое, да? И это было, ну, наиболее важная часть переживаний, да? Ну то есть — ОК, здесь совпали. <...> И, с одной стороны, повод такой, что у меня нет разногласий с советской властью, а с другой стороны, и объект такой, построенный, тоже не вызывает у меня никакого отторжения.

Разумеется, сама эта контекстуальная рамка могла ощущаться только в тех случаях, когда «советское» осознавалось и конструировалось на определенной критической дистанции («Семья была антисоветская. <...> Я не знаю, почему <дедушка> повел меня на Пискаревское кладбище. Возможно, мемориал был только что построен — ему хотелось посмотреть, что большевики построили...» [ЕЧ]). Однако даже тогда, когда такая дистанция и такой контекст задаются уже ретроспективно, исходя из сегодняшних представлений и ценностей респондента, «советское» оказывается своего рода кодом, позволяющим расшифровать и нарративизировать тот эмоциональный и телесный опыт, который был получен в довольно далеком прошлом.

Сейчас по своим взглядам ну... я наверное ближе к либеральному... ну, как здесь сейчас называют это. Поэтому я сейчас вижу, что в брежневские времена... э... нас всех приучали к лишениям — затянуть поясок потуже — и вот это в пропаганде как раз и было. Совершенно не рассказывалось, почему блокада стала блокадой — с нашей стороны, естественно... это вот только гады-немцы, вот... Ничего, конечно, не знали о том, как ели руководи-

тели, ну и иные приспособленцы. И вообще насколько голод делает людей нелюдьми, и что это от волевых качеств, к сожалению, не всегда зависит... Мы ничего этого не знали. То есть... Ну да, я еще помню <...> Маресьева <в школе> проходили... Я просто запомнила как <учительница спросила>: «Почему он вот не простудился? У него гангрена, у него нога...» И я руку подняла и говорю: «Не до того было!» <Смех> И я очень это поддерживала внутренне, такой горел огонь, что... Я сама очень болеющая была, кстати, и <...> так бывало, что обувь начинала подтекать. И я так иду и думаю: ну, надо тренироваться. У нас мама товаровед была и у нас была полная линейка «Пламенных революционеров», серия такая, помните может быть. <...> И вот она мне всё: Камо, Камо — и вот его проверяли, ему гвозди загоняли под ногти, вот, <убедиться> что чувствительности нет, а он даже не моргнул, даже мышцей не... И я всё время представляла, что нужно так. Вот эта вот идеология — сидеть на краешке стула, кособочиться, не быть сытым, там, не думать, а жертвовать — она очень насаждалась. Вот. И блокада очень удобный для этого момент...

Говоря об идеологии вытеснения чувствительности, пренебрежения реальными ощущениями и потребностями, НП связывает ее с собственным телесным опытом, через который воспринимался образ блокады, — будь то родительское требование есть, не испытывая голода («Доедай, в блокаде бы...»), или организованные пионерские бдения в ленинградских мемориальных пространствах («И я из всего этого запомнила жуткий холод, и... Вообще это безобразно, конечно, нас раздели, то есть мы должны были в белой блузке стоять, чтобы была торжественная линейка, в белом чтобы мы были»). У этой истории есть и постсоветское продолжение: много лет спустя, проводя собственную экскурсию и рассказывая о дневнике Тани Савичевой, НП удается пережить и передать своим слушателям-школьникам сильное эмоциональное потрясение, которое она описывает как опыт возвращения отнятой чувствительности («Это такой... экзистенциальный момент... <...> Настолько пронзительный момент, и я... И как... и как они нам, — вот, педагоги, вот эта идеология, — совершенно не дала <почувствовать>, отняла...»).

Конечно, рамка «советского» может конструироваться и прямо противоположным образом: «Ну, у меня же было советское детство, поэтому у меня, конечно, были представления и о блокаде, и о войне, которую пережила страна» (НБ). Вспоминая мемориальные языки и практики советского прошлого, респонденты нередко подчеркивают их «человечность», близость «живой истории», опыту реальных людей, иными словами — смысловую и эмоциональную наполненность, дефицит которой мои собеседники ощущают сегодня: «Я ни в школах <современных> такого не встречала... — вот такого именно методического воспитания и уважения к предкам, и сопереживания, и сочувствия. Ну, у нас же совсем другое поколение... <...> Понимаете... я даже не знаю, как это объяснить... Но человеческого в нашей жизни остается ну очень мало» (КИ); «У нас... проходило очень много, вот, занятий в школе, наша классная руководитель — она заслуженный

учитель Украины еще при Советском Союзе была — и она нас очень правильной истории научила. Нас теперь ни обмануть, ни перепугать, — ничего нам сделать нельзя. <...> У нее бабушка в Ленинграде пережила блокаду. И она нам рассказывала как бы это из первых уст» (НГ). Для НГ, русскоязычной жительницы Кривого Рога, участницы интернет-сообщества «Я — ватник из Бессмертного полка», «правильная история», придающая бесстрашие, вписывается в еще один, более чем значимый для нее контекст — сегодняшней войны в Украине. И это, на мой взгляд, важный пример, показывающий, насколько сложно и многомерно устроены «языки аффекта», с которыми в данном случае имеет дело исследователь.

### *Атрибутивы*

Итак, каким видят Пискаревское кладбище респонденты?

В дополнение к работе с интервью я предлагала письменно или устно перечислить пять определений, при помощи которых можно было бы описать первые впечатления от мемориала. Наиболее частотный ответ — «трагическое» (его дали 7 из 16 участников этого мини-опроса); следующее по частотности определение — «страшное» (6 из 16). Вообще, в ответах преобладают атрибутивы, относящиеся к тому эмоциональному воздействию, которое информанты ощутили в мемориальном пространстве; участники опроса в первую очередь описывают собственные чувства и аффекты: «тяжелое» (5 ответов), «скорбное» (2), «печальное» (2), а также — «горестное», «тоскливое», «удручающее», «ранящее» (по 1 ответу). Несколько респондентов подчеркивают силу этого воздействия, называя Пискаревское кладбище «ошеломляющим», «незабываемым», «не оставляющим равнодушным», «важным (значимым)» (по 1 ответу).

Среди определений, в которых субъектная позиция говорящего выражена менее ярко, самым частотным становится указание на размеры пространства — оно «огромное», «громадное», «большое», «просторное» (в общей сложности 5 ответов). Возможно, семантически близкими к этим определениям окажутся и прилагательное «величественное», и прилагательное «пустое» (по 2 ответа). Вряд ли зная о нереализованном проекте стеклянного обелиска, информанты предлагают метафоры отсутствия: помимо указаний на пустоту встречается ответ «прозрачное» и даже — «ничто, бездна». Не исключено, что примерно в этом же семантическом ряду — формула «здесь Бога нет»: «Не совсем может быть прилагательное... В тот момент сильно о вере с нами вообще никто не говорил, вот, но был какой-то момент такой странный... <...> — было такое ощущение, что „здесь Бога нет“» (МК). Также востребованы определения, связанные с семантикой холода (3 ответа) и застывания (2 ответа). «Застывшее. Оцепенелое. Это застывший ужас» — вспоминает одна из участниц письменного опроса, собственно, соединяя визуальный и эмоциональный код, метафорику монумента («застывший камень») и описание опыта его восприятия («оцепенение», «ужас»).

Особого внимания, на мой взгляд, заслуживают определения-антонимы: Пискаревское кладбище запомнилось разным респондентам как «мрачное» (2 ответа), как «светлое» (3 ответа) и как «серое» (3 ответа). Еще один важный антонимический ряд: «безжизненное» — «живое» — «мертвое» — «вечное» (по 1 ответу). Замечу, что безжизненность здесь коррелирует с инаковостью — и эта связь тоже представляется мне весьма значимой: «Безжизненный. Вот так как-то. Иной вот такой. Иной» (НП).

Дальше — уже на материале собственно интервью — я попробую показать, какие модели восприятия могли стоять за этими определениями.

### *Нарратив о поездке: мемориальный комплекс на городской карте*

Рассказы двух моих респондентов позволяют увидеть Пискаревское мемориальное кладбище с особой стороны — как пространство, наделенное статусом экскурсионного объекта и вписанное в позднесоветскую туристическую индустрию. АЗ, работая в студенческие годы гидом-переводчиком в ленинградском отделении туристического бюро «Спутник», сопровождал на Пискаревское кладбище иностранные группы:

АЗ: Значит, приезжали, например, «Поезда дружбы». Например, из ГДРии. «Поезд дружбы». То есть полный состав, набитый молодыми гдршниками. И их сажали, там, в десять автобусов и нужно было провести по городу <...> Интервьюер: И это было частью экскурсии по городу — посещение Пискаревского кладбища?

АЗ: Нет, скорее как дополнение. Потому что это все-таки не был исторический центр... И ехать где-то... ну, минут... минут сорок... Всё равно, да... Это было далеко, всегда было далеко <...> Туда ездили не в рамках экскурсии по городу, а плюс.

Позднее АЗ организовывал экскурсии для групп (преимущественно школьных), приезжавших из разных городов Советского Союза.

ВП состоял в заводской «народной дружине» (так назывались гражданские патрули, следившие за соблюдением общественного порядка): завод относился к тому же району Ленинграда, что и Пискаревское кладбище, и оно было одним из постоянных объектов дружинников:

Почему — потому что там они боролись со стаями так называемых фарцовщиков, туда приезжали массы автобусов с этими с интуристами, вот, а фарцовщики всё это облепляли, там, выпрашивали, меняли... Я не знаю, на что можно поменять... Я думаю, выпрашивали просто ручку, жвачку... Потом менты у них это дело отнимали... А мы... ну, как сказать, мы там обеспечивали... Скорее, пугали их всех. Включая ментов тоже, потому что одна из наших задач как общественности была следить, чтобы менты не особо так, или, точнее, совсем не нарушали закон.

Констатируя, что советские посетители мемориала обычно фарцовщиков не замечали, ВП описывает «теневой» социальный спектакль, невидимый и непонятный для непосвященных, но разыгрывавшийся по специфическим правилам:

Организованная мелкая преступность, вот что это было. То есть было понятно, что эти люди стоят на стреме <...> что кто-то это всё организует... Ну вот достаточно было нашего присутствия, чтобы они просто линяли. Как только они нас видели... Мы даже не суетились, там, не стояли. <...> Не то что как эти, «гражданские», <которые> там тусовались [имеются в виду сотрудники КГБ в гражданской одежде. — И. К.]. Ну, в общем, нас было видно по поведению, их <фарцовщиков> было видно по поведению. Вот.

Повествования обоих моих собеседников выстраиваются в сниженной и высокой модальностях одновременно; АЗ и ВП рассказывают о таких «рабочих» поездках на Пискаревское кладбище как о своего рода приключении, авантюре:

Три рубля в день платили, вы что. Это был потрясающий заработок. Для студента-то. А три рубля в те годы были большие деньги... (АЗ)

Интервьюер: А как вот Вы относились к этим поездкам?

ВП: С энтузиазмом. <Это как> охота, да? Там... интересно там. Как у нас один... — а он был командир нашего отряда, <а> я был зам<еститель>, да — ...он говорил, <что> его однажды <...> на Финляндском вокзале, да — они там между этих... между путей ходили, между стоящих электричек, — его однажды из электрички по голове бутылкой стукнули. С тех пор у него повысился энтузиазм. Ну, вот и я также — что опасно, то интересно»

И одновременно — как о сильном, глубоком и персонально значимом опыте:

Я может быть сентиментален слишком, но я относился всегда к этому серьезно. <...> Это сильное впечатление, когда эти городские могилы чудовищные и когда рассказывают... вы уже рассказываете сколько тысяч человек в каждой могиле, то, в общем, эстетика уже на втором месте... <...> Моя прабабушка там, в одной из могил... И мой <...> двоюродный дядя... <...> Но я сразу же Вам написал, что это, в общем, и семейная история. (АЗ)

Это оказывает, конечно, такое... ну, как сказать, оказывает такое влияние... Ну, такое впечатление как, скажем, «Реквием» Моцарта послушал... Не сразу, но с нескольких заходов, когда видишь, что в каждой могиле по двадцать тысяч человек похоронено... <...> Я родился не в Питере, я родился в Архангельске. Приехал <...> в 14 лет. И для начала мне было это всё так, чуждо, но постепенно я как-то в эту культуру проникал, и, в общем, да... (ВП)

Оба респондента сходятся в ощущении, что особая значимость этого места в целом признавалась посетителями мемориала. АЗ подчеркивает, что руководителям советских туристических групп никогда «не приходило в голову» отказаться от поездок на Пискаревское кладбище (хотя неофициальные отказы в принципе

практиковались: скажем, от посещения «Шалаша Ленина» — музейного комплекса в Разливе):

Как-то это всегда было почтительно, уж точно. <...> Вот мое впечатление, что это всё было очень благоговейно, знаете. <...> В этом было что-то святое. Вот общее такое воспоминание.

На сакральный статус мемориала указывают и те метафоры, которые использует в своем рассказе ВП:

Опять же, <было> ощущение, что мы что-то такое делаем... — охраняем священные места от этого вот... от этих вот... Ну, просто... мы смотрели на это так: что вот, тут туристы ходят, а эти вот такие, нехорошие... <...> Как бабки в церкви, которые говорят, что надо... там... нельзя в шортах или надень платок. Вот, я бы сказал, такого сорта наша активность была. <...> Ну, с другой стороны, представьте: Флоренция, да? Вот, там, Санта-Мария, да? И там вокруг у входа будут тусоваться всякие эти... — не то что, там, обычные такие нищие, побираться, это, типа, святое, — а вот эти вот, которые бегают, там, суетятся, выпрашивают... Это вот как-то... Как-то это нехорошо... Я бы лучше их отогнал... Вот такой взгляд был на вещи примерно.

АЗ и ВП упоминают о том, что впервые попали на Пискаревское кладбище, еще учась в школе, — для школьников «в обязательном порядке» устраивались организованные поездки. Именно такие поездки оказываются в центре повествований других информантов, которые жили в Ленинграде или под Ленинградом в позднесоветские годы. В этих нарративах Пискаревское кладбище включено в большую «сеть» коммеморативных пространств, посвященных блокаде:

Это гипотеза, может быть Вам удастся что-то про это понять: те, кто жили на востоке города, могли скорее ездить к этому «Цветку жизни» <мемориальный комплекс, посвященный «детям блокады»> — это ближе, это проще. Те, кто жил на юге, ходили вот в этот... на площадь Победы <Монумент героическим защитникам Ленинграда>. Те, кто на севере, возможно, ходили туда <на Пискаревское кладбище>... Еще какие-то были народные музеи, музей обороны Ленинграда... Вот... В общем, сеть каких-то... сеть мемориальных мест. Она, понятно, что могла время от времени перекрещиваться, и по праздникам большая часть людей стекалась на Пискаревское кладбище или на Площадь победы... Но, в общем, они использовались преимущественно по принципу «что ближе к дому». Что вообще тогда было принято в большей степени, чем сейчас, как мне видится... (СМ)

Мы жили в пригороде... Всеволожский район. <...> В течение года мы посещали все, ну, местные достопримечательности, связанные с блокадой... Потому что я помню все эти стоящие посреди леса памятники... А когда мы ездили туда <на Пискаревское кладбище>, это приравнивали к майским праздникам, потому что очень холодно и... там очень холодно и старались детей вывозить уже в теплое время года. <...> Как правило, на месте была

большая программа. <...> То есть сначала мы останавливались несколько раз по дороге туда. <...> Я хорошо помню поездку одну, потому что мы в этот момент помимо самого кладбища <...> остановились на «Дороге Жизни»... (МК)

В этом ракурсе мы видим место Пискаревского мемориала на городской карте и внутри календарного цикла; пребывание в мемориальном пространстве привязано к памятным датам (самые главные из них — 27 января, День снятия блокады, и 9 мая, День победы) и пионерским ритуалам (ключевой — собственно, приём в пионеры — по воспоминаниям респондентов, нередко совершался именно в блокаде на «местах памяти»: на «Дороге Жизни» или у Мемориала героическим защитникам Ленинграда).

Разумеется, рассказы не-ленинградцев выстраиваются иначе. Основная нарративная модель в этих случаях — история о первом детском путешествии в бывшую столицу империи; нередко упоминается фигура харизматичного взрослого, инициировавшего и организовавшего поездку (им может быть дед или любимый учитель, если речь идет о поездке с классом). «Радостные», «праздничные» воспоминания об этом путешествии, образы «культурного», «барочного», «европейского» города часто присутствуют в таких рассказах как контрастный фон, на котором разворачивается повествование о принципиально другом опыте, полученном на Пискаревском кладбище. По воспоминаниям многих респондентов, под влиянием этого опыта (и знания о блокаде вообще) представление о Ленинграде и ленинградцах радикально менялось:

Такое было ощущение, что всё, что я до этого увидела, — вот тот Ленинград, который я привыкла себе представлять, — оно как-то всё сломалось. <...> У меня было ощущение, что в этом городе везде в каждом углу живет смерть. <...> У меня Ленинград надолго оказался просто в траурной рамке. (ДМ)

И я помню, ну, у меня такое чувство — такое было — огромного уважения, вот, после этого. Огромное уважение к жителям Петербурга. Вот просто вот — ты из Петербурга значит все, значит это в принципе — это совершенно другое качество мироощущения. (НГ)

Многие сообщают о сложном, нецелостном восприятии города (чаще всего он раздваивается на Петербург и Ленинград, но возможны и другие конфигурации). Интересно, что один из моих собеседников, напротив, связывает впечатления от Екатерининского парка в Царском Селе и впечатления от Пискаревского кладбища общей ассоциативной цепочкой: оба пространства кажутся ему похожими «по разлинованности»:

Я, конечно, не беру архитектуру. Хотя вот эти вот какие-то портики, невысокие здания, кстати, тоже немного похожи, да. Ну, если какие-то изыски не брать. <...> Дело всё в том, что Россия сама по себе ведь крайне не упорядо-

чена. Ни города, ни деревни — они ведь не подвержены такому упорядочиванию, как в Европе. Поэтому такие вещи как Екатерининский дворец или вот Пискаревское кладбище выделяются. (ПМ)

Пискаревское кладбище оказывается в этом случае продолжением петербургских достопримечательностей (что возвращает нас к статусу экскурсионного объекта, которым наделяется мемориальный комплекс) — воспоминание о посещении мемориала встраивается в петербургский нарратив о по-европейски упорядоченном, рационально организованном пространстве.

«Ленинградцы» и «не-ленинградцы» используют разные повествовательные ракурсы, но чем ближе повествование подходит непосредственно к описанию Пискаревского кладбища, тем менее существенными становятся различия между этими условными группами респондентов. В любом случае «нарратив о поездке» нередко включает в себя упоминание долгой дороги и плохой погоды: Пискаревское кладбище видится отдаленным и отдельным, а также — холодным и/или ветреным.

#### *Мемориальный комплекс: реконструкция пространства*

Зимнюю промозглую погоду респонденты чаще всего соотносят с образом самого блокадного Ленинграда («У нас была, по-моему, одна зимняя поездка, <...> когда один из ветеранов нам говорил, что в тот год <1942> было так же холодно» (МК)) или даже с черно-белыми кадрами блокадной хроники:

Никого не было, тоже был снег где-то убран — где-то не убран, всё было такое черно-белое, и наоборот, где-то вот даже душевно я еще больше воспринял это всё, потому что я вот с детства интересовался войной, как многие мальчишки, и у меня была книжка, посвященная блокаде Ленинграда. Она, кажется, называлась то ли «Дорога жизни», то ли еще как-то... <...> Фотография старика... то есть не старика, мужчины изможденного, вот, с куском хлеба, очень известная фотография, и как люди, вот, лежат, вот мертвые, вмерзшие в снег — это конечно производит впечатление и на взрослого человека, а на ребенка это все производит очень сильное, яркое, неизгладимое впечатление. Вот. Поэтому мои впечатления <на Пискаревском кладбище>, вот, как будто бы я зашел вот в тот мир, в то время, где вот также холодно, также неуютно, некомфортно, всё черно-белое, как будто бы я внутри каких-то черно-белых фотографий, вот... очутился. (АМ)

Блокадный документальный канон играет в рассказах моих собеседников особую роль. Некоторые из них вспоминают, что были потрясены экспозицией музея на входе в мемориальный комплекс — большой фотографией голодающего мальчика, фотографией Тани Савичевой и страниц из ее дневника — и это потрясение определило восприятие мемориала в целом. Многие не помнят музея, но канонические кадры блокадной зимы, увиденные в кино или в книгах, удерживаются

в памяти и — как я покажу чуть дальше — могут существенно влиять на тот опыт, который переживается на Пискаревском кладбище.

Само пространство мемориального комплекса часто описывается как пустотное или, в случае меньшей эмоциональной вовлеченности, — «безликое». Несколько информантам оно запомнилось как полностью облаченное в камень, другие, напротив, вспоминают траву, покрывающую длинные ряды братских могил, но в любом случае мы видим картину предельной нейтральности — нечто, близкое к отсутствию, практически *ничто*:

Я не помню этих стен с горельефами или барельефами, не помню выбитых надписей. Вот то, что я помню — это однообразные серые камни. <...> Мне кажется, что всё было голым. И в камне... Вот. То есть больше похоже на нынешние впечатления от памятника Холокосту в Берлине. Вот. Я внука туда возила недавно... (ЕЧ)

Я помню «грядки». Как это у нас называли. Я помню вот эти могилы огромные. И видимо вот какие-то сложности с пониманием... Ну, то есть может быть не сложности с пониманием, а понимание того, что это могилы, а не клумбы. И они поражали своим размером. Они же были очень высокие в тот момент. По крайней мере я помню некие высокие могилы, вдоль которых мы шли, то есть для ребенка небольшого роста это может быть... это было по бедро, высота. Это было странно, и на них лежали гвоздики. Других цветов тогда не было. <...> И всё, собственно. Вот, видимо, это скудные впечатления, которые сохранились в моей памяти. (СМ)

То есть, ну, камни... на них что-то написано... Оно всё... С одной стороны, он довольно большой, мемориал, и его размер сигнализирует нам про масштаб потерь. А с другой стороны, в нем нету, там... не знаю... Собственно говоря, в нем нету *ничего*. (КС)

«Огромные» размеры мемориала, его «необъятность», его «подавляющий масштаб» действительно прямо связываются моими собеседниками (наверное, всеми) с непредставимым количеством погибших — и это еще одна причина потрясения, о котором мне рассказывали. Рациональная сторона этого опыта — знание о том, что похороненные здесь жертвы блокады очень сильно страдали («Люди погибали просто, собственно, от голода, от таких мучений очень сильных — то есть вот это, ну, оно производило впечатление» [МК]); понимание, что они лишены индивидуальных могил («А еще, конечно, тоже потрясение: как это — кладбище, а... а именно их плит могильных нет, а только зеленый холм и вот эта серая гранитная плита и только год захоронения» [ЕБ]; «Вообще понятие „братская могила“ на меня производит — до сих пор производит — гнетущее впечатление. То есть я считаю что это, ну... как вам сказать... ну, неправильно <...> Что братская могила — это... я не знаю... вот... извините такое слово — „скотохранилище“. <...> Ну, как-то люди опустились, что ли. Не по-человечески. Не знаю, как это выразить» [АЯ]; «Они лишались персональности своей смерти и персональности посмертного захоронения. И это была такая вещь, которая, наверное, меня тоже зацепи-

ла» [КС]) — дополняется интенсивными невербальными впечатлениями. Многие вспоминают музыку («Вот я не знаю, — это память меня подводит или на самом деле это было — по-моему, звучит всё время траурная музыка» [ЕБ]; «А потом нас вывели на аллею и вот тут я услышала музыку...» [ДМ]) или звук метронома, или, наоборот, выразительную тишину. Одна из моих собеседниц говорит о специфическом запахе:

Если такое количество людей погибало, такое количество трупов <...> было страшно: а какой же, наверное, был ужасный запах, как же, наверное, всё это пахло. И у меня было ощущение, что как будто я пыталась себе представить: интересно, какой был запах. <...> То есть не то что мне это было интересно, а вот ощущение: а может не надо дышать здесь? Ну, то есть вот такое. Может, не надо дышать? <...> Я хорошо помню, что в 80-е годы <...> много памятников... — они же все на окраинах находятся, вот... — они все топились печками... То есть вот запах угля он, практически, вот, <был> просто повсеместно. И вот этот момент, когда открытая... открытая вот эта площадь на Пискаревском кладбище... ощущение вот такое: ну, я понимала, что везде тут окраины, что они топят, в общем-то было холодно — ощущение вот такого, ну, запах угля он... он очень специфический, это не дрова, всё-таки немножко другое... вот. <...> Хотя там и не горело, не было пожара, но ощущение... какое-то, ну, именно какого-то такого, ну... войны, закрытой территории... <...> Было ощущение связи бумаги и праха какого-то постоянное... Потому что, я же говорю, у меня вот ощущение первое — что вот не дышать, потому что запах... Я его, может, и слышу, но вот этот запах запоминать не надо. (МК)

В конечном счете то, что вызывает потрясение, — невидимо, нематериализуемо, но ощущаемо. Ощущение катастрофы может возникать буквально из-под земли и переживаться как особый опыт соприсутствия мертвых:

И вы знаете, мне так страшно было. Я маленькая и я понимала, какое здесь горе было, вот горе и трагедия, и вот эта трагедия она чувствовалась. Вот я иду — вот от земли совсем немножко — и эта трагедия она сквозь землю просачивалась. Вот эти люди, которые там остались... я до сих пор не могу забыть это чувство. Они как... ну, как вам сказать... они, вот, не мертвые как бы, вот знаете... Их горе... оно как бы просачивалось... Вот плиты эти... Я помню, что я очень сильно испугалась. Не то что испугалась, но я вот чувствовала вот это горе. Вот у меня осталось такое впечатление. (НГ)

И я помню, что это было чрезвычайно, конечно, мощное эмоциональное потрясение... Ощущение... ну, что... что вот они здесь. И я здесь. И вот мы встретились. <...> Мне даже не очень важно было, ну, как сам памятник выглядит, мне гораздо важнее было были ну, во-первых, некоторые слова [имеется в виду текст Ольги Берггольц. — И. К.], которые мне показались очень важными, я вообще, наверное, человек к словам вот очень склонный, и вот эти... само вот это кладбище... сами эти могилы, под которыми я знала что — целый город. Целый город, Шостакович, вот это вот всё... (ЛБ)

*Невидимое*

МК (во второй половине 80-х она жила со своей семьей в Ленинградской области и училась в начальных классах) вспоминает о «фантазии», которая даже каким-то образом задействовалась в общих детских играх, — люди, погибшие в городе и его окрестностях во время войны, казались постоянно присутствующими: «То есть они остаются, они живут где-то там вот... Где-то в городе, где-то в метро... То есть было абсолютное ощущение, что они вот не уходят, они присутствуют, они как будто вот всё это видят, наблюдают». Об этом же ощущении МК говорит в связи с Пискаревским кладбищем:

У меня абсолютно было и вот тогда вот ощущение... не знаю... мне кажется, и сейчас ощущение, что... как будто... вот в таком понимании смерти — ее просто нет. <...> Там <на Пискаревском кладбище> вот было абсолютно ощущение вот... что это... что это прах, но абсолютно ощущение, что... что все живые... Ну вот какое-то такое... Может быть потому мы как-то... и боялись каких-то этих образов, каких-то этих призраков...

Другая моя собеседница, москвичка НБ, впервые побывавшая на Пискаревском кладбище будучи студенткой, а затем приезжавшая туда почти каждый год, позднее — вместе с учениками и собственными детьми, рассказывает, как мне кажется, о близком переживании, хотя воспринимает и описывает его совершенно иначе:

НБ: Меня не покидает, вот, это ощущение, когда прикасаешься к... очень... к открытой такой душе... Такое вот соприкосновение с чем-то, что больше чем ты... Ну, не знаю, насколько я Вам передаю, то, что...

Интервьюер: Это... прикосновение к памяти о других людях? Или знание о том, что они здесь лежат? С чем это ощущение может быть связано?

НБ: Ну, больше... Вот по ощущениям... как в жизни... — что ты их помнишь, что ты свидетель какой-то такой. Ты их помнишь, пока ты помнишь — они есть.

Сюжет соприсутствия мертвых и визуализации невидимого играет существенную роль в еще одном повествовании — немаловажно, что при этом мой собеседник опирается на аналогии с религиозными практиками и сравнивает проход по центральной аллее Пискаревского мемориала с путем к алтарю:

МФ: Сейчас даже, преломляя это всё в своей памяти... даже можно сказать, что это как будто шли к алтарю... И вот постоянно звучащий метроном, который постоянно отсчитывал какие-то секунды, секунды бытия... Какое-то было ощущение... каких-то... я бы даже сказал, что все мои впечатления звучат именно сегодня, потому что я как бы переосмысливаю то своё впечатление... и что это всё сегодня мне бы казалось, что это какие-то круги ада. И я вспомнил... ну, у нас много повторяют какие-то всевозможные хроники

о блокаде... и у меня это всё проигрывалось в какую-то хронику, то есть как будто бы я <...> как бы попадаю туда. То есть я видел их всех — значит, я видел людей, которые на санках везут трупы, людей, которые... люди падают возле проруби, где они набирают воду... <...> И я с ужасом... Вернее, я представлял себе это время, и в ужасе был о том, что выпало этим людям <...> Я <раньше> смотрел хронику, но это всё было как бы не то. А тут я именно это всё увидел сам. И ощутил время <...> То есть было ощущение, что я вот подхожу, допустим, к этому месту, где, вот, допустим очередное, ну, захоронение, — то есть как бы этот человек <из хроники> был там.

Интервьюер: То есть казалось, что все люди, которые там похоронены, они присутствуют, да? Живые?

МФ: Да. Да, именно это. <...> То есть я этих людей видел — вот. Вот они. <...> То есть я откуда-то, не знаю, с неба смотрю, — но я это всё вижу.

Интервьюер: А сам этот мемориал... Я сейчас покажу фотографии... Вот эта Мать-Родина — она произвела какое-то впечатление?

МФ: Нет, нет. <...> Я вот говорю, что больше всего поразило — вот эти вот два ряда <захоронений> и дорога, ведущая, как бы я сейчас сказал, к алтарю. Это если... это вот совсем пример к этому не относится, но это примерно то же самое, как вот в свое время я видел в Фатиме дорогу, по которой на коленях ползут паломники, а впереди, соответственно, церковь, на месте которой явилась Богоматерь. <...>

Интервьюер: А <на Пискаревском кладбище> это был путь куда? Что было тогда алтарем, если вот не Мать-Родина, которая не производила впечатления?

МФ: Да я бы сказал, как бы... <долгая пауза> Да какое-то место встречи.

Интервьюер: С теми, кто умер?

МФ: Не знаю. Вот такое ощущение, что ты идешь... ну, может, даже — к кому-то за чем-то.

Несмотря на то что все сакральные образы здесь осознанно заимствованы из существенно более позднего опыта, этот способ повествования мне кажется значимым. Твердо уклоняясь от очевидной параллели между явлением Богоматери и монументом Матери-Родины, описывая совсем другое видение — ожившие хроникальные кадры — и оставляя необъясненной метафору «места встречи», МФ, по сути, сообщает, что это *место* представлялось ему вынесенным за пределы повседневного мира.

Столь же отчетливо это представление выражено в рассказе НБ: посещение Пискаревского кладбища в нем тоже описывается как *путь*, а сам мемориальный комплекс — как другой мир, где и пространство, и время приобретают особые свойства (собственно, приведенная ниже цитата начинается с сюжета долгой дороги, о котором уже шла речь в главке «Нарратив о поездке», но этот сюжет в данном случае неразрывно связан с описанием ключевого прохода по центральной аллее):

Ну, мы долго добирались туда. Не было там метро и мы ехали на каких-то троллейбусах, автобусах, где-то шли пешком, но когда... Мы не знали, куда идти, но когда мы спрашивали, нам, ну, как-то к нам с очень большим участием относились — кто-то провожал, шел с нами и нам очень подробно рассказывал... Ну, было такое ощущение, что всем важно, чтобы мы добрались до этого места в результате... И когда мы вошли, это, ну, было похоже... знаете, ну, такое, когда будто всё останавливается. Время останавливается, и как бы ты... ну, ощущение, будто ты оказался в другом мире, в котором всё по-другому. И время течет по-другому... И, наверное, самое ну, такое <...> — пока мы шли к мемориалу вот к этому центральному, где обращение Ленинграда [текст Ольги Берггольц. — *И. К.*] — вот как идешь через годы... Когда просто год, или просто звание, или просто имя <на табличках>... Это ощущение, вот знаете, хотелось замедлить... Мы медленно, медленно очень шли... И там, прям, как будто прямо совсем... И время текло по-другому, казалось что и воздух другой, и звуки другие... Ну, казалось, что вообще в этом месте нет звуков никаких. Тишина. Вот. Ну, и когда мы стояли, вот, у самой этой стелы... на которой город обращается к этим людям... Вот это наверное такое, что мы оттуда уйти долго не могли...

### *Человек в сакральном пространстве*

Ощущение себя в *ином*, или по меньшей мере особом, пространстве предполагает специфические режимы телесности: значительная часть респондентов описывают состояние оцепенения, застывания, замедленного движения, которое может сочетаться с потребностью выразить аффект через ритуальные действия (часто — через спонтанное переизобретение ритуалов). Прежде всего речь идет о том, что одна из моих собеседниц называет попыткой коммуникации с мертвыми:

Ну, конечно, я уверена, что точно реконструировать свой опыт детский — или, в данном случае, подростковый — взрослый человек уже не может. До конца. Но я помню, как я на это смотрела: у меня... ну, у меня застыли все мышцы, я с трудом двигалась, ну вот... как-то, ну, я не знаю, как-то... ну, скажем так, — обездвижела что ли. Что тяжело было ходить по этому месту, потому что вот ощущение, что я могу ходить по чьим-то костям, — оно... Похожее было чувство у меня на Храмовой горе на Соловках [вероятно, имеется в виду Секирная гора. — *И. К.*]. Ну, это, правда, было очень сильно позже, конечно. Когда тяжело идти и ты чувствуешь, что ты должен как-то себя проявить. Ну, на Храмовой горе было просто — я вышла, нарвала цветов и везде, где могла их положила. <...> А здесь вот я не помню, были ли у нас цветы, но... Да, наверное были, потому что вот какое-то действие — оно всегда помогает пережить, вот, слишком мощное впечатление. Когда ты совершаешь некие ритуальные действия, то тебя это как-то высвобождает наверное. Да, какие-то цветы у нас были, тем более что это лето было, да. И я помню, что я просто по цветочку положила на... на эти плиты. Вот к памятнику нет, такого желания не было. Памятник все-таки подавлял. Памятник подавлял... А вот это... там где люди... извините, так дико звучит... Вот с ними ты как-то пытался говорить с помощью того, что что-то им передаешь, коммуницируешь. (ЛБ)

НГ: Могилы, плиты... вот... и мы ходили... Трава была какая-то, потому что это было тепло, примерно середина лета была, это было тепло, и меня посадили на какую-то травку [респондентка рассказывает об опыте, пережитом в пятилетнем возрасте. — И. К.], и я вот помню, что вот я сижу, а вокруг меня могилы, и еще были одуванчики, и я одуванчики эти на могилы срывала и им раскладывала... И читала, я хорошо читала уже в пять лет... Я читала то, что там написано.

Интервьюер: То есть Вы клали на могилы цветы?

НГ: Конечно, да, мне было очень жалко этих людей.

Собственно чувства, о которых говорят респонденты, реконструируя поездку на Пискаревское кладбище, разнообразны и сложны; это всегда многосоставный, иногда противоречивый эмоциональный ряд. Среди эмоций, о которых идет речь, — страх, ужас, оторопь, трепет, сострадание, благодарность, гордость («что вопреки всему выстояли» [ЕБ]), подавленность («свобода — когда ты выходишь за пределы этого кладбища. Это однозначно. Потому что я помню, что мы вышли и просто у нас был чуть ли не вопль у всех: „Свобода!“ То есть мы вышли, как будто нас из каких-то рамок выпустили» [МК]), разочарование, злость («...и злость: неужели ничего нельзя было сделать и придумать? Ну как-нибудь избежать этой трагедии. <...> Я тогда был мальчишкой и я считал, что Красная Армия всех сильнее» [АЯ]). Горе (горечь) и боль, как правило, называются в паре («Это было страшно, горечь и боль — как это возможно» [НТ]). Очень большое горе («огромное», «вселенское») и очень большая боль:

Прямо вот такая боль, которую прямо вот физически ты переживаешь. <...>  
Ну вот прям вот боль. Боль, горе, горевание. (НБ)

Каким образом респонденты комментируют сам факт эмоциональной вовлеченности (чаще всего очень сильной), как выстраивается дискурс сопричастности? Безусловно, многие из них вспоминают, что так или иначе отождествляли себя с жертвами блокады, погружаясь в страшную образность и рефлекссию о собственной способности выдержать катастрофический опыт. Эмоциональный спектр нарративов о подобном самоотождествлении очень широк:

Вот Таня Савичева ее опыт он конечно переносился на себя. И какие-то фантазии на этот счет были. Примеривание какое-то было на себя <...> А смогла бы я в этой обстановке жить, как бы я себя повела, будь ты на их месте <...> В конструировании моего сопричастия блокаде мне кажется для меня это было важно — поставить себя на место тех, кто там был. Как-то я себя ставила. Как я, конечно, уже не помню <...> Но я догадываюсь, что это быть могло. Что для меня это было бы органично через сопричастие. Не через жалость, я думаю, не через ужас — скорее это не мой эмоциональный ряд, а вот сопричастие — поставь себя на место того — вот это запросто. (СМ)

Это был какой-то не ужас даже, а как бы это сказать... страх за себя. Что было бы со мной, если бы я вот попал в то время. Но это было четко, вот это ощущение я помню. Что я бы вообще, что я бы и дня наверное не прожил. Просто. Что я был в ужасе — как люди могли вообще выжить в этом деле? Пусть там даже не знаю... каннибализм, пусть даже поедание этих самых крыс и так далее, но всё равно это... люди там выживали. То есть была воля к жизни. А тут я не знаю — то есть была ли у меня воля к жизни от всего этого? (МФ)

Признание собственного бессилия перед блокадным опытом сближает попытки представить себя в осажденном городе с прямо противоположной моделью восприятия: несколько моих собеседников замечают, что идея идентификации с жертвами блокады представляется им «бестактной», почти кощунственной:

Я никогда не считала себя в праве как-то сравнивать... нет. <...> Было ощущение, вот, что, ну, скажем так, ну, они другие, чем я. Они... их опыт мне недоступен по-настоящему. Поэтому нет, никакого переноса, конечно, не было. (ЛБ)

«Они» — другие, иные, их опыт за пределами человеческих возможностей и человеческого понимания: об этом в той или иной форме говорит большинство респондентов:

Если бы я была верующей, я бы сказала, что они приобщились к святости. Какой бы ни была их жизнь, своей страшной смертью они ее искупили. Но я не верующая... (КИ)

Для того чтобы определить собственную позицию по отношению к этому иному, запредельному опыту может оказаться недостаточно таких регистров сопричастности, как эмпатия, сочувствие, жалость; нередко мои собеседники говорят, что испытывали что-то большее: это было именно горевание, горе — состояние, которое на протяжении интервью упоминается снова и снова, — глубокое переживание личной, персональной утраты. Спрашивая в ходе интервью, с чем можно сопоставить впечатления, полученные на Пискаревском кладбище, я получила значительное количество похожих (и совершенно неожиданных для меня) ответов:

АЯ: Ну вы задали... Прежде всего потеря близких родственников... Вот...

Интервьюер: То есть это очень сильное чувство?

АЯ: Ну да. Тогда это было да. Очень сильное чувство

<...>

Интервьюер: И еще вот такой вопрос: блокада, вот эта трагедия — она с чем могла бы быть сопоставима? Вот с какими другими историческими вещами... Или вообще, может быть, ни с чем?

АЯ: Со смертью мамы. Всё. Дальше я не хочу на эту тему говорить.

Как будто бы я стоял, вот... у... могилы, вот... даже не у могилы, а у постели, вот, умирающего человека... вот это было такое вот очень страшное напряжение. То есть это не просто боль у зубного врача, или, там, от какой-то, вот, раны, а именно такое смертное страдание. <...> Это сопоставимо только с тем, когда на руках умирает человек — вот это равного, такого же уровня сильное впечатление. Вот я скажу... я могу сказать вот точно, что это, вот, как будто у тебя на руках умирает человек. Ничего более сильного я... не испытывал. (АМ)

Совершенно не с чем <сопоставить>. Ну вот только когда я в первый раз — мне тогда было шесть лет — когда я в первый раз увидела человека в гробу, нашего соседа во дворе, которого тогда хоронили. Но по силе, конечно, никакого сравнения. Что-то подобное, что-то похоже. То, что я тогда увидела на Пискаревском, это того же рода, но совершенно несравнимо по интенсивности. <...> Это одно из самых страшных ощущений, которые я в своей жизни пережила. Потери, конечно, были, и потери близких, и всё. Но это другое. (ДМ).

Ну, это, наверное, похоже — по глубине переживаний, по силе — на... смерть, на уход очень близкого человека. Наверное похожее состояние я переживала, когда хоронила своих родителей... Я была в заложниках в Норд-Осте вместе с детьми <с учениками> и... у меня погибла девочка... И... ну, я на похоронах ее не была, потому что лежала в больнице, но каждый раз, приходя к ней на могилу... — мы с ребятами приходим к ней... — и это очень похожее переживание. (НБ)

Задавая свой вопрос, я предполагала услышать исторические аналогии, но мои собеседники говорили о личной истории — о самых трагических, самых страшных событиях собственной жизни. При этом лишь несколько участников интервью были готовы прямо соотнести опыт, пережитый на Пискаревском кладбище, с темой смерти: «Тема смерти... Может быть она впервые встала передо мной» (ЕЧ). Одна из моих собеседниц определяет случившееся с ней как «открытие смерти» — смерть «открывается» через осознание ее тотальности и ее неотменимого присутствия, разрушающего образ упорядоченного, привычного, понятного мира:

Главное — вот это открытие смерти, которое... перед которой практически все равны. Которая не щадит детей, которая не щадит никого. <...> Я не могу объяснить... это отчасти был страх, а отчасти это было ощущение, что вот передо мной какая-то разверзлась бездна, — я ведь была человек совершенно неверующий очень долго — и вот такое было ощущение, что в этом устроенном мире, вдруг оказалось что вот, какая-то страшная черная бездна открылась, и забыть о ней я уже никогда не смогу. (ДМ)

## Образы блокадного города. Смерть

Мне сложно воспринимать Пискаревское кладбище в отрыве от всего остального Ленинграда. Это, безусловно, одно из самых важных мест памяти. Но история блокады, это, в том числе, история про страх, про смерть (хотя, конечно, и про выживание, и про силу духа, и так далее). Так что для меня Пискаревское кладбище (и вообще ленинградские места, связанные с блокадой), возможно, сравнимы с мемориалом в Терезине (Чехия) — не концентрационный лагерь, а именно город, в котором все — про смерть. Или — в Варшаве есть прекрасный музей Варшавского восстания, и там, кроме всего прочего, есть панорама разрушенной, разбомбленной, стертой с лица земли Варшавы, — вот это про тоже самое, мне кажется. Или, скажем, белые камни Дрездена, словно новая кожа на обгоревшем лице. <...> Что такое блокада? Это когда закутанный во что-то человек непонятного пола <...> тащит сквозь пургу по снегу санки с трупом кого-то, тоже закутанным во что-то. Или тощий дед с кусочком хлеба в грязной руке. Или трупы на улицах... Любые ассоциации первого ряда при словах «блокада Ленинграда» — это вот то, что я перечислил. А это все про смерть, —

пишет, отвечая на мои вопросы, журналист Евгений Коган, специалист по истории Петербурга-Ленинграда, с особым вниманием относящийся к блокадной теме.

Мои респонденты действительно чаще всего ассоциируют осажденный Ленинград с образом людей, везущих своих умерших на санках, хотя упоминаются и другие канонические кадры блокадной зимы. Зимний город представляется не только холодным, заледеневшим, но и темным, ночным — для его описания задействуются ключевые метафоры несуществования:

Интервьюер: Если через какие-то ассоциации описать блокаду, то чем она была для вас?

НТ: Даже не знаю... Как-то вот... трудно подобрать ассоциации... Холодная стужа зимы... Когда вообще не хочется на улицу выходить... Мрачно, пасмурно. Ночь...

Интервьюер: Какие образы у вас прежде всего всплывают <в сознании>, когда вы думаете о блокаде?

ОГ: Вы знаете, наверное вот эти санки с трупом. Когда человек с трудом везет эти санки. Я... Вообще вот, например, мюзикл Норд-Ост стал для меня таким очень сильным впечатлением в свое время, еще до этой трагедии [до теракта 2002 года. — И. К.] <...> Там в начале мюзикла есть веселая песня про «Наш народ непобедим — минус 31», <...> и потом <...> фраза <из этой песни> появляется в арии <главной героини> Кати, когда она поет ее в блокадном Ленинграде про то, что «Тучи опять наползают, / Какой-то бедою грозя. / Там, где вода замерзает, / Жить нельзя». Она абсолютно цитата из той песни, но в той ситуации блокадного Ленинграда она становится такой страшной... <...> Потому что ну вот эти саночки с трупом на берегу Невы, когда человек везет, и вполне возможно, что и он не довезет эти саночки... Это просто такой страшный символ, что я не знаю...

Интервьюер: А символ чего?

ОГ: Я даже не знаю... Безнадежности, да. Безнадежности, смерти, холода. Вот я как-то увидела уже сейчас в последние годы фотографии, когда перед Исаакием выращивают капусту, и поняла, что у меня никогда не было мысли, что в блокаду было лето... Что было же лето, что что-то пытались выращивать, что можно было траву есть, еще что-то. Потому что у меня представление, что это всегда жуткий холод. Холод и голод, зима. Хотя я понимаю, что летом все-таки было попроще. Но вот зима и холод, это снег, лед, вот это наверное да, вот это наверное первое, что думается про блокаду.

Интервью с ОГ, сравнившей свое отношение к теме блокадного Ленинграда с детским интересом к чужой смерти, я цитировала в начале статьи, вводя проблематику аффективной сопричастности. Место, где жить нельзя, где жизнь оставлена, где исключена жизненность как таковая, — это, наверное, опорный образный ряд, на котором основываются самые разные представления о блокаде. Место абсолютной безнадежности и безысходности — именно в этом смысле может восприниматься изолированность осажденного города:

Было ощущение именно закрытости, невозможности выйти оттуда. <...> Нам говорили, что они вот в этом кольце, то есть вы понимаете, что это было огорожено... Мы говорили: ну как же так, вот наши партизаны, неужели они не могли пробить какое-нибудь там это... и они бы там вот прошли... <...> Вот, и они говорили: понимаете, это невозможность выхода из этого замкнутого пространства. То есть это абсолютно закрытая территория, выхода и входа там нет. То есть только вот по льду... (МК)

Разумеется, метафоры безысходности здесь тесно связаны с метафорами преодоления, с конструкциями подвига и героической жертвы, которая была не напрасна и даже необходима:

Такая, знаете, безысходность, Вы знаете. Не то что безысходность, а такая вот необходимость этого огромного горя для того, чтобы потом это всё стало хорошо, вот у меня вот такое вот было чувство. Что потом же стало хорошо. Но для того чтобы было хорошо, вот нужно было, чтобы вот столько было его, этого горя, этих несчастий. (НГ)

И в то же время мои собеседники нередко подчеркивают, что говорят о «подвиге» в специфическом значении. В центре героизации и сакрализации жертв блокады в конечном счете оказывается «история про выживание» — оборотная сторона «истории про смерть». Личное, индивидуальное выживание — под которым, как правило, подразумевается не только физическое, но экзистенциальное сопротивление смерти, сохранение достоинства и смысла — расценивается как главный подвиг, совершаемый «в нежизненных условиях»:

Но чем отличается вот именно ленинградская ситуация от того же Сталинграда — там всё же было много активного сопротивления, а здесь вот именно пассивная боль, когда человек ничего не может сделать... Когда мирные люди стали заложниками ситуации и они ничего не могли изменить. А пассивность наверное... хуже всего. Когда единственное, что ты можешь сделать это стараться... выжить, стараться остаться человеком... Ведь оставались же люди, тем не менее сохранились и памятники культуры, и люди продолжали работать... И ходили, помогали, искали, кому еще можно помочь — вот эти отряды ходили, которые находили детей, выживших среди мертвых родителей... это вот... это так... ну это очень большая трагедия была... (НТ)

ОГ: Бой при всей его бесчеловечности... но это понятно, но это какая-то такая... это целеполагание. Вот там — враг, ты бежишь, стреляешь. Это страшно, что стреляешь во врага, страшно, да? Но это как бы понятная задача. Человеку поставили задачу <...> Условия блокады или условия концлагеря — это абсолютно... бесцельная вещь. <...> Ну, как бы вот ты просто должен жить в этих нежизненных условиях. Наверное да, наверное блокада и лагеря для меня вот этим похожи, да.

Интервьюер: Лишением смысла?

ОГ: Да. Лишением смысла и как можно найти смысл в этих условиях, абсолютно лишенных смысла.

Эти размышления, очевидно, относятся уже к сегодняшнему дню, однако они, по всей вероятности, генеалогически связаны с той позднесоветской интерпретацией темы Ленинградской блокады, которая была предложена в первую очередь в «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся Адамовича с её вниманием к индивидуальной этике и экзистенциальной проблематике. Сильно схематизируя, можно сказать, что это внимание создавало «интеллигентский» блокадный канон, помогавший рационализировать и смягчить, с одной стороны, слишком грубую и формальную риторику коллективного героизма («Но Ленинград выжил и победил»), с другой — особое ощущение ужаса, которое, как вспоминает моя собеседница, проступало через официальную «картинку красивого залакированного подвига» (ОГ).

Чувство, что публичные образы блокадного Ленинграда — книжные, кинематографические, мемориальные — являются защитным барьером, отделяющим позднесоветского реципиента от чего-то еще более ужасного, от абсолютного кошмара, конечно, прежде всего возникало при непосредственном столкновении с «блокадниками» — с воспроизводством блокадной оптики и блокадных практик:

Для вас важно провести стандартное интервью, или вам интересны любые житейские истории, связанные с коллективным опытом горожан, связанным с блокадой? <...> Одну историю могу вам рассказать. В 1967 году я поступил на факультет психологии Ленинградского университета, <...> будучи иногородним снимал комнату <...>. Весной 1968 года было сильное наводнение <...> Когда я, наконец, освободился <в университете>, я заглянул в ближайшую булочную на площади Труда, чтобы купить себе еды на ужин. Шоком

для меня было то, что никакого хлеба на полках не было, ни белого, ни чёрного... Прошло 25 лет со снятия блокады, а память в людях жива. Подействовало это на меня тогда сильнее, чем надпись на Невском и экспозиция Музея обороны Ленинграда. (Комментарий в фейсбуке, оставленный под моим объявлением о поиске респондентов)

Возможно, о том же трудновербализуемом, «теновом», вытесненном из публичного пространства ужасе свидетельствует одна из участниц интервью, рассказывая, что именно в блокадном контексте ею воспринимался городской фольклор — «детские страшилки» о каннибализме:

В те времена [речь идет о начале 1960-х. — И. К.] ходили детские страшилки, они повторялись. Мне кажется, я слышала их от своих сверстниц в Подмосковье, но, кажется, происходили они именно из Ленинграда... Значит, среди этих детских страшилок одна была, явно навеянная блокадной темой. Или мне так кажется, что навеянная... Значит, мама покупает на рынке пирожок и находит в начинке ленточку своей <пропавшей> дочки. Слышали такое? Ну что вы, а в моем детстве это была популярная байка. Вообще в моем детстве таких страшилок было несколько. (ЕЧ)

Такого рода «теновые» кошмары представляются мне неотъемлемой частью позднесоветского образа Ленинградской блокады. Неизбежное сочетание высокой степени идеализации и пугающего опыта, который не может быть в полной мере осмыслен и, следовательно, принят, закрепляет за блокадным Ленинградом особое место на когнитивной карте позднесоветской культуры. Я полагаю, что весьма точным указанием на это место является метафора ада, которую использует Полина Барскова в статье о блокадных утопиях.

В символическом смысле это место находилось на прямо противоположной стороне мира от образов города-сада — город-ад, скованный холодом, невозможное, непереносимое, не имеющее права быть пространством. Как и в случае образа светлого коммунистического будущего, христианские представления о жизни после смерти здесь переносятся в географические и исторические координаты и отделяются от идеи персонального спасения, но в то же время эти искаженные «рай» и «ад» обладают трансцендентным значением. Рациональное знание об осажденном городе, с которым все-таки удавалось наладить пусть и крайне ограниченную связь, совмещается с образом абсолютно запредельной, *иной* территории без входа и выхода. Пакет риса и бутылъ подсолнечного масла, сохранившиеся в неприкосновенности на кухне ленинградской квартиры — там, где их оставили перед эвакуацией хозяева, — так и не попадают в эту иную, трансцендентную реальность, в которой были бы столь нужны. Блокадный Ленинград воображается как город, отданный во власть смерти и в то же время из последних сил пытающийся жить обычной жизнью: это не просто место массовых смертей — это место свершив-

шейся смерти и продолжающейся внутри нее жизни. Место, где живые внешне похожи на мертвых, а мертвые приобретают статус вечно живых.

Историки, исследующие культуру смерти в СССР, отмечают особую смертность раннесоветских официальных дискурсов и практик, выразившуюся прежде всего в характерном смешении мира мертвых и мира живых, характерном удержании тесной символической связи с умершими; позднее, в 1930-е годы, «дискурсы смерти», по наблюдению Светланы Малышевой, вытесняются «дискурсом радости», чтобы вернуться в более оформленных и ограниченных рамках уже после Второй мировой войны: «Официальный танатологический пафос культа „наших мертвецов“ подвергся обновлению и „перезагрузке“ ввиду новых трагических событий отечественной истории. <...> До самого конца советской эры, а в значительной степени и в постсоветское время именно память о кровавой жертве советского народа в Великой Отечественной войне и о цене Победы, а также соответствующий героико-мortalный дискурс являлись/являются главными моментами, определявшими и определяющими советскую (а ныне — „российскую“) идентичность» (Малышева, 2016). Мне хотелось бы акцентировать здесь не столько процесс государственной экспроприации и апроприации смерти как ресурса nation building, сколько сам факт, что смерть снова оказывается видимой, что она возвращается в сферу публичного обсуждения через практики поминовения, а коммеморативные пространства становятся «местом встречи живых и мертвых» (Тумаркин, 2016). При этом официальное возвращение «дискурса смерти» и конструирование «героико-мortalного» нарратива о жертвах войны (в полной мере начавшееся всё же не сразу после «новых трагических событий») хронологически совпадает с возвращением утопии светлого будущего, которая тоже была в свое время вытеснена «дискурсом радости».

Такое совпадение вряд ли является случайным. Связь между смертностью и утопизированием, совершенно отчетливая в 1920-е (когда проекты воскрешения мертвых представлялись частью проектов светлого будущего), в последние десятилетия социализма не кажется столь очевидной, но она по-прежнему есть. Нуждаясь в проективных пространствах, аналогах «рая» и «ада», позднесоветская культура находит специфические для нее способы решения экзистенциальных проблем. В то время как образ вечного коммунистического благоденствия становится всё более далеким, недостижимым и герметичным, появляется один из его страшных и столь же герметичных антиподов — осажденный город, символическое пространство, концентрирующее в себе представления о смерти и тем самым по-своему блокирующее смерть. Роль специфических порталов, в которых утопия и смерть оказываются доступны для непосредственного переживания, в этой культуре в значительной мере играют «места памяти», заимствующие не только утопическую нейтральность, но и утопическую зачарованность смертью (или, что то же самое, утопическое отрицание смерти, неготовность признать, что смерть неизбежна). Застывание — в вековом граните, в немом оцепенелом ужасе, в почетном карауле у объектов коммеморативного культа — возможно, базовый

телесный код, через который утопическое проникает в мемориальные практики и — шире — в сферу сакрального.

Пискаревское мемориальное кладбище — памятник блокадному Ленинграду и в каком-то смысле его зеркало (холодное, изолированное, внеположенное повседневному миру пространство) — наделяется посетителями очень разными значениями. Но в первую очередь — это место «небожественного сакрального». Место, где «Бога нет». Мрачное и светлое, живое и мертвое. Место, которое погружает реципиента в особое, пограничное состояние, позволяя пережить и глубокое горе личной утраты, и страх персональной смерти — чувства, на которые в позднесоветской культуре, в сущности, ответов быть не могло.

В том, как респонденты рассказывают о своих давних впечатлениях, можно увидеть немало соответствий тому, как Пискаревское кладбище выглядело в советских альбомах и туристических брошюрах, — тем режимам восприятия, которые предписывались нормативным нарративом. И в то же время самые нейтральные, эмоционально «пустые» повествовательные формулы наполняются в интервью индивидуальным содержанием и реальной болью.

И для меня это, безусловно, наиболее важная часть исследования. Пастеризованный и утопизированный образ Ленинградской блокады основывается на вытеснении субъектности — в центр нарратива о блокадном жертвенном стоицизме помещается горожанин, полностью устранивший «реальное я», с его потребностью есть и быть, и заменивший его «я идеальным». Не исключаю, что не в последнюю очередь именно эта — страшная и крайняя — форма утопической рецепции превращает блокаду в «увеличительное стекло» советского опыта. Я признательна моим собеседникам за возможность увидеть, как через язык скорби и горя происходит (и, видимо, происходило в позднесоветские годы, снова и снова) возвращение главной утраты — возвращение реальности как таковой.

### Анонимные участники глубинных интервью

В скобках указаны основное место жительства респондентов в советский период и год (годы) посещения Пискаревского мемориального кладбища.

АЗ — м., р. 1952 (Ленинград, 1960–1970-е)

АМ — м., р. 1968 (Москва, 1981 (?), 1988)

АЯ — м., р. 1957 (Москва, 1973, позднее неоднократно)

ВП — м., р. 1951 (Ленинград, вт. пол. 1960-х — 1970-е)

ДМ — ж., р. 1949 (Махачкала, 1962)

ЕБ — ж., р. 1956 (Белгород, 1970)

ЕП — ж., р. 1966 (Ленинградская обл., Ленинград, вт. пол. 1970-х)

ЕЧ — ж., р. 1954 (Москва, 1962)

КИ — ж., р. 1970 (Москва, 1986)

КС — м., р. 1966 (Москва, 1978 (?))

ЛБ — ж., р. 1955 (Москва, 1972)  
МК — ж., р. 1980 (Ленинградская обл., к. 1980-х)  
МФ — м., р. 1947 (Москва, перв. пол. 1980-х)  
НБ — ж., р. 1969 (Московская обл., 1985, позднее неоднократно)  
НГ — ж., р. 1969 (Кривой Рог, 1974)  
НТ — ж., р. 1954 (Краматорск, 1966 (?), 1970)  
ОГ — ж., р. 1969 (Волгоградская обл., — )  
ПМ — м., р. 1968 (Нарьян-Мар, 1980 (?))  
СМ — ж., р. 1973 (Ленинград, 1980-е)  
ТК — ж., р. 1946 (Москва, 1960)

## Литература

- Арлауская Н. (2016). «Пройдемте, товарищи, быстрее!»: режимы визуальности для блокадной повседневности // Новое литературное обозрение. № 1 (137). С. 153–171.
- Барскова П. (2015). В город входит смерть // Сеанс. № 59/60.
- Блюм А. (2004). Блокадная тема в цензурной блокаде // Нева. № 1. С. 238–245.
- Бродский И. А. (ред.). (1962). Памятник героическим защитникам Ленинграда: Пискаревское мемориальное кладбище-музей: Альбом. Л.: Художник РСФСР.
- Воронина Т. (2013). «Социалистический историзм»: образы ленинградской блокады в советской исторической науке // Неприкосновенный запас. № 1 (87). С. 140–162.
- Габович М. (2015). Памятник и праздник: этнография Дня Победы // Неприкосновенный запас. № 3 (101). С. 93–111.
- Зенкин С. (2012). Небожественное сакральное: теория и художественная практика. М.: Новое литературное обозрение.
- Каспэ И. (2015). Навык утопического взгляда: на материале авторских фотографий последних десятилетий социализма // Социологическое обозрение. Т. 14. № 2. С. 41–69.
- Львовский С. (2009). «Видит горы и леса»: история про одно стихотворение Виталия Пуханова // Новое литературное обозрение. № 2 (96). С. 256–268.
- Нора П. (1999). Проблематика мест памяти // Франция-память / Пер. с фр. Д. Хапаевой под ред. Н. Копосова. СПб.: СПбГУ. С. 17–50.
- Малышева С. (2016). Красный Танатос: некросимволизм советской культуры // Археология русской смерти. № 2. С. 24–46.
- Петров Г. Ф. (1967). Пискаревское кладбище. Л.: Лениздат.
- Петров Г. Ф. (1977). Пискаревское кладбище. Л.: Лениздат.
- Петров Г. Ф. (1986). Памятник скорби и славы. Л.: Лениздат.
- Пуханов В. (2009). [Обращение к участникам интернет-дискуссии] // Новое литературное обозрение. № 2 (96). С. 280–281.

- Рябов О. (2006). «Родина-Мать»: история образа // Женщина в российском обществе. № 3. С. 33–46.
- Рябов О. (2014). «Родина-Мать» в истории визуальной культуры России // Вестник ТвГУ. Серия «История». № 1. С. 90–113.
- Сандомирская И. (2001). Книга о Родине: опыт анализа дискурсивных практик. Wien: Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien.
- Секацкий А. (2004). Вирус утопии: проблема передачи // Критическая масса. № 4. С. 85–90.
- Тимофеев М. (2015). Помни о Матери-Родине! Конкурирующие места памяти // Лабиринт. № 4. С. 43–63.
- Тумаркин Н. (2016). Интервью о культе Ленина и советской культуре смерти // Археология русской смерти. № 2. С. 13–21.
- Kirschenbaum L. (2006). The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995: Myth, Memories and. Monuments. New York: Cambridge University Press.
- Marin L. (1990). Utopics: The Semiological Play of Textual Spaces / Transl. by R. A. Vollrath. New York: Humanity Books.

## Site of Death: The Meanings of the Siege of Leningrad in Late Soviet Culture

*Irina Kaspe*

Independent scholar

Address: Solyanka str., 3, bld. 1, office 14, Moscow, Russian Federation 109028

E-mail: ikaspe@yandex.ru

The article attempts to discover the place of besieged Leningrad on a “cognitive map” of late Soviet culture from 1960s to the 1980s. The images of the blockaded city which were reproduced during those decades are considered by the author in connection with the issue of spatial perception. The study focuses on the Piskarevskoye cemetery, a peculiar space located outside of the “historic center of Saint Petersburg” and established for a memorial purpose. However, the author refuses to formulate her tasks in terms of “collective memory,” and explores the symbolically-charged and existentially-meaningful practices hidden behind the memorial rhetoric, although not related to the mnemonic processes. The article relies on two types of sources. The first source is Soviet albums and tourist brochures dedicated to the Piskarevskoye cemetery, and the second source is the memories of the respondents of their visits to this memorial in late Soviet times. In the first case, we talk about a normative view of the regimentation of affects, and setting the modes of mourning. The second case is about the possibilities of the reconstruction of the complex personal experience, often involving, as the article shows, a deep emotional shock. In complementing each other, these sources allow us to see the images of the Siege of Leningrad as a kind of projection of the notions about death, and as a symbolic “hell” that is located on the opposite pole from the symbolic “paradise” promised in a utopian Communist future.

**Keywords:** Siege of Leningrad, late Soviet culture, commemorative space, sacred space, utopian space, culture of death

## References

- Arlauskaite N. (2016) "Projdemte, tovarishchi, bystree!": rezhimy vizual'nosti dlya blokadnoj povsednevnosti ["Comrades, Let's Go Faster!": Modes of Visuality for the Everyday Life of the Siege]. *New Literary Observer*, no 1 (137), pp. 153–171.
- Barskova P. (2015) V gorod vkhodit smert' [Death Comes to Town]. *Seans*, no 59/60.
- Blyum A. (2004) Blokadnaya tema v cenzurnoj blokade [Blockade Theme in the Censorship Blockade]. *Neva*, no 1, pp. 238–245.
- Brodsky I. (ed.) (1962) *Pamjatnik geroicheskim zashchitnikam Leningrada: Piskarevskoe memorial'noe kladbishhe-muzej* [The Monument for Heroic Defenders of Leningrad: Piskaryovskoye Memorial Cemetery Museum], Leningrad: Khudozhnik RSFSR.
- Gabovich M. (2015) Pamyatnik i prazdnik: ehtnografiya Dnya Pobedy [The Monument and Celebration: An Ethnography of Victory Day]. *Neprikosnovenny zapas*, no 3 (101), pp. 93–111.
- Kaspe I. (2015) Navyk utopicheskogo vzglyada: na materiale avtorskih fotografij poslednih desyatiletij socializma [The Skill of Utopian Vision: Photojournalism in the Last Soviet Decades]. *Russian Sociological Review*, vol. 14, no 2, pp. 41–69.
- Kirschenbaum L. (2006) *The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995: Myth, Memories and Monuments*, New York: Cambridge University Press.
- Lvovsky S. (2009) "Vidit gory i lesa": istoriya pro odno stihotvorenie Vitaliya Puhanova ["Sees the Mountains and Forests": The Story about Poem by Vitaliy Pukhanov]. *New Literary Observer*, no 2 (96), pp. 256–268.
- Malysheva S. (2016) Krasnyj Tanatos: nekrosimvolizm sovetskoj kul'tury [Red Thanatos: Necrosymbolism of the Soviet Culture]. *Archeology of Russian Death*, no 2, pp. 24–46.
- Marin L. (1990) *Utopics: The Semiological Play of Textual Spaces*, New York: Humanity Books.
- Nora P. (1999) Problematika mest pamyati [The Issue of the Sites of Memory]. *Franciya-pamyat' [France-Memory]* (ed. N. Koposov), Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, pp. 17–50.
- Petrov G. (1967) *Piskarevskoe kladbishhe* [Piskaryovskoye Cemetery], Leningrad: Lenizdat.
- Petrov G. (1977) *Piskarevskoe kladbishhe* [Piskaryovskoye Cemetery], Leningrad: Lenizdat.
- Petrov G. (1986) *Pamjatnik skorbi i slavy* [The Monument of Grief and Fame], Leningrad: Lenizdat.
- Puhanov V. (2009) Obrashchenie k uchastnikam internet-diskussii [Appeal to the Participants of the Online Discussion]. *New Literary Observer*, no 2 (96), pp. 280–281.
- Ryabov O. (2006) "Rodina-Mat": istoriya obraza ["Motherland": The History of the Image]. *Woman in Russian Society*, no 3, pp. 33–46.
- Ryabov O. (2014) "Rodina-mat" v istorii vizual'noj kul'tury Rossii ["Motherland" in the History of the Visual Culture of Russia]. *Bulletin of the Tver State University, Series "History"*, no 1, pp. 90–113.
- Sandomirskaya I. (2001) *Kniga o Rodine: opyt analiza diskursivnykh praktik* [A Book about the Motherland: Analyzing Discursive Practices], Wien: Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien.
- Sekatsky A. (2004) Virus utopii: problema peredachi [The Virus of Utopia: A Problem of the Transfer]. *Kriticheskaya massa*, no 4, pp. 85–90.
- Timofeev M. (2015) Pomni o Materi-Rodine! Konkuriruyushchie mesta pamyati [Remember about the Motherland! Competing Sites of Memory]. *Labirint*, no 4, pp. 43–63.
- Tumarkin N. (2016) Interv'y u kul'te Lenina i sovetskoj kul'ture smerti [An Interview about the Cult of Lenin and the Soviet Culture of Death]. *Archeology of Russian Death*, no 2, pp. 13–21.
- Voronina T. (2013) "Socialisticheskij istorizm": obrazy leningradskoj blokady v sovetskoj istoricheskoy nauke ["Socialist Historicism": The Images of the Siege of Leningrad in the Soviet Historical Science]. *Neprikosnovenny zapas*, no 1 (87), pp. 140–162.
- Zenkin S. (2012) *Nebozhestvennoe sakral'noe: teoriya i hudozhestvennaya praktika* [The Undivine Sacred: Theory and Art Practice], Moscow: New Literary Observer.

## Депутаты Государственной Думы РФ: особенности карьеры после прекращения полномочий\*

*Денис Тев*

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник  
Социологического института РАН — филиала Федерального научно-исследовательского  
социологического центра Российской академии наук  
Адрес: ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14, Санкт-Петербург, Российская Федерация 190005  
E-mail: [denis\\_tev@mail.ru](mailto:denis_tev@mail.ru)

Статья посвящена анализу карьеры депутатов Государственной Думы (ГД) РФ после прекращения полномочий. Эмпирической основой исследования служит биографическая база данных, содержащая, в частности, сведения о постдумской работе 1209 парламентариев. Важнейшими институциональными каналами, в рамках которых проходит карьера бывших депутатов ГД, являются экономические и административные структуры, причем некоторые экс-законодатели входили в состав административной и экономической элит общероссийского уровня. Существенную роль в качестве места работы депутатов после ухода из ГД играют представительные органы и научно-образовательные структуры. Кроме того, заметная часть депутатов после прекращения полномочий занимала должности, обеспечивающие деятельность нижней палаты парламента и ее членов (помощники депутатов, сотрудники аппарата ГД). Характер постдумской карьеры, вероятно, отчасти связан с особенностями карьеры, предшествующей избранию в ГД: среди депутатов, имеющих постпарламентский опыт работы в административных и научно-образовательных структурах, региональных легислатурах, а также на ключевых должностях в коммерческих организациях, соответствующий предпарламентский опыт шире распространен, чем во всей исследуемой совокупности. Более того, некоторые депутаты сразу после прекращения полномочий оказывались на прежнем месте работы, на той же или сходной должности, что в основном характерно для выходцев из бизнеса и научно-образовательной сферы. Для многих (свыше четверти) депутатов парламентская позиция стала трамплином для достижения непосредственно после ухода из ГД более высоких должностей, чем те, которые они занимали на момент избрания в нее. В то же время только меньшинство депутатов сразу после прекращения полномочий сохранило принадлежность к властным элитам общенационального уровня. В статье выдвинут ряд предположений о связи между характеристиками политической и экономической организации российского общества (слабость парламента, «кумовской капитализм» и пр.) и особенностями постдумской карьеры.

*Ключевые слова:* парламента, Государственная дума, депутаты, постдумская карьера, бизнес, администрация, региональные легислатуры, научно-образовательная сфера

---

© Тев Д. Б., 2018

© Центр фундаментальной социологии, 2018

DOI: 10.17323/1728-192X-2018-1-106-133

\* Работа выполнена по государственному заданию (тема «Социально-культурные изменения и структурирование властных отношений в современной России», № государственной регистрации АААА-А17-11703010144-3).

При выраженной тенденции к воспроизводству персонального состава общенациональных легислатур от созыва к созыву (Matland, Studlar, 2004: 92–94) наблюдается и обновление депутатского корпуса, часть которого, добровольно или нет<sup>1</sup>, покидает парламент (после очередных выборов или досрочно) и замещается новичками. Причем в постсоциалистических странах, включая Россию, уровень обновления парламента в целом выше, чем на Западе<sup>2</sup> (Ilonszki, Edinger, 2007: 155–157, 160). В России этому могли способствовать нестабильность партийной и избирательной<sup>3</sup> систем, усиливавшая политическую уязвимость инкубентов, а также слабость парламента как института власти, которая, возможно, сдерживала развитие у депутатов заинтересованности в длительной думской карьере, поощряя их к поиску более привлекательных позиций вне Госдумы (далее — ГД) или к возвращению на прежнюю работу. Впрочем, высокая зарплата депутатов, которая гораздо значительнее, чем вознаграждение парламентариев стран Европы, превышает среднюю зарплату по стране (Euronews, 2016), и другие их привилегии могут воздействовать в обратном направлении. В лучшем случае чуть более половины депутатов ГД прежнего созыва сохраняли свои мандаты в следующем созыве (Гаман-Голутвина, 2012: 133–134; Завадская, 2012: 121).

В связи с этим актуален вопрос о том, куда уходят депутаты, в каких сферах деятельности и на каких позициях они оказываются, какова их последующая карьера. Постпарламентскую карьеру и вообще карьеру после ухода с элитной должности нужно исследовать, во-первых, потому, что полное понимание роли парламентской или иной позиции в карьере (является ли она ее вершиной, трамплином и пр.) возможно, только если знать, какие позиции следовали за ней, если смотреть на нее в ретроспективе (Stolz, Kintz, 2014: 3). Во-вторых, такой анализ важен для прояснения вопроса об устойчивости членства в элите: влечет ли за собой уход из ГД выпадение из властной элиты либо переход в элитные группы другой функциональной специализации или уровня? В-третьих, изучение постдумской карьеры необходимо для оценки степени межфракционной и межуровневой элитной интеграции, одним из показателей которой могут выступать переходы федеральных законодателей в другие властные группы. В-четвертых, знание карьеры депутата после прекращения полномочий позволяет лучше понять его поведение в период их осуществления. Это связано с тем, что перспективы возможной будущей занятости способны влиять на поведение законодателей (как и чиновников), которые могут приспосабливать свою политику к интересам потенциального работодателя. Так, Д. Самуэльс установил, что бразильские депутаты, нацеленные на

---

1. О причинах выбытия депутатов из легислатуры см., напр.: Frantzich, 1978; Blair, Henry, 1981; Francis, Baker, 1986; Livingston, Friedman, 1993; Matland, Studlar, 2004.

2. Хотя, как свидетельствует пример французских выборов 2017 года, в странах с развитой демократией персональный состав парламентской элиты может обновляться радикальным образом (RFI, 2017).

3. В 2007 и 2011 годах ГД избиралась не по смешанной, как ранее, а по пропорциональной системе, которая по сравнению с мажоритарной больше благоприятствует обновлению легислатуры (Matland, Studlar, 2004: 101, 103–104).

постпарламентскую карьеру на должностях уровня штатов, склонны лоббировать интересы соответствующих правительств в бюджетном процессе (Samuels, 2003: 134–156). Также на примере городских советников в США К. Превитт и В. Ноулин показали, что те из них, кто имеет связанные с занятием более высокой должности амбиции, склонны поощрять программы, которые приводят к расширению прерогатив и увеличению обязанностей вышестоящих должностей (Prewitt, Nowlin, 1969: 306). Наконец, в-пятых, исследование постпарламентских карьер позволяет лучше понять особенности данной политической системы: роль в ней парламента, характер его отношений с исполнительной властью, бизнесом и другими институтами.

Несмотря на важность указанной темы, исследований постпарламентской карьеры и вообще карьеры после ухода с той или иной элитной должности сравнительно немного. Чаще изучаются пути, ведущие к известной элитной позиции, каналы рекрутирования тех, кто ее занимает. Дж. Кин отмечал, что вопрос о судьбе бывших должностных лиц является «недостаточно теоретизированным, недостаточно исследованным и недооцененным» (Keane, 2009: 282–283). Исследования карьеры элитных персон после ухода с должности сталкиваются с определенными трудностями: недостатком соответствующей биографической информации, а также «отсутствием предопределенной конечной точки» такой карьеры (Stolz, Kintz, 2014: 5–6). Тем не менее такие исследования проводятся, и их количество в последние годы существенно возросло. За рубежом изучалась карьера бывших глав государств и правительств (Theakston, 2012; Baturo, Mikhaylov, 2016), министров, обычно общенационального (Freitag 1975; Blondel, 1991; Nicholls, 1991; Stolz, Kintz, 2014; Claveria, Verge, 2015; Dörrenbächer, 2016), но также и регионального (Stolz, Fischer, 2014) уровня. Ряд работ посвящен, полностью или частично, судьбе бывших парламентариев США (Herrick, Nixon, 1996; Diermeier, Keane, Merlo, 2005; Kim, 2013; Parker, Parker, Dabros, 2013), Германии и Нидерландов (Claessen, Bailer, 2015), Ирландии (Baturo, Arlow, 2017), Бразилии (Samuels, 2003: 58–75; Santos, Pegurier, 2011: 177, 181). В России исследовалась карьера после ухода с должности заместителей министров (Huskey, 2010b), глав субъектов РФ (Фонд «Петербургская политика», 2012) и высокопоставленных региональных администраторов (Тев, 2015). Что касается судьбы российских депутатов после выбытия из ГД, то удалось обнаружить только статью Е. Семеновой, в которой этой теме уделены два абзаца (Semenova, 2011: 921–922). При этом вопрос трудоустройства бывших депутатов ГД неоднократно освещался в СМИ. Примечательно, что, судя по некоторым публикациям, поиск работы экс-депутатами не является чисто стихийным процессом и содержит некоторый элемент организации со стороны государственных и партийных структур: так, еще в 2007 году президент РФ предлагал депутатам ГД от «партии власти» подумать о трудоустройстве своих бывших коллег (NEWSru, 2007); в 2016 году в «Единой России» для этого была создана специальная партийная комиссия (Винокурова, 2016).

Восполнить пробел в анализе карьеры депутатов ГД после ухода из нижней палаты парламента призвано нынешнее исследование. Его эмпирической основой стала биографическая база данных<sup>4</sup>, включившая анкеты на депутатов I–VI созывов, которые по состоянию на первую половину сентября 2016 года хотя бы однажды выбыли из ГД и о последующей работе которых (в том числе на общественных началах) есть минимальная информация (как видно из таблицы 1, всего 1209 персон).

Таблица 1. Количественные характеристики объекта исследования

Число депутатов ГД, которые хотя бы однажды выбывали из нее, исключая тех, кто умер в период исполнения полномочий	1402
Число депутатов ГД, на которых заполнены биографические анкеты	1209
Общее число выбытий депутатов из ГД, исключая случаи смерти в период исполнения полномочий	1468
Число выбытий депутатов из ГД, о работе после которых есть хотя бы минимальная информация	1267

Поскольку некоторые депутаты неоднократно, но с перерывом, избирались в парламент и неоднократно уходили из него, объем исследуемой совокупности (N=1267) превысил количество персон и анкет. В качестве источника информации о составах ГД I–VI созывов использовался официальный сайт ГД. Источниками биографических сведений служили официальные сайты органов государственной и муниципальной власти, сайты и отчеты коммерческих структур, биографические порталы и пр. В ходе исследования были выявлены области занятости бывших депутатов ГД, основные структуры, в которых проходит постдумская карьера.

Таблица 2. Работа бывших депутатов ГД: основные области занятости (позиции)<sup>5</sup>, % (N=1267)

Области занятости (позиции)	Наличие опыта работы после прекращения полномочий	Первая известная* позиция после прекращения полномочий
Экономические (коммерческие) организации	38	19
Административные органы федерального, регионального и местного уровня	33	21

4. База данных была собрана в сентябре—декабре 2016 года.

5. Кроме указанных в таблице 2 структур довольно распространенным местом работы бывших депутатов ГД были политические партии и движения: значительная часть экс-законодателей состояла, часто на общественных началах, в руководящих органах таких организаций (для того, чтобы в полной мере определить их долю, необходимо специальное исследование), причем у некоторых это была первая, а у 4 % — единственная известная постдумская позиция.

Научно-образовательные структуры	22	10
Органы представительной власти (члены СФ, депутаты региональных законодательных собраний и местных дум)	19	7
Позиции, обеспечивающие деятельность нижней палаты парламента и ее членов (сотрудники аппарата ГД, помощники депутатов и пр.)	9	7

\* В силу неполноты, фрагментарности биографической информации в значительном числе случаев есть более или менее существенный временной разрыв между выбытием из ГД и первой известной постдумской позиций.

### Бывшие депутаты ГД: продолжение законодательной карьеры

Уходя из ГД, депутаты не обязательно расстаются с законодательной карьерой. Они могут продолжать ее в Совете Федерации, региональных легислатурах, местных представительных органах. В этих случаях может продолжаться и их политическая профессионализация.

Таблица 3. Членство бывших депутатов ГД в представительных органах, % (N=1267)

<i>Представительный орган</i>	<i>Наличие опыта членства после прекращения полномочий</i>	<i>Первая известная позиция после прекращения полномочий</i>
Совет Федерации	7	2
Региональное законодательное собрание	12	4
Местная дума	3	1
Всего с опытом членства в указанных представительных органах	19*	7

\* Эта цифра меньше суммы цифр в предыдущих строках, поскольку одна и та же persona может иметь опыт членства в различных представительных органах.

Таблица 3 показывает распространенность постдумского опыта членства в этих органах представительной власти. Как видим, некоторые бывшие депутаты работали в Совете Федерации (причем иногда они входили туда по должности как главы регионов и спикеры заксобраний). Это движение является двусторонним: Совет Федерации также в определенной степени выступает резервуаром рекрутирования депутатов ГД. Хотя должность сенатора обычно не дает большой власти, она может быть привлекательной для депутатов, поскольку престижна, высокооплачиваема и нередко не требует больших усилий, будучи своего рода синекурой. Кроме того, некоторое сходство функций депутата и сенатора (законотворчество, лоббирование интересов своих регионов) облегчает переход из одной палаты

в другую. Но переход может затрудняться тем, что палаты формируются разными способами, и это, вероятно, требует от претендентов на места в них мобилизации различающихся ресурсов и способностей, хотя, конечно, финансовые и административные возможности значимы в обоих случаях. К тому же мест в СФ немного, и на них претендуют представители разных сегментов элиты, включая высокопоставленных региональных администраторов, федеральных бюрократов, спикеров региональных законодательных собраний, бизнесменов, которые являются источниками рекрутирования сенаторов (Ross, Turovsky, 2013). Неудивительно поэтому, что лишь меньшинство депутатов, сразу после ухода из ГД, оказалось в Совете Федерации. Доступных для сравнения сведений по другим странам о переходе парламентариев из нижней палаты в верхнюю немного, но, например, среди бывших ирландских депутатов, которые покинули парламент в период с 1989 по 2016 год, кресла в Сенате занял примерно каждый восьмой (13 %) (Batur, Arlow, 2017: 8). Кроме того, хотя по России данные о доле бывших членов нижней палаты парламента в его верхней палате не доступны, но похоже, что здесь наша страна существенно уступает некоторым другим федеративным государствам, например, Бразилии и США, где они составляли, соответственно, чуть более половины (Santos, Pegurier, 2011: 177) и почти треть (Frantzich, 1978: 113) сенаторов.

Несколько шире распространено членство бывших депутатов ГД в представительных органах более низкого, прежде всего регионального уровня. Вообще, что касается движения депутатов между уровнями представительной власти, то ситуация в разных странах различна, но в большинстве случаев центростремительное движение значительно сильнее центробежного (Stolz, 2003). В России многие депутаты ГД имели предшествующий опыт работы в региональных и местных представительных органах: почти треть случаев с учетом членства в советах народных депутатов последнего созыва. С другой стороны, как видно из таблицы 3, часть депутатов имела опыт, правда, в основном косвенный, работы в региональных легислатурах после ухода из ГД; такие случаи не столь редки, как в ряде западных стран. Среди тех депутатов, которые входили в региональные легислатуры после выбытия из ГД, предпарламентский опыт работы в них более распространен, чем во всей совокупности.

Ряд факторов может влиять на возможность и заинтересованность депутатов ГД продолжать законодательную карьеру на региональном уровне. Во-первых, общее число мест в легислатурах субъектов РФ достаточно велико, ныне около 4 тысяч<sup>6</sup>, во много раз больше, чем в Совете Федерации, и в этом смысле они относительно доступны. Во-вторых, депутаты ГД нередко хорошо известны в тех регионах, от которых были избраны; обладают связями в элите, опытом избирательных кампаний, что дает им хорошие шансы на выборах в парламенты субъектов РФ. В-третьих, одним из факторов, которые могут способствовать движению персон между представительными органами различного уровня, является «кон-

---

6. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламенты\\_субъектов\\_Российской\\_Федерации](https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламенты_субъектов_Российской_Федерации).

груэнтность партийных систем на разных уровнях власти» (Borchert, Stolz, 2011: 280). В Канаде, например, отсутствие интегрированной партийной системы, существование отдельных (*distinct*) партийных организаций на провинциальном и федеральном уровнях затрудняло такие перемещения (Borchert, Stolz, 2011: 273, 280; Docherty, 2011). Что касается России, то в 1990-е — начале 2000-х годов роль партий, включая общенациональные, на выборах в региональные парламенты была слаба: как показывали исследования, не партийная аффилиация, а лояльность губернатору являлась ключевым фактором успеха кандидатов (Golosov, 2011a: 400; 2011b: 627). Тем не менее в 2000-е годы эта роль возросла в связи с введением пропорциональной системы, превращением партий в единственный вид объединения, который вправе выдвигать кандидатов, и запретом региональных партий. Ныне на региональном и федеральном уровнях политической системы и законодательной власти представлены общероссийские, главным образом четыре думские партии. Все это должно благоприятствовать, по крайней мере, в последнее десятилетие, движению персон между legislatures разного уровня. Депутаты ГД от этих партий нередко входят в руководство региональных партийных отделений и могут в период исполнения своих полномочий или после их прекращения баллотироваться также в региональные парламенты, занимая проходные места в партийных списках кандидатов. Это позволяет им, даже выбыв из ГД, продолжать законодательную карьеру и, возможно, дожидаться в кресле регионального депутата нового шанса попасть в федеральный парламент.

Однако не стоит преувеличивать привлекательность для депутатов ГД позиций в региональных legislatures, переход в которые обычно является для них понижением, хотя и может быть подходящим вариантом для тех, кто не смог переизбраться в Думу. Отчасти привлекательность зависит от того, насколько велики власть и доход, которые дают эти позиции, что связано со степенью влияния и профессионализации парламентов. Хотя в постсоветский период формальные полномочия и реальная власть legislatures варьировались по регионам (см., напр.: Кузьмин, Мелвин, Нечаев, 2002), и в 1990-е годы в некоторых субъектах РФ законодательные органы были довольно сильными, для 2000–2010-х годов в основном характерна ситуация, когда они не обладают существенной политической автономией и подчинены главам исполнительной власти (Golosov, 2011: 627; 2017: 555–558). Кроме того, в отличие от щедро вознаграждаемой работы в ГД, большинство мест в региональных legislatures предполагает работу на непрофессиональной основе (Дума Ставропольского края, 2015). Конечно, профессионализация позиций неоднозначно связана с их привлекательностью. В частности, работа на непостоянной основе может быть привлекательна для тех депутатов ГД, которые вышли из бизнеса и после отставки хотят вернуться к руководству фирмами, не желая при этом полностью уходить из политики, тем более что региональный депутатский мандат полезен для лоббирования деловых интересов. Впрочем, существенная доля депутатов региональных legislatures все же работает на постоянной основе, в частности, их председатели (спикеры). Высшие позиции в этих органах, самые

влиятельные и высокооплачиваемые, обычно наиболее привлекательны, и переход на них (а такие случаи есть) может быть повышением для рядовых депутатов ГД. Наконец, региональный (а также местный) депутатский мандат важен как пропуск в Совет Федерации. Иногда бывшие думцы избирались в региональную легислатуру и сразу делегировались в СФ. Кстати, хотя мест в СФ во много раз меньше, чем в легислатурах субъектов РФ, распространенность опыта работы бывших депутатов ГД региональными законодателями лишь примерно вдвое превышает частоту их членства в верхней палате парламента, что, возможно, косвенно подтверждает гораздо большую привлекательность для них кресла в Совете Федерации.

### Депутаты ГД: опыт работы в административных структурах после ухода из парламента

Одним из важнейших каналов, в рамках которого проходит постдумская карьера, являются административные структуры (к ним были отнесены администрация президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, аппарат правительства РФ, местные администрации).

Таблица 4. Работа бывших депутатов ГД в административных структурах, % (N=1267)

<i>Административные структуры</i>	<i>Наличие опыта работы после прекращения полномочий</i>	<i>Первая известная позиция после прекращения полномочий</i>
Федеральные	17	10
Региональные	17	10
Местные	3	1
Всего с опытом работы в административных структурах любого уровня	33*	21

\* Эта цифра меньше суммы цифр в предыдущих строках, поскольку одна и та же персона может иметь опыт работы в администрациях разного уровня.

Как показывает таблица 4, постдумский опыт работы в администрации довольно распространен, чему в принципе может способствовать ряд факторов. Во-первых, многие депутаты (почти каждый третий) еще до избрания в ГД имели постсоветский административный опыт. Наличие предшествующего опыта работы и связей в администрации может облегчать переход в нее после депутатства. Неслучайно, в сравнении со всеми депутатами, среди тех, кто работал в административных органах после ухода из ГД, выше доля имевших предпарламентский опыт работы в них. Во-вторых, как уже отмечалось, слабость парламента как органа власти, возможно, сдерживала ориентацию депутатов на длительную парламентскую карьеру и усиливала их заинтересованность в переходе в административные структуры, где сосредоточена реальная власть. В-третьих, работая в ГД,

депутаты могут тесно взаимодействовать с администраторами, что способствует складыванию знакомств и связей, облегчающих последующее трудоустройство в администрацию. Наконец, при всей декоративности российского парламентаризма и маловлиятельности большинства депутатов, наличие парламентского опыта все же может быть полезным для некоторых направлений администрирования и выступать преимуществом при отборе на соответствующие должности, например, курирующие вопросы внутренней политики. Неслучайно, например, influentialный пост начальника управления президента РФ по внутренней политике в свое время занимал многолетний депутат, вице-спикер ГД О. В. Морозов. Также и знание специфических аспектов законодательства и, возможно, авторитет среди регулируемых им групп интересов, приобретенные в ходе работы в профильных комитетах ГД, могут быть востребованы в административных структурах.

Как видно из таблицы 4, федеральная администрация служит важным каналом постдумской карьеры. Однако таблица 5 показывает, что лишь немногие были членами федерального правительства — министрами и вице-премьерами. Не во всех случаях, когда депутаты ГД работали в правительстве сразу после прекращения своих полномочий, парламентскую позицию можно рассматривать в качестве трамплина для занятия правительственного поста. В ГД первого созыва разрешалось совмещение правительственной должности с депутатским мандатом, так что некоторые вице-премьеры и министры были избраны в парламент, а после прекращения депутатских полномочий просто продолжали занимать свои посты. Больше всего случаев непосредственных уходов из нижней палаты парламента в правительство было среди депутатов ГД второго созыва: 8 парламентариев, представляющих различные фракции (КПРФ, «Яблоко», ЛДПР и пр.), перешли на должности министров и вице-премьеров<sup>7</sup>. Доступность для депутатов ГД министерских должностей невысока, поскольку их количество невелико. Кроме того, низкая достижимость постов в правительстве РФ для депутатов связана с рекрутированием его членов, отчасти обусловленным особенностями формы правления. Здесь важно отметить различие между генералистскими и специалистскими системами рекрутирования (Davis, 1997: 43–45; Claveria, Verge, 2015: 826, 833): в первых члены правительства обычно приходят из парламента, а в последних они часто политические аутсайдеры, рекрутированные за его пределами — из бюрократии, бизнеса и пр. В развитых капиталистических демократиях генералистский паттерн наблюдается во многих государствах с парламентской формой правления, хотя далеко не во всех, а государствам с президентской и смешанной формами правления присущ специалистский тип (Claveria, 2014: 36; Claveria, Verge, 2015: 826, 833). Однако даже в западноевропейских демократиях, относимых к последнему типу, большинство министров имеют опыт работы в парламенте (De Winter, 1991: 47–53), который в Европе вообще является важнейшим каналом их рекрутирования. Что касается России, то ее считают как президентской республикой, так

7. Еще один депутат ГД второго созыва был назначен заместителем председателя правительства РФ, но ушел с этого поста до официального сложения депутатских полномочий.

и смешанной республикой с доминирующим положением президента. Фактически для РФ характерна сверхконцентрация власти в руках президента, слабость парламента (см.: Fish, Kroenig, 2009: 560–565), с 2000-х годов подконтрольного главе государства, и отсутствие парламентской ответственности правительства (Зазнаев, 2006: 18; 2007: 153–154). В этих условиях члены федерального правительства сравнительно редко имеют опыт работы в нижней палате парламента, но в основном рекрутируются из государственных служащих (Semenova, 2015: 146–148). Как показал Ю. Хаски, большинство членов российского правительства второй половины 1990-х — начала 2000-х годов были технократическими специалистами, а не политическими генералистами (Huskey, 2010a: 365–366).

Хотя депутатская позиция очень редко служила трамплином для занятия постов в правительстве, экс-депутаты работали на других элитных должностях в федеральной администрации, будучи, например, заместителями министров, руководителями служб и агентств, высокопоставленными чиновниками аппарата правительства и администрации президента.

Таблица 5. Работа бывших депутатов ГД на некоторых должностях в административных структурах, % (N=1267)

<i>Тип должности</i>	<i>Наличие опыта работы после прекращения полномочий</i>	<i>Первая позиция после прекращения полномочий</i>
Федеральные министры и вице-премьеры	2	1
Элитные административные должности федерального уровня* (включая членов правительства РФ)	8	5
Главы субъектов РФ	4	3

\* Подробнее о составе федеральной административной элиты см.: Тев, 2016.

В целом, как показывает таблица 5, в 8 % случаев бывшие депутаты занимали должности, позволяющие отнести их к федеральной административной элите.

Из таблицы 4 также видно, что бывшие российские парламентарии активно рекрутируются в региональные администрации. В отличие от постов в федеральном правительстве, в России, многосубъектной федерации с довольно развитой региональной бюрократией, должности высокопоставленных региональных администраторов относительно многочисленны и в этом смысле более доступны для депутатов. Благодаря известности и авторитету в своих регионах, связям в элите, десяткам депутатов, в том числе из оппозиции, удалось (особенно во второй половине 1990-х годов в период работы ГД II созыва) достичь вершины политико-административной иерархии региона, став его главой, избранным или назначенным. Но чаще они занимали более низкие позиции — заместителя губернатора, министра и его заместителя, председателя комитета, советника губернатора, в том числе на общественных началах, и пр. В целом ряде случаев бывшие депутаты назна-

чались на должности, ответственные за представительство субъекта Федерации в Москве (при президенте, правительстве и пр.): приобретенные за время депутатства связи в федеральных органах власти и знание политического процесса на федеральном уровне, вероятно, способствовали тому, чтобы они были эффективными лоббистами интересов региона.

Говоря об административном опыте экс-парламентариев на региональном уровне, отметим, что тот факт, что значительная часть депутатов ГД не только избиралась в парламент благодаря поддержке губернаторов и даже непосредственно выходила из региональных администраций, но и переходила в администрации субъектов Федерации после прекращения полномочий, мог оказывать некоторое влияние на их законодательное поведение. Перспектива и стремление занять ту или иную должность в региональных администрациях могла побуждать депутатов к тому, чтобы приспосабливать свою политику к интересам исполнительной власти субъектов РФ (хотя, конечно, были и влиятельные факторы, действовавшие в ином направлении). Этот вопрос требует специального исследования, но, как показал А. В. Стародубцев (Стародубцев, 2009), депутаты ГД II–IV созывов, избранные по одномандатным округам, действовали как эффективные представители, лоббисты интересов своих регионов на федеральном уровне, значимо влияя на политику распределения межбюджетных трансфертов.

### Экономические структуры как канал постдумской карьеры

В странах Запада значительная часть парламентариев после прекращения полномочий уходит в бизнес. Так, порядка 20 % американских конгрессменов сразу после отставки перешли в частный бизнес (Herrick, Nixon, 1996: 491); почти 47 % бывших сенаторов, которые работали в Конгрессе США с 1992 года, заседали по крайней мере в одном корпоративном совете директоров в период между 2000 и 2013 годом (Palmer, Schneer, 2016: 183). В России, как видно из таблицы 6, постпарламентский опыт работы в экономических структурах также довольно распространен, причем бывшие депутаты занимают в них как ключевые, так и иные позиции. Причем распространена ситуация, когда бывшие депутаты переходят в собственный или семейный бизнес и когда они устраиваются в фирмы, которыми не владеют.

Таблица 6. Работа бывших депутатов ГД в экономических структурах, % (N=1267)

<i>Позиции</i>	<i>Наличие опыта работы после прекращения полномочий</i>	<i>Первая известная позиция после прекращения полномочий</i>
Ключевые*	30	14
Ключевые и другие**	38	19

\* Президенты, генеральные директора (директора), председатели правлений, председатели советов директоров компаний и их заместители, директора по направлениям и некоторые др. Сюда же включались и индивидуальные предприниматели.

\*\* Члены советов директоров, советники, неключевые менеджеры, специалисты и пр.

Какие факторы могут способствовать таким переходам, притом что профессиональные компетенции, необходимые для успешной работы в политике и бизнесе, существенно различаются, и профессионализация является доминирующей тенденцией рекрутирования на руководящие посты в бизнесе? Во-первых, наличие опыта работы в бизнесе до избрания в ГД и соответствующих знаний и связей должно облегчать переход депутатов в эту сферу после отставки. В России уровень плутократизации депутатского корпуса высок: около 40 % имели опыт работы на ключевых должностях в экономических структурах после 1991 года и до избрания в ГД. Среди тех депутатов, кто имел постдумский опыт работы на ключевых постах в бизнесе, данный предпарламентский опыт более распространен. Многие депутаты, заседая в ГД, оставались владельцами фирм, что не запрещено законом и, вероятно, облегчило их последующий переход в бизнес.

Во-вторых, работая в легислатуре, особенно в экономических комитетах, депутаты могут довольно тесно взаимодействовать в ходе законотворческого процесса с руководством компаний, особенно крупных фирм, деятельность которых призвано регулировать данное законодательство. В частности, менеджеры этих фирм участвуют в работе различных экспертных органов при ГД (например, экспертный совет при комитете по энергетике ныне включает 23 секции, в которые входит множество представителей различных компаний [см.: Комитет Государственной думы по энергетике, 2017]). Такие контакты способствуют складыванию знакомств и связей между парламентариями и руководителями компаний, что должно благоприятствовать переходу депутатов в бизнес. Для трудоустройства в компании госсектора значение имеют и связи, которые депутаты могут устанавливать с представителями административной власти, во многом контролирующими такие фирмы.

В-третьих, бывшие депутаты могут представлять собой ценный ресурс для коммерческих структур. С одной стороны, они лично знакомы с другими политиками и чиновниками, могут пользоваться их доверием, иметь с ними дружеские отношения, что облегчает их доступ к тем, кто облечен властью. С другой стороны, они могут хорошо знать особенности законодательной процедуры и специфические аспекты законодательства, регулирующего деятельность данных фирм, обладать уникальной информацией о политическом процессе, получение которой из других источников является затруднительным или дорогостоящим. В силу этого компании могут быть заинтересованы в рекрутировании бывших депутатов для продвижения своих интересов во властных структурах. Впрочем, назначение депутатов на посты в бизнесе может не столько делаться в расчете на их будущую лоббистскую деятельность, сколько быть вознаграждением за защиту интересов фирм во время пребывания в должности. Кроме того, известность и популярность бывших политиков, рекрутированных в руководство фирмы, могут улучшать ее репутацию, усиливать легитимность деятельности.

Исследователи не дают однозначного ответа на вопрос, приносят ли выгоду фирмам политические связи, включая наличие в их руководстве бывших и действующих политиков (Hillman, 2005; Faccio, Masulis, McConnell, 2006; Bertrand et al.,

2007; Dombrovsky, 2008; Goldman, Rocholl, So, 2009, 2013; Niessen, Ruenzi, 2010; Boubakri, Cosset, Saffar, 2012; Carretta, Farina, Gon, Parisi, 2012; Luechinger, Moser, 2012; Saeed, 2013; Fan, Wong, Zhang, 2014; Kang, Zhang, 2015). Но Россия в этом плане имеет свою специфику. С одной стороны, она относится к странам со слабой правовой системой (Finanzen.net, 2016) и высоким уровнем коррупции (Transparency International, 2018), в которых политические связи обычно наиболее выгодны бизнесу (Boubakri et al., 2008: 1; Goldman, Rocholl, So, 2009: 2236; Faccio, 2010). Некоторые полагают, что в России сложился «капитализм для своих» («кумовской капитализм»), при котором связи во властных структурах — одно из важнейших условий успешного ведения бизнеса (The Economist, 2014; см. также: Волкова, 2016). Все это может усиливать потребность фирм в рекрутировании депутатов и чиновников. Вообще, Россия — одна из тех стран, где политические связи наиболее распространены среди крупных фирм (см., напр.: Faccio, 2006; Fadeev, 2008). С другой стороны, парламент в России — слабый, зависимый, во многом декоративный орган, основные решения принимаются в президентских и правительственных структурах. В этом смысле значение парламентского лоббирования для бизнеса довольно ограничено (особенно для крупных компаний, руководители которых могут иметь прямой доступ к высокопоставленным администраторам) и, по некоторым данным, в 2000-е годы уменьшилось (Chaisty, 2013: 733), что может снижать спрос на депутатов со стороны фирм. Как бы то ни было, о том, что компании в определенной мере заинтересованы в найме бывших депутатов именно для отстаивания своих интересов во властных структурах, по-видимому, говорит то, что некоторые из них занимали в фирмах должности менеджеров по связям с органами государственной власти.

Отдельно остановимся на том, насколько распространены переходы в крупный бизнес. В эту категорию включались компании, которые в период работы в них экс-политиков входили в рейтинг журнала «Эксперт» (либо в число крупнейших непромышленных фирм до того момента, как они стали учитываться в этом рейтинге). Примерно в 4 % случаев бывшие депутаты занимали, в том числе сразу после ухода из ГД (2 %), в таких компаниях (а также во владеющих или управляющих ими фирмах) ключевые позиции, по сути, входя в экономическую элиту страны. Если к ним прибавить те случаи, когда бывшие депутаты становились членами советов директоров данных коммерческих организаций, не занимая при этом указанных выше должностей, то доля переходов (прямых и косвенных) в крупный бизнес возрастет до примерно 6 %. Если же к этим категориям добавить те случаи, когда экс-депутаты занимали иные должности (менеджеров разного уровня, специалистов, советников и пр.) в крупнейших фирмах, причем только в их головных, центральных структурах (а не в филиалах, отделениях и пр.), то доля возрастет до 9 %. Среди компаний, в которых оказываются бывшие депутаты, как государственные — «Газпром», «Роснефть», «Русгидро», РЖД и пр., так и частные — «Лукойл», Альфа-банк, АФК «Система», «Русал», Группа «Кокс», Главстрой и пр. Обычно бывшие депутаты не были основными собственниками тех крупных фирм, в которых работали. В общем, иногда парламентская позиция действитель-

но служила трамплином для занятия привлекательных постов в крупном бизнесе. В качестве примера можно привести М. И. Гришанкова, который до избрания в ГД не занимал руководящих позиций в бизнесе, а после окончания полномочий сразу перешел на должность первого вице-президента Газпромбанка, ответственного за связи с органами власти. Однако, по-видимому, особенно при косвенных, но даже и при прямых переходах депутатов в крупные фирмы далеко не всегда занятию позиций в них они обязаны своему думскому опыту. Нередко решающую роль играет иной профессиональный опыт. Во-первых, некоторые депутаты просто возвращались на руководящие посты в те же бизнес-структуры, где работали до избрания. Во-вторых, часто бывшие депутаты, переместившиеся в крупный бизнес, в разное время работали на элитных постах в администрации и иных структурах и, по-видимому, нередко в силу прежде всего этого, а не думского опыта, оказались востребованы на видных позициях в крупном бизнесе.

### Научно-образовательная сфера как место работы бывших парламентариев

Одним из основных типов постдумской карьеры является занятость в научно-образовательной сфере.

Таблица 7. Работа бывших депутатов ГД в научно-образовательной сфере, % (N=1267)

<i>Тип позиции</i>	<i>Наличие опыта работы после прекращения полномочий</i>	<i>Первая известная позиция после прекращения полномочий</i>
Ключевые должности	9	4
Неключевые должности	16	6
Всего с опытом работы на любых должностях*	22**	10

\* Без учета членов попечительских советов вузов.

\*\* Эта цифра меньше суммы цифр в предыдущих строках, поскольку одна и та же persona могла иметь опыт работы как на ключевых, так и на неключевых должностях.

Как показывает таблица 7, опыт работы бывших депутатов в учреждениях образования и науки (в том числе и непосредственный) довольно распространен, причем они занимали как ключевые должности (например, ректоров<sup>8</sup> и проректоров), так и, чаще, второстепенные позиции (преподавателей, научных сотрудников и пр.). Причем не всегда научно-образовательная деятельность была их основной после ухода из ГД и нередко велась по совместительству с другой занятостью.

Ряд факторов может способствовать таким переходам, несмотря на различия в компетенциях, необходимых для эффективной работы в политике и академиче-

8. Примером является депутат В. И. Гришин, досрочно покинувший ГД в связи с назначением и.о. ректора Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова.

ской сфере. Во-первых, часть депутатов работала в этой сфере до избрания в ГД (в том числе и непосредственно перед избранием), а значит, может иметь соответствующие знания, квалификации, связи. Среди тех, кто имел такой постдумский опыт, соответствующий предпарламентский более распространен, чем во всей совокупности. Во-вторых, закон разрешает совмещение научно-преподавательской работы с депутатством. Некоторые депутаты, работая в ГД, не покидали позиций в научно-образовательных структурах и после отставки просто продолжали работать в них. В-третьих, депутаты ГД (особенно члены комитета по образованию и науке) могут при осуществлении полномочий тесно взаимодействовать с руководством ведущих вузов и институтов (и с чиновниками, их курирующими), что способствует установлению связей, благоприятствующих их переходу в научно-образовательную сферу. Наконец, нужно подчеркнуть, что ключевые должности в ведущих вузах весьма престижны, доходны и влиятельны и поэтому могут быть привлекательны для парламентариев. В частности, доходы ректоров крупнейших вузов могут превышать вознаграждение рядовых депутатов ГД (Обрнадзор, 2014). С другой стороны, сами вузы могут быть заинтересованы, с точки зрения продвижения своих интересов во властных структурах, в наличии в своем штате работников, обладающих связями в органах власти, доступом к политикам и администраторам, знанием законодательного процесса и пр. В отдельных случаях депутаты становились проректорами по связям с государственными органами, общественным или внешним связям. Возможно, одним из мотивов получения депутатами ученых степеней является и обеспечение себе последующего доступа к позициям в научно-образовательной сфере.

### Постпарламентская карьера депутатов ГД: работа на некоторых других позициях

Есть и другие позиции, которые занимают бывшие депутаты. Это, как показано в таблице 8, прежде всего должности помощников депутатов и сотрудников аппарата ГД, назначение на которые зависит от отдельных парламентариев, фракций и руководства ГД.

Таблица 8. Постдумский опыт работы на должностях помощников депутатов ГД, сотрудников аппарата ГД, в Счетной палате и Центральной избирательной комиссии, % (N=1267)

<i>Тип позиции</i>	<i>Наличие опыта работы после прекращения полномочий</i>	<i>Первая известная позиция после прекращения полномочий</i>
Должности, обеспечивающие деятельность нижней палаты парламента и ее членов (помощники депутатов и сотрудники аппарата ГД и пр.)	9	7

Работники Счетной палаты	3	2
Члены и работники аппарата Центральной избирательной комиссии	1	1

Число позиций помощников депутатов довольно велико, и в этом смысле они относительно доступны: ныне каждый депутат может иметь до семи (до 2017 года — пяти) штатных и 40 общественных помощников (Президент РФ, 2017). Переход на должность штатного помощника позволяет экс-депутатам, даже лишившись мандата, не выпадать из профессиональной политики. Наличие опыта участия в выборах и парламентской деятельности; доверительные отношения с действующими парламентариями ГД способствуют достижимости для них таких позиций. Близость помощников к действующим депутатам, которые часто являются партийными лидерами, может повышать их шансы занять высокое место в списке и пройти в парламент на следующих выборах. Также статус помощника депутата может способствовать успеху на выборах в той мере, в какой обеспечивает известность среди избирателей и связи в элитных кругах. Впрочем, хотя такие должности могут быть трамплином для возвращения в ГД (или избрания в легислатуры более низкого уровня) и, возможно, облегчают доступ к чиновникам, в целом их привлекательность не стоит переоценивать. В частности, зарплата большинства штатных помощников депутатов ГД, по-видимому, относительно невысока: во всяком случае, фонд, выделяемый депутату на оплату труда пяти помощников, в 2016 году составлял 165 тыс. руб. (Редичкина, 2016; ТАСС, 2016)<sup>9</sup>. Переход парламентария на должность помощника является спадом в политической карьере. Но кроме помощников есть различные должности в аппарате ГД: руководителей, референтов и пр.; некоторые из них, прежде всего пост руководителя аппарата парламента, довольно влиятельны и высокооплачиваемы, так что назначение на них может быть повышением для рядового депутата.

Кроме того, есть еще ряд государственных постов, не входящих в структуру исполнительной и законодательной власти, заполнение которых тоже отчасти зависит от ГД, что может способствовать рекрутированию на них депутатов. Это должности руководителя и аудиторов Счетной палаты и членов Центральной избирательной комиссии, трамплином для занятия которых иногда служит парламентская позиция. Это довольно немногочисленные, престижные, высокооплачиваемые (например, по данным за 2009 год, доход большинства аудиторов Счетной палаты колебался в пределах 2,1–2,7 млн руб. [Корня, 2010], а доход члена ЦИК за 2014 год в среднем составил 4 млн руб. [Republic, 2015]) и отчасти влиятельные позиции, так что переход на них часто является повышением для депутатов, которые ради этого досрочно слагают полномочия. Таблица 8 показывает распространен-

9. Однако оплата труда тех помощников депутата ГД, которые замещают должности федеральной государственной гражданской службы, производится в особом порядке, «в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ „О государственной гражданской службе Российской Федерации“» (Президент РФ, 2017).

ность постдумского опыта работы на этих должностях и других позициях в аппарате ЦИК и Счетной палаты.

## Заключение

Постпарламентская карьера является важным предметом исследования, поскольку ее знание позволяет в некоторой степени оценить устойчивость членства в элите и степень элитной интеграции, лучше понять поведение депутатов в период пребывания в должности, а также особенности данной общественно-политической системы, включая взаимоотношения парламента и исполнительной власти, государства и бизнеса.

Как показало проведенное исследование, одним из важнейших каналов, в рамках которых проходит карьера бывших депутатов ГД, служат административные структуры, чья привлекательность в качестве места работы связана с сосредоточением в них реальной власти. Имеют место динамические переплетения политической и административной элит федерального уровня: некоторые депутаты занимают после ухода из ГД ключевые позиции в федеральной администрации. Впрочем, лишь очень немногие становятся членами федерального правительства, что неудивительно, учитывая малочисленность правительственных позиций, слабость законодательной власти и ее контроля над исполнительной властью. Можно предположить, что значимость региональных администраций как места постдумской карьеры позитивно связана с лоббированием депутатами интересов исполнительной власти субъектов РФ в период пребывания в должности.

Не менее важны в качестве канала постдумской карьеры экономические (коммерческие) структуры, причем хотя и редко, но имеют место прямые или косвенные переходы из ГД на ключевые позиции в крупные по общероссийским меркам компании и, следовательно, динамические переплетения политической и экономической элит страны. Важная роль бизнеса как места работы бывших депутатов объяснима: значительная их часть приходит в ГД из коммерческих структур, и, кроме того, в условиях сложившегося в России «кумовского капитализма» бывшие политические деятели могут быть особенно востребованы в компаниях. Перспектива постдумской карьеры в бизнесе может мотивировать депутатов к тому, чтобы, находясь в должности, лоббировать его интересы.

Значение представительных органов различного уровня (прежде всего региональных законодательных собраний) и научно-образовательных структур как места работы бывших депутатов, не столь велико, но все же существенно. Кроме того, некоторые депутаты после прекращения полномочий занимали должности, обеспечивающие деятельность парламента и его членов (помощники депутатов, сотрудники аппарата ГД).

Характер постдумской карьеры нельзя адекватно объяснить без учета предпарламентской карьеры и приобретенных в ходе нее опыта, знаний и связей. И действительно, в этом отношении наблюдается определенная преемственность: среди

бывших депутатов, работавших в административных структурах, научно-образовательной сфере, региональных законодательных собраниях, на ключевых постах в бизнесе, соответствующий предпарламентский опыт шире распространен, чем во всей совокупности. В некоторых случаях (примерно в каждом седьмом) бывшие депутаты оказывались на предшествующем избранию месте работы (иногда и не покидая его в период пребывания в ГД), на той же или сходной должности (кстати, их право вернуться на прежнюю работу прописано в законе [Президент РФ, 2017]). Однако указанная преемственность ограничена: только у меньшинства депутатов, которые на момент избрания работали в администрации, научно-образовательных структурах и на ключевых позициях в бизнесе, соответствующей была и первая известная должность после отставки. Так что членство в ГД может существенно менять карьерные перспективы.

Исследование постдумской занятости важно еще и потому, что позволяет лучше понять роль депутатской позиции в карьере. И в этой связи надо отметить, что для существенной части (свыше четверти) депутатов парламентская позиция стала трамплином для достижения сразу после ухода из ГД более высоких должностей, чем те, которые они занимали на момент избрания. Вместе с тем следует подчеркнуть, что, хотя очень многие депутаты после выбытия из ГД работали на руководящих позициях в разных сферах, подавляющее большинство не сохранило принадлежность к властной элите общероссийского уровня.

## Литература

- Винокурова Е. (2016). «Единая Россия» займется трудоустройством проигравших депутатов. URL: [https://www.znak.com/2016-06-06/edinaya\\_rossiya\\_zaymetsya\\_trudoustroystvom\\_proigravshih\\_deputatov](https://www.znak.com/2016-06-06/edinaya_rossiya_zaymetsya_trudoustroystvom_proigravshih_deputatov) (дата доступа: 17.09.2017).
- Волкова О. (2016). Ученые назвали политические связи главным источником богатства в России. URL: <http://www.rbc.ru/economics/11/03/2016/56e2a1ac9a7947f56bedc71a> (дата доступа: 17.09.2016).
- Гаман-Голутвина О. В. (2012). Парламентский корпус современной России // Гаман-Голутвина О. В. (ред.) Политический класс в современном обществе. М.: РОССПЭН. С. 113–142.
- Дума Ставропольского края. (2015). Рейтинг региональных парламентов по числу депутатов, работающих на постоянной основе. URL: <http://www.dumask.ru/analiticheskie-materialy/item/15044-рейтинг-per> (дата доступа: 07.10.2017).
- Завадская М. А. (2012). Думские инкубенты и «партия власти» // Полития. № 3 (66). С. 121–131.
- Зазнаев О. И. (2006). Полупрезидентская система: политико-правовой анализ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Казань.
- Зазнаев О. И. (2007). Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и постсоветского пространства // Политические исследования. № 2. С. 146–164.

- Комитет Государственной Думы по энергетике. (2017). Секции Экспертного совета. URL: <http://komitet2-13.km.duma.gov.ru/Ekspertnyj-sovet/Sekcii-Ekspertnogo-soveta> (дата доступа: 01.11.2017).
- Корня А. (2010). Жены аудиторов Счетной палаты зарабатывают лучшей самих аудиторов. URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2010/04/14/zheny-auditorov-schetnoj-palaty-zarabatyvayut-luchshe-samih-auditorov> (дата доступа: 14.04.2017).
- Кузьмин А. С., Мелвин Н. Дж., Нечаев В. Д. (2002). Региональные политические режимы в постсоветской России: опыт типологизации // Полис: политические исследования. № 3. С. 142–155.
- Обрнадзор. (2014). Доходы в образовании: национальный рейтинг. URL: <http://обрнадзор.рф/вдйстви/рейтингдоходов> (дата доступа: 03.12.2015).
- Президент РФ. (2017). Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221433&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8792536528801831#0> (дата доступа: 05.09.2017).
- Редичкина К. (2016). Число помощников у парламентариев будет увеличено с 1 января 2017. URL: <https://www.pnp.ru/politics/2016/12/14/chislo-pomoshnikov-u-parlamentariev-budet-uvlicheno-s-1-yanvarya-2017.html> (дата доступа: 17.05.2017).
- Стародубцев А. В. (2009). Региональные интересы в российском парламенте: депутаты-одномандатники как бюджетные лоббисты // Полития. № 2 (53). С. 90–101.
- ТАСС. (2016). Зарплата помощников депутатов Госдумы в среднем составит 30 тыс. рублей. URL: <http://tass.ru/politika/3785955> (дата доступа: 17.08.2017).
- Тев Д. Б. (2015). Высокопоставленные региональные администраторы: особенности карьеры после ухода с должности // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 18. № 4 (81). С. 37–52.
- Тев Д. Б. (2016). Федеральная административная элита России: карьерные пути и каналы рекрутирования // Полис: политические исследования. № 4. С. 115–130.
- Фонд «Петербургская политика». (2012). Судьбы бывших глав российских регионов. URL: [http://old.fpp.spb.ru/former\\_2012-11.php](http://old.fpp.spb.ru/former_2012-11.php) (дата доступа: 25.12.2012).
- Euronews. (2016). Сколько платят депутатам в Европе и в России. URL: <http://ru.euronews.com/2016/04/12/who-are-the-best-paid-mps-in-the-eu> (дата доступа: 17.12.2016).
- Finanzen.net. (2016). Россия рухнула до уровня Африки в мировом рейтинге верховенства закона. URL: <http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-rukhnula-do-urovnnya-afriki-v-mirovom-reytinge-verkhovenstva-zakona-1001471865> (дата доступа: 09.11.2017).
- NEWSru. (2007). Путин предложил создать систему трудоустройства бывших депутатов Госдумы. URL: <http://www.newsru.com/russia/28jun2007/put.html> (дата доступа: 17.09.2017).

- Republic. (2015). Доходы главы ЦИК России Чурова за год выросли на 1 млн рублей. URL: <https://republic.ru/posts/50623> (дата доступа: 25.04.2015).
- RFI. (2017). Во что превратился парламент Франции после выборов. URL: <http://ru.rfi.fr/frantsiya/20170619-vo-chto-prevratilsya-parlament-frantsii-posle-vyborov> (дата доступа: 20.06.2017).
- Baturo A., Mikhaylov S. (2016). Blair Disease? Business Careers of the Former Democratic Heads of State and Government // *Public Choice*. Vol. 166. № 3/4. P. 335–354.
- Baturo A., Arlow J. (2017). Is There a “Revolving Door” to the Private Sector in Irish Politics? // *Irish Political Studies*. (In press)
- Bertrand M., Kramarz F., Schoar A., Thesmar D. (2007). Politicians, Firms and the Political Business Cycle: Evidence from France. URL: [http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/pageperso/kramarz/politics\\_o6o2o7\\_v4.pdf](http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/pageperso/kramarz/politics_o6o2o7_v4.pdf) (дата доступа: 16.04.2017).
- Boubakri N., Cosset J.-C., Saffar W. (2012). The Impact of Political Connections on Firms’ Operating Performance and Financing Decisions // *Journal of Financial Research*. Vol. 35. № 3. P. 397–423.
- Boubakri N., Guedhami O., Mishra D., Saffar W. (2008). Political Connections and the Cost of Equity Capital. URL: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.175.6368&rep=rep1&type=pdf> (дата доступа: 16.04.2017).
- Blair D. K., Henry A. R. (1981). The Family Factor in State Legislative Turnover // *Legislative Studies Quarterly*. Vol. 6. № 1. P. 55–68.
- Blondel J. (1991). The Post-Ministerial Careers // *Blondel J., Thiebault J.-L. (eds.). The Profession of Government Minister in Western Europe*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. P. 153–173.
- Borchert J., Stolz K. (2011). Institutional Order and Career Patterns: Some Comparative Considerations // *Regional & Federal Studies*. Vol. 21. № 2. P. 271–282.
- Carretta A., Farina V., Gon A., Parisi A. (2012). Politicians “On Board”? Do Political Connections Affect Banking Activities in Italy? // *European Management Review*. Vol. 9. № 2. P. 75–83.
- Chaisty P. (2013). The Preponderance and Effects of Sectoral Ties in the State Duma // *Europe-Asia Studies*. Vol. 65. № 4. P. 717–736.
- Claessen C., Bailer S. (2015). What Happens after? An Analysis of Post-parliamentary Private Sector Career Positions in Germany and the Netherlands. Paper prepared for the workshop «Institutional Determinants of Legislative Coalition Management» (16–19 November 2015, Tel Aviv University, Israel). URL: <https://www.sv.uio.no/isv/english/research/projects/evolution-parliamentarism/events/seminars/claessenbailerwhathappensafter.pdf> (дата доступа: 17.08.2016).
- Claveria S., Verge T. (2015). Post-ministerial Occupation in Advanced Industrial Democracies: Ambition, Individual Resources and Institutional Opportunity Structures // *European Journal of Political Research*. Vol. 54. № 4. P. 819–835.
- Claveria S. (2014). Women in Executive Office in Advanced Industrial Democracies: Presence, Portfolios and Post-ministerial Occupation. PhD Thesis. Barcelona: Uni-

- versity Pompeu Fabra. URL: <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/392603/tsc.pdf?sequence=1> (дата доступа: 27.08.2017).
- Davis R. H.* (1997). *Women and Power in Parliamentary Democracies: Cabinet Appointments in Western Europe, 1968–1992*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- De Winter L.* (1991). *Parliamentary and Party Pathways to the Cabinet* // Blondel J., Thiebault J.-L. (eds.). *The Profession of Government Minister in Western Europe*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1991. P. 44–69.
- Diermeier D., Keane M., Merlo A.* (2005). A Political Economy Model of Congressional Careers // *American Economic Review*. Vol. 95. № 1. P. 347–373.
- Docherty D.* (2011). The Canadian Political Career Structure: From Stability to Free Agency // *Regional & Federal Studies*. Vol. 21. № 2. P. 185–203.
- Dombrovsky V.* (2011). Do Political Connections Matter? Firm-Level Evidence from Latvia. Stockholm School of Economics in Riga. Research paper № 3. URL: <http://www.biceps.org/assets/docs/izpetes-raksti/ResearchPaperNo3> (дата доступа: 14.03.2017).
- Dörrenbächer N.* (2016). Patterns of Post-cabinet Careers: When One Door Closes Another Door Opens? // *Acta Politica*. Vol. 51. № 4. P. 472–491.
- Faccio M.* (2006). Politically Connected Firms // *American Economic Review*. Vol. 96. № 1. P. 369–386.
- Faccio M.* (2010). Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis // *Financial Management*. Vol. 39. № 3. P. 905–928.
- Faccio M., Masulis R. W., McConnell J. J.* (2006). Political Connections and Corporate Bailouts // *Journal of Finance*. Vol. 61. № 6. P. 2597–2635.
- Fadeev P.* (2008). *Political Connections and Evolution of Ownership Structure in Russian Industry*. Working paper № BSP/2008/099. Moscow: New Economic School.
- Fan J. P. H., Wong T. J., Zhang T.* (2014). Politically Connected CEOs, Corporate Governance, and the Post-IPO Performance of China's Partially Privatized Firms // *Journal of Applied Corporate Finance*. Vol. 26. № 3. P. 14–24.
- Fish M. S., Kroenig M.* (2009). *The Handbook of National Legislatures: A Global Survey*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Francis W. L., Baker J. R.* (1986). Why Do U.S. State Legislators Vacate Their Seats? // *Legislative Studies Quarterly*. Vol. 11. № 1. P. 119–126.
- Frantzich S. E.* (1978). De-Recruitment: The Other Side of the Congressional Equation // *Western Political Quarterly*. Vol. 31. № 1. P. 105–126.
- Freitag P. J.* (1975). *The Cabinet and Big Business: A Study of Interlocks, Social Problems*. Vol. 23. № 2. P. 137–152.
- Goldman E., Rocholl J., So J.* (2009). Do Politically Connected Boards Affect Firm Value? // *Review of Financial Studies*. Vol. 22. № 6. P. 2331–2360.
- Goldman E., Rocholl J., So J.* (2013). Politically Connected Boards of Directors and The Allocation of Procurement Contracts // *Review of Finance*. Vol. 17. № 5. P. 1617–1648.
- Golosov G. V.* (2011a). Russia's Regional Legislative Elections, 2003–2007: Authoritarianism Incorporated // *Europe-Asia Studies*. Vol. 63. № 3. P. 397–414.

- Golosov G. V. (2011b). The Regional Roots of Electoral Authoritarianism in Russia // *Europe-Asia Studies*. Vol. 63. № 4. P. 623–639.
- Golosov G. V. (2017). Legislative Turnover and Executive Control in Russia's Regions (2003–2014) // *Europe-Asia Studies*. Vol. 69. № 4. P. 553–570.
- Herrick R., Nixon D. L. (1996). Is There Life after Congress? Patterns and Determinants of Post-Congressional Careers // *Legislative Studies Quarterly*. Vol. 21. № 4. P. 489–499.
- Hillman A. L. (2005). Politicians on the Board of Directors: Do Connections Affect the Bottom Line? // *Journal of Management*. Vol. 31. № 3. P. 464–481.
- Huskey E. (2010a). Elite Recruitment and State–Society Relations in Technocratic Authoritarian Regimes: The Russian Case // *Communist and Post-Communist Studies*. Vol. 43. № 4. P. 363–372.
- Huskey E. (2010b). Pantouflage à la russe: The Recruitment of Russian Political and Business Elites // *Fortescue S. (ed.). Russian Politics from Lenin to Putin*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. P. 185–204.
- Ilonszki G., Edinger M. (2007). MPs in Post-Communist and Post-Soviet Nations: A Parliamentary Elite in the Making // *Journal of Legislative Studies*. Vol. 13. № 1. P. 142–163.
- Kang J.-K., Zhang L. (2015). From Backroom to Boardroom: Role of Government Directors in U.S. Public Firms and Their Impact on Performance. URL: <https://ssrn.com/abstract=2115367> (дата доступа: 19.08.2016).
- Keane J. (2009). Life after Political Death: The Fate of Leaders after Leaving High Office // *Kane J., Patapan H., Hart P. (eds.). Dispersed Democratic Leadership Origins, Dynamics, and Implications*. Oxford: Oxford University Press. P. 279–298.
- Kim J.-H. (2013). Determinants of Post-congressional Lobbying Employment // *Economics of Governance*. Vol. 14. № 2. P. 107–126.
- Livingston S. G., Friedman S. (1993). Reexamining Theories of Congressional Retirement: Evidence from the 1980s // *Legislative Studies Quarterly*. Vol. 18. № 2. P. 231–253.
- Luechinger S., Moser C. (2012). The Value of the Revolving Door: Political Appointees and the Stock Market. CESifo working paper № 3921. URL: [http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/DocBase\\_Content/WP/WP-CESifo\\_Working\\_Papers/wp-cesifo-2012/wp-cesifo-2012-08/cesifo1\\_wp3921.pdf](http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/DocBase_Content/WP/WP-CESifo_Working_Papers/wp-cesifo-2012/wp-cesifo-2012-08/cesifo1_wp3921.pdf) (дата доступа: 07.12.2016).
- Matland R. E., Studlar D. T. (2004). Determinants of Legislative Turnover: A Cross-National Analysis // *British Journal of Political Science*. Vol. 34. № 1. P. 87–108.
- Nicholls K. (1991). The Dynamics of National Executive Service: Ambition Theory and the Careers of Presidential Cabinet Members // *Western Political Quarterly*. Vol. 44. № 1. P. 149–172.
- Niessen A., Ruenzi S. (2010). Political Connectedness and Firm Performance: Evidence from Germany // *German Economic Review*. Vol. 11. № 4. P. 441–464.
- Palmer M., Schneer B. (2016). Capitol Gains: The Returns to Elected Office from Corporate Board Directorships // *Journal of Politics*. Vol. 78. № 1. P. 181–196.
- Parker G. R., Parker S. L., Dabros M. S. (2013). The Labor Market for Politicians: Why Ex-Legislators Gravitate to Lobbying // *Business & Society*. Vol. 52. № 3. P. 427–450.

- Prewitt K., Nowlin W. (1969). Political Ambitions and the Behavior of Incumbent Politicians // *Western Political Quarterly*. Vol. 22. № 2. P. 298–308.
- Ross C., Turovsky R. (2013). The Representation of Political and Economic Elites in the Russian Federation Council // *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*. Vol. 21. № 1. P. 59–88.
- Saeed M. A. (2013). Do Political Connections Matter? Empirical Evidence from Listed Firms in Pakistan. PhD Thesis. London: Middlesex University. URL: <http://eprints.mdx.ac.uk/12361/1/MASaeed%20thesis.pdf> (дата доступа: 06.01.2017).
- Samuels D. (2003). *Ambition, Federalism, and Legislative Politics in Brazil*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Santos F. G. M., Pegurier F. J. H. (2011). Political Careers in Brazil: Long-term Trends and Cross-sectional Variation // *Regional & Federal Studies*. Vol. 21. № 2. P. 165–183.
- Semenova E. (2011). Ministerial and Parliamentary Elites in an Executive-Dominated System: Post-Soviet Russia 1991–2009 // *Comparative Sociology*. Vol. 10. № 6. P. 908–927.
- Semenova E. (2015). Russia: cabinet formation and careers in a superpresidential system // Dowding K., Dumont P. (eds.). *The Selection of Ministers around the World*. London: Routledge. P. 139–155.
- Stolz K., Fischer J. (2014). Post-Cabinet Careers of Regional Ministers in Germany, 1990–2011 // *German Politics*. Vol. 23. № 3. P. 157–173.
- Stolz K., Kintz M. (2014). Post-Cabinet Careers in Britain and the US: Theory, Concepts and Empirical Illustrations. Paper prepared for the ECPR General Conference 2014 (September 3–6, 2014, Glasgow). URL: <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/8127572d-9f46-4c11-8238-2b6ca8e2e14a.pdf> (дата доступа: 07.12.2016).
- Stolz K. (2003). Moving Up, Moving Down: Political Careers across Territorial Levels // *European Journal of Political Research*. Vol. 42. № 2. P. 223–248.
- The Economist. (2014). Planet Plutocrat: Our Crony-Capitalism Index. URL: <http://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-politically-connected-businessmen-are-most-likely-prosper-planet> (дата доступа: 05.09.2015).
- Theakston K. (2012). Life after Political Death: Former Leaders in Western Democracies // *Representation*. Vol. 48. № 2. P. 139–149.
- Transparency International. (2017). Corruption Perceptions Index 2017. URL: [https://www.transparency.org/news/feature/corruption\\_perceptions\\_index\\_2017](https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017) (дата доступа: 11.03.2018).

## Deputies of the State Duma of the Russian Federation: Career Characteristics after the Termination of Office

*Denis Tev*

PhD in Sociology, senior research fellow, Department of Sociology of Authority, Power Structures, and Civil Society, Sociological Institute of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences

Address: 7th Krasnoarmeyskaya str., 25/14, Saint Petersburg, Russian Federation 190005

E-mail: denis\_tev@mail.ru

The article is devoted to the analysis of the careers of the deputies of the State Duma after their termination of office. The empirical base of research is a biographical database containing, in particular, information on the post-Duma work of 1209 parliamentarians. The most important institutional channels within which the careers of former deputies are being held are economic and administrative structures, with some ex-legislators being part of the nationwide administrative and economic elites. Legislative bodies and scientific-educational structures play an important role as a place of work for deputies after having left the Duma. In addition, an appreciable percentage of the deputies occupied the posts serving the activities of the lower house of parliament and its members (deputies' assistants, or staff of the Duma apparatus) after the end of office. The nature of the post-Duma career is presumably partly related to the career characteristics preceding the election to the Duma. Among the deputies with post-parliamentary experience in administrative and scientific-educational structures, and regional legislatures and in key positions in commercial organizations, the corresponding pre-parliamentary experience is more widespread than in the entire study population. Moreover, some of the deputies were at the same place of work immediately after the end of office, or in the same or similar position, which is mainly characteristic of people from the business and scientific-educational spheres. For many of the deputies, the parliamentary position became a springboard for reaching higher positions of employment immediately after leaving the State Duma than those they occupied at the time of election. At the same time, only a minority continued to retain their membership in the power elite of the nationwide level after their resignations.

**Keywords:** parliament, State Duma, deputies, post-Duma career, business, administration, regional legislatures, scientific and educational sphere

### References

- Baturo A., Mikhaylov S. (2016) Blair Disease? Business Careers of the Former Democratic Heads of State and Government. *Public Choice*, vol. 166, no 3–4, pp. 335–354.
- Baturo A., Arlow J. (2017) Is There a “Revolving Door” to the Private Sector in Irish Politics? *Irish Political Studies*. (In press)
- Bertrand M., Kramarz F., Schoar A., Thesmar D. (2007) Politicians, Firms and the Political Business Cycle: Evidence from France. Available at: [http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/pageperso/kramarz/politics\\_060207\\_v4.pdf](http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/pageperso/kramarz/politics_060207_v4.pdf) (accessed 16 April 2017).
- Boubakri N., Cosset J.-C., Saffar W. (2012) The Impact of Political Connections on Firms' Operating Performance and Financing Decisions. *Journal of Financial Research*, vol. 35, no 3, pp. 397–423.
- Boubakri N., Guedhami O., Mishra D., Saffar W. (2008) Political Connections and the Cost of Equity Capital. Available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.175.6368&rep=rep1&type=pdf> (accessed 16 April 2017).
- Blair D. K., Henry A. R. (1981) The Family Factor in State Legislative Turnover. *Legislative Studies Quarterly*, vol. 6, no 1, pp. 55–68.
- Blondel J. (1991) The Post-Ministerial Careers. *The Profession of Government Minister in Western Europe* (eds. J. Blondel, J.-L. Thiebault), Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 153–173.
- Borchert J., Stolz K. (2011) Institutional Order and Career Patterns: Some Comparative Considerations. *Regional & Federal Studies*, vol. 21, no 2, pp. 271–282.

- Carretta A., Farina V., Gon A., Parisi A. (2012) Politicians "On Board"! Do Political Connections Affect Banking Activities in Italy? *European Management Review*, vol. 9, no 2, pp. 75–83.
- Chaisty P. (2013) The Preponderance and Effects of Sectoral Ties in the State Duma. *Europe-Asia Studies*, vol. 65, no 4, pp. 717–736.
- Claessen C., Bailer S. (2015) What Happens after? An Analysis of Post-parliamentary Private Sector Career Positions in Germany and the Netherlands. Paper prepared for the workshop "Institutional Determinants of Legislative Coalition Management" (November 16–19, 2015, Tel Aviv University, Israel). Available at: <https://www.sv.uio.no/isv/english/research/projects/evolution-parliamentarism/events/seminars/claessenbailerwhathappensafter.pdf> (accessed 17 August 2016).
- Claveria S., Verge T. (2015) Post-ministerial Occupation in Advanced Industrial Democracies: Ambition, Individual Resources and Institutional Opportunity Structures. *European Journal of Political Research*, vol. 54, no 4, pp. 819–835.
- Claveria S. (2014) Women in Executive Office in Advanced Industrial Democracies: Presence, Portfolios and Post-ministerial Occupation (PhD Thesis), Barcelona: University Pompeu Fabra. Available at: <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/392603/tsc.pdf?sequence=1> (accessed 27 August 2017).
- Davis R. H. (1997) *Women and Power in Parliamentary Democracies: Cabinet Appointments in Western Europe, 1968–1992*, Lincoln: University of Nebraska Press.
- De Winter L. (1991) Parliamentary and Party Pathways to the Cabinet. *The Profession of Government Minister in Western Europe* (eds. J. Blondel, J.-L. Thiebault), Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 44–69.
- Diermeier D., Keane M., Merlo A. (2005) A Political Economy Model of Congressional Careers. *American Economic Review*, vol. 95, no 1, pp. 347–373.
- Docherty D. (2011) The Canadian Political Career Structure: From Stability to Free Agency. *Regional & Federal Studies*, vol. 21, no 2, pp. 185–203.
- Dombrovsky V. (2011) Do Political Connections Matter? Firm-Level Evidence from Latvia. Stockholm School of Economics in Riga. Research paper No 3. Available at: <http://www.biceps.org/assets/docs/izpetes-raksti/ResearchPaperNo3> (accessed 14 March 2017).
- Dörrenbächer N. (2016) Patterns of Post-cabinet Careers: When One Door Closes Another Door Opens? *Acta Politica*, vol. 51, no 4, pp. 472–491.
- Duma of the Stavropol Territory (2015) Rejting regional'nyh parlamentov po chislu deputatov, rabotajushhih na postojannoje osnove [Rating of Regional Parliaments by the Number of Deputies Working on a Permanent Basis]. Available at: <http://www.dumask.ru/analiticheskie-materialy/item/15044-рейтинг-пер> (accessed 7 October 2017).
- Euronews (2016) Skol'ko platjat deputatam v Evrope i v Rossii [How Much are Deputies Paid in Europe and in Russia]. Available at: <http://ru.euronews.com/2016/04/12/who-are-the-best-paid-mps-in-the-eu> (accessed 17 December 2016).
- Faccio M. (2006) Politically Connected Firms. *American Economic Review*, vol. 96, no 1, pp. 369–386.
- Faccio M. (2010) Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis. *Financial Management*, vol. 39, no 3, pp. 905–928.
- Faccio M., Masulis R. W., McConnell J. J. (2006) Political Connections and Corporate Bailouts. *Journal of Finance*, vol. 61, no 6, pp. 2597–2635.
- Fadeev P. (2008) Political Connections and Evolution of Ownership Structure in Russian Industry (working paper No BSP/2008/099), Moscow: New Economic School.
- Fan J. P. H., Wong T. J., Zhang T. (2014) Politically Connected CEOs, Corporate Governance, and the Post-IPO Performance of China's Partially Privatized Firms. *Journal of Applied Corporate Finance*, vol. 26, no 3, pp. 14–24.
- Finanzen.net (2016) Rossiya ruhnula do urovnja Afriki v mirovom rejtinge verhovenstva zakona [Russia Collapsed to the Level of Africa in the World Ranking of the Rule of Law]. Available at: <http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-ruhnula-do-urovnja-afriki-v-mirovom-rejtinge-verkhovenstva-zakona-1001471865> (accessed 9 November 2017).
- Fish M. S., Kroenig M. (2009) *The Handbook of National Legislatures: A Global Survey*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Francis W. L., Baker J. R. (1986) Why Do U.S. State Legislators Vacate Their Seats? *Legislative Studies Quarterly*, vol. 11, no 1, pp. 119–126.
- Frantzych S. E. (1978) De-recruitment: The Other Side of the Congressional Equation. *Western Political Quarterly*, vol. 31, no 1, pp. 105–126.
- Freitag P. J. (1975) The Cabinet and Big Business: A Study of Interlocks. *Social Problems*, vol. 23, no 2, pp. 137–152.
- Gaman-Golutvina O. (2012) Parlamentskij korpus sovremennoj Rossii [The Parliamentary Corps of Modern Russia]. *Politicheskij klass v sovremennom obshchestve* [Political Class in Modern Society] (ed. O. Gaman-Golutvina), Moscow: ROSSPEN, pp. 113–142.
- Goldman E., Rocholl J., So J. (2009) Do Politically Connected Boards Affect Firm Value? *Review of Financial Studies*, vol. 22, no 6, pp. 2331–2360.
- Goldman E., Rocholl J., So J. (2013) Politically Connected Boards of Directors and The Allocation of Procurement Contracts. *Review of Finance*, vol. 17, no 5, pp. 1617–1648.
- Golosov G. V. (2011) Russia's Regional Legislative Elections, 2003–2007: Authoritarianism Incorporated. *Europe-Asia Studies*, vol. 63, no 3, pp. 397–414.
- Golosov G. V. (2011) The Regional Roots of Electoral Authoritarianism in Russia. *Europe-Asia Studies*, vol. 63, no 4, pp. 623–639.
- Golosov G. V. (2017) Legislative Turnover and Executive Control in Russia's Regions (2003–2014). *Europe-Asia Studies*, vol. 69, no 4, pp. 553–570.
- Herrick R., Nixon D. L. (1996) Is There Life after Congress? Patterns and Determinants of Post-Congressional Careers. *Legislative Studies Quarterly*, vol. 21, no 4, pp. 489–499.
- Hillman A. L. (2005) Politicians on the Board of Directors: Do Connections Affect the Bottom Line? *Journal of Management*, vol. 31, no 3, pp. 464–481.
- Huskey E. (2010) Elite Recruitment and State–Society Relations in Technocratic Authoritarian Regimes: The Russian Case. *Communist and Post-Communist Studies*, vol. 43, no 4, pp. 363–372.
- Huskey E. (2010) Pantouflage à la russe: The Recruitment of Russian Political and Business Elites. *Russian Politics from Lenin to Putin* (ed. S. Fortescue), Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 185–204.
- Ilonszki G., Edinger M. (2007) MPs in Post-Communist and Post-Soviet Nations: A Parliamentary Elite in the Making. *Journal of Legislative Studies*, vol. 13, no 1, pp. 142–163.
- Kang J.-K., Zhang L. (2015) From Backroom to Boardroom: Role of Government Directors in U.S. Public Firms and Their Impact on Performance. Available at: <https://ssrn.com/abstract=2115367> (accessed 19 August 2016).
- Keane J. (2009). Life after Political Death: The Fate of Leaders after Leaving High Office. *Dispersed Democratic Leadership Origins, Dynamics, and Implications* (eds. J. Kane, H. Patapan, P. Hart), Oxford: Oxford University Press, pp. 279–298.
- Kim J.-H. (2013) Determinants of Post-congressional Lobbying Employment. *Economics of Governance*, vol. 14, no 2, pp. 107–126.
- Kornya A. (2010) Zheny auditorov Schetnoj Palaty zarabatyvajut luchshej samih auditorov [Wives of the Auditors of the Accounting Chamber Earn More than Auditors Themselves]. Available at: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2010/04/14/zheny-auditorov-schetnoj-palaty-zarabatyvayut-luchshe-samih-auditorov> (accessed 14 April 2017).
- Kuzmin A., Melvin N., Nechaev V. (2002) Regional'nye politicheskie rezhimy v postsovetsoj Rossii: opyt tipologizacii [Regional Political Regimes in Post-Soviet Russia: An Attempt in Classification]. *Polis: Political Studies*, no 3, pp. 142–155.
- Livingston S. G., Friedman S. (1993) Reexamining Theories of Congressional Retirement: Evidence from the 1980s. *Legislative Studies Quarterly*, vol. 18, no 2, pp. 231–253.
- Luechinger S., Moser C. (2012) The Value of the Revolving Door: Political Appointees and the Stock Market. CESifo Working Paper No 3921. Available at: [http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/DocBase\\_Content/WP/WP-CESifo\\_Working\\_Papers/wp-cesifo-2012/wp-cesifo-2012-08/cesifo1\\_wp3921.pdf](http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/DocBase_Content/WP/WP-CESifo_Working_Papers/wp-cesifo-2012/wp-cesifo-2012-08/cesifo1_wp3921.pdf) (accessed 7 December 2016).
- Matland R. E., Studlar D. T. (2004) Determinants of Legislative Turnover: A Cross-National Analysis. *British Journal of Political Science*, vol. 34, no 1, pp. 87–108.

- NEWSru (2007) Putin predlozhlil sozdat' sistemu trudoustrojstva byvshih deputatov Gosdumy [Putin Proposed to Create a System of Employment for Former State Duma Deputies]. Available at: <http://www.newsru.com/russia/28jun2007/put.html> (accessed 17 September 2017).
- Nicholls K. (1991) The Dynamics of National Executive Service: Ambition Theory and the Careers of Presidential Cabinet Members. *Western Political Quarterly*, vol. 44, no 1, pp. 149–172.
- Niessen A., Ruenzi S. (2010) Political Connectedness and Firm Performance: Evidence from Germany. *German Economic Review*, vol. 11, no 4, pp. 441–464.
- Obrnadzor (2014) Dohody v obrazovanii: nacional'nyj rejting [Incomes in Education: A National Tating]. Available at: <http://обрнадзор.рф/вдействи/рейтингодоходов> (accessed 03 December 2015).
- Palmer M., Schneer B. (2016) Capitol Gains: The Returns to Elected Office from Corporate Board Directorships. *Journal of Politics*, vol. 78, no 1, pp. 181–196.
- Parker G. R., Parker S. L., Dabros M. S. (2013) The Labor Market for Politicians: Why Ex-legislators Gravitate to Lobbying. *Business & Society*, vol. 52, no 3, pp. 427–450.
- Petersburg Policy Foundation (2012) Sud'by byvshih glav rossijskih regionov [The Fate of the Former Heads of Russian Regions]. Available at: [http://old.fpp.spb.ru/former\\_2012-11.php](http://old.fpp.spb.ru/former_2012-11.php) (accessed 25 December 2012).
- President of the Russian Federation (2017) Federal'nyj zakon ot 08.05.1994 N 3-FZ (red. ot 29.07.2017) "O statuse chlena Soveta Federacii i statuse deputata Gosudarstvennoj Dumy Federal'nogo Sobranija Rossijskoj Federacii" [Federal Law No 3-FZ of 08.05.1994 (as Amended on July 29, 2017) "On the Status of a Member of the Federation Council and the Status of a Deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation"]. Available at: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221433&fld=134&dst=1000000001,o&rnd=0.8792536528801831#0/> (accessed 5 September 2017).
- Prewitt K., Nowlin W. (1969) Political Ambitions and the Behavior of Incumbent Politicians. *Western Political Quarterly*, vol. 22, no 2, pp. 298–308.
- Redichkina K. (2016) Chislo pomoshchnikov u parlamentariev budet uvelicheno s 1 janvarja 2017 [The Number of Assistants to Parliamentarians Will Be Increased from January 1, 2017]. Available at: <https://www.pnp.ru/politics/2016/12/14/chislo-pomoshchnikov-u-parlamentariev-budet-uvelicheno-s-1-yanvarja-2017.html> (accessed 17 May 2017).
- Republic (2015) Dohody glavy CIK Rossii Churova za god vyrosli na 1 mln rublej [Head of the CEC of Russia Churov's Revenues Increased by 1 Million rubles This Year]. Available at: <https://republic.ru/posts/50623> (accessed 25 April 2015).
- RFI (2017) Vo chto prevratilsja parlament Francii posle vyborov [What the French Parliament Became after the Elections]. Available at: <http://ru.rfi.fr/frantsiya/20170619-vo-cto-prevratilsya-parlament-frantsii-posle-vyborov> (accessed 20 June 2017).
- Ross C., Turovsky R. (2013) The Representation of Political and Economic Elites in the Russian Federation Council. *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*, vol. 21, no 1, pp. 59–88.
- Saeed M. A. (2013) *Do Political Connections Matter? Empirical Evidence from Listed Firms in Pakistan* (PhD Thesis), London: Middlesex University. Available at: <http://eprints.mdx.ac.uk/12361/1/MASaeed%20thesis.pdf> (accessed 06 January 2017).
- Samuels D. (2003) *Ambition, Federalism, and Legislative Politics in Brazil*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Santos F. G. M., Pegurier F. J. H. (2011) Political Careers in Brazil: Long-term Trends and Cross-sectional Variation. *Regional & Federal Studies*, vol. 21, no 2, pp. 165–183.
- Semenova E. (2011) Ministerial and Parliamentary Elites in an Executive-Dominated System: Post-Soviet Russia 1991–2009. *Comparative Sociology*, vol. 10, no 6, pp. 908–927.
- Semenova E. (2015) Russia: Cabinet Formation and Careers in a Superpresidential System. *The Selection of Ministers around the World* (eds. K. Dowding, P. Dumont), London: Routledge, pp. 139–155.
- Starodubtsev A. (2009) Regional'nye interesy v rossijskom parlamente: deputaty-odnomandatniki kak bjudzhetnye lobbisty [Regional Interests in the Russian Parliament: Single-Mandate Deputies as Budget Lobbyists]. *Politeia*, no 2 (53), pp. 90–101.

- State Duma Committee on Energy (2017) Sekcii Jekspertnogo soveta [Sections of the Expert Council]. Available at: <http://komitet2-13.km.duma.gov.ru/Ekspertnyj-sovet/Sekcii-Ekspertnogo-soveta> (accessed 1 November 2017).
- Stolz K., Fischer J. (2014) Post-Cabinet Careers of Regional Ministers in Germany, 1990–2011. *German Politics*, vol. 23, no 3, pp. 157–173.
- Stolz K. (2003) Moving Up, Moving Down: Political Careers across Territorial Levels. *European Journal of Political Research*, vol. 42, no 2, pp. 223–248.
- Stolz K., Kintz M. (2014) Post-Cabinet Careers in Britain and the US: Theory, Concepts and Empirical Illustrations. Paper prepared for the ECPR General Conference 2014 (September 3–6, 2014, Glasgow). Available at: <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/8127572d-9f46-4c11-8238-2b6ca8e2e14a.pdf> (accessed 7 December 2016).
- TASS (2016) Zarplata pomoshnikov deputatov Gosdumy v srednem sostavit 30 tys. rublej [Salary of Assistants to State Duma Deputies Will Average 30 Thousand Rubles]. Available at: <http://tass.ru/politika/3785955> (accessed 17 August 2017).
- Tev D. (2015) Vysokopostavlennye regional'nye administratory: osobennosti kar'ery posle uhoda s dolzhnosti [Senior Regional Administrators: Career Characteristics after Leaving Office]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 18, no 4, pp. 37–52.
- Tev D. (2016) Federal'naja administrativnaja jelita Rossii: kar'ernye puti i kanaly rekrutirovaniya [Federal Administrative Elite of Russia: Career Paths and Channels of Recruitment]. *Polis: Political Studies*, no 4, pp. 115–130.
- The Economist (2014) Planet Plutocrat: Our Crony-Capitalism Index. Available at: <http://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-politically-connected-businessmen-are-most-likely-prosper-planet> (accessed 05 September 2015).
- Theakston K. (2012) Life after Political Death: Former Leaders in Western Democracies. *Representation*, vol. 48, no 2, pp. 139–149.
- Transparency International (2017) Corruption Perceptions Index 2017. Available at: [https://www.transparency.org/news/feature/corruption\\_perceptions\\_index\\_2017](https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017) (accessed 11 March 2018).
- Vinokurova E. (2016) "Edinaja Rossiya" zajmetsja trudoustroystvom proigravshih deputatov [United Russia Party will Take Up Employment of the Lost Deputies]. Available at: [https://www.znak.com/2016-06-06/edinaya\\_rossiya\\_zaymetsya\\_trudoustroystvom\\_proigravshih\\_deputatov](https://www.znak.com/2016-06-06/edinaya_rossiya_zaymetsya_trudoustroystvom_proigravshih_deputatov) (accessed 17 September 2017).
- Volkova O. (2016) Uchenye nazvali politicheskie svyazi glavnym istochnikom bogatstva [Scientists Said that Political Ties is the Main Source of Wealth in Russia]. Available at: <http://www.rbc.ru/economics/11/03/2016/56e2a1ac9a7947f56bedc71a> (accessed: 17 September 2016).
- Zavadskaya M. (2012) Dumskie inkumbenty i "partija vlasti" [The Duma Incumbents and the "Party of the State"]. *Politeia*, no 3 (66), pp. 121–131.
- Zaznaev O. (2006) *Poluprezidentskaja sistema: politiko-pravovoj analiz* [Semi-presidential System: Political and Legal Analysis] (PhD dissertation), Kazan.
- Zaznaev O. (2007) Indeksnyj analiz poluprezidentskih gosudarstv Evropy i postsovetskogo prostranstva [Index Analysis of Semi-presidential States in Europe and the Post-Soviet Space]. *Polis: Political Studies*, no 2, pp. 146–164.

# «Узнай всю правду о своей грамотности!»: Тотальный диктант как форма флешмоба\*

*Марина Макарова*

Доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры социологии  
Удмуртского государственного университета

Приглашенный исследователь в Уппсальском институте российских  
и евразийских исследований Уппсальского университета (Швеция)  
Адрес: ул. Университетская, д. 1, г. Ижевск, Российская Федерация 426034  
E-mail: [makmar11@mail.ru](mailto:makmar11@mail.ru)

*Валерия Симонова*

Студентка Удмуртского государственного университета  
Адрес: ул. Университетская, д. 1, г. Ижевск, Российская Федерация 426034  
E-mail: [lera93-93@bk.ru](mailto:lera93-93@bk.ru)

В статье рассматриваются основные характеристики Тотального диктанта как формы флешмоба. Выявлены основные признаки флешмоба: массовость, публичность, одновременность, эмоциональная вовлеченность, игровой характер, организация посредством современных коммуникационных технологий и в определенных случаях наличие лидеров. Основными факторами развития флешмобов следует считать неудовлетворенность существующими формами общественного участия, поиск новых форм самовыражения и развитие коммуникационных сетей. Трансформация флешмоба как социального явления обуславливает необходимость выделения двух его типов — классического и модернизированного. У классического флешмоба нет четкой цели и смысла. Модернизированный обладает определенной идеологией, имеет дело не с массой, а с публикой, дифференцированной по интересам, и часто связан с использованием формы флешмоба группами элит для социального воздействия на ценностные установки населения. Тотальный диктант как массовая публичная акция, проводимая в настоящее время на международном уровне, может быть рассмотрен как форма модернизированного флешмоба, в ходе трансформации которого локальное студенческое мероприятие переросло в глобальную акцию, активно поддерживаемую элитными группами. Идеология тотального диктанта, связанная в первую очередь с проверкой грамотности и поддержкой русского языка, включает также ценности патриотизма и изменения окружающего мира через самосовершенствование. Результаты интервью с участниками диктанта выявили эмоциональную окрашенность участия в диктанте, связанную с ситуацией самопроверки, и идентификацию с группой интеллектуалов, патриотически настроенных и любящих русский язык.

*Ключевые слова:* флешмоб, тотальный диктант, публичная сфера, идентичность, социальный порядок

Флешмоб — относительно новое явление, связанное с развитием современных коммуникаций и интернет-технологий. Многообразие видов флешмоба и его

---

© Макарова М. Н., 2018

© Симонова В. Д., 2018

© Центр фундаментальной социологии, 2018

DOI: 10.17323/1728-192X-2018-1-134-159

\* Исследование выполнено за счет гранта Шведского института (Visby programme) 00327/2017.

трансформация указывают на то, что он становится формой социальной активности, приобретающей все новые разновидности. Флешмоб имеет много общего с традиционными формами социального поведения, такими как игра, митинг, ритуальные действия прошлого, однако обладает и своими особенностями. Изначальная абсурдность поведения его участников иногда шокирует и кажется асоциальной. Вместе с тем развитие современного социума под влиянием многообразных социальных реальностей, принятием различий во внешнем виде и мировоззрении, неоднозначностью расшифровки символов, смысл которых перестает быть напрямую связан с означаемым, приводит к переосмыслению флешмоба и его модернизации.

Растущая популярность флешмобов у молодежи вынудила официальные власти, образовательные учреждения, рекламодателей и пропагандистские институты начать использовать элементы флешмоба в мероприятиях для населения, привлечения их внимания, формирования или изменения их ценностных ориентаций или потребительских установок. Одним из примеров подобной практики является Тотальный диктант, существующий в России с 2004 года. Он начинался как локальное мероприятие, однако за 12 лет своего существования разросся до международных масштабов. Авторы идеи и организаторы сами признают его сходство с флешмобом как явлением, предполагающим одновременное действие множества человек. Не отрицают они и некоторую изначальную «абсурдность» поведения участников: люди разных возрастов и социальных статусов выводят запятые и тире под диктовку.

Однако цели развития грамотности и привлечения внимания к русскому языку как основе развития русской нации вывели Тотальный диктант за пределы традиционного флешмоба. Это мероприятие стало одним из первых экспериментов использования флешмоба для развития идей патриотизма, культивирования идеологических установок. Поэтому его изучение может помочь понять как традиционные характеристики флешмоба, так и его модернизацию и использование с целью воздействия на общество, в результате чего появляются новые формы социальной организации и общественного участия.

## **Флешмоб как новая форма социального поведения**

Исследователи описывают флешмоб как одну из новых форм социального поведения. Флешмоб (flash mob — «вспышка толпы» или «мгновенная толпа») обычно определяется как мгновенное или кратковременное спонтанное массовое действие, происходящее в публичном месте и организуемое посредством современных коммуникационных технологий. «В течение нескольких минут мобберы с серьезным видом выполняют заранее оговоренные сценарием действия и затем одновременно быстро расходятся в разные стороны как ни в чем не бывало» (Каневский, 2006: 14).

Как социальный феномен флешмоб сформировался в Нью-Йорке. В 2003 году уроженец Сан-Франциско Роб Зазуэта прочитал книгу Г. Рейнгольда и создал веб-сайт для организации таких мероприятий, в результате чего состоялся флешмоб в мебельном отделе магазина Macy's. Около витрины с ковром собралось примерно 200 человек, которые стали рассказывать продавцам, «что они живут вместе на складе в «пригородном сообществе» на окраине Нью-Йорка и пришли купить «коврик любви». Позднее флешмобы распространились по всему миру, а некоторые приобрели глобальный, международный характер. В России флешмоб-движение началось примерно в это же время и по тематике и смыслу (вернее, его отсутствию) были сродни американским (Федорченко, 2011: 29).

Однако некоторые источники описывают и более ранние формы флешмобов, такие, например, как массовая акция, организованная в 1958 году ведущим ток-шоу на радиостанции WOR в Нью-Джерси Жаном Шефердом, который обратился к своим радиослушателям с просьбой высунуть головы из окон в полночь с криком «Все выше!» («Excelsior!») и тут же закрыть окна. Впоследствии другие радиостанции и шоу подхватили эту идею и стали организовывать подобные акции (Wang, Akella, Bennett, 2014: 25).

Одним из первых флешмоб начал изучать Г. Рейнгольд, связавший появление «умной толпы» прежде всего с развитием информационных технологий. Он указывает, что умная толпа объединяет незнакомых, но действующих согласованно людей, взаимодействующих благодаря мобильным устройствам, в результате чего устанавливается новый социальный порядок (Рейнгольд, 2006).

Ученые выделяют различные факторы появления флешмоба. Первый фактор, упоминаемый исследователями довольно часто, можно назвать протестным. Д. И. Каминиченко предлагает связать флешмоб с концепцией общества риска У. Бека (Каминиченко, 2014). По его мнению, новые формы политической культуры нуждаются во все большей партиципаторности, люди желают быть все более вовлеченными в активную социальную жизнь. Следствием этого является неудовлетворенность молодежи существующими формами общественного участия и социальной активности. Ряд национальных и межнациональных исследований ценностей молодых людей подтверждают это. Например, глобальный опрос ценностей показал, что в мире участие молодежи в различных ассоциациях не превышает 14 %, судя по замерам общественного участия стран ЮНИСЭФ, молодежь признает, что участие в различных формах общественной активности не приносит им необходимого социального капитала для самореализации (Lloyd, 2005: 381–382).

Флешмоб может, таким образом, рассматриваться как альтернативная форма социальной активности молодежи, противопоставленная традиционным формам самоорганизации. В этой связи флешмобы уместно анализируется как одна из новых форм социальных движений, например, в концепции А. Мелуччи. Рост социального контроля и развитие информационных процессов приводят к формированию новых общественных движений, с целью «защиты своей идентичности, ценностей, культуры и духовной целостности» (Melucci, 1980: 200).

Протестный характер флешмоба, наиболее популярного в городской среде, по мнению исследователей, также может быть связан с неудовлетворенностью существующими формами городского планирования, которые не учитывают интересы горожан (Kaulingfreks, Warren, 2010). К. Стивенс рассматривает новые формы молодежной самоорганизации как вызов традиционным правилам в «постмодернистских городах» и формированием новых идентичностей и переосмыслением границ городских пространств (Stevens, 2007). И. Фролова, используя концепцию Анри Лефевра, отмечает, что флешмоб связан с переконструированием городского пространства, формированием нового городского порядка (Фролова, 2011: 196).

Протест против существующих форм социальной жизни выражен не всегда ярко, однако демонстрация подчас абсурдных и кардинально противоположных традиционным формам социальной самоорганизации типов поведения может говорить о желании бросить вызов, привлечь внимание, шокировать, что характеризует в первую очередь молодежь как социальную группу. С точки зрения субкультурного подхода исследователи в области социологии молодежи отмечают такую ее особенность, как поиск новых форм самовыражения в ситуации подчиненного положения по отношению к «властным дискурсам». Поэтому флешмоб рассматривается в одном ряду с такими солидарностями, как, например, движение хипстеров, «паркурщиков» и т. д. (Омельченко, 2011: 7). Отмечая фривольность и показную бессмысленность подобных акций, В. Молнар характеризует их как отражение «нарциссизма молодого поколения», дестабилизирующего установленный социальный порядок с его конформизмом и «стадностью» (Molnàr, 2009).

Другой важный фактор, который, безусловно, влиял и влияет на формирование и распространение различных форм флешмоба, — информационный, связанный с развитием Интернета и социальных сетей, блогов, иных форм онлайн-коммуникации. Именно они позволяют собрать за короткое время множество людей, активизировать их, распространить те или иные идеи среди различных аудиторий и групп и на массовом уровне. Г. Рейнгольд описывает современное общество как «жаждущее приключений» (Рейнгольд, 2006: 342) и использующее социальные сети для реализации этого стремления.

Новизна флешмоба и в то же время его некоторое сходство с традиционными формами социального действия несколько затрудняет выделение признаков этого явления. В западной и отечественной научной литературе эти признаки отражены не всегда полно. В нашей работе мы попытались обобщить существующие подходы и представить собственное толкование признаков флешмоба, которые, безусловно, являются дискуссионными в связи с неоднозначностью и постоянной изменчивостью этого социального феномена.

Первый признак предполагает *массовость поведения* — во флешмоб, как правило, вовлечены большие группы людей. Эти группы могут быть либо недифференцированными (масса, толпа), либо представлять определенные интересы, цели, социальные признаки (например, поклонники определенного вида искусства, приверженцы определенных политических движений и т. д.). Флешмоб формиру-

ет «социальные сети» со слабыми социальными связями и ситуативной коммуникацией. Субъект флешмоба, как правило, анонимен. Его персональные данные не берутся в расчет, индивидуальные признаки не важны, хотя он может играть определенную роль в рамках сценария, либо обладать необходимыми для участия социальными интересами или признаками (любовь или навыки к определенному жанру искусства, виду спорта или принадлежность к группе фанатов какой-либо рок-звезды и т. п.). Одним из самых массовых флешмобов считается танцевальный флешмоб в Чикаго, посвященный выходу очередного сезона шоу Опры Уинфри, в котором участвовали около 20 тысяч человек.

Второй признак — *одновременность*. Люди одновременно делают какое-то одно действие. Можно сказать, что в данном случае флешмоб основан на подражании. В классическом флешмобе действие обычно начинается и заканчивается за какой-то период, тем самым подтверждая основное этимологическое значение слова «флешмоб» — вспышка толпы.

Третий признак — *публичность*. Флешмоб организуется в публичных пространствах и обычно имеет зрителей. Если он организуется в Интернете, то это пространство также можно считать публичным. Более того, участники акций, как правило, стремятся опубликовать факт своего участия в социальных сетях. А. Родригес использует теорию публичной сферы и жизненного мира Юргена Хабермаса (Rodriguez, 2010). Публичная сфера является некой специфической «агорой» — местом реализации общественных дискуссий, где «приватное становится политическим» (Хабермас, 2011). В то же время жизненный мир как непосредственная повседневная практика позволяет сделать публичное компонентом актуального опыта каждого отдельного индивида. Горизонтальные связи создают публичный дискурс и открытые коммуникации, формируя новые формы принятия решений и дискуссий в современном социуме. Развивая эту идею, Уоткинс рассматривает публичное пространство как поле репрезентаций социального многообразия и различий, которые делают коммуникацию более успешной (Watkins, 2005).

Четвертый признак — особый вид идентификации, предполагающей *эмоциональную вовлеченность* или *приобщенность*, чувство причастности к определенному массовому событию, которое может объединять людей на национальном или даже глобальном уровне. Сильные эмоции вызывает также возможность проверить себя на способность сделать что-то необычное публично, на глазах у всех (снять штаны, выкрикнуть фразу, станцевать или спеть). Это придает флешмобу форму приключения, вызова, «экстрима», связанного иногда с риском, и некой исключительности, что всегда привлекает молодых людей. В этом смысле понятие «вспышка» как основа этимологии слова «флешмоб» может быть связано не только и не столько с временным характером, а скорее с эмоциональным «всплеском», вбросом адреналина, компонентом аффективного действия. Исследователи отмечают, что производимый эмоциональный эффект от флешмоба приобретает для участников большую значимость, чем сами действия, и может служить в качестве основного стимула участия: людей привлекает сама возможность быть ча-

стью флешмоба. Противоречащие друг другу эмоции (например, радость и страх), вызванные спонтанными публичными действиями, приводящими к ломке традиционных ментальных паттернов, заставляют людей участвовать в подобного рода акциях (Anderson, 2013). Другим фактором может служить идентификация с определенными социальными группами, исключительности и даже «элитности», например, в случае с арт-мобом (Grant, Bal, Parent, 2012: 248).

Пятый признак — *формирование «новой реальности»*, своего рода «воображаемого мира», сообщества, которое создается сценарием, «правилами игры» флешмоба, что роднит его с игровым поведением. В игре, как правило, все серьезно, говорит Й. Хейзинга в своей книге «Человек играющий»: «Правила игры бесспорны и обязательны, они не подлежат никакому сомнению... Во всяком случае, основание для определения этих правил задается здесь как незыблемое. Стоит лишь отойти от правил, и мир игры тотчас же рушится» (Хейзинга, 1997: 30). Правила игры, как и ритуализованные механизмы поведения, включенные в сценарий флешмоба, носят обязательный характер для всех участников, которые надо воспринимать «с серьезным лицом». Это противоречие серьезности и эмоциональной вовлеченности придает флешмобу еще большую привлекательность, озорство, которое способно захватить не только молодежь, но и достаточно зрелых людей.

Следование четким правилам и формирование нового социального порядка отмечается целым рядом авторов, изучающих специфический лексикон участников флешмобов (Андреев, 2015: 150). Например, «слово «ыбло», видоизмененная форма слова «было» — один из наиболее распространенных жаргонизмов, встречающихся на форуме сайта [flashmob.ru](http://flashmob.ru). «По легенде, слово „ыбло“ появилось в результате реальной описки на форуме» (Панов, 2009: 345). Мобберы пользуются и обмениваются различными артефактами, среди них могут быть распределены роли, которые каждый должен выполнять в ходе действия» (Андреев, 2015: 150). Исследователи отмечают близость флешмоба к явлению «субкультура», которая также содержит подобные характеристики.

Шестой признак состоит в том, что для большинства флешмобов характерно *использование современных информационных технологий*, Интернета, компьютеров, смартфонов. Флешмоб является продуктом «сетевого общества», формируемого в интернет-пространстве и связанного каким-либо общим желанием, долгосрочным или спонтанным. Интернет используется как для привлечения людей к определенным идеям в качестве основы или мотивации для флешмоба, так и для организации непосредственно самих коллективных акций, обозначения сценариев, ритуальных действий и т. д.

Седьмым, не всегда имеющимся признаком флешмоба можно считать *наличие лидерства*. Яркие, харизматичные либо популярные личности обычно привлекают внимание участников. Присутствие лидера не всегда обязательно, часто классический флешмоб определяется как не имеющий лидера, анонимный и без четкого «центра управления». В то же время в современных флешмобах и лонгмобах, объединенных какой-то идеей, может присутствовать лидер, который своей пер-

соной привлекает людей, как бы уравнивая их с собой, придавая им чувство собственной значимости, «добавляет их в друзья», например, в политических акциях Алексея Навального. Лидер может присутствовать и «виртуально», это может быть какой-то умерший кумир, например, ежегодно с 2006 года в разных странах мира проходит танцевальный флешмоб «Trill The World» в честь дня рождения Майкла Джексона, когда гигантское количество людей выходит на улицы и танцует под его песню «Triller».

### **Спонтанные акции или спланированные кампании?**

Несмотря на то что флешмоб — относительно новое явление, в процессе своего развития он претерпел некоторые изменения и приобрел различные формы. Исследователи выделяют различные виды флешмобов в зависимости от деятельности участников (арт-моб, зомби-моб, данс-моб, полит-моб и т. д.) (Андреев, 2015). Однако, на наш взгляд, наиболее важным для исследования социальной сущности флешмоба являются две группы. Первая включает в себя классические формы флешмоба и спонтанные акции, которые, как правило, не несут в себе особого смысла. Такие флешмобы имеют краткосрочный характер и полностью соответствуют этимологии слова «флеш» — вспышка. Основным субъектом классического флешмоба выступает толпа. Согласно Г. Тарду, толпа способна захватить людей целиком, поскольку она связана с проявлением эмоциональности. Лидеру на толпу легче воздействовать простыми лозунгами, действующими на эмоции (Хевеши, 2001: 52). Классический флешмоб, как правило, основан на принципе «флешмоб вне религии, вне политики, вне экономики», и в основном эффектами флешмоба являются привлечение внимания публики, их любопытства, а также создание некой параллельной реальности посредством некоего спектакля, действия, стремления тем самым отделить себя от остального мира.

Классический флешмоб изначально возник как новая форма социальной солидарности, спонтанной активности «снизу», противопоставившей себя, как уже было сказано, традиционным формам само-проявления социума. Американский ученый Дж. Шуровьески считает, что явление «децентрализации» состоит в принятии совместных решений, в результате чего «умным толпам» дается преимущество, поэтому их действие более эффективно, чем следование команде сверху (Шуровьески, 2007: 83). Однако впоследствии эта форма активности, в силу своей общественной привлекательности, была использована различными группами элит для артикуляции своих интересов и привлечения публики, различных групп влияния. Первыми возникли политические варианты флешмоба, которые бросили вызов традиционным формам общественной самоорганизации. Современные общественные движения, детские и молодежные организации, политические партии, НКО также используют формы флешмоба для привлечения населения к общественно необходимым видам деятельности, политической пропаганды, иных целей (Федорченко, 2011). Позже и бизнесмены стали использовать флешмоб-ак-

ции для привлечения новых клиентов и покупателей. Отмечается, что флешмоб является эффективным инструментом для роста известности бренда. Примером могут служить многочисленные флешмобы, организованные кампанией T-Mobile (Wang, Akella, Bennett, 2014: 26).

Подобные трансформации позволили известному организатору Биллу Уосику в 2005 году констатировать «смерть флешмоба» в его изначальном понимании, поскольку он утрачивает свою аполитичность и становится «слишком серьезным» (Parry, 2014: 9). В результате стало возможным говорить о другой категории флешмобов, которую мы бы назвали «инновационными» или «модернизированными». Они также носят массовый характер, но «масса», как правило, уже более дифференцирована и объединена по интересам. Субъектом этих видов флешмоба выступает уже не толпа, а публика. Под публикой он понимает «чисто духовное собирательное целое», в котором индивиды не собраны, как в толпе, но, будучи физически разделены друг от друга, связаны воедино духовно, а именно общностью убеждений и страстей. Заметим, публика, по Тарду, значительно шире и многочисленнее, чем толпа (Тард, 1998: 266). Дифференциация социальных интересов и потребностей легла в основу развития социальных движений, руководимых различными группами элит.

В подобных модернизированных формах флешмоба, как правило, в качестве участников идентифицируются определенные группы по интересам (например, любители искусства), по групповой принадлежности (например, автомобилисты или представители определенной этнической общности). В этом типе флешмоба явно или скрыто присутствует определенная идея или цель, имеются специальные сайты, лидеры, продвигающие определенные политические, культурные, социальные идеи. Наиболее популярной формой модернизированного флешмоба является политический флешмоб (полит-моб). Традиционные формы политического протеста, принявшие форму флешмоба, особенно характерны для современных политических движений (Вилков, 2014: 68–69). Это позволило многим исследователям рассматривать флешмоб как форму политического манипулирования (Criado, Rashid, Leite, 2016). Прежде всего делается акцент на том, что элементы флешмоба могут использоваться для протестных целей и политической дестабилизации, наподобие «Арабской весны»: «Приемы сетевых технологий, в том числе и полит-моб, могут инициироваться внутренними и внешними акторами для дестабилизации геополитической обстановки, раскрутки «цветных революций», свержения политического режима, а также для провокации межэтнических, межрасовых и межконфессиональных конфликтов» (Володенков, Федорченко, 2015: 5). В ситуации информационного противостояния различных общественно-политических сил властные элиты также используют флешмобы как формы активизации политического участия, прежде всего в молодежной среде. В частности, российские и региональные власти, общественные организации инициируют различные

патриотические и социально значимые мероприятия в подобной форме. Таковы, например, многочисленные акции, проводимые в последние годы в День России<sup>1</sup>.

Не менее популярным является и рекламный флешмоб (Gore, 2010). Наряду с политическим или рекламным флешмобом к модернизированному типу можно отнести, например, буккроссинг (свободный обмен книгами в публичных местах или через Интернет) и моб-арт. Моб-арты — это мероприятия, имеющие определенную художественную ценность, которые отличаются от классического флешмоба наличием определенных социальных ролей, участники дифференцированы на режиссеров, сценаристов, организаторов.

Вопрос о манипулятивной сущности модернизированного флешмоба как одной из «уловок» элит с целью «символического насилия», на наш взгляд, является дискуссионным. Точка зрения о том, что элиты перехватывают общественные инициативы с целью формирования установок и навязывания определенной идеологии, на наш взгляд, все-таки не всегда полно характеризует модернизированный тип флешмоба, опирающегося на активность публики и дифференциацию общественных интересов. То же можно сказать и об использовании подобных акций для коммерческих целей. Так, Дж. Гор отмечает, что флешмоб балансирует между попытками апроприации флешмоба бизнесом и одновременно высмеиванием, деконструкцией популярной культуры посредством абсурдных акций (Gore, 2010: 128). Возможно, в ходе дальнейшего развития этой формы активности можно будет говорить также и о различных типах модернизированного флешмоба. Это обусловлено сложностью и многоаспектностью самого феномена «общественных движений», которые, с одной стороны, движимы элитами, а с другой — кроют в себе глубинные ценности, укорененные в общественном сознании. В то же время практики «перехвата инициативы» властными структурами встречаются достаточно часто, в том числе и в России. Так, один из самых крупных флешмобов в России был проведен во Владивостоке в 2013 году<sup>2</sup>, когда 27 тысяч человек с помощью разноцветных флажков составили флаг России.

Неоднозначность понимания флешмоба и его трансформаций отражается, в частности, в феномене Тотального диктанта, который и будет предметом нашего дальнейшего анализа.

### **Тотальный диктант: «флешмоб для интеллектуалов»?**

Одним из видов флешмобов может быть признан Тотальный диктант, который зародился в 2004 году как мероприятие студенческого клуба Новосибирского государственного университета. С тех пор Тотальный диктант перерос в глобальную акцию, которая охватила все субъекты РФ и 69 стран. Тотальный диктант представляет собой

---

1. РИАМО. (2015). Флешмобы и праздничные акции прошли в День России в Подмосковье. URL: <https://riamo.ru/article/64843/fleshmoby-i-prazdnichnye-aktsii-proshli-v-den-rossii-v-podmoskove.xl> (дата доступа: 06.06.2017).

2. Миняева К. (2013). 5 флешмобов, которые вошли в историю // Российская газета. 29.08.2013.

добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в разных городах России и мира. Основная цель диктанта — проверка грамотности населения.

Распространение Тотального диктанта на всю Россию и за ее пределы способствовало тому, что журналисты сразу прозвали его «флешмобом для интеллектуалов» (Курылева, 2015). Однако сходство его с флешмобом не настолько очевидно, поэтому необходимо рассмотреть, какие свойства диктанта характеризуют его как одну из форм флешмоба. Если говорить о первом признаке — массовости, то, разумеется, Тотальный диктант — это массовое явление. Основная цель тотального диктанта — «привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма». Это значит, что Тотальный диктант имеет свою идеологическую основу, принципы, методологию, что также подтверждает его близость к модернизированному типу флешмоба. Девиз Тотального диктанта звучит следующим образом: «Писать грамотно — это модно!» Другим аспектом его идеологии является культивирование патриотических ценностей. Любовь к родному языку в программных документах организаторов неразрывна с «любовью к родине» (Ребковец, 2017: 5).

Массовость акции подчеркивается также словом «тотальный». Авторы утверждают, что получали много упреков в негативном оттенке этого слова. Однако сами организаторы считают, что одна из целей акции — разрывать шаблоны и стереотипы, не быть банальными и скучными. «Мы пошли другим путем, и сегодня все чаще видим примеры, где оно имеет нейтральную или позитивную окраску: *тотальная распродажа, тотальное преображение, тотальное счастье*» (Ребковец, 2017: 5). Директор Фонда «Тотальный диктант» О. А. Ребковец, описывая характеристики и цели Тотального диктанта в своей программной статье, часто использует слова «уникальный», «креативный и нестандартный подход», подчеркивая стремление к экстравагантности и оригинальности самой идеи акции. Эти признаки также характерны и для флешмоба, задача которого удивить, а иногда и шокировать общество. Действительно, масштабы распространения диктанта впечатляют: «За годы своего существования диктант покорила Антарктиду (Русские антарктические станции в 2013–2016 гг.), космос (МКС в 2014 г.), небо (самолет компании «S7», рейс Новосибирск—Москва в 2016 г.), моря и океаны (парусники «Крузенштерн» и «Паллада» в 2016 г.), проник под землю (Кунгурская пещера) и под воду (петрозаводские дайверы написали диктант под водой)» (Ребковец, 2017: 6). Характеризуя участников Тотального диктанта, можно отметить в первую очередь не только массовость, но и всеохватность. Авторы подчеркивают, что с каждым годом растет число участников: за 12-летнюю историю его существования оно выросло от 150 человек до 200 тысяч (Ребковец, 2017: 8).

Второй признак — одновременность и принцип повторяемости одного и того же действия, также подходит для Тотального диктанта. Он проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах, где участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). Существуют также четко опре-

деленные критерии оценивания работ. Для подготовки к диктанту в 234 городах России и мира были организованы площадки как непосредственно в городах проведения, так и онлайн. В то же время Тотальный диктант нельзя назвать «спонтанной» акцией, поскольку это долгосрочное, развивающееся мероприятие, которое совершенствуется и привлекает все большее число участников. В течение года проводятся сопровождающие мероприятия, идут подготовительные занятия, школы, семинары, конференции.

На всех площадках мероприятие проходит по одному и тому же, заранее разработанному «сценарию». Это говорит о третьем признаке флешмоба — создании особого, воображаемого мира, игрового действия, со своим сценарием, ролями и правилами. Этот мир основывается на идее безусловной, безоговорочной ценности русского языка как основы для формирования национальной идеологии: «Русский язык сегодня для жителей России и соотечественников за рубежом, пожалуй, единственная безоговорочная и принимаемая всеми ценность, а Тотальный диктант, вовлекая множество разных людей в качестве участников, организаторов, экспертов, волонтеров, диктующих (на сленге Тотального диктанта — «диктаторов»), актуализирует эту ценность и возводит ее в категорию национальной идеи» (Ребковец, 2017: 6).

Итак, в акции существуют четко обозначенная идея, правила и роли различных участников, среди которых выделяются «диктаторы», т. е. дикторы. Также следует отметить формирование особого языка Тотального диктанта, особых обозначений для различных субъектов, их действий. Особенно ярко это проявляется в словах «тотальный» и «диктатор», за что (и не только) акция получала негативную оценку противников «Русского мира» (Пономарева, 2017).

Флешмоб — публичное мероприятие, и Тотальный диктант не исключение. Проведение Тотального диктанта широко освещается в различных источниках, начиная от СМИ и Интернета и заканчивая пропагандой в учебных заведениях и в организациях, а накануне проводятся специальные акции, направленные на поддержку грамотности и привлечение внимания населения к мероприятию. «В 2016 г. об акции вышло более 7000 материалов в СМИ, более 30 000 сообщений в блогах и социальных сетях, общий информационный охват акции составил 1 508 601 745 уникальных просмотров» (Ребковец, 2017: 8). Сами участники также создают группы в социальных сетях, постоянно делятся впечатлениями на личных страницах. Участие в Тотальном диктанте для них — предмет гордости.

Следующий признак флешмоба — наличие эмоциональной вовлеченности как особого рода идентичности приобщения к «общему делу» либо какой-то большой группе. В основном этот признак будет выявлен в анализе интервью. Однако уже сейчас мы можем почитать на различных сайтах восхищенные высказывания «диктаторов» и самих участников.

Вот что пишет Леонид Ярмольник: «Я невероятно счастлив. Эта затея мне очень нравится, когда народ добровольно, несмотря на оценки, хочет проверить свою грамотность. И это тоже как-то объединяет всех. У меня ощущение, что ак-

ция замечательна в том, что русский язык шагает по планете. Я не могу сказать, что волнуюсь, но я невероятно рад — для меня это большая честь. Любовь к русскому языку, желание быть грамотным — это первый шаг к тому, чтобы считать себя и быть культурным человеком» (Ребковец, 2017: 5).

А вот слова Ирины Богушевской: «Ну всё, я стала диктатором! Теперь у меня и значок имеется. Все копия, которые летели в организаторов Тотального диктанта из-за этого существительного, пусть уже воткнутся в землю — потому что это, конечно же, была шутка. Вчера вечером нам всем разослали инструкцию под названием «Памятка диктующим». (И вообще, странно было бы предполагать, что люди, которые делают всероссийский проект по повышению грамотности, не знают, как обращаться со словами. Знают!)» (Ирина Богушевская) (Пономарева, 2017).

Участница Тотального диктанта — одна из победителей конкурса «Народное сочинение» на тему «Как я писал Тотальный диктант» сообщает следующее: «В 2017 году я пришла писать Тотальный диктант. Мне 28 лет, и я учитель русского языка и литературы. Мне диктовал его замечательный человек, который улыбался и грустил, жил весь этот короткий текст. И я жила с ним весь этот диктант... Я посвящаю Тотальный диктант-2017, мой первый в жизни настоящий диктант, моему учителю русского языка и литературы. Я посвящаю и прощаю»<sup>3</sup>.

Важный признак флешмоба — использование Интернета и информационных технологий. Здесь сходство очевидно — имеется специальный сайт «Тотальный диктант» ([totaldict.ru](http://totaldict.ru)), с отдельными подразделениями в различных городах, кроме того, в различных социальных сетях есть группы по написанию и подготовке Тотального диктанта в различных городах. Диктовка осуществляется через Интернет, а все площадки должны быть оборудованы мультимедийными средствами. Параллельно с диктантом, проводимым на площадках, по этим же текстам проводится онлайн-диктант в Интернете.

Следует отметить и наличие лидеров Тотального диктанта. Несмотря на то что организаторы мероприятия — специалисты Новосибирского государственного университета — сами себя не афишируют, они уже достаточно известны в кругах постоянных участников и поклонников диктанта. Однако наибольший интерес представляют те персоны, которые привлекаются к различным этапам диктанта. Во-первых, это известные писатели, которые пишут тексты для диктанта (Ребковец, 2017: 8). Другой важный вид лидеров — «диктаторы», известные медийные персоны — писатели, актеры, поп- и рок-звезды, другие важные личности, например, актер Леонид Ярмольник, певец Алексей Кортнев, советник президента по культуре и искусству Владимир Толстой, шоумен Максим Галкин и др. Они привлекают участников своей популярностью и писать под их диктовку — значит быть ближе к ним. Все это придает участникам чувство собственной значимости и ответственности.

3. Фонд «Тотальный диктант». (2017). Итоги конкурса сочинений «Как я писал Тотальный диктант». URL: <https://totaldict.ru/news/news/el-itogi-konkursa-sochineniy-kak-ya-pisal-totalnyy-diktant/> (дата доступа: 06.06.2017).

Итак, Тотальный диктант действительно отвечает всем признакам флешмоба, что и признают сами организаторы акции. Возможно, идея флешмоба прямо или косвенно имела в виду при его организации. Так, Егор Заикин в своем интервью еще в 2012 году указал: «Действительно, флешмоб — это когда люди в публичном месте совершают заранее обговоренные абсурдные действия. Но что может быть абсурднее того, что люди добровольно приходят и пишут диктант. Мотивация у участников Тотального диктанта такая же, как и у участников любого флешмоба, хотя, может быть, они сами этого и не осознают» (РИА Новости, 2012).

Идея флешмоба так захватила участников акции, что была подхвачена регионами. В частности, для «информационной поддержки» Тотального диктанта были использованы «опытные» флешмобберы<sup>4</sup>. Популярность Тотального диктанта стала мотивом для проведения аналогичных мероприятий на национальных языках в различных республиках и областях России (диктанты проводятся, например, на башкирском, бурятском, тувинском, удмуртском, чеченском, хантыйском, мансийском, ненецком и других языках). Кроме того, «диктант дал старт таким проектам, как Всероссийский географический диктант, Всероссийский тест по истории, контрольная Яндекса по математике и др.» (Ребковец, 2017: 5).

### Элементы флешмоба в восприятии Тотального диктанта его участниками

Для анализа основных особенностей восприятия Тотального диктанта его участниками были проведено пилотное исследование. Его цель состояла в выявлении компонентов флешмоба в восприятии участников Тотального диктанта. Было взято 23 полуформализованных интервью у тех, кто хотя бы один раз участвовал в нем различных городах России. Для поиска респондентов использовались группы в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте», в результате чего были получены ответы из 7 городов (Москва, Казань, Ижевск, Новосибирск, Тюмень, Иркутск, Ростов-на-Дону) и ближнего зарубежья (Луганск). Для дальнейшего поиска респондентов использовался метод «снежного кома». Возрастная структура опрошенных соответствует наиболее активным группам участников (согласно данным ВЦИОМ): работающая молодежь, студенты и средний возраст (Ребковец, 2017: 6). 12 респондентов относятся к группе 27–39 лет, 7 — 18–25 лет, 4 — 40–55 лет. 9 имеют высшее образование, 8 студентов, 3 — среднее профессиональное образование и 1 — среднее общее; 13 участников писали диктант один раз, 6 — 2 раза, 1 — 3 раза, 3 — 4 раза.

Интервью осуществлялось лично и посредством программы Skype. Задачи исследования заключались в выявлении восприятия Тотального диктанта, причин участия в нем, форм участия, источников информации о диктанте, вовлеченности в различные социальные связи, а также понимания участниками основных его це-

4. Фонд «Тотальный диктант». (2017). В Нижнем Тагиле провели флешмоб в поддержку Тотального диктанта. URL: <https://totaldict.ru/nizhny+tagil/v-nizhnem-tagile-proveli-fleshmob-v-podderzhku-totalnogo-diktanta-1400804575/> (дата доступа: 12.05.2017)

лей и идей. Поскольку Тотальный диктант практически не изучен с точки зрения восприятия участников, гайд был составлен так, чтобы можно было выявить особенности практик участия в нем. Интервью включало элементы нарратива — воспоминаний о прошлом: участникам предлагалось вспомнить, каким образом они узнали о Тотальном диктанте и приняли решение в нем участвовать, какие чувства сопровождали их в процессе написания.

Участники диктанта делали это с удовольствием и иногда самопроизвольно, без стимулирования интервьюером, подробно рассказывали о различных аспектах своего участия в акции. Было заметно, что эти воспоминания для них приятны. Идеология Тотального диктанта, как и любого другого социального явления, формируется не только организаторами, но и самими участниками в совместном публичном дискурсе. Поэтому в ходе интервью также важно было выявить, какие идеи, по их мнению, двигают организаторами Тотального диктанта и какие стимулы приобщения к нему наиболее значимы для участников. Все эти задачи служат для выявления основных признаков флешмоба в практиках и идеях Тотального диктанта.

Первый вопрос касался восприятия Тотального диктанта в целом. Большинство участников понимают эту акцию в соответствии с ее основной целью — проверка знаний русского языка. Они указывают на важность этого мероприятия лично для себя, как возможности оценить свои знания, определенное «испытание». Респонденты подчеркивают увлекательный характер Тотального диктанта и возможность посоревноваться с другими. Ситуация неопределенности, связанная с самопроверкой, любопытство, отсутствие ответственности за результат привлекло респондентов к участию в диктанте.

Для меня это в первую очередь проверка себя «на слабо», проверка своих сил, знаний, это интеллектуальная игра, загадка, лабиринт. (Александра, 24 года, офис-менеджер)

Испытание, хотела убедиться, что моя врожденная грамотность все еще при мне, ну и проверить, помню ли что-то из правил, как выяснилось, не все. Моя бабушка была учителем русского и литературы, в какой-то степени это и в память о ней. (Наталья, 36 лет, менеджер по рекламе)

Испытание себя и соревнование с другими. (Наталья, 26 лет, домохозяйка)

Часть респондентов подчеркивает общероссийский или глобальный характер мероприятия, а также возможность пообщаться, приобрести друзей, просто «потусоваться».

Интерес к мероприятию, объединяющему людей со всей страны, а теперь и в разных точках земного шара. (Инна, 35 лет, преподаватель)

Тусовка, событие, праздник, комьюнити... (Александра, 24 года, офис-менеджер)

Уже с первого вопроса у респондентов проявилась эмоциональная вовлеченность. Чувствовалось, что диктант для них имеет какое-то особое значение и представляет живой интерес. Для некоторых он проявляется в желании вновь оказаться за школьной партой, испытать подобные эмоции, поскольку воспоминания детства всегда имеют определенную эмоциональную окраску, дают ощущение праздника. Важный эмоциональный компонент — особое трепетное отношение к русскому языку. Как уже говорилось, возможность проверить себя, испытать «А смогу ли я?» также приводит к определенному эмоциональному возбуждению, свойственному состоянию риска, и доставляет удовольствие.

Акция, призванная возродить в народе любовь к родному языку, так называемую моду на грамотность.

Одновременное участие большого количества людей в такой акции — само по себе заряжает особыми эмоциями, состояние можно сравнить с участием в шествии Бессмертного полка, например. И, заметьте, мы не с шариками выходим на улицы, не глупостями какими-то внешними занимаемся, а всем событием говорим: Люди! Важно быть грамотным человеком! (Ольга, 47 лет, заведующая библиотекой)

Одной из важных причин участия оказывается медийная популярность и широкий охват Тотального диктанта, а также участие в нем известных персон.

Мама мне позвонила в день диктанта и сказала: «Там какая-то акция, диктант по русскому языку писать, ТВ снимать будет, иди сходи» (Александра, 24 года, офис-менеджер)

В прошлом году в паблике группы я узнала, что солисты моей любимой группы «Ундервуд» участвуют в Тотальном диктанте в качестве диктаторов. Так я впервые узнала о мероприятии. (Людмила, 41 год, юрист)

Эмоциональная вовлеченность в крупное мероприятие, объединяющее интеллектуалов, также связана и с престижностью участия в нем. За годы своего существования Тотальный диктант действительно приобрел статус модного события, маркирующего определенную группу людей, референтную для участников:

Это весело, увлекательно, дает тебе вызов, объединяет интересных и умных людей. Мне нравится чувствовать себя частью этого события. (Наталья, 34 года, менеджер проектов)

Участие в диктанте связано с поддержанием в той или иной форме коммуникации: большинство информантов пришли вместе с друзьями или родственниками. Для некоторых участие в диктанте стало традицией, которую они поддерживают в группах.

С каждым годом агитирую новых людей и друзей, с некоторыми у нас уже традиция. (Наталья, 34 года, менеджер проектов)

Участвовала одна, хотя о диктанте предварительно рассказывала друзьям, знакомым, коллегам. На словах все готовы были присоединиться, однако у всех нашлись другие дела. (Людмила, 41 год, юрист)

Подавляющее большинство узнали о проведении Тотального диктанта из Интернета и социальных сетей. Менее популярны в качестве источников информации СМИ и ближайший круг общения, а также по месту учебы. В целом следует отметить хорошую информированность респондентов, многие указали несколько источников, а несколько просто уже не помнят, откуда узнали о нем, что говорит об эффективной информационной политике организаторов диктанта, профессионально использующих целый комплекс информационных ресурсов.

Я не знаю, откуда. Как-то так получилось, что отовсюду сразу: папа сказал, что проходит, в ВК были рекламки, да и просто в Интернете были записи, типа: «Тотальный диктант! Тотальный диктант!» (Михаил, 18 лет, студент)

На вопрос о чувствах, испытываемых в ходе диктанта, респонденты отвечали охотно и с воодушевлением. Эмоциональная составляющая является одним из основных компонентов флешмоба; причем участники акций испытывают, как правило, противоречивые чувства или целый их комплекс. В качестве наиболее популярных эмоций они вспоминают волнение и радостный трепет, связанные с проверкой знаний и ответственностью от участия в таком масштабном мероприятии.

В первый раз я писала в республиканской юношеской библиотеке. Чуть не опоздала. Бежала. И волновалась уже с утра. В этом году волнения было меньше, но все равно было какое-то приподнятое праздничное настроение. (Людмила, 41 год, юрист)

...волнение (как на экзамене), азарт, интерес, воодушевление, гордость иногда. (Александра, 24 года, офис-менеджер)

Ностальгию, волнение, трепет. (Людмила, 44 года, домохозяйка)

...что участвую в грандиозном, крутом и очень, так сказать, правильном мероприятии!

Эмоциональный накал можно связать также с попаданием в «воображаемый мир» флешмоба, как бы в параллельную реальность, к которой участники акции относятся очень серьезно: на какое-то время внешний мир перестает существовать; возрастает чувство собственной значимости от приобщения к такому серьезному мероприятию.

Честно, я испытывал чувство некоторой нереальности — я, вот, значит, сижу, пишу то, что пишут еще миллионы по стране... И еще я испытывал чувство растерянности — я никак не успевал за диктором (ведущим на радио «Рок ФМ», имя-отчество я не запомнил). Он слишком быстро и иногда нечетко читал, и я волновался, что напишу не настолько хорошо, насколько я мог бы. (Михаил, 18 лет, студент)

Респондентам было предложено дать определение участников диктанта, посредством чего они демонстрировали свою идентификацию с другими и с самой идеей мероприятия. Итак, это в первую очередь люди любопытные, любознательные, а также образованные. Кроме того, это активные люди, которые не только сами готовы участвовать, но и увлекают других. Также участники диктанта — это люди, заинтересованные в развитии русского языка.

Как я понимаю, участники диктанта — студенческая молодежь и люди старшего возраста, из тех, кто в советские времена выписывали все толстые журналы, чтобы прочитывать все новые произведения, а не только газеты с новостями. (Ольга, 47 лет, зав. библиотекой)

Активных, как в социальном плане, так и в плане лингвистическом. Диктант это объединение людей, говорящих на русском языке. (Роман, 25 лет, работник общепита)

Многие не могут выделить конкретные характеристики участников, но отмечают, что это представители различных социальных групп, что также вызывает радость у респондентов, ведь диктант — это массовое и широко распространенное явление.

Я считаю, что Тотальный диктант объединяет самых разных людей: студентов, менеджеров, врачей и так далее, так как основной целью всех, как мне кажется, есть проверка своих знаний. (Иван, 28 лет, инженер)

Одна из идей Тотального диктанта — это «порядок». В условиях, когда в языке происходят постоянные изменения, приводящие к хаосу, организаторы диктанта как бы призывают к необходимости «наведения порядка» в стране и в мире. Идея порядка также созвучна патриотическим идеям и официальной идеологии. Как отмечает О. Рябковец в своем интервью для РИА Новости: «Действительно, сейчас в языке хаос. Часто непонятно, где правильное написание, а где нет. Норма это то, как неправильно говорит большинство или как зафиксировано в словарях? Много вопросов. Но мы все же призываем к порядку и соблюдению элементарных норм» (РИА Новости, 2012). Иными словами, Тотальный диктант призывает к установлению социального порядка через «наведение порядка» в языке. Звучит это и из уст наших информантов.

[Диктант объединяет] людей ищущих себя, интересующихся литературой, языками, любящих новое и порядок во всем. (Ксения, 36 лет, администратор)

Информанты идентифицируют себя с группой умных, грамотных людей, «умеющих писать по-русски», равнодушных к сохранению и распространению русского языка во всем мире, а также патриотов.

Тотальный диктант объединяет людей, интересующихся литературой, русским языком, всеми вот этими пра-а-а-вилами, которые и не упомянешь и в которых есть исключения (куда же без них), людей, которым интересно провести время за написанием текста. (Михаил, 18 лет, студент)

Респондентам было предложено охарактеризовать основные цели диктанта. Наиболее важной, по их мнению, стала популяризация грамотности и внимания к ней со стороны населения, распространение культуры правильного письма для широких масс. Некоторые даже отвечали, что Тотальный диктант спасает общество от деградации, поскольку незнание русского языка приводит и к интеллектуальному упадку человека.

Чтоб люди после этого начали лучше изучать русский язык и читать больше, самообразовываться. (Юлия, 22 года, студентка)

Те, кто ограничивает себя фразочками в контакте, мало читает хорошей литературы, поневоле деградирует. Как в грамотности, так и в целом, интеллектуально. (Ольга, 47 лет, зав. библиотекой)

...для того чтобы объединить людей, повысить общую грамотность и интерес к русскому языку, ввести моду на реально важные вещи, дополнить общую систему образования добровольной тягой людей к знаниям. (Александр, 24 года, офис-менеджер)

Необходимость хорошо знать русский язык объясняется респондентами прежде всего принадлежностью к России и русской нации. Это подтверждает восприятие участниками одной из основных идей диктанта — патриотизма. Любовь к русскому языку неотделима для организаторов акции от любви «к своей родине» (Ребковец, 2017: 6). По мнению ряда участников, знание своего языка также является признаком настоящего гражданина своей страны.

Мы русские. И это очень много значит. И очень ко многому обязывает. Обязывает знать нашу историю, нашу литературу, знать наши корни. Язык — одно из важных, неотъемлемых наших богатств. И богатство это нужно знать, ценить, беречь, то есть быть грамотным. (Ольга, 47 лет, зав. библиотекой)

Мы живем в России, это наш язык. Мне было бы стыдно не смочь ответить на вопрос иностранца, что означает слово или как оно пишется. Или объяснить грамматику. Это моя гражданская позиция. (Яна, 25 лет, аспирант)

Умение писать правильно отличает не только представителя определенной нации, страны, но и приличного, достойного человека, возможно, характеризует социальный статус принадлежности к привилегированной социальной группе пишущих и говорящих грамотно, «интеллектуалов».

В приличном обществе «своих» узнают не только по манере говорить, но и по манере писать. Это касается многих документов, деловой переписки... (Елена, 26 лет, домохозяйка)

Я — гуманитарий, и для меня иногда пропуск запятой или какая-нибудь нелепая ошибка сродни удару обухом по башке — и в голове сразу мысли: Ну вооот, опаяаять! Вот же глупцыыы!! (Михаил, 18 лет, студент)

Отношение к языку (не только русскому), его использование, служит для меня маркером, по которому я подсознательно определяю, в какой плоскости у нас с данным человеком будут складываться отношения и будут ли вообще. Поэтому в глобальном смысле знать русский не важно, но его знание помогает ранжировать окружающих. (Ксения, 36 лет, администратор)

Умение правильно пользоваться языком также является признаком профессионализма. Профессиональная составляющая грамотности особенно ярко проявилась у представителей более старшей возрастной группы старше 35 лет.

По долгу службы веду много переписки, и меня коробят простейшие ошибки в письмах. На мой взгляд, это непрофессионально. (Наталья, 36 лет, менеджер по рекламе)

Еще одна цель мероприятия — возможность самореализации людей. Люди могут, каждый по-своему, реализовать себя, участвуя в диктанте, и одновременно внести свой вклад в развитие языковой культуры. Это также соотносится с одной из основных идей Тотального диктанта, декларируемых организаторами, — самосовершенствование и желание изменить мир к лучшему (Ребковец, 2017: 6).

Каждый находит в акции то, что ему интересно. Кто-то реализовал себя в качестве организатора, кто-то — проверяющего, сисадмина, студента, преподавателя при подготовке к диктанту. Организаторы становятся организаторами из стремления расширить границы мероприятия, организовать написание диктанта там, где его еще не проводят, привлечь новую аудиторию, сделать свой вклад в популяризацию русского языка.

Сочетание увлекательного процесса «возвращения в школу» и в общем-то отсутствие определенной ответственности («результат ни на что не повлияет») создает атмосферу игры и свойственной ей свободы, характерную для флешмобовских акций.

Любая «движуха» — это здорово. Самое главное, что, в отличие от школы, плохой результат никак ни на что не повлияет. Так что бояться нечего. (Инна, 35 лет, преподаватель)

Некоторые участники предлагают живые, эмоциональные слоганы, побуждающие к общественному участию и вниманию к своей грамотности. Опрошенные подчеркивают со-бытие участников, их коллективную мы-идентичность.

Давай сделаем это вместе! Узнай всю правду о своей грамотности. (Ксения, 36 лет, администратор)

Если не мы, то кто же? (Людмила, 44 года, домохозяйка)

Флешмоб придает ощущение значимости за счет участия в масштабном событии и приобщении к лидерам, элитным группам, что говорит о значимости лидерства в тотальном диктанте.

Я бы сказала, что на ТД можно познакомиться с селебрити, засветиться в СМИ, получить сувенирку, ну и похвастаться хорошим результатом и прослыть самым умным на районе. (Александра, 24 года, офис-менеджер)

## Заключение

В нашей работе мы выявили основные признаки «классического флешмоба», такие, как одновременность, публичность, эмоциональная вовлеченность участников, формирование новой реальности, наличие сценария и лидеров, использование современных технологий для привлечения массовой аудитории. Анализ показал, что Тотальный диктант как форма социального поведения отражает тенденции перехода классического флешмоба к его модернизированной форме. Эта тенденция демонстрирует амбивалентность массовости и массового поведения, субъект которого становится все более диверсифицированным, приобретает идентичность, обогащается идеологическим содержанием.

В то же время, институционализация Тотального диктанта ведет к противоречивой трансформации других характеристик классического флешмоба: публичность диктанта обеспечивается прежде всего в интернет-пространстве, эмоциональная приобщенность и идентичность формируют образ интеллектуала, чувствительного к языковой компетенции и способствующего распространению русского языка как ценности, интегрирующей российское общество. Сценарий диктанта формируется в соответствии с классической практикой обучения языку, отражающего унифицирующий характер традиционного образования (письмо под диктовку), и в то же время, осуществляется представителями интеллектуальной и культурной элиты, обеспечивающей исключительность, снятие социальных барьеров и возможность приобщиться к миру, который ранее считался недости-

жимым. Этот воображаемый мир, создаваемый традиционным флешмобом, становится реальным в ходе синхронного написания диктанта, получения символических подтверждений об уровне знания языка (сертификата с оценкой).

Теоретический анализ показал, что движение от классического к модернизированному флешмобу в процессе институционализации Тотального диктанта обусловлено стремлением социального субъекта преодолеть противоречия между массовизацией и идентификацией, унификацией и уникальностью, воображаемым миром иллюзий и стремлением получить ощутимые результаты от взаимодействия с миром. Это напряженное движение, отражающее стремление личности к реализации своего потенциала, повышению социального статуса в современном меняющемся мире, наиболее ярко прослеживается в результатах интервью с участниками диктанта.

С одной стороны, участники диктанта указывают массовость мероприятия и его широкое распространение, многообразие участников. Одновременно они отмечают и особый статус участника диктанта — это, как правило, люди образованные, относящиеся профессионально к своему делу, социально активные и не равнодушные к грамотному использованию русского языка, интеллектуалы. Интервью с участниками продемонстрировали трансформацию еще одного признака классического флешмоба — эмоциональной вовлеченности. Информанты подчеркивают ярко выраженную эмоциональную окрашенность участия в диктанте, обусловленную волнением, острыми ощущениями, вызванными самой ситуацией «проверки своих возможностей», а также принадлежностью к столь масштабной акции. С другой — они обращают внимание на исключительность и ответственность приобщения к языковому сообществу, заботящемуся о достижении социального порядка через порядок в языке. Ощущение праздника, вызванного ностальгической тоской по «классной комнате», сочетается с потребностью подтвердить и продемонстрировать свои уникальные знания. Участников привлекает игровой, воображаемый характер диктанта и свобода от последствий сделанных ошибок, но в то же время они осознают мощную преобразующую роль диктанта и подчеркивают необходимость подобной акции как для общества, заинтересованного в грамотных и патриотичных членах, так и для отдельной личности, реализующей свой языковой потенциал и продвигающей русский язык в глобальном мире. Таким образом, чувства участников диктанта также отразили существующие напряжения модернизации флешмоба как социального явления.

История развития Тотального диктанта, идеи, закладываемые организаторами и воспринятые участниками, демонстрируют всю сложность и дискуссионность анализа социальной сущности флешмоба, ежегодно претерпевающего существенные изменения. Модернизация Тотального диктанта от локальной полуразвлекательной студенческой акции до крупномасштабного международного события, призванного популяризировать русский язык и интегрировать русскоязычное население во всем мире, является ярким примером модернизации флешмоба в форме «перехвата инициативы» властных элит для культивирования определенных

установок посредством общественно привлекательной акции, в которой отражаются противоречивые свойства как традиционных, так и современных социальных движений и иных форм общественной жизни: напряжение между массовостью и идентичностью, унификации и индивидуальности, эфемерностью утопий и потребностью в самореализации в реальном мире. В то же время акция демонстрирует многообразие центров притяжения социальной активности и позволяет надеяться на сохранение и развитие баланса культивируемых ценностей с общественными интересами и активностью участников диктанта.

## Литература

- Андреев В. К. (2015). Флешмоб-культура и ее отражение в субкультурном лексиконе // Вестник Псковского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». Вып. 1. С. 149–153.
- Вилков А. А. (2014). «Мягкая сила» как элемент имиджевых технологий во внутренней и внешней политике // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Социология. Политология». Т. 14. Вып. 2. С. 66–76.
- Володенков С. В., Федорченко С. Н. (2015). Флешмоб как сетевая технология современного политического менеджмента (на примере России и США) // Вестник Московского государственного областного университета (Электронный журнал). № 3. URL: <https://istina.msu.ru/publications/article/10633673/> (дата доступа 17.06.2017).
- Каминиченко Д. И. (2014). Флешмоб как политическое явление: теоретические аспекты // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Социология. Политология». Т. 14. Вып. 3. С. 91–94.
- Каневский М. (2006). Мобильный дозор. OSМысливая политику. М.: Европа.
- Ким И. Е. (2017). Тотальный диктант как форма проявления русского языкового сообщества // Кошкарева Н. Б. (ред.). #ТОТСБОРНИК: Сборник научных трудов по материалам Тотального диктанта. Вып. 1. Новосибирск: НГУ.
- Курылева А. (2015). Тотальный диктант — флешмоб для интеллектуалов // Гилель: Россия. 25 апреля URL: <http://www.hillel.ru/spb/item/193-fleshmob-dlya-intellektualov> (дата доступа 05.06.2017).
- РИА Новости. (2012). Организаторы «Тотального диктанта»: неграмотные люди стали заметны. URL: <https://ria.ru/interview/20120330/609984556.html> (дата доступа: 14.05.2017).
- Панов А. А. (2009). Флешмоб в Москве и в России // Громов Д. В. (сост.), Мартынова М. Ю. (ред.). Молодежные субкультуры Москвы. М.: Институт этнологии и антропологии РАН. С. 344–385.
- Пономарева А. (2017). Оружие массового воссоединения // Радио свобода. 10.04.2017. URL: <https://www.svoboda.org/a/28420717.html> (дата доступа: 11.05.2017).
- Ребковец О. А. (2017). #ТОТДИКТАНТ: о глобальности, небанальности и эмоциональности в Тотальном диктанте // Кошкарева Н. Б. (ред.). #ТОТСБОРНИК:

- Сборник научных трудов по материалам Тотального диктанта. Вып. 1. Новосибирск: НГУ. С. 4–10.
- Рейнгольд Г. (2006). Умная толпа: новая социальная революция / Пер. с англ. А. Гарькавого. М.: ФАИР-ПРЕСС.
- Тард Г. (1998). Мнение и толпа // Психология толп. М.: КСП+. С. 257–408.
- Федорченко С. Н. (2011). Заря мобберных политтехнологий: политический флеш-моб // Наука и молодежь: взгляд в будущее: Материалы III и IV научно-практических конференций Молодежного научного общества. М.: Спутник+. С. 29–31.
- Фролова И. (2011). Большой флешмоб маленького города // Омельченко Е. Л., Сабирова Г. А. (ред.). Новые молодежные движения и солидарности России. Ульяновск: Изд-во Ульяновского гос. ун-та. С. 191–208.
- Хабермас Ю. (2011). Публичное пространство и политическая публичность: биографические корни двух мыслительных мотивов // Хабермас Ю. Между натурализмом и религией: философские статьи / Пер. с нем. М. Б. Скуратова. М.: Весь мир. С. 15–26.
- Хевеши М. А. (2001). Толпа, массы, политика: историко-философский очерк. М.: ИФ РАН.
- Хейзинга Й. (1997). Homo Ludens: статьи по истории культуры / Пер. с нидерл. Д. В. Сильвестрова. М.: Прогресс-Традиция.
- Шуровьески Д. (2007). Мудрость толпы: почему вместе мы умнее, чем поодиночке, и как коллективный разум формирует бизнес, экономику, общество и государство / Пер. с англ. В. Логвинова. М.: Вильямс.
- Anderson M. E. (2013). Oprah Feelin': Technologies of Reception in the Commercial Flash Mob // McCutcheon J., Sellers-Young B. (eds.). Embodied Consciousness: Performance Technologies. Berlin: Springer. P. 159–176.
- Criado N., Rashid A., Leite L. (2016). Flash Mobs, Arab Spring and Protest Movements: Can We Analyse Group Identities in Online Conversations? // Expert Systems with Applications. Vol. 62. P. 212–224.
- Gore G. (2010). Flash Mob Dance and the Territorialisation of Urban Movement // Anthropological Notebooks. Vol. 16. № 3. P. 125–131.
- Grant F. S., Bal A., Parent M. (2012). Operatic Flash Mob: Consumer Arousal, Connectedness and Emotion // Journal of Consumer Behaviour. Vol. 11. № 3. P. 244–251.
- Kaulingfreks R., Warren S. (2010). Flash Mobs, Mobile Clubbing and the City // Culture & Organization. Vol. 16. № 3. P. 211–227.
- Lloyd C. B. (ed.). (2005). Growing Up Global: The Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries. Washington: National Academies Press.
- Melucci A. (1980). The New Social Movements: A Theoretical Approach // Social Science Information. Vol. 19. P. 199–226.
- Molnár V. (2009). Reframing Public Space Through the Digital Mobilization: Flash Mobs and the Futility of Contemporary Urban Youth Culture // Space and Culture. Vol. 17. № 1. P. 43–58.

- Parry A. (2014). Flash Mob as a Channel of Influence: Plan of a Political Flash Mob. URL: <https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/82900/thesis.AnitaParri.pdf> (дата доступа: 12.06.2017)
- Rodríguez C. (2010). Unhinged Realities: Communication and the Power of Performance // Media Development. Vol. 4. P. 26–29.
- Stevens Q. (2007). The Ludic City: Exploring the Potential of Public Spaces. London: Routledge.
- Wang C., Akella D. P., Bennett C. F. (2014). Flash Mobs in the 21st Century: Mobile Technology Shapes Human Collective Behavior // International Journal of Business, Humanities and Technology. Vol. 4. № 3. P. 24–32.
- Watkins C. (2005). Representations of Space, Spatial Practices and Spaces of Representation: An Application of Lefebvre's Spatial Triad // Culture and Organization. Vol. 11. № 3. P. 209–220.

## “Find Out the Truth about Your Literacy!” The Total Dictation as a Form of Flash Mob

*Marina Makarova*

Professor, Department of Sociology, Udmurt State University  
Address: Universitetskaya str., 1, Izhevsk, Russian Federation 426034  
E-mail: makmar11@mail.ru

*Valeria Simonova*

Undergraduate Student, Udmurt State University  
Address: Universitetskaya str., 1, Izhevsk, Russian Federation 426034  
E-mail: lera93-93@bk.ru

The main features of the Total Dictation as a form of a flash mob are considered in the article. The main characteristics of a flash mob are illustrated, especially its ephemerality, the simultaneous and public action that is based on strict rules and scenario, and its organization through the Internet and contemporary communication networks, or social media. The main factors of the development of flash mobs are a dissatisfaction with existing forms of social participation, and the improvement of new electronic forms of social communication. Flash mobs come under the two headings of classic and modernized. A classical flash mob does not have any goals. The modernized flash mob has some ideology defining it and can be organized during a specific time. The Total Dictation is the mass action for people who want to evaluate his or her literacy through writing dictation in different places in Russia, around the world, and online. It is organized in Russia and fulfilled by the experts from the Novosibirsk State University, and also serves the rising interest in the Russian language. During the process of the analysis, it is discovered that the Total Dictation is the one of the forms of the modernized flash mobs. It is a mass event because its popularity has grown to a global level. It also has its own ideology, and it is carried out at the same time in different places. It is also a public action, has a clear scenario, and rules for its manifestation. The main function of organization belongs to the website, and to the groups in social media. The Total Dictation also has leaders, clear goals, and a differentiation of the participants, what means

that it can be defined as the modernized form of flash mobs. The results of the interviews with participants confirmed the existence of the flash mobs' features, especially special emotional situations ("like before an exam"), and the identification with the group of patriotic intellectuals who are fond of the Russian language.

**Keywords:** flash mobs, Total Dictation, public sphere, identity, social order, social behavior

## References

- Anderson M. E. (2013) Oprah Feelin': Technologies of Reception in the Commercial Flash Mob. *Embodied Consciousness: Performance Technologies* (eds. J. McCutcheon, B. Sellers-Young), Berlin: Springer, pp. 159–176.
- Andreev V. (2015) Fleshmob-kul'tura i ee otrazhenie v subkul'turnom leksikone [Flesh Mob Culture and Its Reflection in Subcultural Lexicon]. *Vestnik of Pskov State University. Series "Social Sciences, Humanities, and Psychological and Educational Sciences"*, vol. 1, pp. 149–153.
- Criado N., Rashid A., Leite L. (2016) Flash Mobs, Arab Spring and Protest Movements: Can We Analyse Group Identities in Online Conversations? *Expert Systems with Applications*, vol. 62, pp. 212–224.
- Fedorchenko S. (2011) Zarya mobbernykh polittekhologii: politicheskij flehshmob [Dawning of Mob Political Technologies]. *Nauka i molodezh': vzglyad v budushchee* [Science and Youth: Looking to the Future], Moscow: Sputnik, pp. 29–31.
- Frolova I. (2011) Bol'shoj fleshmob malen'kogo goroda [Big Flash Mob of the Small Town]. *Novye molodezhnye dvizheniya i solidarnosti Rossii* [New Youth Movements and Solidarities of Russia] (eds. E. Omelchenko, G. Sabirova), Ulyanovsk: Ulyanovsk State University Press, pp. 191–208.
- Gore G. (2010) Flash Mob Dance and the Territorialisation of Urban Movement. *Anthropological Notebooks*, vol. 16, no 3, pp. 125–131.
- Grant F. S., Bal A., Parent M. (2012) Operatic Flash Mob: Consumer Arousal, Connectedness and Emotion. *Journal of Consumer Behaviour*, vol. 11, no 3, pp. 244–251.
- Habermas J. (2011) Publichnoe prostranstvo i politicheskaya publichnost': biograficheskie korni dvuh myslitel'nykh motivov [Public Space and the Political Public Sphere: Biographical Roots of Two Mental Motives]. *Mezhdru naturalizmom i religiej: filosofskie stat'i* [Between Naturalism and Religion: Philosophical Papers], Moscow: Ves mir, pp. 15–26.
- Huizinga J. (1997) *Homo Ludens: stat'i po istorii kul'tury* [Homo Ludens: Papers on the History of Culture], Moscow: Progress-Tradition.
- Heveshi M. (2001) *Tolpa, massy, politika: istoriko-filosofskij ocherk* [Mob, Mass, Politics: Historical and Philosophical Essay], Moscow: IF RAN.
- Kaminichenko D. (2014) Fleshmob kak politicheskoe yavlenie: teoreticheskie aspekty [Flash Mob as a Political Phenomenon: Theoretical Aspects]. *Izvestia of Saratov University. New Series. Series "Sociology and Politology"*, vol. 14, no 3, pp. 91–94.
- Kanevsky M. (2006) *Mobil'nyj dozor: osmyslivaya politiku* [Mobile Watch: Reflecting on Politics], Moscow: Europa.
- Kaulingfreks R., Warren, S. (2010) Flash Mobs, Mobile Clubbing and the City. *Culture & Organization*, vol. 16, no 3, pp. 211–227.
- Kim I. E. (2017) Total'nyj diktant kak forma proyavleniya russkogo yazykovogo soobshchestva [Total Dictation as a Form of Reflection of Russian Language Community]. *#TOTSBOBNIK: sbornik nauchnykh trudov po materialam Total'nogo diktanta* [#TOTSBOBNIK: Scientific Works Based on the Materials of Total Dictation] (ed. N. Koshkareva), Novosibirsk: NSU, pp. 20–29.
- Kuryleva A. (2015) Total'nyj diktant — fleshmob dlya intellektualov [Total Dictation is a Flesh Mob for Intellectuals]. Available at: <http://www.hillel.ru/spb/item/193-fleshmob-dlya-intellektualov> (accessed 5 June 2017).
- Lloyd C. B. (ed.) (2005) *Growing Up Global: The Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries*, Washington: National Academies Press. Available at: <http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/GUGBrief.pdf> (accessed 12 June 2017).
- Melucci A. (1980) The New Social Movements: A Theoretical Approach. *Social Science Information*, vol. 19, pp. 199–226.

- Molnár V. (2009) Reframing Public Space Through the Digital Mobilization: Flash Mobs and the Futility of Contemporary Urban Youth Culture. *Space and Culture*, vol. 17, no 1, pp. 43–58.
- Panov A. (2009) Flehshmob v Moskve i v Rossii [Flesh Mob in Moscow and in Russia]. *Molodezhnye subkul'tury Moskvy* [Moscow Youth Subcultures] (eds. D. Gromov, M. Martynova), Moscow: Institute of Ethnology and Anthropology, pp. 344–385.
- Parry A. (2014) Flash Mob as a Channel of Influence. Plan of a Political Flash Mob. Available at: <https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/82900/thesis.AnitaParri.pdf> (accessed 12 June 2017).
- Ponomareva A. (2017) Oruzhie massovogo vossoedineniya [Weapon of Mass Reunification]. Available at: <https://www.svoboda.org/a/28420717.html> (accessed 11 May 2017).
- Rebkovets O. (2017) #TOTDIKTANT: o global'nosti, nebanal'nosti i ehmocional'nosti v Total'nom diktante [#TOTDIKTANT: About Globality and Emotionality in the Total Dictation]. #TOTSBOBNIK: *Sbornik nauchnykh trudov po materialam Total'nogo diktanta* [#TOTSBOBNIK: Collection of Scientific Works Based on the Materials of Total Dictation] (ed. N. Koshkareva), Novosibirsk: NSU, pp. 4–10.
- Rheingold H. (2006) *Umnaya tolpa: novaya social'naya revolyuciya* [Smart Mob: The Next Social Revolution], Moscow: Fair-Press.
- RIA Novosti (2012) Organizatory "Total'nogo diktanta": negramotnye lyudi stali zametny (2012) [Organizers of Total Dictation: Illiterate individuals have become visible]. Available at: <https://ria.ru/interview/20120330/609984556.html> (accessed 14 May 2017).
- Rodríguez C. (2010) Unhinged Realities: Communication and the Power of Performance. *Media Development*, vol. 4, pp. 26–29.
- Surowiecki J. (2007) *Mudrost' tolpy: pochemu vmeste my umnee, chem poodinochke, i kak kollektivnyj razum formiruet biznes, ehkonomiku, obshchestvo i gosudarstvo* [The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations], Moscow: Williams.
- Stevens Q. (2007) *The Ludic City: Exploring the Potential of Public Spaces*, London: Routledge.
- Tarde G. (1998) Mnenie i tolpa [Opinion and Mob]. *Psihologiya tolpy* [Psychology of Mobs], Moscow: RAN Institute of Psychology, pp. 257–408.
- Vilkov A. (2014) "Myagkaya sila" kak ehlement imidzhevyykh tekhnologiy vo vnutrennej i vneshnej politike [Soft Power as an Element of Image Technologies in Internal and External Policy]. *Izvestiya of Saratov University. New Series. Series "Sociology. Political Sciences"*, vol. 14, no 2, pp. 66–76.
- Volodenkov S., Fedorchenko S. (2015) Flehshmob kak setevaya tekhnologiya sovremennogo politicheskogo menedzhmenta (na primere Rossii i SSHA) [Flesh Mob as Network Technology of Contemporary Political Management (Russia and US Case)]. *Vestnik MGOU*, no 3. Available at: <https://istina.msu.ru/publications/article/10633673/> (accessed 17 June 2017).
- Wang C., Akella D. P., Bennett C. F. (2014) Flash Mobs in the 21st Century: Mobile Technology Shapes Human Collective Behavior. *International Journal of Business, Humanities and Technology*, vol. 4, pp. 24–32.
- Watkins C. (2005) Representations of Space, Spatial Practices and Spaces of Representation: An Application of Lefebvre's Spatial Triad. *Culture and Organization*, vol. 11, no 3, pp. 209–220.

# Gender Contract in Online Commercials in Japan: A Critical Investigation of the Contemporary Discourse on the Work-Life Balance

*Ksenia Golovina*

PhD, Project Assistant Professor, Center for Global Communication Strategies,

College of Arts and Sciences, University of Tokyo

Address: Komaba 3-8-1, Meguro Ward, Tokyo, Japan, 153-8902

E-mail: [kgolovina@cgcs.c.u-tokyo.ac.jp](mailto:kgolovina@cgcs.c.u-tokyo.ac.jp)

This paper adopts a multimodal critical discourse analysis (MCDA) approach and examines how recent online commercials produced in Japan articulate the discourses pertaining to the trending concept of work-life balance (WLB). Further, the study analyzes the narratives of working mothers in Japan who were asked to watch the selected videos and share their thoughts on WLB. As such, it investigates the effects of the discourses transmitted through commercials on women's perceptions of their identities as workers, partners and mothers. The analysis of the multimodal data made it possible to identify the underlying discourses on WLB and gender roles conveyed through the videos. These hidden discourses were highly complex and generally contradicted the readily manifest messages of the respective commercials. One of the central messages in these discourses was the promotion of an apologetic attitude and empathy through one-time "heroic deeds" done by men for their wives. The study participants' narratives revealed their personal aspirations for a desirable WLB, while simultaneously unveiling how they unconsciously internalized many of the videos' discursive impositions. The study contributes to the application of critical discourse analysis methods and to the discussion on the reconstitution of gender roles, necessary for the implementation of both public and private WLB strategies, in Japan and elsewhere.

*Keywords:* work-life balance, multimodal critical discourse analysis, online commercials, gender roles, working mothers

## Introduction

Recently, the concept of work-life balance (WLB) has been gaining currency in both public and private discourse in Japan. Since the adoption of the WLB Charter in 2007, the debate, in terms of policy, has centered on long working hours, a topic that it has explored in the larger context of female labor struggles, gender equality problems, and declining birthrates (Ikezoe, 2014). At the same time, WLB has become a somewhat fanciful construct suggesting a new, progressive worldview held by an individual who is conscious of their (and by extension, their family's) overall well-being. Japan's ruling party's "political promises" have introduced an additional level of complexity to this discussion, as the party has pledged to "create a society where women shine by exercising their individuality and talents, each in accordance with her own desires, in the family,

region, and workplace” (Liberal Democratic Party [LDP], 2014: 16). Notwithstanding this manifesto’s arguably ideological underpinnings (which primarily concern Japan’s prestige in the international arena [Schieder, 2014]), the term “shining women” has become a popular expression within everyday discourse in Japan, with the vision of attaining that goal currently preoccupying organizations and people in various positions. Realizing this vision largely depends on the reconstruction of traditional gender roles, and WLB in particular has the potential to play a crucial part in facilitating this process. While Japan’s Gender Equality Bureau Cabinet Office continues to work on many relevant policies, this discourse of female empowerment is believed to have prompted several initiatives by both prefectural administrations and businesses. For instance, the governors of Yamaguchi, Miyazaki, and Saga prefectures publicized an online video wherein they engaged in household chores while wearing pregnancy bellies. Alongside these developments, corporations from across the country have been joining an unfolding campaign to promote a corporate culture with childcare-sensitive managers (*ikubosu*) at its center (Fathering Japan, 2017). In these examples, the distant goal of a society where women “shine” is perceived as something that can be achieved through men’s firsthand understanding of traditional women’s domains, such as bearing and rearing children. These initiatives simultaneously promote a gentler image of men, distinct from the long-standing picture of hardworking males who are physically absent from their familial homes (Street, 2013), and as such, these campaigns critically highlight that WLB is an issue for both genders.

These initiatives are undoubtedly a step towards reconstructing gender roles; however, many earlier (Roberts, 1994) and more recent (Aronsson, 2015) works have demonstrated that when it comes to real life, household chores and childcare continue to fall largely to women in Japan, even when they hold outside jobs. Nakatani has argued that while policies “to encourage men’s sharing of domestic responsibilities” have begun to appear, the general economic climate “is far from favorable for such governmental initiatives” (2006: 104–105). The following section contextualizes this situation by providing an overview of women’s employment in postwar Japan.

## Overview: Women and Employment in Japan

Since the end of World War II, the female labor participation rate has risen, growing by 22 % between 1953 and 1972, and by a further 32 % between 1972 and 2000 (Statistics Bureau, 2017). A steady decline in family-run businesses took place both within and beyond the agricultural sector, a domain in which women had previously worked to generate income for their families. This shift pushed women to seek outside employment (Rebick, 2006). Other trends have included an increase in part-time work and the diversification of the female labor force (Macnaughtan, 2006). The employment situation for women with full-time jobs in Japan has improved in regard to sexual harassment, hiring practices, the number of women in management, and the gender pay gap, thanks to Equal Employment Opportunity Laws of 1986 and 1999 (Rebick, 2006). Other regulations related

to family policies, such as 1994 and 1999 Angel Plans, were adopted to improve childcare provisions (Varlamova, 2014).

Today, the OECD reports that young women in Japan are better educated than young men, yet they are less likely to be employed (in 2017, 28.9 million women were in labor force, as opposed to 36.8 million men). If women do have jobs, they are more likely to be irregular employees, a reality that contributes to the persistent male-female wage gap: at the median, women earn 73 % of men's salary (OECD, 2015). Female employment in Japan is characterized by an M-shaped graph: Women often quit their jobs upon marriage or the birth of children (Inoue et al., 2016). There are multiple factors responsible for this situation: intrafamilial pressures, a lack of child care, and unsupportive workplaces (Aronsson, 2015: 6). In other industrialized countries, this M-shaped pattern reportedly disappeared in the 1980s (Saeki, 2008: 190). For women in Japan who resume working upon their children reaching a certain age, irregular employment is often the only option. Japan's policies regarding tax exemptions for dependents discourage women from applying for jobs exceeding a certain income level (Roberts, 2016: 5). While one argument holds that women attain WLB-related flexibility through irregular work patterns, this flexibility is often illusory: part-time working hours are not necessarily shorter than full-time ones, while a lack of training and promotion opportunities for part-time workers prevents career advancement (Broadbent, 2002). As such, these individuals do not have an opportunity to escape the "imposed" flexibility as they move through life. Further, the reality that the majority of part-timers in Japan are married women highlights how "employers are preempting women's choices" in terms of these women's perceived preference for flexibility (Broadbent, 2002: 16). In fact, females working part-time have been reported as having "difficulties in achieving a work-life balance" (Inoue et al., 2016). Married women, and especially mothers, who choose to pursue a career in Japan despite all the structural factors present at every level of societal and familial life must face what Varlamova (2014: 14) has summarized as "exceedingly high alternative expenses in terms of improving the quality of individual human capital." For women who decide to work full-time, long hours are an inescapable reality: Aronsson has reported that in the absence of female role models, career women in Japan design their professional paths in accordance with the male career model (2015). As such, compared to women in other countries, women in Japan are often made to choose "between their career and raising children" (OECD, 2015) if they want to succeed in either domain. The following statistics provide context: according to a 2016 survey, in households with children in which both parents work, women perform 89 % more household-related work (including childcare) than men on a weekly basis (Ministry of Internal Affairs and Communications [MIC], 2016).

Brinton, in her detailed account of female employment in Japan since the post-war period, described the role of women in Japan as "indirect participants: they have nurtured higher-priced male labor" as both unpaid domestic workers and "inexpensive labor to employers" (Brinton, 1994: 12). Nearly 10 years later, Broadbent made a similar observation, noting that Japanese women's "involvement in public life including full-time paid

work is perceived as conflicting with the appropriate and effective conduct” of a woman’s domestic role (2002: 7). Rebeck is more optimistic, noting that contemporary women are “less likely to be barred outright from developing careers in firms” (2006: 87). At present, academics rightfully fear that Japan’s prime minister Shinzō Abe’s seemingly proactive stance on women’s economic integration (the so-called “womenomics”) would only benefit a small number of female elites. In contrast, the majority of women would continue to play a crucial yet peripheral role in Japan’s economy, while also being the first to bear all the negative effects of neoliberal deregulation (Schieder, 2014).

The situation of women in Japan is of interest, as the “women’s question” is unresolved in that industrialized country. “A statistically egalitarian arrangement” has not yet been achieved (Ogasawara, 1998: 6). Unlike the majority of industrialized countries, where the sex-role revolution has been considered central to the industrialization processes, Japan has maintained a “sharply delineated sexual division of labor” (Briton, 1994: 11). With Japan’s plans to revive its economy—which has been stagnating post-bubble but is reportedly on the mend today—it is of interest to investigate how the gender contract will play out at the advent of the second quarter of the twenty-first century and whether the public preoccupation with the concept of WLB will generate the momentum necessary to reconstruct gender roles.

## Methodology

This study, which is methodologically rooted in multimodal critical discourse analysis (MCDA) and narrative inquiry, explores online commercials, both product-oriented and non-product-oriented, to address representations of men’s and women’s gendered identities where these representations serve to produce or reproduce WLB discourses. The videos were identified via a YouTube search using preset keywords, such as *working fathers/mothers*, *men/women at work*, and *WLB* (in Japanese). For the purposes of this paper, three recent videos were selected, although over a six-month period, I viewed dozens of online videos on the subject. Major tropes<sup>1</sup> appearing in these videos were identified; the three videos were chosen for illustrating the most frequently encountered tropes from various angles. The three videos that are discussed in this paper are “I-am-sorry lunch-box,” “Mommying Drive,” and “It’s okay.” The spoken text in the videos was transcribed to facilitate the analysis. The selected videos portray women in slightly different situations, and hence, in multiple gender and WLB arrangements: a housewife, a part-time worker, and a full-time worker. The first video (a non-product one) belongs to the social advertising domain, while the second is a product-oriented commercial. The third video grew out of the correspondent company’s branding strategy; while it does not promote specific products, the video serves to emphasize the company’s social consciousness.

Further contributing to the multidimensional approach of this study, the results draw on discussion threads and inquiries that the author developed in 2017 to target working

---

1. See Negra (2009) for an example of an analysis of gendered tropes in the media.

mothers in Japan. These discussions focused on the very same videos. All participants were asked to watch the three videos and answer the following two questions: “What is WLB for you?” and “What were your thoughts and feelings after watching the videos?” The call for research participants was sent to a Line group of *mamatomo* (i.e., women who have befriended each other through childrearing activities; 3 women, all Japanese) and individually transmitted through both Facebook and Line to 6 more women (5 Japanese women and 1 Russian woman). Further, a request for participation was posted in the “Working mothers in Japan” Facebook group for Russian women (49 people), one of the platforms on which my cyber-ethnographic investigation centered. For this group, participation was incentivized, as the participants were offered gift cards.

In total, 12 women responded to the survey, either in the discussion thread or through private Facebook and Line messages: To ensure consistency, I utilized responses from 5 Japanese women and 5 Russian women, as 2 women did not fully match the established demographic criteria. The author engaged solely in digital communication with the participants, both to achieve coherency with the digital materials on which the participants were asked to comment and to extract the maximum amount of data while minimizing the burden on the already-busy participants—working mothers. At this stage of the research, I recruited participants from my private networks and from groups on social networking websites that I employ for larger ethnographic inquiries. While this approach presented certain limitations<sup>2</sup>, it made it possible to incorporate into the analysis the larger contexts pertaining to these women’s individual circumstances.

Working mothers are not the only ones who experience difficulties in achieving balance in their lives. Nevertheless, their stories are perhaps the most straightforward example of the WLB’s preoccupation with balancing work and family, and it is for that reason that this project targeted that population. There are also factors explaining why not only Japanese women, but also Russian women (who migrated to Japan post-1990s and are predominantly married to Japanese men) were selected as participants. Firstly, my research in Japan since 2008 has primarily focused on Russian migrants (Golovina, 2017), and recent findings from a joint project have revealed that these women also face many constraints when trying to balance their professional and familial lives in Japan (Mukhina, Golovina, 2018). In that joint project, an important result surfaced: Russian women in Japan primarily experience difficulties in that country in relation to work and family not because they are foreigners, but because they are women (Mukhina, Golovina, 2018). This finding is of interest; in terms of the gender gap, Russia ranks 75 (a smaller gender gap) while Japan ranks 111 (out of 144 countries). Moreover, female enrolment in tertiary education is particularly high in Russia, as is the share of professional and technical workers who are women. In regard to economic participation and opportunity, the female-to-male ratio is 0.72 for Russia and 0.57 for Japan (World Economic Forum [WEF], 2016). Once relocated to Japan, however, Russian women’s ability to serve as adepts of egalitarian values is severely constrained. Finally, the current project focused on Japan

---

2. See Khosraviniuk and Unger (2016: 217–223) for an example of focus group-based research conducted via Facebook and a discussion of the potential limitations.

as a locality, with the goal of identifying the structural factors which determine how the WLB-related realities of that country's inhabitants, regardless of their ethnicity, play out.

## Theoretical Framework

Van Dijk, one of the founders of critical discourse analysis (CDA), stated in his lecture that those who hold positions of power must be careful about the messages they send (2013). Otherwise, they risk inadvertently constructing, or re-constructing, a discourse that could be damaging to certain populations. While all the videos selected for this project seem to be both entertaining and optimistic, what are the discourses they transmit? Are any latent and potentially harmful messages embedded in them? If so, who do they empower, and who do they marginalize? These questions are tackled in the analysis section.

Traditionally, CDA aims at “deconstructing ideologies and power through a systematic and retroductable investigation of semiotic data” (Wodak, Meyer, 2016: 4), and it is effective at “giving voices to the voiceless” and “exposing power abuse” (Blommaert, Bulcaen, 2000: 449). As such, critique, as a constituent element of CDA, “regularly aims at revealing structures of power and unmasking ideologies” (Wodak, Meyer, 2016: 6). Wodak and Meyer argue that “in modern societies, power and domination are embedded in and conveyed by discourses” (2016: 6). Janscary et al. (2016: 183) state that discourse “is performative and constitutive, rather than representative. This means that social reality is a human achievement and could be—at least in theory—constructed differently.”

Drawing on Van Dijk's rhetoric, Wodak and Meyer (2016: 3) emphasize that CDA *per se* is not a method of analysis, but an approach to critically investigating discourse in a certain social context through a broad array of methodologies. They opted to employ a more neutral term—critical discourse studies (CDS)—and specified that it “has never attempted to be or provide one single or specific theory” (Wodak, Meyer, 2016: 5). Scholars of CDS are required “to translate their theoretical claims into instruments and methods of analysis” (Wodak, Meyer, 2016: 14).

To extract the discourses pertaining to WLB from the selected videos and then critically examine them, I drew on MCDA, which is a form of CDA used to investigate texts consisting of multiple modes—such as written and spoken words, images, and musical accompaniment. According to Janscary et al. (2016: 185), the mutual relationships among modes are not unilineal; various combinations suggest “particular versions of social reality that are not neutral with regard to power: they serve some interests while marginalizing others.” Janscary et al. (2016: 184) wrote that “visualization, due to its fact-like character, is particularly suited to supporting the truth-claims of its authors.” It is thus highly pervasive, making the discourses transmitted through visuals easy to internalize. The genre of the text often contributes to this pervasiveness; for instance, the persuasive techniques adopted in advertising generate the power behind product-oriented videos, thus multiplying the effects of the discourses they convey.

In MCDA, there are a number of approaches to critically investigating text. The two strategies referenced in this paper are an archeological approach (“that looks for traces of meaning in existing visual discourse”) and a dialogical approach (“that uses visuals to initiate communication with actors in the field” [Janscary et al., 2016: 186]). Methodologically, Janscary et al. (2016: 190–191) describe a multilayered technique that first looks at the individual modes contained in the multimodal text. The next phase is an integrated analysis of those modes, followed by a critical evaluation of the broader discourse, and this method can be applied through a series of steps. In this paper, I analyze the three videos according to Janscary et al.’s five-step methodology, which I adapted slightly to better suit this study. The initial steps in their methodology are: (1) characterization of the genre, (2) capture of the manifest content, (3) reconstruction of latent elements, (4) composition, (5) conclusions and critical evaluation. The steps I use in the analysis below are: (1) short description, (2) context of the video, (3) characteristics of the genre, (4) manifest content, (5) latent elements and the interrelationships among the modes, (6) critical evaluation. This process consists of peeling off layers of meanings until the underlying discourses were exposed.

## Results: Online Videos

### *Japanese Commercials*

The genre of the commercial is highly developed in Japan, dating back to a 1953 Seiko commercial (Akiyama, 1993). Currently, many commercials are produced exclusively for internet viewers and are known as *onrain dōga*, an approach that allows producers to incorporate a wider range of techniques and to reach more diverse audiences without time limits. Akiyama has stated that one of the distinguishing features of Japanese commercials is that the concept of “family” is a central theme (1993: 91). He further emphasized that many commercials are akin to mini-dramas or stories. This feature is also characteristic of *onrain dōga*; they often employ heartwarming narratives focusing on family life. Although Akiyama mentioned that the producers of Japanese commercials do not particularly emphasize social issues and that public service advertising is rare in Japan, the situation has changed, and many commercials now concentrate on social issues. In response to the array of societal problems currently facing Japan, WLB is a trending topic, and many companies have developed their commercial agendas by utilizing WLB-related discourses, riding on the popularity of WLB as a progressive vision of a conscious individual.

Online video-sharing platforms enable viewers to openly discuss and interpret videos. This situation has led to a series of heated discussions (known as *enjō*, literally “flaming”) surrounding a few commercials for which the producing companies became the target of heavy criticism for various reasons (including sexism) and were called upon to stop streaming those items. While the videos in this study have been actively discussed online on multiple websites, no demand to ban them followed, and they continue to be available online.

*Analysis of the Selected Videos***Video 1: I-am-sorry lunchbox****SHORT DESCRIPTION**

This video depicts a father who prepares *o-bentō* (a boxed lunch) for his daughter and wife. When they get home, he hands them their lunchboxes as a gesture of gratitude for their support throughout the years.

**CONTEXT OF THE VIDEO**

This social advertising piece was created in 2016 as part of the “Kyushu-Yamaguchi Work-Life Balance Promotion Campaign.” The more popular video mentioned in the Introduction—in which the prefectural governors completed household chores while wearing pregnancy bellies—was also a product of this campaign, initiated by the Kyushu Region Strategy Council; it consists of nine governors and heads of regional business organizations (Asahi Shimbun, 2016). The council’s website states that in Japan, women perform seven times more household chores than men do. The project suggests that understanding the importance of balancing both work and family life, along with creating a work environment amenable to childrearing, could help alleviate this situation. Implementing a WLB vision would, in turn, promote men’s participation in household chores and childrearing. The governors and leading board members who led the project positioned themselves as “dandies”; in this context, the word is meant to suggest that these men are capable of understanding the hardships that women undergo, engaging in housework, and caring for children.

**CHARACTERISTICS OF THE GENRE**

“I-am-sorry lunchbox” is a 2:05-minute non-product commercial with 7,149 views on YouTube as of May 2017.<sup>3</sup> As a multimodal text, “I-am-sorry lunchbox” brings together visual depictions of people and objects, and these are accompanied by music, spoken words, written text, photographs, designs, and colors. Moreover, emotional actions, such as laughing and crying, are articulated both orally and visually. The designs and colors of the clothing and interiors—and more importantly, the food—depicted in the video bring forward the underlying contexts and appeal to viewers’ senses. Towards the end of the video, statistics appear on-screen in the form of graphs and numbers, in line with this piece’s mission as a social advertisement.

**MANIFEST CONTENT**

The visual element, which is dominant in this video, consists of a succession of mise-en-scenes and written text. This text appears in white and introduces the title of the video

3. The number of views should not be considered as absolute. While I utilized a particular link ([https://m.youtube.com/watch?v=I\\_zd6wBJUtg](https://m.youtube.com/watch?v=I_zd6wBJUtg)) for the analysis, this video has also been shared online in other places (as well as via the official website of the organization that originally posted them). As such, the total number of internet views is impossible to determine. The same consideration applies to all three videos in this paper.

and a description of the characters. In contrast, the spoken language is kept to a minimum in the video. The scene opens with natural light and the sound of birdsong, reinforcing the relaxed atmosphere. The song playing in the background is in English, and the lyrics state, "When you are not here, a picture in my life, I love you still, when you are not at my side..." Next, a man appears in the scene, and he is cooking. Annotative text tells the viewers that he is a "father, 44 years old" and an "office worker." He wears an apron and is experiencing difficulties with cooking, underscoring his lack of regular participation in this activity. Rice sticks to his fingers, and he proceeds to lick it off, further intensifying the intimate atmosphere of the video. The father is heard talking to himself; "Please, wait!" he intones, as he struggles to keep an eye on every piece of the meal simultaneously. Viewers can hear his onomatopoeic exclamations, and the father's clumsiness suggests that the kitchen is not his regular domain. From that point onwards, *mise-en-scenes* of him cooking alternate with shots of family photographs, creating a kaleidoscope of his memories. All three family members appear in photographs depicting various moments of their family life. The photographs are accompanied by written messages, which represent the father's inner thoughts. In the first photo, the family is captured swimming in a pool. The father looks younger in this image, and this is also the first time that we see the mother and the daughter. The on-screen message reads, "Sorry that I always come home late." The second photo depicts a family outing, perhaps an aquarium. The father is striking a humorous pose, and the text states, "Sorry that I don't do much around the house." By this point, the lunch is almost ready. The father sits at the table surrounded by plates of delicious-looking food. He then begins to arrange the dishes inside the lunchboxes. He uses scissors to cut seaweed into small shapes, and he uses ketchup to decorate the meal. This process seems time-consuming, and it appears to require a significant amount of effort on the part of the father. At the end, however, he seems content with the results. A final photo then appears: In it, the two parents are wearing suits, while their daughter is in a school uniform. The photo appears to have been taken in a residential area after some sort of official event, most likely related to the daughter's school life. This photo also appears to be more recent; the father looks like his present self. The on-screen text reads, "Sorry for always having to say sorry." The lunchboxes are finally ready, and the father is satisfied. In fact, he is giggling. Against a white screen, the text announces: "From the father. A lunchbox with love." This is his message to his family. At this point, the daughter appears, followed by her mother. They both look surprised when they see that the father seems to be plotting something. It is at this point that the majority of the video's verbal language is spoken. The accompanying music disappears. The father hands the pink lunchbox to his daughter and says, "I usually can't give presents, but I would like to give you this present from the bottom of my heart." He then proceeds to apologize to his daughter that he has not had enough time for her in the past. He attempts to tell her that this lunchbox is his way of apologizing, but he does not complete the utterance. This is the only time in the video that he verbally produces the word "sorry." The father then hands the next lunchbox, which is yellow, to his wife. Among other dishes, it contains an omelet with the word "love" written in ketchup on top of it. The father goes on to tell her

that he made the food with love. He sounds more confident than when he had spoken to his daughter. The family exchanges a few jokes and laughs. The mother praises the father, and then both mother and daughter proceed to thank him. The father is then seen shedding a tear, to which the daughter responds that if he starts crying, she will as well. The mother does not cry, however. The music, which had paused during the interaction, resumes. Two lunchboxes are shown as narrative-style text in the upper left-hand corner of the screen appears. It states, "When one engages in household chores and childrearing, one becomes more effective at work. There is data supporting this." Three graphs appear on-screen with supporting statistics. In the concluding *mise-en-scene*, the mother and the daughter eat from their lunchboxes; the mother feeds the father a piece of what appears to be fried chicken. The initiative's title ("Kyushu-Yamaguchi Work-Life Balance Promotion Campaign") then appears at the bottom of the screen.

#### LATENT ELEMENTS AND THE INTERRELATIONSHIPS AMONG THE MODES

The previous section described the manifest content of the video. Here, I focus on the hidden elements communicated through the modes employed in the video and on the interrelationships among them. The father makes *o-bentō* for his family to apologize for causing them difficulties through being constantly busy with work, and hence, his habitual absence. However, the video does not tell us anything about the specifics of these difficulties. Instead, it creates the impression that the father has, in fact, been present in the lives of his wife and daughter. He is not only the central figure in the majority of *mise-en-scenes* but also a part of each photograph that appears on the screen. Therefore, although he apologizes to his family for having been too busy with work to spend time with them, the viewers are told that he was able to attend family outings and important events. The photographs also suggest that he has been able to provide for his family members to the extent that they could afford to participate in recreational activities together. The modern design of their spacious home also supports this claim, and these elements serve to rehabilitate the father.

Viewers are offered a considerable amount of information about the father, thanks to the annotative text. The third photograph shows him wearing a lapel pin. Although we know from the earlier annotative description that he is an office worker, this photo suggests that he may have a prestigious title. Thus, his age and occupation and status are revealed to viewers. In contrast, little information is provided about the women in the video. The daughter's status is introduced when she is depicted wearing a school uniform. We also learn her name when the father speaks to her upon handing over the lunchbox. There is no annotative text to further describe her, however. The identity of the mother remains completely concealed. She is not named in the video, and no annotative text introduces any of her demographic characteristics. In the third photograph, she is wearing a white suit, which is a common outfit for women in Japan on the occasion of their children beginning a new grade in school. As such, the video positions her as conforming to societal conventions. Interestingly, the video's written text represents the "voice" of the

narrator and of the father. The video's female characters are not given this kind of "voice" but instead express themselves through spoken words.

When the father hands the lunchboxes to his daughter and his wife, the family shares a moment of what can be interpreted as catharsis; this emotional occasion is reinforced by the strong sunlight entering the room through the window. Both the father and the daughter shed tears, and there is thus a touch of pathos to the moment. As if to diffuse the atmosphere, the mother comments kindly on her husband's ability to prepare *o-bentō*. Although undoubtedly touched, she does not emerge as an active participant in the emotional exchange. The question remains as to whether she has accepted the apology. Although it is her who has experienced the most difficulties due to her husband's absence, it is the father and daughter who are crying, but viewers do not receive clarification as to why this is the case. When the family gathers around the table at the end of the video, there is another detail to consider: The father has cooked lunch as a gift for his daughter and his wife but has not prepared any food for himself. As the mother feeds chicken to her husband from her lunchbox, we are reminded of her role as a caregiver in the family.

#### CRITICAL EVALUATION

The previous steps made it possible to address the various "languages" embedded in the text and to extract the discursive elements transmitted through the video's different modes. What is the message that this video conveys? What kind of WLB discourse does it communicate? The male figure is central to this video's message. He is seen as an active creator of his life and as a provider, while his family—and particularly his wife, about whom the viewers are told nothing—are constructed as the recipients of his time, wealth, and gifts. The concluding message, supported by the statistics presented in graphic form, suggests that when people participate in household chores and childrearing, they become more productive at work. Since the person in the video who participates in household chores—albeit on a one-time basis—is a man, the video's concluding message appears to be addressed to men. This explains why depictions of women engaged in household chores and childcare are absent from the video; the WLB discourse transmitted through the video sends the message that men can maximize their productivity at work by taking a more active role in the familial domain. As such, one's mode of being outside work is construed as supporting one's status as a worker, where "performance at work is understood as being influenced by all aspects of a worker's life" (Kelly, 2013: 176).

While commercials naturally only illustrate a fragment of someone's life, the video contains ample evidence suggesting that this initiative may indeed remain a one-time undertaking. The father does not proclaim that he will continue to make lunch for his family. Rather, he himself does not have any lunch at the end of the video and thus needs to be fed. He also positions the lunch as a "gift," and presents are given on special occasions. He reinforces this interpretation by stating that he is "usually" unable to give any presents. The choice of a "present" is also of interest: In Japanese culture, *o-bentō* is a powerful symbol that functions to both please the receiver and affirm the virtue of the maker (Allison, 1991). The father verbally says "sorry" only once; in other instances, his

“sorry” appears as written text accompanying the photographs. However, viewers are introduced to the time and effort he put into making the lunch, and that care illustrates the depth of his apology. Clearly, if he were to engage in such an activity on a daily basis, his actions would no longer be infused with the sense of “festivity” that accompanies them in the video. The message that this video communicates is that in reality, the situation cannot be changed and the father will continue to be absent. He has performed a “heroic deed” resulting in catharsis; he has demonstrated his understanding of his family’s hardships and his desire to offer a genuine apology. Perhaps it is for this reason that we do not see the mother crying. She has accepted the apology but realizes that her husband will continue to devote himself to his work. Thus, she will continue caring for the household, just as she has done for over a decade, either in addition to, or, as is most likely, instead of pursuing her own interests outside of the family.

## **Video 2: If dad became mom for one day: Mommying drive**

### **SHORT DESCRIPTION**

Three fathers take part in an experiment. They have their hair and make-up done and change into their wives’ clothes. They then go about the day as if they were their wives; as if they were the mothers of their children. They take their children to daycare and other activities, cook for them, and play with them. In the end, they are exhausted.

### **CONTEXT OF THE VIDEO**

“Mommying drive” is a commercial that Nissan, a Japanese automobile manufacturer, released in January 2017. The video features one of the company’s automobiles—the Serena, a family-style minivan for which the firm released a new model last year. Nissan’s promotional webpage for the Serena states that the company decided to conduct an experiment on January 31 in which fathers spent the day like mothers; their activities were then filmed. January 31 is known as Beloved Wives’ Day in Japan, although this occasion is not widely celebrated. In the video, the Serena is branded as a product with the potential to ease the lives of mothers. Although the video is a commercial, its content suggests that it contains the results of a filmed social experiment.

### **CHARACTERISTICS OF THE GENRE**

The full-length version of this commercial, available on YouTube, is a 5:45-minute-long video with 5,095 views as of May 2017<sup>4</sup>. On Nissan’s webpage for the Serena, the video is introduced as a “movie,” and a “behind the scenes” page provides supplementary material, further underscoring the video’s supposed status as a real film. The video has both a Japanese title and an English one. Neither is in translation; rather, the two titles complement each other. The Japanese title reads “If dad became mom for one day,” while the English title is “Mommying drive.” Here, “mommying” is an improvised verbal adjective,

---

4. <https://m.youtube.com/watch?v=LHdvcClxMKk>

rooted in the improvised verb, “to mommy.” If “to mommy” means to engage in activities associated with motherhood, then a “mommying drive” represents a car trip characterized by such activities. In terms of multimodality, the video combines written text, spoken text, the sounds of drums, musical accompaniment, typing noises, and children’s wailing and crying.

#### MANIFEST CONTENT

The video is characterized by an abundance of visuals that rapidly shift back and forth, contributing to the hurried atmosphere. Three families appear, one after another. They are questioned by an invisible interviewer-narrator. The interviewer-narrator asks the fathers a question (“Do you participate in household chores and childrearing?”), which appears as written text against a black background. The fathers reply in spoken words that are simultaneously subtitled in white on the bottom of the screen. As the fathers reply (with their answers supplemented or edited by their wives), the interviewer-narrator proceeds to comment on the situation (“The men do not know.” “How hard it is for mothers.” “Let us make them experience it.” “Being a mom.”). These comments also appear as white text against a black background. The statements are segmented into shorter phrases, with the last comment appearing in larger font for dramatic effect. Each question and comment on the part of the interviewer-narrator is accompanied by the sound of fast typing. A pulsing drumbeat is present throughout this section of the video, and an intense atmosphere is maintained throughout.

The first family consists of four people: a middle-aged father and mother and two children, approximately five years old and two years old. The father says, about his participation in household chores, that he makes breakfast. The second family also consists of four people. This middle-aged couple have two boys, who are approximately five years old and three years old. Without confidence in his voice, this father replies that he is responsible for the task of bathing the children. There are six children in the third family, ranging in age from a few months old to approximately six years old. The father sits with two of these children on his lap. There are two women present, one of whom is the mother and the other is perhaps a relative or baby-sitter. The father seems confident. He says that since he had lived alone for a long time, cooking is not a problem for him. The interview is complete; at this point, the interviewer-narrator announces to the fathers that they will now be asked to become mothers. The interviewer-narrator speaks aloud here for the first time. The title of the video appears on the screen in both Japanese and English. The makeover session resumes as the fathers have their hair and make-up done and change into clothes similar to those their wives are wearing. The video then fast-forwards to the fathers’ re-appearance, which is accompanied by brass instruments. The couples pose for photos, and the men now resemble their wives. The women give their husbands small notebooks with the schedule for the day. Each of the fathers-turned-mothers’ detailed schedules for the day appear on-screen under the title “Mission” (such as: “10:30 Drop off son at daycare”). The accompanying sounds resemble computer-game sound effects that might play at the beginning of a new round.

From that time onwards, written descriptions of the father's respective errands appear on-screen as the fathers-turned-mothers go about their days. The video first follows the experiences of father-turned-mother № 2. "She" encounters multiple obstacles, such as dropping fruit and having a stroller fall over backwards from the weight of the groceries in it. As the father-turned-mother runs with the stroller, a stopwatch appears in the center of the screen with a reminder: "She" only has 1 hour, 1 minute, 31 seconds, and 8 milliseconds left until "she" must pick up "her" son from baseball practice. The need to hurry is thus reinforced. Father-turned-mother № 1 appears next. We see "her" fixing makeup and struggling getting out of the car in high heels. As we see "her" running to the office, the stopwatch appears.

Viewers are given a short glimpse of father-turned-mother № 3. "She" is in the car and surrounded by children, one of whom is crying. From that moment, shots of each of the fathers-turned-mothers' activities are interspersed with each other. This mixture creates a dizzying sensation of chaos, hurriedness, and unpredictability. We learn that a mother's day does not contain even a second to rest. Father-turned-mother № 3 looks exhausted. We see "her" leaning on a shopping cart in an absent-minded fashion while grocery shopping with "her" children. The day concludes; father-turned-mother № 1 is driving home on a highway at night. "Her" infant, in a car seat behind "her," will not stop crying. Although the viewers hear this sound for only a few seconds, it is overwhelming, as all other sounds have been silenced at that point. The mission is over. The families reunite at Nissan's showroom where the men, who have changed back into their usual clothes, reflect on their day. They make comments such as: "Mom is doing an amazing job" and "There was not a single second to rest." One of the wives says, "It feels good to be understood." The narrator's text appears across the screen against a black background: "The men have noticed." This message from the narrator is no longer accompanied by a typing sound. The sense of tension dissolves, and the music becomes more relaxed. The remaining segment of the video, which this paper does not analyze in detail, combines the families' consultations at Nissan showroom and the "behind the scenes" section.

#### LATENT ELEMENTS AND THE INTERRELATIONSHIPS AMONG THE MODES

In this video, the role of the interviewer-narrator is of particular interest. In the majority of cases, his utterances take the form of written text accompanied by the sound of typing. Employing such a mode of representation serves to depersonalize him, while at the same time placing him in a position from which he can oversee the entire situation, in terms of both its immediate details and its connection to larger societal structures. Hence, he is seen as possessing the ability to comment on the fathers' words and actions. We hear him speaking only once; in the voice of a male, the narrator invites the fathers to take part in a social experiment in which they will become mothers. He is thus seen as possessing masculinized powers that allowed him to modify reality. Thanks to this experiment, the fathers realize the hardships their wives experience. Metaphorically, the interviewer-narrator is a type of a "deus ex machina," due both to his ability to alter how events unfold

and to the literal presence of a “machina”: the Serena. This automobile is presented as capable of alleviating the difficulties these mothers face.

The gendered nature of male and female roles emerges as the central theme of the video, and various visual modes, such as the styles and colors of the clothing depicted, serve to intensify the message. The fathers are not simply asked to experience the busyness of their wives’ agendas by following their schedules. Rather, they must do so in settings in which they are compelled to go beyond their gender through extensive cross-dressing. The fathers use different voices when they wear women’s clothes, although it is not clear whether they do so on purpose. The embeddedness of household chores and childcare as women’s tasks is depicted as so deep-rooted that a man requires a full bodily transformation to perform them. To engage in “mommying,” they have to look like women. Paradoxically, by being feminized when they perform these chores, the men in the video avoid being demasculinized, as a man who looks like a man cannot do what a woman does.

Other men and women in the video are also seen engaging in gendered work. The daycare staff, department store retail assistant, and nail technician are all female. The only shop assistant who is a male is the one selling coffee beans, a luxury good. Technically, once outside the door of the Nissan showroom, the fathers-turned-mothers find themselves in a women’s world. In contrast, the Nissan sales clerks are all males.

A few occurrences during the office scene (which takes place in a one-room space) require further mention. Here, women’s work is represented as document-related deskwork. The father-turned-mother № 1, who is now a female worker, is asked to make a spreadsheet but is not given clear instructions. A superior explains the content counting on her fingers, as if she is explaining something to a child. The over-simplified explanation appears to be puzzling for the father-turned-mother, however. “She”—who is, in fact, a “he”—seems to need a more sophisticated explanation to comprehend the task. The other people in the video and the fathers’ interactions with them thus function as another “language,” or mode, of power and serve to construct certain types of female realities. There is another exchange that takes place in the same office. A female coworker touches the father-turned-mother’s false breasts through “her” pullover, asking, “What is this?” While this scene can be interpreted as a brief unmasking, with the man’s true identity revealed in a humorous manner, it nevertheless implies women’s lack of autonomy in the workplace.

#### CRITICAL EVALUATION

In the previous sections, I analyzed both the manifest and latent elements articulated through the various modes incorporated in video. In this section, I examine the discourses constructed through the enactment of these elements. I explore this video’s vision of WLB and the solution it offers. Similar to “I-am-sorry lunchbox”, Video 2 acknowledges the lack of balance in women’s lives. The female characters are pictured as speeding through their days with no time for professional growth or rest. Only one of the three women is depicted as having a daytime job, which she must attend from noon until four

in the afternoon. The manner in which this job is illustrated, detailed above, suggests that this is not a career-track occupation. To balance work and family, this woman has chosen to be an irregular employee. Although a redistribution of household chores and childcare duties could lead to her being more active in her work life, feeling less overwhelmed with childcare, and having time for leisure, the video does not challenge these circumstances but instead presents them as given. The situation is further mystified by this woman's increased engagement with beautifying, including her visit to a nail salon. As such, the video indicates that she has achieved a certain degree of freedom relative to the two other women, but this independence is exemplified in a highly feminized way.

While the video does much to convey the difficulties that women experience on a daily basis, the solution that it offers in fact intensifies the traditional division of roles. A woman's identity is set in stone: She is a "mommy," and what she does is "mommying." Men are provided with an opportunity to understand the intensity of these mothers' labor and to mitigate it by purchasing a suitable car for them. To afford the vehicle— and hence, to keep their wives content—the men need to work more. As such, consumer culture emerges as opposed to balanced WLB strategies for both genders. The one-time nature of what has occurred is reinforced not only by the cross-dressing but also by the fact that the social experiment takes place on Beloved Wives' Day. Thus, similar to Video 1, the men's actions essentially represent a gift to their wives. However, in this video, catharsis is achieved not through an apology but through the men's realization of their wives' ongoing efforts, an awareness that they gain after engaging in "mommying."

### **Video 3: It's okay**

#### **SHORT DESCRIPTION**

This video displays a working mother conversing with her male coworker about the hardships of childrearing. She suggests that mothers do not feel sufficiently appreciated. We then see her picking up her sick child from daycare. As she walks back home, she contemplates her life as a mother and worker.

#### **CONTEXT OF THE VIDEO**

This video is a commercial by Cybozu, a Japanese software company. Unlike the previous video by Nissan, this commercial does not advertise any product. Rather, it focuses on a concrete social issue (i.e., the daily struggles of working mothers). On its website, the company calls this production, originally released in 2014 as an animated piece, a "work-style drama." As such, the company's branding strategy is to position itself as socially conscious. The slogan ("Cybozu stands with working mothers") appears twice during the video.

## CHARACTERISTICS OF THE GENRE

"It's okay" is a 5:20-minute two-part commercial with 60,212 YouTube views as of May 2017<sup>5</sup>. In terms of multimodality, the video combines visual depictions of people and objects; non-captioned words spoken by various characters; on-screen descriptions in the form of written text; a smartphone video that one character shares with another; musical accompaniment; the sound of a child crying; instant messages exchanged by the characters; urban landscapes; varying weather conditions; and the advertising company's slogan, which appears after the first and second portions of the video.

## MANIFEST CONTENT

In general terms, the first part of the video focuses on the heroine at her workplace, while the second part captures her life after she leaves the office. The first part opens with a conversation between the heroine, Ōsawa (who is approximately in her mid-thirties), and her male coworker. He shows her a video of his young child, complaining that despite the fact that he "helps" his wife (who presumably also works, as they have started sending the infant to daycare) with childrearing, she is always angry with him. Their conversation is not captioned. Ōsawa notices that her male coworker uses the verb "to help" and replies that his wife must be genuinely thankful, but that childrearing is very hard on mothers and that what mothers ultimately need is to be taken care of themselves. From that moment onwards, the camera focuses on Ōsawa's face. Flashbacks appear of moments that she has found challenging as a mother. A chanson accompanies these flashbacks, and the music emphasizes the emotional dimension. Ōsawa's facial expressions and unranged hair present a stark contrast to her appearance at work. Each of the visual episodes of childrearing is supplemented by a short description that appears on-screen as written text: "Cries unless held" (on putting her baby to sleep), "The next time will be in three hours" (on bottle-feeding at night), "Run to be on time for the daycare pick-up" (on combining work and mothering), "One hundred roundtrips in the hallway" (on soothing the infant), "Make it tastier" (on the infant refusing to eat bland baby food), "Encounter with a virus" (on receiving a phone call from daycare at work when the child is sick), "Why stop now?" (on the child refusing to walk), and "Weighs 15 kilograms in no time" (on walking while holding the toddler). These visual episodes progress in time with the child's growth; the viewer is invited to note that while the content of the difficulties changes, their intensity does not. The majority of these written descriptions, which are short although rich in content, represent the narrator's voice. They are interspersed with Ōsawa's inner voice, and this narrative is thus not voiced to her male coworker. The pitch of her voice is different when she is talking to her male coworker versus when she is engaging in these internal conversations. We do not see her verbally uttering these inner thoughts. Rather, they accompany the flashbacks. There are elements of dramatization due to the persistent use of the *ni kagitte* grammatical form in Ōsawa's internal narratives

5. <https://m.youtube.com/watch?v=HJ7QhL9oeKA>. This video, due to its realistic nature, remains highly popular, as the Discussion section makes clear. The number of views at this particular online location continues to grow, with a nearly 80 % increase between May 2017 and September 2017.

("The child just has to throw a fit and refuse to walk when I am busy," "The child just wants to be held when I am tired.").

While the viewer has an opportunity to see into Ōsawa's inner world and to understand why she told her coworker that childrearing is hard on mothers, her coworker does not have the same chance. He is thus left sitting and looking at her as she is lost in her thoughts. He ultimately asks if she is okay in a concerned manner. His voice brings Ōsawa to her senses. She replies, "Exactly. Such kind and concerned words are what make a mother persevere." The coworker seems puzzled by the simplicity of her suggestion when Ōsawa adds that he should hug his wife from time to time. She then goes about her day in the office.

The second part of the video shows Ōsawa outside of work, although here there are a few flashbacks to her office life. This interrelationship between the themes, demonstrated by their interspersed depiction, highlights the mutual dependence of one's public and private life and of the distribution of one's time and efforts. The second part of the video is titled "It's okay", and these words appear in large-sized font across the screen. The segment follows Ōsawa as she picks up her child, who has developed a fever, from daycare. It is early evening, and the pair walks home together. The verbal exchange between the child and the mother is limited. At first, the boy only asks the mother to pick him up, which she does. The mother does not seem to be emotionally present in the unfolding situation. Similarly to when she was talking to her coworker, she dives into her own thoughts. This time, she is considering the issue of balancing her responsibilities as a mother and as a worker on that particular day. Her internal dialogue is highly nuanced. As she cannot take the next day off work, she contemplates childcare options in case her son's fever persists. The pitch of her internal voice varies. She sounds hopeful when she thinks that she may manage to book *byōji hoiku* (i.e., a childcare option for kids who are sick and cannot attend their regular daycare facility) for her sick child. However, her optimism fades quickly. If she does manage to book a spot there, she will need to cook a boxed lunch for her child, which will mean another night of missed sleep. She walks slowly, displaying evident fatigue, up a bridge lit by the sunset. This motion, along with her uphill steps, suggest connotations of hard work and endurance. As she continues thinking, the boy asks her, "Mommy, are you okay?" Once again, this is what brings her to her senses. Her presence is short-lived, however, as she then dives back into her inner world, asking herself if she is indeed okay. Her inner world seems to be full of intense self-doubt. She asks herself, "Am I a good worker? Do I love my son enough? Do I love myself at all?" These questions are again interspersed with visuals of her difficulties: She receives a critical comment when making a presentation at work, her child refuses to walk despite heavy rain, she stands in the rain doubting herself. In this final image of her in the rain, her face appears in slow motion. This is the most dramatic part of the video. The overwhelming effort that she makes to balance work and family has led her to resent herself. The flashbacks disappear, and Ōsawa and her child are again on the bridge. They have, however, already completed the climb, having overcome the steepest part of the journey home. From now on, their journey is on a flat surface. Ōsawa is now emotionally

present with her child, and she repeats the words “It’s okay, it’s okay” to him. The tension disappears, as the boy agrees to keep walking, and the mother and her son continue on hand-in-hand.

#### LATENT ELEMENTS AND THE INTERRELATIONSHIP AMONG THE MODES

In this video, the two coworkers—Ōsawa and a male colleague—are both wearing white shirts with a company card hanging around the neck. They both have black hair and are presumably in their thirties. When the man addresses the woman, he only uses her family name without an honorific suffix. They must have entered the company at the same time or have similar responsibilities. As such, they are visually portrayed as in possession of a similar working identity. However, we soon learn that for the woman, although she is naturally held to the same standards at the workplace, her identity as a worker is just one of her many identities. Being an involved mother is another one, and it requires ongoing effort. The male coworker shows Ōsawa a smartphone video of his child, but we do not see Ōsawa doing the same. She is more careful when it comes to revealing her identity as a mother in the workplace setting. Although she thinks about her child, she does not speak about him, not even to her male co-worker in a conversation about childrearing. Her lack of comment suggests that motherhood may not be an identity that is praised in corporate settings.

The video portrays Ōsawa in a variety of situations, in various weather conditions, at different times of the day, and in clothes ranging from work attire to pajamas. What is remarkable, however, is that she is almost always shown alone. In the video, she mainly interacts with her male coworker, her child’s daycare provider, and her child. Her husband, the boy’s father, is absent, regardless of the time of the day and the setting. We are made to notice his presence only once, when a human body moves under the bedcovers while Ōsawa is bottle-feeding in the middle of the night. When Ōsawa works from home in dim light after her child has fallen asleep, she is again alone. We thus know that the father returns home very late at night. A brief text message exchange between Ōsawa and her husband takes place when she is on the bus on the way to pick up her sick child. He replies to her inquiry as to whether he can pick up the child with the message: “I’m sorry, I just saw your message. The meeting wouldn’t finish...” The time on the smartphone is 16:48; we are told that it was the mother who made the sacrifice of leaving the office early despite having an important meeting. The father was not able to see her message until she had already boarded the bus. He is depicted as a typical salary man working around the clock, and WLB is a notion with which he seems to be entirely unfamiliar. The mother’s WLB seems to be the result of forces beyond her control, and her situation does not seem to be what she desires. She manages to both work and parent at the cost of always being in a hurry and of being unable to achieve satisfaction from either.

This video offers a multitude of voices. The mother’s internal dialogues represent an important mode in this multimodal production, and they voice underlying meanings. She is depicted as constantly trying to convince herself that her situation is not as hopeless as it looks; there are things that only women can do, and so trying to involve her

husband is not necessary. Although she is frustrated with the fact that she is the only parent who picks up and drops off the child at daycare, she does not seem to be angry at her husband, and she accepts his lack of participation as a given. After a series of flashbacks illustrating her in difficult and energy-consuming childrearing situations, she nevertheless says, right before advising her male coworker to hug his wife more often, “It is not that all these [experiences] are painful, but make sure to be kind to moms.” This presents a sharp contrast with the visual narrative: When the video shows Ōsawa as engaged in childrearing, she never smiles, and she is often irritated and exhausted. Moreover, she walks slowly, as if purposeless or as if she is simply going through the motions. In short, she is unable to focus on the present moment. What she is experiencing is beyond painful. While Ōsawa is perhaps undergoing a stress-induced burnout, she is depicted as accepting her fate. She knows that all she can aspire to is some kindness, a gentle question inquiring if she is okay and a hug from her partner.

#### CRITICAL EVALUATION

The underlying discourse of this video is that of acceptance of one’s fate and gender role, corroborated by the deep embeddedness of male and female work and parenting patterns in Japanese societal structures. These structures are illustrated as unchangeable, precluding a reconstitution of gender roles that could potentially lead to a better WLB for both men and women. The heroine’s husband is so immersed in his work life that his communication with Ōsawa is almost fully digitalized. His only “movement” outside of work is restless sleep in a dark room. It is as if he is not alive when not at work. He is thus unable to participate in childrearing. The more proactive generation of men who do participate in child-reading do so to “help” their wives; they are called *ikumen*, and Ōsawa uses this same word. Roughly translated as a “childrearing father,” this compound word is similar to a “working mother” in that at first glance, each adjective seems to be uncharacteristic of the respective gender. With no support from her own husband—he never asks her, “Are you okay?”—Ōsawa is aware of the increased burden that she faces in trying to juggle multiple identities. For her, as it is for many working wives and mothers, home is no less of a labor site than is the workplace (Hochschild, Machung, 1989). However, she neither challenges her own situation nor the larger social structure. Thus, the discourse that permeates this video is that both genders remain unable to achieve a WLB strategy that is satisfying for them. In the case of the husband, his identity as a worker is solid. As he devotes all his time to work, it is there that his identity-related ambitions lie. The mother is unable to be content with either of her roles and thus spends her days doubting herself. As such, the video is in line with the larger “work-family narrative” where working mothers are expected to be “bad managers, bad mothers, or both” (Padavic et al., 2015: 8). In the absence of proposing a solution, this video sends the message that being aware of a mother’s sacrifices, occasionally asking her if she is okay, and giving her a hug will encourage her to persevere. Similar to the first two commercials analyzed in this paper, the men are encouraged to express empathy.

## Results: Real Voices of Working Mothers in Japan

In this section, I present and analyze the narratives of Japanese and Russian working mothers in Japan that were gathered as part of this project. The original narratives were in Japanese and Russian but were translated into English for the purposes of this paper. This section employs a dialogical approach to MCDA, as the visual materials were used to trigger conversations with the research participants. The participants were working mothers with young children. All of the 10 women were in their early 30s to early 40s and held different jobs with various time demands (e.g., full-time/part-time/freelance/maternity leave) and resultant incomes. The participating women were asked to watch the videos and to answer the questions: “What is WLB for you?” and “What were your thoughts and feelings after watching the videos?” Some participants commented on only one or two videos, and others left a single comment about all three pieces. The narratives are grouped according to the key codes within them; the key codes are thematically summarized before each of the narrative groups. A few central codes are supplemented by the original Japanese words that the participants used. In each narrative, the larger set of codes utilized for the analysis is underlined. A handful of narratives that voiced themes unrelated to this study were excluded. Finally, while there were some curious differences in how the Japanese and Russian women perceived the videos (e.g., their understanding of the function of food as an element of the videos), this paper does not discuss those factors, as doing so is beyond the scope of this study.

### Question 1: What is WLB for you?

Enjoyment; satisfaction (*nattoku*):

(1) It means living my life with enjoyment. It is living in accordance with one's personal ideal balance: It should be acceptable to either fully devote oneself to work or care only about one's private life. Currently, I find work more important, but because I spend a lot of time doing chores and taking care of my children, I wish I could reduce [the time I spend on] these.

FO, late 30s, mother of 3, Japanese, freelance relationship counselor

(2) Work-life balance is doing work that I want to do and caring for my kids to the extent that makes me satisfied.

CY, mid-30s, mother of 2, Japanese, adjunct lecturer and researcher

Appreciation; emotional leeway (*yoyū*); a revolution in mindset (*ishiki kakumei*):

(3) The kind of life where I work, but also appreciate the time with my kids on a daily basis. I live my life thinking how nice it would be to have the emotional leeway to read a book to my kids before they fall asleep. On the other hand, I feel unsatisfied with how I work, and so I wish my husband participated more in household chores and childrearing. (However, it's difficult to have a revolution of mindset, so progress is slow.)

HF, late 30s, mother of 2, Japanese, office worker

Fine-tuning (*totonoeru*); satisfaction:

(4) To fine-tune relationships with other people and the content of my work in a way that leaves both myself and the people around me satisfied.

AI, late 30s, mother of 1, Japanese, full-time lecturer

## The sense that childrearing is suffocating; work as motivation and emotional support:

(5) For me, work-life balance is the last but absolutely necessary piece to make me feel positively about childrearing. I often feel suffocated if all I do is care for my kids, so if there is an environment where I can work the way I like, this would be motivation that would provide emotional support in dealing with the difficulties of childrearing.

YA, late 30s, mother of 2, Japanese, freelance writer

## Family as a priority; work as emotional support:

(6) For me, most likely, work is second, and my family and child are first. I work, because I love my work, and I like it that my brain is working. I also make my own schedule. So, if my child is sick, I will always move my work to stay with my child or invite a babysitter my child likes. For me, considering whether to put my child into daycare for sick kids is completely unacceptable. What kind of work is this where everything will burn down without her [the heroine from Video 3]? I would only do that kind of work for a tremendous amount of money, but I would find a full-time nanny. Our dad [EZ's husband] takes an active part in childrearing, so I do not feel that everything is on me.

EZ, late 30s, mother of 1, Russian, part-time tutor and entrepreneur

## Family as a priority; work as a financial means:

(7) As for work-home balance, for me my family is the priority. I only work in order to support my family financially. I am not developing a career, since I realized I did not need one.

KP, mid-30s, mother of 1, Russian, office worker

## Doubts; compromise; balancing:

(8) For me, work-family balance is what Video 3 shows. It is constant doubts: "Am I a good mother? Am I a good worker?" It is a constant state of having to make a compromise somewhere, of [knowing that] balance, normal balance, is impossible, that there is no support, that I do everything on my own. Although in my case, if my child is sick, it is my husband who will take a day off. His company provides better conditions for this. Nevertheless, when balancing work and family, you always think about others, about family or work. Is there time to think about oneself? And, are you even allowed to?

OB, mid-30s, mother of 3, Russian, adjunct lecturer

(9) For me, it's not just work-life balance, but work-myself-family balance, to be precise. For me, balance is precisely akin to a pendulum swinging to one side and then the other. If my inclination to work is only stressing me out, I decrease my workload, and vice versa.

AS, mid-30s, mother of 2, Russian, adjunct lecturer

Living in the moment; problems with balancing:

(10) Work-life balance [is what works for me] for the moment. I will still have lots of jobs in my life, but my kids are growing fast. With the eldest child, it was approximately what Video 3 shows. Everything was on me. So, for the last six years, I have been a homemaker on a prolonged maternity leave. I am thinking of going back to work, but everything is going to be like in Video 3, only twice as hard.

NK, late 30s, mother of 2, Russian, homemaker

## Question 2: What were your thoughts and feelings after watching the videos?

### *Video 1: I-am-sorry lunchbox*

Unrealistic; men's hardships at work; lack of emotional leeway:

(1) FO: Firstly, I felt that it was unrealistic. It would be nice to have a husband like that, but they do not exist. There are a lot of men who are extremely tired from their work. They experience a lot of stress, and so they do not have the emotional leeway to even contemplate the idea of preparing a lunchbox. I felt that it was a fairy tale. It would be more realistic to show how men get tired, how tough the work is on them. I wish they focused on how many men work too much and that they are confined to their companies for long hours. If they show that the company has changed, and that the man's vision has thus transformed as well, and then that was followed by him making a lunchbox for his daughter and wife, I would then be convinced.

Unrealistic; saccharine:

(2) OB: Video 1 is like a tall tale. I do not believe it is possible—although it looks nice. It leaves you with the feeling that this is a one-time occasion. So, he cooked dinner, everyone cried. What's next?

(3) AS: Saccharine [...].

Women's burden:

(4) NK: Mom is somewhat "tormented" and looks at her husband as if he were her second child. What I felt after watching it is that if the husband knows how to cook, what is so special about this lunchbox? If it is his first lunchbox, [I imagine] what a mess he then left behind him in the kitchen, judging from the variety of dishes.

*Video 2: Mommying Drive*

## Desire to be understood:

(1) HF: I would like to have this experiment carried out in my home! It would be nice if my husband understood firsthand that chores do not simply mean cleaning-cooking-laundry.

## Desire to be understood; lack of emotional leeway:

(2) CY: I liked the second video the most. In my heart, I wish to be understood—the hardships mothers undergo, the difficulties of multitasking, and the burden when everything is half-finished, because there is no time and emotional leeway. All dads should undergo this experiment!

## Unrealistic; desire to be understood:

(3) FO: I wish there were a real experiment like this! It would be nice if this kind of project became a TV show. I cannot help but feel that this video is fiction. Unless they show in more realistic terms how a dad snaps and yells at his kid, or how the room is completely trashed while the father is cooking dinner and how the father gets upset because of that, it won't appeal to the viewers. A mother's day is not as simple as it is shown. However, it's nice that dads can experience how hard it is for moms with some humor and laughter.

## Informative; potential for social impact:

(4) YA: I thought that unlike commercials that talk about ideas and ideals [...], [Video 2] provides details (how they incorporated moms' ideas into their products, how male customers from three couples took part in a staged experiment [...]) and would thus have more social impact and value.

## Commercialized; unrealistic; unsophisticated:

(5) KP: It is too commercialized, so I wasn't touched. Everything is mixed together and unclear; there is no straightforward message (except for "buy this car," of course!)

(6) OB: It felt like it is more of a car commercial. [...] Funny, of course, cross-dressing men. But, where would a working mom find time for getting her nails done? What kind of work is she doing? For half a day? So, it didn't touch me [as it was not realistic].

(7) AS: Too unsophisticated.

Commercialized; feminized depiction of women:

(8) NK: It's a great idea to leave kids with daddy for a day, but why torturing them? Wigs, makeup, shoes? If they wanted to torture [men], cross-dressing would have been enough, while to experience a mom's day, [asking them to watch the] kids would have been enough. And, of course, it is a blunt commercial for a car and its manufacturer. [...] If I were a man, my conclusion after this experiment would have been that all the problems and "lack of time" are due to all of these meaningless women's things, so I would have given my wife a pair of sneakers and sportswear.

*Video 3: It's okay*

Realistic; women's burden; change of mindset; fine-tuning:

(1) FO: I felt that this video was the most real, and it made me feel emotional. The environment of working mothers is often unfriendly, and in reality, a mom's burden is extremely heavy. However, it also made me feel that it is important for moms, for women, to change their mindset, too. There are too many mothers who think that they have to do everything on their own. I think that the working environment would change a lot if mothers themselves understood that it is okay for someone other than them to raise their children and do household chores, and that there is nothing wrong with that. It would be nice if it were easier to ask someone around to help. As just asking for help becomes a reason for emotional distress, it is important for society as a whole to change its mindset. In this video, we hear the mom's inner voice. This is what everyone feels but is afraid to show, even to their own husband. Mothers have to be braver to share these feelings with their husbands, and husbands have to make it easier for their wives to share. When a couple's communication improves, a good relationship is born, which will lead to the fine-tuning of one's work-life balance.

Appalling; women's burden:

(2) OB: I have watched this video before and even posted it on Facebook, and my friends who do not speak Japanese were asking me what this video was about. They also were appalled, even without [understanding] the language. Every single moment is precisely what it is, even how men expect to be praised for what they do at home. He took his child to daycare—it's a reason to boast—while women do 10 times more, and every day. And, all this is taken for granted.

Realistic; chilling; sad:

(3) NK: Video 3 is the reality of life in Japan. The mother's main work is the child and home, and she is allowed to do some work to satisfy her ambitions when the child is in daycare. At the same time, the father happily displays photos and videos [of his child] and excitedly tells everyone what a good job he is doing. Most of my acquaintances here live according to this order.

(4) KP: The second part of this video chilled me to the bone, but I was confused as to why the person from whom one is expecting the most support was never shown. It is pessimistic, in the end, that her colleague asked her how she was, and that her kid did the same, but that the father is apparently on a trip to outer space.

(5) AS: Too sad.

## Discussion

The women's narratives revealed multiple themes related to WLB (Question 1). Firstly, only some of the participants employed the term "work-life balance" using those exact words. Many of them instead modified this term when answering the question. The variants that they used included "life-work balance," "work-home balance," "work-family balance," and "work-myself-family balance," and each of these reflected the participant's particular situation and priorities. For many women, WLB had to do with "satisfaction," "enjoyment," "appreciation," or "loving one's work." This finding suggests that the WLB to which the women aspired did not concern allocating the proper amount of time to certain activities. Rather, in the participants' eyes, WLB was more a question of being satisfied with what one does both at work and at home. In the case of work, being content seemed especially important for many respondents; when a passion for one's work was present, it functioned as a type of "emotional support" that helped the women feel positively about themselves (EZ's "I like it that my brain is working") and about their role as a mother, otherwise "suffocating" (YA) and thus oppressive. On the other hand, in terms of factors inhibiting their ability to feel content, the women cited a lack of "emotional leeway" or a reduced psychophysiological capacity to engage in certain activities beyond a set of daily actions.

Some women emphasized the role of "fine-tuning one's relationships with other people" in achieving the desired WLB. This suggests that WLB is experienced not as an individualistic issue, but as a shared value in the context of one's ongoing relations with family, friends, and society as a whole. As AI mentioned, WLB must be organized in a way that leaves others feeling "satisfied" as well. As such, a woman's desired WLB cannot be achieved in isolation and must involve a degree of reciprocation; however, the women's narratives suggest that they were the primary mediators in this process of mutual adjustment.

Some women underlined "doubts" that caused them to question their identities as workers and mothers. This uncertainty emerged, because one always has to "make a compromise somewhere," be it work or home. As such, OB described a "normal balance" as impossible to realize. According to OB, balancing efforts can turn into a selfless enterprise if all that one does is "think about others." Those who attempt to manage and balance everything to attend to everyone's needs, will find themselves only managing to meet the basic essentials of life. The situation of these coping women, as pointed out by the participants in this study, would then resemble that of the heroine in Video 3, only "twice as hard" (NK).

Cases arise in which other people do not understand a woman's struggles to combine work and household chores. In connection with this, HF mentioned the importance of adjusting one's "mindset" so that a mutually satisfactory WLB can be achieved: She hoped that her husband would become more proactive in doing housework and caring for children. In addition, EZ, who seemed to have found her balance through viewing her work as secondary to her role as a wife and mother, cited her husband's active involvement in childrearing as an important factor for achieving that balance.

In their responses to Question 2, some of the women provided their general impressions of the videos, while others addressed the material more critically. Their responses contained themes similar to those that arose in the above discussion on defining the concept of WLB. Interestingly, the women judged the videos in terms of how life-like they found them, and the participants reported feeling untouched by those that did not feel sufficiently realistic or that were too "saccharine." Many of the participants described Video 3 as the most realistic; the women reported feeling emotional and "chilled to the bone" after watching it. It was also described as "pessimistic" and "sad." Many of the women said that they identified with it. This suggests that the reality of these women's attempts to balance work and family life in Japan is not joyful. That said, FO stated that the situation could change for women in Japan were they to alter their "mindsets" and stop thinking of themselves as the only ones responsible for household chores and childcare. She also stated that women should be "braver" in articulating their needs. Finally, she stressed that this "transformation of mindsets" must be a collective effort on the part of the country as a whole. Many women said that they wished that their spouses "understood" them, and they particularly voiced this desire in response to Video 2, which enacted this sentiment in a strong way. This lack of understanding was corroborated by the perception that women's unpaid labor is "taken for granted" (OB). KP reported experiencing strong disappointment when she realized that in Video 3, Ōsawa was not going to receive any emotional support from her husband, the person from whom she most needed that sense of caring. This finding demonstrates that the women in the study internalized the transmitted discourse; they did not believe that a true reconstitution of gender roles—and hence, of WLB—was possible. They were thus content with being understood.

Women referred to housework and childcare in a number of ways. These ranged from describing themselves as "suffocated" by "hardships" to more concrete depictions (e.g., "difficulties of multitasking," "chores do not simply mean cleaning-cooking-laundry," "everything was on me," "working mothers' environment is often unfriendly," "a mom's burden is extremely heavy," and "women do 10 times more, and every day"). However, personal hardships were not the only problem that the participants voiced. The long working hours and stress experienced by men—both those depicted in the videos and these women's husbands and friends—were named as a structural factor in need of attention.

## Concluding Remarks

This multidimensional study investigated contemporary WLB discourses communicated through Japanese digital media in recent years. It also examined how these discourses are perceived by a specific viewing population—working mothers in Japan—and provided members of this group with the opportunity to articulate their WLB experiences and visions. The analysis revealed that the dominant WLB discourse embodied in the studied videos is one that presents harmony as something to be achieved not through men's equal participation in the family domain and greater balance for women, but through a series of often-unexpected “heroic deeds” by men. In the videos, these deeds led to much-needed moments of catharsis but failed to instigate the reconstitution of gender roles that could ultimately make possible a better WLB for both genders. In concrete terms, each video contains a trope in the form of men's apologies to, and understanding of and empathy for, women. These actions are positioned as a promise of the women's continued perseverance to carry the domestic burden. While the women in the study did voice their desire to be understood by their partners, I argue that this wish originates from the embeddedness of gender roles and work-related identities in Japanese society, as well as from the women's internalization of the dominant discourse, which offers a compromise but not a solution. Men went as far as cross-dressing to demonstrate their understanding of women. This action, however, did not empower the women in a way that permitted them to choose more personalized modes of being as regards the content of work, patterns of work, childcare options (e.g., intrafamilial versus outsourced childcare), and leisure activities beyond beautification (which NK referred to as “meaningless women's things”).

The study participants described their experiences with WLB and their visions of this concept, highlighting the importance of communality, proactive communication, and nuanced adjustment. They likewise cited satisfaction and emotional leeway as elements missing from modern-day lifestyles. Within relationships, one person's success at achieving a desirable WLB usually depends on the other person's WLB, which, in turn, depends on the structural forces at play. People may not always be willing to negotiate these structural forces, as doing so means letting go of their hard-earned identities (Williams et al., 2015). For instance, many men in Japan do not welcome regulations aimed at discouraging people from working too much, as such policies would threaten their corporate male identity (Nemoto, 2016). The collected narratives underscored that at the moment, it is mostly women who are receptive to the WLB discourse, to the extent that they not only seek to manage their own work and home, but also unconsciously strive to leave their partners undisturbed. These women fine-tune their own routines in a manner that ensures that their male partners are satisfied. With respect to their efforts, the emerging keyword is “coping,” rather than “shining” envisioned by politicians. Without the reconstruction of gender roles, the WLB discourse may do more harm than good for the female population. I argue that the discursive postulation of new and diverse forms of identities could encourage people to redefine their aspirations, reassess their identi-

ties, listen to their partners, and devise mutually enriching WLB strategies. Perhaps, it is when those goals have been achieved that both women and men will “shine” in Japan.

## Acknowledgments

An earlier draft of this paper was presented as part of the panel “Towards Further Discussion on the Work-Life Balance Concept in Anthropology: An Exploratory Review to Lay the Groundwork for Research on Japan” held at the 51<sup>st</sup> Annual Meeting of the Japanese Society of Cultural Anthropology in Kobe, Japan, May 2017. I thank the panel’s discussant Ayami Nakatani and my co-panelists Kiyomi Doi, Kaoru Kuwajima, and Gaku Moriguchi for their insightful comments and suggestions. I also thank the anonymous reviewers of this paper for their constructive feedback.

## References

- Akiyama K. (1993) A Study of Japanese TV Commercials from Socio-Cultural Perspective: Special Attributes of Nonverbal Features and Their Effects. *Intercultural Communication Studies*, vol. 3, no 2, pp. 87–114.
- Allison A. (1991) Japanese Mothers and Obentōs: The Lunch-Box as Ideological State Apparatus. *Anthropological Quarterly*, vol. 64, no 4, pp. 195–208.
- Aronsson A. S. (2015) *Career Women in Contemporary Japan: Pursuing Identities, Fashioning Lives*, London: Routledge.
- Asahi Shimbun (2016) “Pregnant” Men Find How Tough Housework is for Their Wives (by K. Narisawa). Available at: <http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201611060012.html> (accessed 5 May 2017).
- Blommaert J., Bulcaen C. (2000) Critical Discourse Analysis. *Annual Review of Anthropology*, vol. 29, pp. 447–466.
- Brinton M. (1994) *Women and the Economic Miracle: Gender and Work in Postwar Japan*, Berkeley: University of California Press.
- Broadbent K. (2002) Flexibility at Work? The Feminisation of Part-Time Work in Japan. *Journal of Industrial Relations*, vol. 44, no 1, pp. 3–18.
- Fathering Japan (2017) IkuBoss Project. Available at: <http://fathering.jp/ikuboss/> (accessed 5 May 2017).
- Golovina K. (2017) *Nihon ni kurasu roshiajin josei no bunkajinruigaku: Ijū, kokusai kek-kon, jinseizukuri* [Russian Women in Japan: Migration, Marriage, and Life Crafting], Tokyo: Akashi Shoten.
- Hochschild A. R., Machung A. (1989) *The Second Shift*, New York: Avon Books.
- Ikezoe H. (2014) Work-Life Balance in Japan: Outline of Policies, Legal Systems and Actual Situations. *Japan Labor Review*, vol. 11, no 1, pp. 108–124.
- Inoue M., Nishikitani M., Tsurugano S. (2016) Female Non-Regular Workers in Japan: Their Current Status and Health. *Industrial Health*, vol. 54, pp. 521–527.

- Jancsary D., Höllerer M. A., Meyer, R. E. (2016) Critical Analysis of Visual and Multimodal Texts. *Methods of Critical Discourse Studies* (eds. R. Wodak, M. Meyer), Los Angeles: SAGE, pp. 180–204.
- Khosravinik M., Unger. J. W. (2016) Critical Discourse Studies and Social Media: Power, Resistance and Critique in Changing Media Ecologies. *Methods of Critical Discourse Studies* (eds. R. Wodak, M. Meyer), Los Angeles: SAGE, pp. 205–233.
- Kelly P. (2013) *The Self as Enterprise: Foucault and the Spirit of 21st Century Capitalism*, Farnham: Gower.
- LDP. (2014) Liberal Democratic Party Political Promises. Available at: [http://jimin.ncss.nifty.com/2014/political\\_promise/sen\\_shu47\\_promise.pdf](http://jimin.ncss.nifty.com/2014/political_promise/sen_shu47_promise.pdf) (accessed 5 May 2017).
- Macnaughtan H. (2006) From “Post-war” to “Post-bubble”: Contemporary Issues for Japanese Working Women. *Perspectives on Work, Employment and Society in Japan* (eds. P. Matanle, W. Lunsing), Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 31–57.
- MIC. (2016). 2016 Survey of Social Life. Available at: <http://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/pdf/youyaku2.pdf> (accessed 9 September 2017).
- Mukhina V., Golovina K. (2018, forthcoming) Zainichi roshiajin josei ijūsha kara mita gaikokujin josei no rōdōshijō he no tōgō: jendā shiten kara no kōsatsu [Labour Market Integration of Russian Women in Japan: A Gender Perspective]. *Tabunka kyōsei kenkyū nenpō* (Annual Review of Multicultural Studies), vol. 15.
- Nakatani A. (2006) The Emergence of “Nurturing Fathers”: Discourses and Practices of Fatherhood in Contemporary Japan. *The Changing Japanese Family* (eds. A. Takenaka, M. Rebeck), London: Routledge, pp. 94–108.
- Negra D. (2009) *What a Girl Wants? Fantasizing the Reclamation of Self in Postfeminism*, London: Routledge.
- Nemoto K. (2016) *Too Few Women at the Top: The Persistence of Inequality in Japan*, Ithaca: ILR Press.
- OECD. (2015) Japan Policy Brief. Available at: <https://www.oecd.org/policy-briefs/japan-greater-gender-equality-for-more-inclusive-growth.pdf> (accessed 8 August 2017).
- Ogasawara Y. (1998) *Office Ladies and Salaried Men: Power, Gender, and Work in Japanese Companies*, Berkeley: University of California Press.
- Padavic I., Robin J. E., Reid E. (2015) The Work-Family Narrative as a Social Defense. Available at: [http://www.hbs.edu/faculty/conferences/2013-w50-research-symposium/Documents/Gender\\_and\\_work\\_web\\_update2015.pdf](http://www.hbs.edu/faculty/conferences/2013-w50-research-symposium/Documents/Gender_and_work_web_update2015.pdf) (accessed 5 May 2017).
- Rebeck M. (2006) Changes in the Workplace and Their Impact on the Family. *The Changing Japanese Family* (eds. A. Takenaka, M. Rebeck), London: Routledge, pp. 75–93.
- Roberts G. S. (1994) *Staying on the Line: Blue-Collar Women in Contemporary Japan*, Honolulu: University of Hawaii.
- Roberts G. S. (2016) *Japan's Evolving Family: Voices from Young Urban Adults Navigating Change*, Honolulu: East-West Center.
- Saeki J. (2008) Beyond the Geisha Stereotype: Changing Images of “New Women” in Japanese Popular Culture. *A New Japan for the Twenty-First Century: An Inside Overview*

- of *Current Fundamental Changes and Problems* (ed. R. T. Segers), London: Routledge, pp. 187–197.
- Schieder C. S. (2014) Womenomics vs. Women: Neoliberal Cooptation of Feminism in Japan. *Meiji Journal of Political Science and Economics*, vol. 3, pp. 53–60.
- Statistics Bureau (2017) Labor Force Survey: Historical Data. Available at: <http://www.stat.go.jp/english/data/roudou/lngindex.htm> (accessed 8 August 2017).
- Street Z. (2013) Absent Fathers: Fatherhood in Moral Education Textbooks in Postwar Japan. *Manga Girl Seeks Herbivore Boy: Studying Japanese Gender at Cambridge* (eds. B. Steger, A. Koch), Wien: LIT, pp. 83–128.
- van Dijk T. (2013) Discourse and Knowledge. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=sxsf-WJRKEM> (accessed 11 November 2016).
- Varlamova M. (2014) Semeinaya politika v Yaponii [Family Policies in Japan]. *Demoskop Weekly*, no. 589–560, March 10–23, 2014. Available at: <http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0589/demoscope589.pdf> (accessed 8 August 2017).
- WEF. (2016). Global Gender Gap Index 2016. Available at: <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings/> (accessed 10 October 2017).
- Williams J. C., Berdahl J. L., Vandello J. A. (2015) Beyond Work-Life “Integration”. *Annual Review of Psychology*, vol. 67, pp. 515–539.
- Wodak R., Meyer M. (2016) Critical Discourse Studies: History, Agenda, Theory, and Methodology. *Methods of Critical Discourse Studies* (eds. R. Wodak, M. Meyer), Los Angeles: SAGE, pp. 2–22.

## Гендерный контракт в онлайн-рекламе в Японии: критический анализ современного дискурса «баланса работы—жизни»

Ксения Головина

PhD, ассистент-профессор, Центр стратегий глобальных коммуникаций, Токийский университет

Адрес: Komaba 3-8-1, Meguro Ward, Tokyo, Japan 153-8902

E-mail: [kgolovina@cgcs.c.u-tokyo.ac.jp](mailto:kgolovina@cgcs.c.u-tokyo.ac.jp)

Данная статья, в которой применен подход, основанный на мультимодальном критическом дискурс-анализе, рассматривает, как дискурсы, относящиеся к популярной концепции «баланса работы—жизни», выражаются в доступных в Интернете японских рекламных роликах. Далее, в исследовании анализируются нарративы проживающих в Японии работающих матерей, в которых последние делятся своими впечатлениями от просмотренных видео, а также идеями о «балансе работы—жизни». Таким образом, в статье предпринята попытка изучить влияние дискурсов, передаваемых через рекламу, на восприятие женщинами своих идентичностей как работников, партнёров и матерей. Детальный анализ мультимодальных данных позволил определить скрытые дискурсы «баланса работы—жизни», а также гендерных ролей, воспроизводимых в видео. Эти неявные дискурсы многолинейны и в большинстве случаев состоят в отношениях противоречия

с ключевым сообщением анализируемых рекламных роликов. Один из центральных посылов в извлеченных дискурсах – стимулирование однократных «героических поступков» японских мужчин по отношению к женам, выражающих мужские виноватую позицию и понимание ситуации женщин. В то же время, нарративы участниц исследования обнаружили их личное видение желаемого «баланса работы—жизни», одновременно выявив процесс бессознательного усвоения ими дискурсивных установок, передаваемых через рекламные видео. Цель исследования связана как с расширением области применения методов критического дискурс-анализа, так и с обогащением дискуссии, касающейся переформирования гендерных ролей, необходимого для внедрения в Японии как публичных, так и частных стратегий «баланса работы-жизни».

*Ключевые слова:* «баланс работы—жизни», мультимодальный критический дискурс-анализ, онлайн-реклама, гендерные роли, работающие матери

# Персональная идентичность в эпоху модерна: конструкт пациента в холистической медицине на примере гомеопатического метода

*Михаил Добровольский*

Аспирант аспирантской школы по социологическим наукам  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: [mdobrster@gmail.com](mailto:mdobrster@gmail.com)

Основной исследовательский вопрос статьи: каким образом представления о неопределенности персональной идентичности, характерные для модерна, конструируются на уровне обычных социальных практик. В качестве конкретного кейса выбрано одно из направлений холистической медицины — гомеопатия. На основе анализа текстов ключевых представителей неортодоксальной гомеопатии делается вывод о том, что современные гомеопаты, в отличие от основателей метода, ставят во главу угла психические, а не физиологические симптомы, постепенно формируя представления об уникальном личностном типе больного. Подобным же образом личностный тип переносится на гомеопатический препарат, в результате чего образы лекарства и пациента отождествляются. На передний план для гомеопатов-новаторов начинает выходить не просто личностный тип — важнейшей задачей становится поиск некой субстанции (психического нарушения), за которой прячется уникальная идентичность пациента. Персональный конструкт человека модерна — сильная личность, защищающая собственные границы, находящаяся в постоянном поиске собственной идентичности — переносится на тип недавно открытых гомеопатических препаратов, формируя, таким образом, представление о необходимости назначения новых препаратов для «новых людей», в образах которых угадываются типические личностные типы модерна. В статье также показано, как современные гомеопаты, исследуя свойства новых лекарств, переносят связанные с этими субстанциями традиционные культурные коннотации на свойства препаратов и таким образом примеривают на себя новые идентичности. На основании приведенных данных делается вывод о том, что подобный подход несет важную терапевтическую функцию, помогая индивиду «текущей современности», находящемуся в состоянии постоянных сомнений и неопределенности, примириться с этим состоянием.

*Ключевые слова:* модерн, персональная идентичность, индивидуализм, неопределенность, холистическая медицина, гомеопатия

История последних двухсот лет — время формирования индивидуума, как минимума в западных и вестернизированных обществах. Со времени индустриальной революции и урбанизации XIX века формируется человек самостоятельный — не как нечто по сути неотделимое от большого социального механизма (страты, семьи, конфессии и т. д.), — но именно как независимо существующий «кирпичик»,

составляющий сложное социальное здание, которое позднее стало именоваться промышленным капитализмом.

В условиях формирования «общества индивидов» (Элиас, 2001) начинают складываться и новые подходы к осознанию персональной идентичности как необходимого элемента самосознания и самоописания общества. Многие вещи, ранее не нуждавшиеся в дополнительных описательных конструкциях, потребовали новых объяснительных моделей. Например, Никлас Луман (2011, т. 2: 143) приводит пример появления концепции романтической любви двух самостоятельных индивидов как средства легитимации положения, при котором новый «принцип заключения браков — по крайней мере, по идее — нейтрализует вмешательство социального расслоения».

Наиболее остро потребность в новых описательных моделях возникла в профессиональной сфере, т. е. в той области, в которой человек в условиях новой экономики вынужден был делать выбор в пользу новой идентичности. Здесь можно привести пример описания профессионального призвания в работах Макса Вебера, для которого чрезвычайно важным является понятие «призвание» как способ конструирования нового индивидуального, в том числе морального выбора индивида. По его мнению, «это представление характерно для „социальной этики“ капиталистической культуры, а в известном смысле имеет для нее и конститутивное значение» (Вебер, 2016: 75).

Характерно, что даже такой советский/российский институт, как «трудовая династия», с точки зрения модерна выглядящий как очевидный социальный анахронизм, как раз отчетливо демонстрирует ценность осознанного выбора трудовой идентичности: изначально семейное воспитание в условиях «династии» полностью построено на том, чтобы объяснить детям необходимость следования установившимся ролям, но «как только символические статусы перестают приносить прибыль, младшие поколения могут потерять мотивацию к сохранению преемственности в профессиональной династии, что может привести к ее разрыву» (Посухова, 2013: 102).

Таким образом, «личная мотивация» в период модерна незаметно и необратимо становится безусловной ценностью, на которой основываются даже институты, внешне как будто подавляющие индивидуальность.

В условиях перехода от индустриальной к постиндустриальной экономике и обществу позднего модерна/постмодерна возникает новая ситуация, при которой «процесс индивидуализации и диверсификации ситуаций и стилей жизни... подтачивает иерархическую модель социальных классов и слоев и ставит под сомнение ее реальное содержание» (Бек, 2000: 69). Переход к новым типам экономической активности и приводит к формированию ситуации неопределенности идентичности: «Индивидуалист» возникает как специфический социальный тип, у которого есть, по крайней мере, потенциал для миграции по множеству доступных миров и который добровольно и сознательно конструирует „Я“ из „материала“ различных доступных ему идентичностей» (Бергер, Лукман, 1996: 80).

Если на первом этапе индивид приобретает четкую идентичность на основе собственного выбора («призвания»), то в дальнейшем возможности выбора становятся настолько широкими, что уже не требуют четкого самоопределения. Такая ситуация, с точки зрения Энтони Гидденса, чревата состоянием «экзистенциальной изоляции» (existential isolation), которая определяется не как простое отделение (separation) индивида от других, но как отделение от моральных ресурсов, необходимых для полноценного существования. Стремление к самореализации становится самоцелью и теряет моральные свойства (Giddens, 1991: 8).

При этом в условиях резкого увеличения темпа жизни и появления новых профессий, требующих постоянного освоения новых компетенций, «наступление мгновенности вводит человеческую культуру и этику на еще не нанесенную на карту и неизведанную территорию, где большинство приобретенных навыков решения жизненных проблем утратило свои полезность и смысл» (Бауман, 2008: 140). Пространство современного мира стремительно сжимается, а само «движение стало означать „способ проживания“ на земном шаре» (Урри, 2012: 68).

Эта своего рода децентрализация персональной реальности приводит к рождению восприятия мира модерна как кочевого пространства, причем такое восприятие проявляется как на уровне философского знания, в частности, в «детерриоризации» пространства и «ризоме» в «номадической философии» Делёза—Гваттари (2008), так и, например, в концепциях современного «кочевого» стиля жизни<sup>1</sup>.

В состоянии постоянного движения формируется такой тип идентичности, который британский социолог Майк Физерстоун, вслед за Паси Фальком и Колином Кемпбеллом называет *freestyle self*. Оно проявляется в поведении современного городского фланёра, который, в отличие от своего предшественника из XIX века, всего лишь прогуливающегося с тросточкой по парижским бульварам, преодолевает более значительные пространства, потребляя не только и не столько городские виды, сколько жизненный опыт (experience), перемещаясь между привязанностью и равнодушием, между чувством и знанием (Featherstone, 1997: 916; Falk, Campbell, 1997: 8).

В этой статье мы проанализируем, каким образом новый тип идентичности конструируется в реальных жизненных ситуациях модерна. В качестве конкретного кейса выбрана холистическая медицина, а именно одно из наиболее популярных ее направлений — гомеопатия.

Холистическая медицина часто называется одним из типических проявлений такого явления, как современные спиритуалистические практики (например, Davie, 1995: 108), по отношению к которым употребляются в том числе термины «движение нью-эйдж» (The New Age Movement), New Age/Holistic Spirituality и т. д. Последний охарактеризован британским религиоведом, одним из наиболее влиятельных современных исследователей этого феномена, Полом Хиласом, как

---

1. Кочевой стиль жизни начинает восприниматься как некая современная мода. Публикуются и своего рода руководства, посвященные тому, как с наибольшим комфортом организовать свой быт, например: «The New Nomads: Temporary Spaces and a Life on the Move» (Galindo, Klanten, Ehmann, 2015).

«постмодернистская религия общества потребления» (Heelas, 1994). Причем, с точки зрения Хиласа, именно медицинские практики наиболее точно отражают сущность нью-эйджа как целостной идеологии (Heelas, 2007; Heelas, Woodhead 2005).

Как отмечают большинство авторов, одной из основных особенностей идеологии Holistic Spirituality, объединяющей его разнообразные направления, является концентрация на персональных жизненных стратегиях. Такие термины, как «саморазвитие», «самоактуализация», «самореализация», оказываются ключевыми для современных спиритуалистических практик (Hedges, Beckford, 2000: 178). Как отмечает Воутер Ханеграаф, значительное внимание в подобных практиках уделяется сотворению собственной реальности: всё, что происходит с человеком, — происходит по какой-то причине, и главная задача человека — понять, в чем она заключается (Hanegraaff, 1996: 233).

Характерно, что в «Невидимой религии», опубликованной в 1967 году, т. е. практически в момент рождения нью-эйджа, Томас Лукман пишет о том, что изменения в духовной сфере провоцируются освобождением индивидуального самознания от социальной структуры, порождающим «отчасти иллюзорное» чувство автономии (Luckmann, 1967: 97).

Гомеопатия — одно из типических проявлений холистической медицины и влиятельная спиритуалистическая практика. Последний всплеск внимания к гомеопатии в России наблюдался в феврале 2017 года, когда комиссия по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии»<sup>2</sup>. Это заявление было неоднозначно встречено многими медицинскими экспертами<sup>3</sup> и публицистами<sup>4</sup>. При этом, по данным опроса компании Online Market Intelligence, проведенного в марте 2016 года для еженедельника «Коммерсантъ-Деньги», 10,5 % респондентов приобретали по собственной инициативе гомеопатические лекарства<sup>5</sup>. 12 % опрошенных ВЦИОМ россиян ответили утвердительно на предложение «Я и мои родственники лечились»<sup>6</sup>.

Гомеопатию можно условно разделить на три магистральных направления. К первому относится лечение комплексными гомеопатическими препаратами, т. е. универсальными, созданными на основе нескольких базовых лекарств. Они в основном продаются в обычных аптеках. Для большинства потенциальных пациентов это и есть гомеопатия. Ко второму направлению относится так называемая «классическая гомеопатия», которая старается строго следовать принципам, заложенным основателями метода, такими как Самуэль Ганеман, Клеменс Мария фон Беннинсхаузен, Константин Геринг, Генри Аллен и др. К третьему — современные направления, отделившиеся от «классических».

---

2. <https://www.kommersant.ru/doc/3211588>

3. <http://tass.ru/nauka/3999842>; <http://tass.ru/nauka/4000368>

4. <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/10/677056-gomeopatiyu-pokoe>

5. <https://www.kommersant.ru/doc/2922617>

6. <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116065>

Настоящая статья посвящена анализу того, как конструируется представление о персональной идентичности на примере пациента неклассических направлений гомеопатии. Как представляется, именно эти направления в наибольшей степени соответствуют видению современной холистической медицины как разновидности спиритуалистических практик. Характерно, что холистическая медицина, помимо прочего, использует более-менее типичные концепции личностного развития, а также обращается к другим мистическим направлениям (например, таким как астрология). Наш анализ в данном случае будет сосредоточен на двух основных вопросах:

Каким образом и с помощью каких категорий конструируется представление о неопределенности персональной идентичности пациента? Как именно в образе пациента врачом-гомеопатом видится именно человек модерна? Кто он, каковы его особенности?

### Концепция генеральной делюзии и «ощущения-царства»

Гомеопатия представляет собой интересный феномен концепции, отражающей многие архаические, отчасти донаучные, представления, которая смогла сохраниться, несмотря на позитивистскую критику XIX века, и дожить до наших дней, будучи воспринимаемой во многом пусть как альтернативная, но медицина. В частности, в Великобритании до недавнего времени были доступны университетские курсы бакалавриата по гомеопатии<sup>7</sup>, а в СССР и России гомеопатическая литература публикуется в академических изданиях (например, Терешина, Костеникова, Самылина, 2011; Сошенко, Кухарская, 2008).

В основе концепции гомеопатического лечения лежит понятие «жизненной силы» пациента. Основатель метода Самуэль Ганеман в своей работе «Органон врачебного искусства», которая считается своего рода Библией гомеопатии, пишет о том, что «в здоровом состоянии человека духовная жизненная сила (самоуправляемая), этот двигатель, одушевляющий материальное тело (организм), управляет им с неограниченной властью» (Ганеман, 1992: 31). Когда же человек заболевает, его жизненная сила «поражается динамическим влиянием (*Materia peccans*) болезнетворного, враждебного жизни агента» (Там же). В свою очередь, «динамическое влияние» болезни может быть устранено противоположным «динамическим влиянием» лекарства (Там же: 32), которое должно быть назначено «в точности в соответствии с подобием симптомов. Благодаря этому ощущение естественной (более слабой) динамической болезни ослабевает и исчезает» (Там же: 35). Для того чтобы воздействие лекарства было максимальным, оно должно быть потенцировано, то есть разбавлено до такого состояния, что следов действующего вещества в нем уже не остается, но сохраняется и усиливается «динамическая сила» (Там же: 88).

---

7. <https://www.ft.com/content/e2772e34-45ao-11de-b6c8-00144feabdco>

Концепция «жизненной силы» относится к домодерному периоду развития научной мысли. Именно о подобных спекулятивных категориях писал Огюст Конт, характеризовавший «метафизическую», т. е. донаучную стадию развития мышления: «метафизика пытается... объяснить внутреннюю природу существ, начало и назначение всех вещей, основной способ образования всех явлений, но вместо того, чтобы прибегать к помощи сверхъестественных факторов, она их все более и более заменяет сущностями (entites), или олицетворенными абстракциями...» (Конт, 2003: 65). Действительно, в XVII–XVIII веках в научной среде существовали многочисленные представления о «сущностях» или «энергиях» (таких как, например, «теплород»), использовавшихся для построения объяснительных моделей. В химии, биологии и медицине к таким моделям относились различные теории «витальности», а также разработанная Георгом-Эрнстом фон Шталем концепция сверхтонкой огненной материи или флогистона и ганемановская «жизненная сила» (Сорокина, 2008: 140).

Гомеопатия в этом ряду примечательна тем, что, не отступая от своего изначального и центрального представления («концепции») о «жизненной силе», сохранилась как дисциплина, претендующая на официальный статус и научность.

Во второй половине XX — начале XXI века гомеопатия развивалась достаточно динамично; стали появляться такие знаковые для отрасли фигуры, как Джордж Витулкас, Джереми Шерр, Люк де Схеппер и др.

Сегодня Индия является страной, в которой гомеопатия многие годы поддерживается на государственном уровне и находится в ведении специального министерства AYUSH (аббревиатура образована от названий основных направлений традиционной для страны медицины: аюрведа, йога, унани, сиддха, гомеопатия)<sup>8</sup>. По данным исследования, проведенного в 2007 году в штате Западная Бенгалия, порядка 20 % жителей этого региона Индии пользовались услугами гомеопатов, при среднем уровне по стране в 15 % (Yadav, Pandey, Singh, 2007).

В этой связи не удивительно, что именно в Индии, с одной стороны, работает очень много всемирно известных гомеопатов, а с другой — сама по себе гомеопатия активно развивается, в том числе обретая новые, зачастую экзотические формы. В частности, именно здесь появилось одно из наиболее значительных направлений современной гомеопатии, ставшее крайне популярным, в том числе и в России. Это так называемый «метод ощущений» (sensation method).

Метод ощущений в основном ассоциируется с «Бомбейской школой» и в первую очередь с фигурой Раджана Шанкарана, который давно приобрел культовый статус в гомеопатических кругах. Достаточно широкую известность получили также Дивья Чабра (жена Шанкарана), Миша Норланд и др.

Собственно, сама фигура Шанкарана во многом является символической, олицетворяющей водораздел между классической и неклассической, неортодоксальной гомеопатией. Например, редактор онлайн-издания Homeopathy for Everyone

---

8. <http://ayush.gov.in/about-us/about-the-ministry>

(Hpathy.com) Ватсала Сперлинг, задавая вопрос известным индийским гомеопатам, супругам Бхавиша и Сачиндра Джоши, говорит о том, что мир гомеопатии делится на две группы: представители одной из них практикуют «старую добрую гомеопатию» и отвергают своих коллег, приверженных «методу ощущений» (Sensation method) Шанкарана<sup>9</sup>.

Представления Шанкарана о болезни с течением времени претерпели существенные изменения. На начальном этапе ее происхождение приписывалось исключительно психическим, а точнее, психологическим факторам. В двух словах этот подход изложен в книге «Дух гомеопатии»: «Болезнь — это установка, состояние бытия, соответствующее определенной ситуации, которой не существует на самом деле» (Шанкаран, 2005: 43). Ключевым термином здесь является «делюзия» (delusion) или «генеральная делюзия».

Для Шанкарана делюзия — искаженное представление о реальности вокруг и о самом себе. Он, в частности, использует для объяснения формирования этого феномена такой пример: у хромого, который ведет себя так, как подобает хромоте, есть сын, и сын не хромым, но усвоил образец поведения хромого. В результате мы видим собственно делюзию: «сложившийся тип реакции без явной причины» (Там же: 50). Постепенно создается ситуация, при которой «делюзия захватывает эго. Эго ощущает себя в невыгодном положении с утратой идентификации, индивидуальности, безопасности или престижа и т. д., но не знает почему». В результате «ситуация создает состояние, состояние создает тип поведения, тип поведения поражает эго, а эго создает такую ситуацию, которая оправдывала бы этот тип поведения» (Там же). Так формируется то, что Шанкаран называет «центральным нарушением».

Таким образом, Шанкаран здесь пока еще не сильно выходит за рамки традиционной гомеопатии. Безусловно, его видение болезни крайне «психологизировано», сам он для объяснения этой концепции часто прибегает к помощи психологии, например, обильно цитирует Юнга (Шанкаран, 2005: 64). Иными словами, его видение болезни похоже на описание такого популярного понятия, как «психосоматическое заболевание». Как замечает Г. Арина, в современной науке и массовом сознании «мифологический панпсихологизм прекрасно уживается с „научным“ представлением о здоровом теле как хорошо отлаженной машине, для которой вмешательство психологических (сознательных) сил только разрушительно» (Арина, 1991: 45).

Однако позднее Шанкаран формулирует более радикальную концепцию, в которой делюзия уже является не причиной, но следствием более глубоких внешних причин. Эта концепция подробно изложена в работе «Ощущение в гомеопатии», где появляется и концепция «царств», так же как и само понятие «ощущения».

Шанкаран приходит к выводу, что «анормальное ощущение в болезни — это характеристика чего-то еще на планете, а не человеческого существа, и таким спо-

---

9. <http://hpathy.com/homeopathy-interviews/bhavisha-sachindra-joshi/>

собом, как и нарушенная энергетическая модель, аномальное ощущение также не является человеческим... Все субстанции и существа на этой земле можно классифицировать на три основных царства: растение, животное и минерал. Ощущение — это то, что человек разделяет с представителями растительного, животного и минерального царств. Аномальное ощущение болезни больше характерно для них, и таким способом в болезни человек связан с царствами через ощущение» (Шанкаран, 2006: 258).

Несмотря на то что идея «ощущения-царства» внешне сильно отличается от первоначального понимания делюзии, так как уходит уже в спиритуалистическую область, в отношении восприятия личности пациента обе концепции, по сути, крайне схожи. В обоих случаях мы видим повышенное внимание к конкретной личности пациента.

Здесь необходимо уточнение. Изначально гомеопаты описывали и физиологический, и психический комплексы симптомов, характерных для конкретного больного. Постепенно психические особенности стали занимать особо важное место. Например, мы можем сравнить характеристики препарата фосфора (*Phosphorus*) в классическом описании Джемса Тейлора Кента, созданном в конце XIX века, где приводятся исключительно физиологические симптомы препарата (Кент, 2006), и написанную почти сто лет спустя книгу «Портреты гомеопатических препаратов» Кэтрин Култер, в которой в большом количестве появляются даже не психические симптомы, а именно описания личностного типа: «У нее было типично фосфорное кокетство, и она знала, как вызвать восхищение мужчин» (Култер, 1998: 174).

Однако спецификой подхода Шанкарана является не просто замещение всех остальных симптомов психологическими, но именно обращение непосредственно к его личности — это, — или даже «истинной природе». Изменение подхода от делюзии, как причины «центрального нарушения», к посторонней сущности внутри пациента, мешающей нормально существовать его человеческой натуре, вполне закономерно и отражает новый подход к осознанию отдельного человека как уникального, ни на кого не похожего индивидуума. Шанкаран не рассуждает, подобно классикам XIX века, о «мужчине-сульфуре» или «женщине-фосфоре», как представителях ограниченного набора психофизиологических симптомов, но говорит либо об уникальном личностном нарушении, симптомы которого могут соответствовать определенному лекарству, либо о вмешательстве неких инородных сил в человеческую природу.

В итоге, с одной стороны, пациент имеет выраженную субъектность, а с другой — эта субъектность от нас скрыта или не проявлена. Она требует быть проясненной. Данная ситуация хорошо описывается Томасом Лукманом, который говорит о том, что «Члены современных индустриальных обществ, может быть, и живут в однородной... повседневной реальности, но эта реальность больше не связана с однородной внеповседневной реальностью» (Лукман, 2014: 15).

Можно сказать, что «метод ощущений» конструирует мировидение человека модерна, для которого осознание привычного, устоявшегося миропорядка рушится. Некая привычная «нормальность», традиционная повседневность перестает быть таковой и оказывается тисками, угрожающими даже самой человеческой природе. Неделимое ранее (простой человеческий тип, «обычный человек») целое распадается на собственно уникальную личность и нечто привнесенное извне, мешающее ее нормальной, полноценной жизни.

В некотором роде здесь можно говорить о символическом описании выделения индивида из «больших социальных групп», когда «люди освобождаются от классово окрашенных отношений и форм жизнеобеспечения в семье и начинают в большей мере зависеть от самих себя и своей индивидуальной судьбы на рынке труда с ее рисками, шансами и противоречиями» (Бек, 2000: 65). Само по себе признание «враждебного агента» в пациенте сепарирует его истинную природу от постороннего воздействия, отделяя скрытую сущность. Причем символически может быть важно и то, что «враждебный агент» представлен иной, внечеловеческой (антигуманной) формой жизни.

Шанкаран, разделяя истинную и ложную природы, выступает в качестве своего рода повитухи, помогающей родиться индивиду из несформированного хаоса. Новорожденный ребенок в момент появления на свет испытывает стресс, вызванный резким разрывом общей с матерью среды обитания (в данном случае осознанием наличия привнесенной извне сущности). Но потом постепенно он вырастает, становясь полноценным человеком.

### **Цикл человеческой жизни и новые социальные реалии в гомеопатии**

Если Раджан Шанкаран разработал общую концепцию «царств», то его нидерландский коллега Ян Схолтен скорее известен предсказаниями свойств новых препаратов, в первую очередь созданных на основе химических элементов. Системе Схолтена, безусловно, стоит быть подробно описанной, так как ее внутреннее устройство чрезвычайно наглядно демонстрирует новое понимание человека и человеческого. Такое понимание имеет дело уже не с неким безликим «личностным типом», но с попыткой целостного описания цикла человеческой жизни от рождения до смерти.

Химические элементы в системе Схолтена, так же как и в оригинальной таблице элементов Менделеева, делятся на 7 горизонтальных рядов и 18 столбцов, каждому из которых сообщаются уникальные свойства, соответствующие стадиям человеческого развития (Схолтен, 2003).

Ряды элементов — это типы людей, которым соответствует определенная стадия личностного развития. Так, первый ряд — ряд водорода. Это стадия до рождения. Ряд углерода — стадия детства и т. д. Возраст здесь скорее символичен, он обозначает в первую очередь уровень развития конкретной личности, его, выражаясь терминами Бурдьё, место на поле социальной игры. Так, люди серии угле-

рода — более примитивные, детские, но и более невинные; серия железа — взрослый, но в то же время простой человек, наемный работник; серия золота — не просто пожилой человек, но начальник, управленец, тот, кто способен повелевать другими и т. п.

В то же время не меньшую роль играют и стадии, которые символизируют жизненный путь конкретной личности. Например, первая стадия описывает спонтанный старт, импульсивное начало деятельности, ведущее к необдуманным поступкам. Вторая стадия — неуверенность, робость. Восхождение к цели продолжается до 10-й стадии, на которой цель деятельности достигнута полностью. Далее идет постепенный отказ от деятельности, приводящий в итоге к самоустраниению. Стадии 18 соответствуют такие понятия, как «отдых», «сон», «медитация», «кома», «смерть». Это состояние человека, ушедшего от дел, бродяги, философа или дауншифтера.

Соответственно, и лекарства из разных групп одного ряда показаны разным типам людей. Если говорить о серии золота, то вот как выглядит *Caesium metallicum* (т. е. чистый Цезий), элемент из первого ряда: «Они — новички, ищущие власти. Им нравится, чтобы их планы были реализованы в максимально сжатые сроки». С другой стороны, «зачастую они не продумывают тщательно свои планы». Это приводит к тому, что «они похожи на глупого директора, который считает, что организация может сама позаботиться о себе». В итоге «люди понимают, что происходит, и перестают их слушать. Их больше не принимают всерьез, с ними больше не обсуждают никаких вопросов» (Там же: 742).

Портрет *Platina Metallica* (10-й ряд) уже соответствует уровню зрелого руководителя: «Они — хорошие руководители и знают, как вести организацию в нужном направлении. Когда они берут на себя ответственность, бизнес процветает. Эти люди — как благородный король, господство которого приносит процветание всем его подданным». В то же время «успех может стать причиной высокомерия, эти люди могут стать примером абсолютной надменности. Они достигли вершины, они на голову выше обычных людей» (Там же: 801).

Как можно видеть, с одной стороны, Схолтен «осовременивает» свойства элементов, психологические характеристики которых в его трактовке соответствуют реалиям конца XX — начала XXI века (тема управления бизнесом). С другой — он вводит новые препараты, по сути, предсказывая их свойства (например, он подчеркивает, что получить *Caesium metallicum* практически невозможно), которые, по его мнению, более всего подходят реалиям современности.

Здесь мы можем наблюдать не столько обращение к теме уникальности каждого пациента. В «Гомеопатии и элементах» Схолтена интересует, скорее, становление человеческого в человеке. В некотором роде эту систему можно назвать «гомеопатическим экзистенциализмом».

Но наиболее интересная из работ Схолтена, в которой в полной мере отражена проблематика настоящей статьи, называется «Таинственные лантаноиды». В ней описываются препараты серии золота с атомными номерами от 57-го (лантан) по

71-й (лютеций), которые не включены в основную часть таблицы и располагаются внизу, будучи выделены в отдельную группу. Лантаноиды — редкоземельные элементы, и это, по мнению Схолтена, чрезвычайно важно для их анализа, равно как и тот факт, что они не находятся в основной части периодической таблицы, оставаясь как будто скрытыми.

Главной темой лантаноидов, относящихся к элементам, связанным с управлением другими (серия золота), является не сама власть, но подготовка к ее обладанию, т.е. обретение власти над самими собой. Таким образом, главное слово для лантаноидов — «свобода». По словам Схолтена, «лантаноиды желают свободы, вольности, независимости и самодостаточности. Они хотят управлять собственной жизнью... Они могут походить на анархистов. Такие люди не терпят деспотизма, диктата, власти над собой, манипулирования и указаний... Они твердо придерживаются собственного мнения, даже когда все остальные думают иначе» (Схолтен, 2009: 59).

Но самое главное — лантаноиды соответствуют третьей стадии, стадии выбора, в данном случае — стадии выбора стратегии, выбора пути. Таким образом, мы видим описание людей, занятых поисками себя, пытающихся научиться управлять собственной жизнью. Свободолюбие и иногда даже яростная защита собственных границ у таких людей, по Схолтену, происходит из двух оснований: во-первых, это все-таки серия золота, т.е. это пусть пока еще юные, не определившиеся, но — властители. Во-вторых, это портрет «юноши, обдумывающего житьё», т.е. человека с неустойчивым мироощущением, который защищается от внешнего мира, уходит в себя, пытается, наконец, определиться через окончательный выбор.

Согласно Схолтену, «лантаноиды поистине являются лекарствами нового времени... Современные тенденции развития личности, типа планирования карьерного роста и непрерывного обучения, соответствуют теме лантаноидов... Они хотят жить собственной жизнью. Они используют наркотики для того, чтобы проникнуть в свой внутренний мир и открыть его для себя. Они применяют нетрадиционные методы лечения, которые помогают им понять себя и источник своих заболеваний и проблем» (Там же: 78). В целом получается, что «относительной большой процент пациентов относится к лантаноидному типу» (Там же: 79). Лантаноиды даже аккумулируют ключевые «новые» болезни и обсуждаемые социальные проблемы. Например, к наиболее типичным для этой группы препаратов (и пациентов) относятся дислексия (Там же: 95), аллергия, «последствия прививок»<sup>10</sup> и аутоиммунные заболевания (Там же: 65), СПИД (Там же: 97). Пациенты Схолтена, которым показаны лантаноиды, очень часто пережили насилие в детском возрасте (в том числе сексуальное) (Там же: 104, 240, 362, 381, 429, 433). СПИД является основной темой такого элемента, как Туллий: в главе, посвященной лекарству на основе *Thullium carbonicum* (карбонат туллия), описывается случай зараженного ВИЧ гея (Там же: 419). Насилие и сексуальные проблемы, а также

10. Прививки и их негативные последствия являются одной из ключевых тем для современной гомеопатии (например, Коток, 2010).

тема борьбы за самоопределение явным образом перекликаются с темой борьбы за гражданские права, в том числе права меньшинств. Эта тема очевидно является одним из ключевых проявлений модерна.

Описывая случай назначения *Gadolinium muriaticum* (хлорид гадолиния), Схолтен для обоснования выбора лекарства приводит типичные признаки лантаноидов в анамнезе пациентки: «любит свободу, позволяет другим быть свободными, творческая натура, сохраняет независимость, йога, медитация» (Там же: 315). Здесь необходимо уточнение: Схолтен не увязывает лантаноиды исключительно с «новой религиозностью» или нью-эйджом — по его мнению, для этой серии препаратов характерен интерес к духовной или религиозной сфере вообще. Скорее, интерес к «духовности» является следствием «желания найти собственный путь в жизни» (Там же: 164). Однако чаще всего духовность лантаноидам присуща именно альтернативная, как способ проявления их новаторства и свободолюбивой натуры.

Таким образом, используя клиническую картину нового вида препаратов, Схолтен описывает человека модерна, человека с неопределенной идентичностью, человека, пытающегося защитить собственные границы, и, самое главное, человека, стремящегося стать сувереном над самим собой. Используемые автором коннотации явно позитивны, «лантаноид» — это в некотором роде новый романтический герой, стремящейся к описанной гуманистическими психологами «самоактуализации» (Роджерс, 1994), активно преодолевающий препятствия, а главная его проблема — неуверенность в себе.

Формально с точки зрения гомеопатической философии Шанкаран и Схолтен по-разному видят пациента. Если для первого важно отделить человеческое от «нечеловеческого» и таким образом дать нормально развиваться освобожденной личности, то второй в большей степени находится в рамках классического подхода и скорее воспринимает человека и показанное ему лекарство как единое целое. Однако, с другой стороны, Схолтен символически оказывается продолжателем Шанкарана, выступающего «повивальной бабкой» индивида, так как исходит из представления о возможности назначения «новых» лекарств для «новых» людей, т. е. понимает необходимость адаптации к наблюдаемым им социальным изменениям.

Здесь можно видеть своего рода мировоззренческую преемственность: рожденный Шанкараном индивид в описании Схолтена взрослеет и как раз находится на символическом перепутье, в состоянии выбора, состоянии неопределенности персональной идентичности и борьбы за право быть собой.

Если в работах социальных теоретиков состояние личной неопределенности описывается нейтрально или даже негативно, то в отношении схолтеновских лантаноидов можно говорить о легитимации самого состояния через использование исключительно позитивных коннотаций: свободы, независимости, творчества. Индивид в системе Схолтена не рефлексировал о причинах неопределенности: она является для него, «нового человека», занимающегося новыми видами деятельно-

сти и даже болеющего «новыми болезнями», просто неким предзаданным состоянием, которое необходимо обживать.

### Новые препараты. Прувинги

Пример Яна Схолтена демонстрирует то, как гомеопаты могут изучать и даже предсказывать свойства новых препаратов. Однако следует заметить, что приведенные описания представителей «минерального царства», в общем, укладываются в рамки некой замкнутой системы. Безусловно, Схолтен вводит новые, ранее неиспользуемые элементы, но их количество в целом ограничено рамками периодической таблицы.

В то же время современные гомеопаты все чаще приходят к пониманию того, что гомеопатическим препаратом может быть вообще все что угодно. Сравнительно недавно появилось представление о царстве «нематериальных объектов», к которым могут относиться физические явления (электричество, элементарные частицы), планеты и даже абсолютное ничто: например, в британской гомеопатической аптеке Helios можно приобрести препарат на основе вакуума<sup>11</sup>.

Исследованиями воздействия препаратов на основе нематериальных объектов занимались в том числе упомянутые выше супруги Джоши. Типические признаки этого «царства» схожи с признаками лантаноидов: новые препараты для «новых» людей. В то же время в описании нематериальных объектов гораздо четче прослеживаются признаки «духовных» личностей, адептов современных спиритуалистических практик. В частности, выделяются такие черты, как мощная индивидуальность. «Ясное понимание всего мира. Мощные личности». Понимание единства всего сущего, холистическое мировоззрение, характерное для идеологии нью-эйдж: «Ощущение широты мира. Вся толпа — единая личность, одна сущность. Мир связан»<sup>12</sup>.

Основой для изучения новых препаратов являются прувинги (provings). Методологическая база для их проведения изложена еще в «Органоне» Ганемана: «Целебная сила наиболее четко и ясно обнаруживается при испытаниях лекарств на здоровых людях» (Ганеман, 1992: 48). Современные гомеопаты, особенно разделяющие концепцию «царств», проводят прувинги достаточно активно. Появление множества новых препаратов в сочетании с психологизированием их симптомов приводит к описанию бесконечного количества новых идентичностей и, в общем, карнавальному характеру их использования.

Британско-израильский гомеопат Джереми Шерр, активно занимающийся организацией прувингов, в одном из своих интервью сетует на то, что испытания лекарств часто очень тесно увязывают свойства препарата и мифологию: «К примеру, проводится прувинг тигра. Организаторы постоянно думают о тигре, смотрят на прувинг через „тигровые“ очки и потому всячески подчеркивают то, что

11. <https://www.helios.co.uk/shop/vacuum>

12. [http://www.lurie.ru/articles/articles-homeo/articles\\_46.html](http://www.lurie.ru/articles/articles-homeo/articles_46.html)

согласуется с образом тигра и его мифологией. Это превращается в основную тему прувинга, например, «разве не удивительно, что одному из участников приснилось, что он тигр; другие хотели прыгать, у них были полосатые пижамы»<sup>13</sup>.

В качестве иллюстрации можно привести описания прувингов, выложенных на сайте московского гомеопата Ольги Фатулы. Например, описание эффекта препарата, приготовленного на основе излучения планеты Юпитер.

Сначала описываются свойства самой планеты и связанные с ней культурные (религиозные) коннотации: «В античной греческой и римской мифологии Юпитер (он же Зевс) — Громовержец, верховный Бог. В индийской мифологии Гуру или Брихаспати (некоторые из имен Бога, воплощенного в планете Юпитер) — это наставник, учитель Богов... Гуру тучный, с широкой и выпуклой грудью, внушительным животом, высокий, с золотыми глазами и волосами, он любит мед и финики... отвечает за благосостояние, духовный рост, бодрость, радость и изобилие в жизни, за детей и продолжение рода, за любое развитие и расширение, за зрелища и развлечения, ритуалы и празднества... В теле Юпитер отвечает за жировую ткань и печень»<sup>14</sup>.

Уже на этапе подготовки к потенцированию «Вдруг началась гроза. Страх и восторг». В процессе потенцирования его участникам «захотелось кушать. Сначала в ход пошло то, что было рядом, — клубника, шарлотка. Но голод нарастает, как и желание покушать. ХОРОШО и красиво покушать (3): вкусно, в ресторане, изысканное, хорошо приготовленное, с правильным соусом (усиливается)». В конце потенцирования «Закончили! Предложение ехать в ресторан (23 часа ночи). Настроение замечательное. Шутим. Хохочем. Желания: суши, паста с соусом, сытная. 23.10: На улице опять фейерверк»<sup>15</sup>.

Иными словами, уже на этапе приготовления препарата (!) участники переживают ощущения, связанные с его предсказанными свойствами: гроза (Юпитер-громовержец), повышение аппетита (образ тучного божества, любящего сладости и отвечающего за жировую ткань организма) и т. д.

Новые лекарства часто прямо описывают законченный личностный тип. Например, Дивья Чабра приводит результаты прувинга препарата на основе кошачьего молока (*Lac felinum*), в результате которого у всех испытуемых сложилось целостное понимание, а именно образ «проститутки»<sup>16</sup>. Здесь, так же как и в случае с Юпитером, культурные коннотации препарата чудесным образом совпадают с тем эффектом, который он оказывает на испытуемых: образ кошки в западной и русской культуре традиционно увязывается с женской сексуальностью (грациозна как кошка), фертильностью (плодовита как кошка) и сексуальной свободой, например, в английском языке выражение *alley cat* буквально означает «гуляю-

13. <http://homeoint.ru/homeopathy/essence/sherr.htm>

14. [http://provings.fatula.ru/jupiter\\_r.php](http://provings.fatula.ru/jupiter_r.php)

15. Там же

16. <http://homeoint.ru/homeopathy/essence/habich.htm>

щая по аллеям кошка, в субстандарте — легкодоступная женщина» (Метельская, 2011: 166).

Как мы видим, новые препараты используются в качестве способа описания новых идентичностей (нематериальные объекты), а также как легитимация любого, в том числе социально неодобряемого, поведения («проститутка» в случае *Lac felinum*). Таким образом, практически для каждого индивидуума можно найти его уникальную сущность, связанную с представителем одного из трех или, если использовать и нематериальные объекты, четырех «царств» природы.

В приведенном примере прувинга Юпитера можно наблюдать и то, как гомеопаты думают уже не только о пациенте, но вступают в увлекательную игру по примериванию разнообразных новых идентичностей на самих себя и своих знакомых.

С одной стороны, прувинги демонстрируют возможность выбора персональной жизненной стратегии в условиях неопределенности идентичности. Светлана Баньковская описывает современного человека, который «свой жизненный нарратив формулирует не в выражениях типа „Так случилось“, а в выражениях типа „Я так хотел“» (Баньковская, 2002; Bankovskaya, 2014: 102). Прувинги — это своего рода эксперимент с идентичностью, в котором участник несет всю полноту ответственности за последствия, т. е. это свободный человек, способный сам принимать решения относительно собственной судьбы. Употребление тех или иных препаратов, с точки зрения гомеопатов, это не игра — оно может нанести серьезный физический и психический урон организму. Например, упомянутая уже Ольга Фатула описывает прувинг препарата, изготовленного на основе излучения Сатурна, как крайне болезненный для испытуемых: «Несмотря на тяжелые и продолжительные физические симптомы (чего стоит одна только пневмония продолжительностью в шесть месяцев!), глубина внутренних переживаний и масштабы личностных открытий испытуемых не позволяют нам прервать процесс»<sup>17</sup>.

С другой стороны, прувинги можно воспринимать как способ непосредственного экспериментального конструирования новых жизненных миров. Врач-гомеопат играет роль своего рода демиурга, формирующего новые идентичности. Он выступает в качестве непосредственного агента социальных изменений, напрямую конструируя их и помогая пациенту найти свою собственную, уникальную природную сущность.

## Заключение

На примере современной гомеопатии мы можем наблюдать то, каким образом в обычных практиках модерна конструируется представление о неопределенности персональной идентичности и способах преодоления этой ситуации.

С одной стороны, происходит индивидуализация образов больного и показанного ему лекарства, транзит от понимания пациента как простого набора сим-

---

17. [http://provings.fatula.ru/saturn\\_r.php](http://provings.fatula.ru/saturn_r.php)

птомов к видению его в качестве уникальной личности. Сам образ болезни теперь — образ сугубо психологический, а физические симптомы выступают лишь в качестве некой подпорки. Как хорошо заметно в концепции Шанкарана, грубые поражения тела являются вторичными по отношению к тонким болезням души, вызванным либо «генеральной делюзией», либо вторжением «постороннего агента». Соответственно, и описания лекарств становятся все более психологизированными.

Кроме того, можно наблюдать переход от характерного для классиков гомеопатии схематичного видения симптомов пациента к формированию представления об его уникальности. Именно этому уникальному пациенту требуется его уникальное лекарство. Конечно же, скорее всего, пациент представляет собой «простой случай», но гомеопат должен постоянно быть готов увидеть перед собой уникаму и, как это мы можем предположить, удивительным образом постоянно сталкивается именно с уникамами. Открытие новых и новых препаратов предполагает расширение набора личностных типов практически до бесконечности.

Во-вторых, несмотря на очевидное наличие индивидуальности у пациента, представители современной гомеопатии не просто лечат его, учитывая индивидуальность, — их главной задачей является поиск этой самой индивидуальности. В системе Шанкарана врач знает об уникальности пациента, но она скрыта от него болезнью. Собственно, индивидуальность здесь скорее является ноуменом, в то время как врач ищет феномены, индивидуальность скрывающие/подавляющие. Неопределенность идентичности здесь проявляется в наиболее явной форме.

В случае Схолтена врач изучает личность в динамике ее развития, учитывая ее «психологический возраст» и помогая, таким образом, раскрыть ее «внутренний потенциал». Кроме того, чрезвычайно важно описание препаратов, приготовленных на основе редкоземельных элементов (лантаноидов), в котором автор говорит о человеке, занятом поисками идентичности, или, в терминах Схолтена, о властителе, который только ищет собственную силу и стремится сначала обрести власть над самим собой.

Здесь на примере конкретных жизненных ситуаций (а точнее, описаний личностных типов, соответствующих определенным гомеопатическим препаратам) легитимизируется процесс постоянных изменений, бесконечного их потока, которые могут быть не столько средством, сколько целью. Например, британский гомеопат, сторонник «метода ощущений», Миша Норланд, говорит о том, что, уменьшая проявления болезни, гомеопатия помогает человеку достичь более высокой цели своего существования (the higher purpose of existence). Или, другими словами, это путешествие познающей себя души (soul's journey revealing itself)<sup>18</sup>.

В-третьих, исследование свойств новых препаратов превращается в карнавал, в ходе которого испытатели (собственно сами врачи-гомеопаты, а также широкий круг интересующихся, друзья, родственники и т.д.) примеряют новые идентич-

---

18. <http://hpathy.com/homeopathy-interviews/interview-april-2017-misha-norland/>

ности-образы, связанные с культурной символикой того или иного вещества, растения или животного. Это уже похоже на описанную Энтони Гидденсом постоянную смену лайфстайлов как осознанную жизненную стратегию (Giddens, 1991). Иными словами, препараты и связанные с ними личностные коннотации интересуют гомеопатов не только как инструмент излечения пациентов. Здесь мы можем предположить, что конструирование идентичности не менее (а возможно, даже и более) важно и для самого гомеопата. И врач, и пациент вступают в игру, в ходе которой они совместно формируют образ заболевания как поражения уникальной личности. Для прояснения картины они фактически конструируют эту личность, пользуясь, с одной стороны, известными им картинами препаратов (учитывая, что препаратов становится бесконечно много, а возможности человеческого восприятия ограничены, мы можем предположить, что врачи-гомеопаты используют те из них, к которым они испытают больший интерес), а с другой — доступными им методами анализа, в том числе методами психологического опроса. Например, уже упомянутая Дивья Чабра признается, что использует психоаналитический метод свободных ассоциаций<sup>19</sup>.

Таким образом, современная гомеопатия достаточно четко отражает ключевые особенности восприятия модерна: она имеет дело исключительно с индивидуальностями и помогает им найти себя, некую «правильную», здоровую сущность, скрытую болезнью. Такой подход, по сути, несет важную терапевтическую функцию, помогая индивиду «текучей современности», находящемуся в состоянии постоянных сомнений и неопределенности в отношении себя самого и собственного статуса, примириться с этим состоянием. Например, как отмечают Бхавиндра и Сандра Джоши, первой реакцией на препарат пациентов, которым показаны лекарства из царства нематериальных объектов, является принятие их нынешнего состояния: «На вопрос „Как ваша мигрень?“ доктор может получить ответ: „Моя мигрень была моим врагом, а сейчас мое восприятие изменилось и сейчас моя мигрень мой друг“»<sup>20</sup>.

Поиск себя здесь может продолжаться чрезвычайно долго, например, Шанкаран замечает, что для поиска правильного лекарства иногда требуется несколько десятилетий (Шанкаран, 2003). Но главным здесь является не столько результат, сколько сам поиск: подобное лечение заставляет не просто всмотреться вглубь себя, но и принять как неизбежность наличие проблем, в том числе проблем неопределенности собственного жизненного статуса.

## Литература

Арина Г. А. (1991). Психосоматический симптом как феномен культуры // Телесность человека: междисциплинарные исследования. М.: Философское общество СССР.

19. <http://homeoint.ru/homeopathy/essence/habich.htm>

20. [http://www.lurie.ru/articles/articles-homeo/articles\\_46.html](http://www.lurie.ru/articles/articles-homeo/articles_46.html)

- Баньковская С. П. (2002). Чужаки и границы: к понятию социальной маргинальности // Отечественные записки. № 6 (7). URL: <http://www.strana-oz.ru/2002/6/chuzhaki-i-granicy-k-ponyatiyu-socialnoy-marginalnosti> (дата доступа: 07.11.2017).
- Бек У. (2000). Общество риска: на пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седелника и Н. Федоровой. М.: Прогресс-Традиция.
- Бергер П., Лукман Т. (1995). Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е. Д. Руткевич. М.: Медиум.
- Вебер М. (2016). Протестантская этика и дух капитализма / Пер. с нем. М. Левиной, А. Филиппова, П. Гайдено. М.: Центр гуманитарных инициатив.
- Ганеман С. (1992). Органон врачебного искусства / Пер. с английского А. В. Высочанского и О. А. Высочанской. М.: Атлас.
- Делёз Ж., Гваттари Ф. (2008). Анти-Эдип: капитализм и шизофрения / Пер. с франц. Д. Кралечкина. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель.
- Кент Д. Т. (2006). Лекции по гомеопатической материя медика / Пер. с англ. А. Вахмистрова. М.: Гомеопатическая медицина.
- Конт О. (2003). Дух позитивной философии / Пер. с франц. И. Шапиро. Ростов-на Дону: Феникс.
- Коток А. (2010). Беспощадная иммунизация: правда о прививках. М.: Гомеопатическая книга.
- Култер К. Р. (1998). Портреты гомеопатических препаратов: психофизический анализ конституциональных типов. М.: Гомеопатическая медицина.
- Лукман Т. (2014). Дополнение к третьему немецкому изданию «Невидимой религии» / Пер. с нем. Е. Костровой и И. Забаева // Социологическое обозрение. Т. 13. № 1. С. 139–154.
- Луман Н. (2011). Общество общества. В 2-х тт. М.: Логос.
- Метельская Е. В. (2011). Оценка полоролевой референции посредством лексических субстандартных единиц-зоонимов // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Т. 1. № 2. С. 162–168.
- Посухова О. (2012). Профессиональная династия как результат семейных стратегий: инерция или преемственность? // Власть. № 12. С. 100–103.
- Роджерс К. (1994). Взгляд на психотерапию: становление человека / Пер. с англ. М. М. Исениной. М.: Прогресс.
- Сорокина Т. С. (2008). История медицины. М.: Academia.
- Сошенко Л. П., Кухарская А. Г. (2008). Современная ветеринарная гомеопатия. М.: РУДН.
- Схолтен Я. (2003). Гомеопатия и элементы. М.: Симилия.
- Схолтен Я. (2009). Таинственные лантаноиды. М.: Любовь Лурье.
- Терешина Н. С., Костенникова З. П., Самылина И. А. (2011). Методы получения гомеопатических препаратов из сырья животного происхождения // Фармация. № 1. С. 45–48.
- Урри Д. (2012). Мобильности / Пер. с англ. А. В. Лазарева. М.: Праксис.
- Шанкаран Р. (2005). Дух гомеопатии. М.: Симилия.

- Шанкаран Р. (2006). Ощущение в гомеопатии. М.: Симилия.
- Элиас Н. (2001). Общество индивидов / Пер. с нем. А. Антоновского, А. Круглова, А. Иванченко. М.: Практикс.
- Bankovskaya S. (2014). Living In-between: The Uses of Marginality in Sociological Theory // *Russian Sociological Review*. Vol. 13. № 4. P. 94–104.
- Falk P., Campbell C. (1995). *The Shopping Experience*. London: SAGE.
- Featherstone M. (1998). The Flâneur, the City and Virtual Public Life // *Urban Studies*. Vol. 35. № 5/6. P. 909–925.
- Galindo M., Klanten R., Ehmann S. (2015). *The New Nomads: Temporary Spaces and a Life on the Move*. Berlin: Die Gestalten.
- Giddens A. (1991). *Modernity and Self-Identity*. London: Polity Press.
- Hanegraaff W. J. (1996). *New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought*. Leiden: Brill.
- Hedges E., Beckford J. A. (2000). Holism, Healing and the New Age // *Sutcliffe S., Bowman M. (ed.). Beyond New Age: Exploring Alternative Spirituality*. Edinburgh: Edinburgh University Press. P. 169–187.
- Heelas P. (1994). The Limits of Consumption and the Post-Modern 'Religion' of the New Age // *Abercrombie N., Keat R., Whiteley N. (ed.). The Authority of the Consumer*. London: Routledge. P. 94–108.
- Rose S. (1998). An Examination of the New Age Movement: Who is Involved and What Constitutes its Spirituality // *Journal of Contemporary Religion*. Vol. 13. №. 1. P. 5–22.
- Stark R., Bainbridge W. S. (1985). *The Future of Religion: Secularization, Revival and Cult Formation*. Berkeley: University of California Press.
- Yadav R. J., Pandey A., Singh P. (2007). A Study on Acceptability of Indian System of Medicine and Homeopathy in India: Results from the State of West Bengal // *Indian Journal of Public Health*. Vol. 51. № 1. P. 47–49.

## Modernity and Personal Identity: Patient's Construct in Holistic Medicine (Homeopathy's Case)

*Mikhail Dobrovolskiy*

Doctoral student, Doctoral School of Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: mdobrster@gmail.com

The uncertainty of personal identity is traditionally mentioned among the most fundamental concepts of modernity. This paper focuses on the typical ways in which this idea is constructed by conventional everyday practices. A particular form of holistic medicine known as homeopathy was chosen as the object of the research. Texts written by influential authors related to the homeopathic milieu were used as the most important sources. As it can be seen, modern homeopaths reinvented the classical tradition by putting the unique individual features of a

patient at the center of the treatment. They search for some special matter or “central delusion” which hides the person’s individuality. The personal construct of a modern human being, for example, a strong person who defends their personal boundaries and seeks their identity is put to use to describe new homeopathic remedies. As a result, the concept of “new remedies for new people” comes into existence. Furthermore, homeopaths transfer traditional cultural attributes of substances which are used to produce remedies to the remedies themselves. The success of new remedies symbolically lets homeopaths test new identities. Such an approach carries an important therapeutic function and helps a person of “liquid modernity” living in a condition of uncertainty of their personal identity and suffering from the state of “existential isolation” (Giddens, 1991) to make their live more harmonic and balanced.

**Keywords:** modernity, uncertainty of personal identity, individualism, holistic medicine, homeopathy

## References

- Arina G. (1991) Psihosomatičeskij simptom kak fenomen kul'tury [Psychosomatic Symptom as a Cultural Phenomenon]. *Telesnost' čeloveka: mezhdisciplinarnye issledovanija* [Human Corporeality: Interdisciplinary Research], Moscow: Philosophical Association of the USSR, pp. 45–54.
- Bankovskaya S. (2002) Chuzhaki i granicy: r ponjatiju social'noj marginal'nosti [Strangers and Boundaries: Toward the Concept of Social Marginality]. *Otechestvennye zapiski*, no 6. Available at: <http://www.strana-oz.ru/2002/6/chuzhaki-i-granicy-k-ponyatiju-socialnoy-marginalnosti> (accessed 7 November 2017).
- Bankovskaya S. (2014) Living in-between: The Uses of Marginality in Sociological Theory. *Russian Sociological Review*, vol. 6, no 1, pp. 94–104.
- Beck U. (2000) *Obschestvo riska: na puti k drugomu modernu* [Risk Society: Towards a New Modernity], Moscow: Progress-Tradition.
- Berger P., Luckmann T. (1995) *Social'noe konstruirovanie real'nosti* [The Social Construction of Reality], Moscow: Medium.
- Comte O. (2003) *Duh pozitivnoj filosofii* [The Spirit of Positive Philosophy], Rostov on Don: Fenix.
- Coulter C. (1998) *Portrety gomeopatičeskikh preparatov* [Portraits of Homeopathic Medicines], Moscow: Homeopathic Medicine.
- Deleuze G., Guattari F. (2008) *Anti-Jedip: kapitalizm i šizofrenija* [Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia], Ekaterinburg: U-Factoriya; Moscow: Astrel.
- Elias N. (2001) *Obshchestvo individov* [Society of Individuals], Moscow: Praxis.
- Falk P., Campbell C. (1995) *The Shopping Experience*, London: SAGE.
- Featherstone M. (1998) The Flâneur, the City and Virtual Public Life. *Urban Studies*, vol. 35, no 5-6, pp. 909–925.
- Galindo M., Klanten R., Ehmann S. (2015) *The New Nomads: Temporary Spaces and a Life on the Move*, Berlin: Die Gestalten.
- Giddens A. (1991) *Modernity and Self-identity*, London: Polity Press.
- Hahnemann S. (1992) *Organon vrachebnogo isskustva* [The Organon of the Healing Art], Moscow: Atlas.
- Hanegraaff W. J. (1996) *New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought*, Leiden: Brill.
- Hedges E., Beckford J. (2000) Holism, Healing and the New Age. *Beyond New Age: Exploring Alternative Spirituality* (eds. S. Sutcliffe, M. Bowman), Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 169–187.
- Heelas, P. (1994) The Limits of Consumption and the Post-Modern “Religion” of the New Age. *The Authority of the Consumer* (eds. N. Abercrombie, R. Keat, N. Whiteley), London: Routledge, pp. 94–108.
- Kent D. (2006) *Lekcii po gomeopatičeskoi materia medica* [Lectures on Homeopathic Materia Medica], Moscow: Homeopathic Medicine.

- Kotok A. (2010) *Besposhhadnaja immunizacija: pravda o privivkah* [Ruthless Immunization: Truth about Vaccination], Moscow: Homeopathic Book.
- Luckmann T. (2014) Dopolnenie k tret'emu nemeckomu izdaniju nevidimoj religii [An Afterword to the German Edition of The Invisible Religion]. *Russian Sociological Review*, vol. 13, no 1, pp. 139–154.
- Luhmann N. (2011) *Obschestvo obschestva* [Society of Society], Moscow: Logos.
- Metelskaya E. (2011) Ocenka polorolevoj referencii posredstvom leksicheskikh edinic-zoonimov [Estimating of the Gender Role Reference through Zoonim Lexical Substandard Units]. *Vestnik of Pushkin Leningrad State University*, vol. 1, no 2, pp. 162–168.
- Posukhova O. (2012) Professional'naja dinastija kak rezul'tat semejnykh strategij [Professional Dynasty as a Result of Family's Strategy]. *Vlast*, no 12, pp. 100–103.
- Rogers K. (1994) *Vzgljad na psihoterapiju: stanovlenie cheloveka* [On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy], Moscow: Progress.
- Rose S. (1998) An Examination of the New Age Movement: Who is Involved and What Constitutes Its Spirituality. *Journal of Contemporary Religion*, vol. 13, no 1, pp. 5–22.
- Sorokina T. (2008) *Istorija mediciny* [History of Medicine], Moscow: Academia.
- Soshenko L., Kuharskaya A. (2008) *Sovremennaja veterinarnaja gomeopatija* [Modern Veterinary Homeopathy], Moscow: RUDN.
- Scholten J. (2003) *Gomeopatija i jelementy* [Homeopathy and the Elements], Moscow: Similia.
- Scholten J. (2009) *Tainstvennye lantanoidy* [Mysterious Lanthanides], Moscow: Lubov Lurie.
- Shankaran R. (2005) *Duh Gomeopatii* [The Spirit of Homeopathy], Moscow: Similia.
- Shankaran R. (2006) *Oshhushhenie v gomeopatii* [The Sensation in Homeopathy], Moscow: Similia.
- Stark R., Bainbridge W. S. (1985) *The Future of Religion: Secularization, Revival and Cult Formation*, Berkeley: University of California Press.
- Tereshina N, Kostennikova Z, Samylina I (2011) Metody poluchenija gomeopaticeskikh preparatov iz syr'ja zhivotnogo proishozhdenija [Methods for Preparing Homeopathic Remedies from Animal Raw Materials]. *Farmatsia*, no 1, pp. 45–48.
- Urry J. (2012) *Mobil'nosti* [Mobilities], Moscow: Praxis.
- Weber M. (2016) *Protestantskaja jetika i duh kapitalizma* [The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism], Moscow: Center of Humanitarian Initiatives.
- Yadav R. J., Pandey A., Singh P. (2007) A Study on Acceptability of Indian System of Medicine and Homeopathy in India: Results from the State of West Bengal. *Indian Journal of Public Health*, vol. 51, no 1, pp. 47–49.

## Большие данные в социологии: новые данные, новая социология?\*

*Катерина Губа*

Кандидат социологических наук, младший научный сотрудник

Института проблем правоприменения

Европейского университета в Санкт-Петербурге

Адрес: ул. Шпалерная, д. 1, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 191187

E-mail: [kguba@eu.spb.ru](mailto:kguba@eu.spb.ru)

В статье рассматриваются перспективы использования больших данных в социологии. В социальных науках сравнительно недавно появились призывы анализировать поведение человека при помощи новых способов производства, обработки и методов анализа данных. Особое внимание к новым данным характерно в первую очередь для социологии, для которой они могут означать переориентацию всего проекта дисциплины. Дискуссия о концептуальных особенностях больших данных развивалась от обсуждения их размера к пониманию, что их ключевая черта — в способе производства. Отличие новых данных состоит в том, что они создаются не для целей исследования, охватывают всю популяцию и производятся в режиме реального времени. Масштаб данных о поведении людей на микроуровне меняет те научные области в социологии, для которых ранее существовали серьезные ограничения при исследовании социального поведения. Это главным образом позволило продвинуться в решении теоретической проблемы, связанной с определением природы социального влияния. В свою очередь, заимствования инструментов из компьютерной науки изменили способ анализа больших неструктурированных массивов текста, что особенно важно для научных областей, исследующих символическое производство. В социологии культуры новые методы анализа текстовых данных позволяют преодолеть асимметрию — развитие теории всегда опережало развитие методов. Социология меняется с приходом новых данных не только в своих отдельных областях, но и в общем видении дисциплинарного проекта. Статья заканчивается обсуждением новой эмпирико-ориентированной социологии, которая идет от данных и этим отличается от привычного для мейнстрима стиля с последовательным движением от гипотез к сбору и анализу данных. Исследования и раньше далеко не всегда запускались теоретически обоснованным вопросом, однако именно сейчас отсутствие сцепки «теория—данные» формулируется как легитимный вариант дисциплинарного будущего социологии.

*Ключевые слова:* большие данные, вычислительная социальная наука, сетевой анализ, тематическое моделирование, доказательная социальная наука

Историю социальных наук можно рассматривать как смену этапов, связанных с характером доминирующих данных (Mohr et al., 2013: 676). Весь прошлый век нашими источниками данных служили опросы, интервью и наблюдения. Сейчас начался следующий этап, в котором решающую роль играют новые технологии про-

© Губа К. С., 2018

© Центр фундаментальной социологии, 2018

DOI: 10.17323/1728-192X-2018-1-213-236

\* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01618).

изводства и сбора больших данных о тех аспектах поведения человека, которые раньше не поддавались наблюдению. Большие данные появляются не в результате проведения опросов или интервью, их создание опосредовано технологиями: мобильные телефоны, электронная почта, сервисы онлайн-банка, транзакции по кредитным картам, перемещение по сайтам, считывание бар-кодов, социальные сети и т. д. Новый лейбл «вычислительная социальная наука» (*computational social science*) все чаще используется для обозначения исследовательского поля, в рамках которого поведение человека анализируется при помощи новых способов производства, обработки и методов анализа данных (Lazer et al., 2009). Вокруг новых идей развивается инфраструктура: запущено специальное финансирование, открываются новые магистерские программы, создаются журналы и исследовательские центры.

В настоящем обзоре предпринята попытка ответить на вопрос о том, какие изменения привнесли новые данные в социологию. Если пойти по простому пути, то можно рассмотреть, как новые возможности уже используются в социологии. Другой путь состоит в том, чтобы обратиться к изменениям, затрагивающим весь дисциплинарный проект социологии. В этом случае мы не говорим о тех исследовательских областях, для которых большие данные открыли второе дыхание, но попытаемся предугадать, изменится ли сама дисциплина. Социологи предлагают заменить традиционную социологию на доказательную социальную науку, которая отличается от привычного для мейнстрима стиля с последовательным движением от гипотез к сбору и анализу данных. В статье раскрыты оба способа ответа на вопрос о ключевых изменениях в социологии с приходом больших данных.

Вначале мы обратимся к дискуссии о том, что составляет концептуальные особенности больших данных, которые позволяют называть их не столько большими, сколько новыми данными. В следующей части статьи речь пойдет о тех областях социологии, в которых уже отмечен заметный интерес к новым данным. Так, большие данные оказались важными для социологии в двух отношениях. Во-первых, они предоставили возможность изучать социальное поведение, доступ к которому раньше был ограничен (McFarland, Lewis, Goldberg, 2015). Работа с онлайн-данными позволила продвинуться в решении теоретической проблемы, связанной с определением природы социального влияния — передачи через социальные связи паттернов поведения, установок, болезней или даже эмоций. Во-вторых, заимствование инструментов компьютерной науки изменило способ анализа больших неструктурированных массивов текста, что особенно важно для тех научных областей, где исследуется символическое производство. В заключительной части статьи речь пойдет об изменениях в исследовательском стиле социологии.

Наш обзор имеет свои ограничения. Он посвящен возможностям применения больших данных именно в социологии и не затрагивает другие дисциплины<sup>1</sup>. Мы

---

1. В экономике смотрите обзор (Einav, Levin, 2013), в менеджменте и бизнесе (Frizzo-Barker et al., 2016), урбанистике (Koonin, Holland, 2014), антропологии (Сивков, 2017), истории (Bearman, 2015).

также не касаемся ограничений, которые связаны с применением больших данных, в том числе этического характера<sup>2</sup>.

## О природе больших данных

Социальные науки далеко не сразу поддались очарованию новых возможностей — первые научные статьи появляются только в 2009 году. К этому времени эра больших данных уже была провозглашена массовыми изданиями, что связано с появлением нового рода деятельности — аналитики данных в коммерческом секторе (Manovich, 2011). Количество статей в массовой периодике до сих пор заметно превышает количество статей в научных журналах. Большие данные оказались полезными в коммерческом секторе для улучшения рабочих операций и извлечения большей прибыли, поскольку предоставили возможность предсказывать поведение людей на основе уже существующих данных (Goel et al., 2010). Анализируя то, что интересует людей в данную минуту — на каких сайтах они проводят время и какие запросы посылают в поисковые системы, можно предсказать, чего они захотят в ближайшем будущем.

Современную историю больших данных иногда начинают со слов исследователей NASA, которые в 1997 году столкнулись с тем, что их компьютеры не справляются с объемом данных. Таким образом, изначально акцент делался на объеме: большие данные — это данные, с которыми не справляется Excel на простом компьютере. Однако если считать объем за главный параметр, то придется признать относительный характер больших данных, так как возможности обработки больших массивов информации постоянно совершенствуются (Austin, Fred, 2016). В дальнейшем речь стала идти о трех характеристиках — размере, скорости накопления и разнообразии (*volume, velocity, variety*). Согласно Р. Китчину, большие данные отличаются большим объемом; высокой скоростью накопления (они создаются здесь и сейчас и их объем может увеличиваться каждую секунду); многообразием формы; исчерпывающим характером (зачастую представляют всю совокупность); высокой дискретностью (что позволяет дробить данные на отдельные группы и легко их идентифицировать); возможностью привязки к другим типам данных; гибкостью (добавлять новую информацию и расширять объем) (Kitchin, 2014: 2).

Несмотря на некоторые попытки описать ключевые характеристики больших данных, мы можем говорить скорее о лейбле, который схватывает самые разные данные в одном наименовании (Kitchin, McArdle, 2016). Этот термин потерял концептуальную ясность, что хорошо показано на примере анализа Р. Китчином и Дж. Макардлом 26 наборов данных, использованных в научных исследованиях. Данные под одним лейблом имеют как общие, так и отличные друг от друга характеристики. Более того, исследователи не обнаружили ни одного набора данных,

---

2. Основные критические аргументы можно найти в: Boyd, Crawford, 2012; Zwitter, 2014; Iliadis, Russo, 2016.

который описывался бы через все семь ключевых характеристик. Они определили только две ключевые черты, которым соответствовали все 26 исследований, — это скорость накопления и всеобъемлющий охват (вся реальность объектов этого типа,  $n = \text{all}$ ). Под эти характеристики подпадают главным образом онлайн-данные или данные, которые создаются за счет электронных технологий. Все данные, которые анализировали Китчин и Макардл, так или иначе, предполагали использование электронных средств. Есть только одно исключение из этого списка — административные данные, которые генерируются государственными ведомствами. При всем отличии от онлайн-данных их, тем не менее, можно считать большими данными в силу того, что они обычно охватывают всю популяцию и производятся в реальном времени, хотя при этом доступ к ним может предполагать временной лаг (Connelly et al., 2016).

Итак, мы видим, что размер не является необходимым условием для определения сути больших данных. Действительно, и прежде существовали данные, которые были достаточно большими, например, данные переписи, с одной стороны, содержали информацию о тысячах единиц, но с другой — не были гибкими, их трудно было дополнить другими данными, и требовались специальные усилия по их генерации (Kitchin, 2014). Исследователи полагают, что революция в больших данных произошла не потому, что теперь можно иметь дело с данными большого объема, главное, что данные создаются не для целей исследования (Connelly et al., 2016: 2). Раньше они собирались по запросу исследователя, зачастую по заранее определенной процедуре и в соответствии с исследовательскими допущениями или гипотезами. Сейчас данные производятся самими пользователями: люди пишут посты, ставят лайки, загружают фотографии и делают покупки, в свою очередь, государственные ведомства становятся обладателями данных о самых разных областях — образовании, медицине, криминологии (Волков, Скугаревский, Титаев, 2016). Сбылась мечта социолога — добраться до следов, которые остаются от действий людей, независимо от намерений исследователей. Причем «больше нет необходимости выбирать между количеством единиц в наших данных и количеством информации о них... Детальная информация и понимание, которое раньше можно было получить только о немногих, сейчас доступны для большого количества людей» (Manovich, 2011).

Итак, создание новых данных почти никак не связано с намерениями ученых провести исследование. Они сочетают два аспекта, которые раньше практически не встречались вместе, — это масштабные данные о поведении людей на микроуровне. Что же нового это означает для социологии?

### Новые данные: социальное влияние

Манифестом «новой науки» можно считать статью «Вычислительная социальная наука», которая появилась в «Science» в 2009 году (Lazer et al., 2009). Авторы статьи не раз выступали в роли ключевых спикеров крупных профильных конфе-

ренций, они руководят центрами и институтами, результаты их исследований появляются в престижных «Science» и «Nature»<sup>3</sup>. Исходный тезис: большие данные не могут не изменить социальную науку, поскольку данных такого масштаба на уровне тонких взаимодействий раньше не было. Идея вызвала интерес со стороны представителей разных дисциплин. Информация о ссылках на статью позволяет сделать вывод о том, что внимание к ней обеспечивают ученые, публикующиеся в одних из самых престижных журналов: «Plos One», «PNAS», «Scientific Reports», «Science» (вместе — треть всех статей). При этом особый интерес можно отметить именно у социологов — на это указывает список десяти самых цитируемых журналов в статьях, которые ссылались на «Вычислительную социальную науку». Этот список состоит во многом из междисциплинарных журналов, однако среди дисциплинарных на первых местах находятся социологические издания<sup>4</sup>.

В первую очередь социологи видят преимущества в возможности продвинуться за счет новых данных и способов их анализа. Гэри Кинг считает, что наибольший результат в социальной науке возможен, когда присутствуют три условия: инновационные статистические методы, новая компьютерная наука и оригинальные теории отдельных областей знания (King, 2013). В этом смысле социальные науки должны заниматься всем тем же самым, но с лучшими методами и лучшими данными, которые позволяют преодолеть недостатки прежних данных — их искусственные условия создания, ретроспективный характер и статичность собираемой информации (Golder, Masy, 2014).

Вместо того чтобы пытаться каждые два года извлечь мнения о политике у нескольких тысяч активистов путем искусственно созданной ситуации разговора в виде опросного интервью, мы можем использовать новые методы и получить десятки миллионов политических мнений, которые появляются ежедневно в блогах. Также как вместо того, чтобы изучать влияние контекста на взаимодействия людей, спрашивая респондентов об их последних контактах, мы можем собрать информацию за длительный промежуток времени об их телефонных звонках, письмах и сообщениях. При отсутствии официальной статистики мы можем судить об экономическом развитии и росте населения, основываясь на информации со снимков спутника об освещенности, расположении дорог и других объектов инфраструктуры. (King, 2009: 92)<sup>5</sup>

3. Например, А. Пентланд возглавляет в MIT лабораторию по изучению динамики поведения человека. А.-Л. Барабаши, известный исследователь сетей и создатель отдельного направления науки о сетях, возглавляет Центр исследований сложных сетей. Широкой публике должен быть известен Н. Кристакис, автор бестселлера «Связанные одной сетью. Как на нас влияют люди, которых мы никогда не видели» (в соавторстве с Дж. Фуллером). В Йеле Кристакис возглавляет Лабораторию по исследованиям природы человека, а также Институт исследований сетей. Нужно отметить, что в этой звездной компании мы видим микс социальных ученых и тех, кто не получал степени в социологии или политической науке. Из 15 авторов статьи половина имеет степени по социальным наукам, остальные писали диссертации в области физики и компьютерных наук.

4. На основе данных Web of Science — «American Journal of Sociology» (287), «Social Networks» (268), «Annual Review of Sociology» (142), «American Sociological Review» (130), «Organization Science» (125).

5. Статья Г. Кинга и М. Робертса о цензуре в Китае является хорошим примером, как без такого рода данных было бы сложно провести исследование. В предшествующих исследованиях использова-

Новые данные тем самым расширяют пространство и дают новые возможности для развития привычных направлений исследований, в особенности тех, которые смогут воспользоваться онлайн-данными. Сбор данных о поведении людей в самых разных контекстах сложен, требует ресурсов, а в ряде случаев проблема доступа так серьезна, что некоторые исследовательские вопросы остаются незадавленными. Онлайн-данные предоставляют информацию о поведении людей в реальном времени, фиксируя автоматически, кто, где и с кем сейчас взаимодействует; при этом минимизируется влияние исследователя при самом производстве данных, ведь они существуют независимо от того, будет ли он их анализировать или нет (Golder, Masy, 2014). Есть мнение, что онлайн-данные изменили социальные науки, так же как в свое время электронный микроскоп или МРТ изменили естественные науки — новые инструменты позволили наблюдать за онлайн-активностью, и именно это производит трансформирующий эффект на социальную науку (Golder, Masy, 2014).

Главный результат для теоретической социологии, по всей видимости, состоит в появлении возможности использовать онлайн-данные для изучения социального «заражения» — передачи через социальные связи паттернов поведения, установок, болезней или даже эмоций (Christakis, Fowler, 2013). Использование эпидемиологической метафоры требовало уточнения, какой механизм задействован при «заражении». Действительно какие-то вещи — микробы или информация — могут передаваться от человека к человеку без особого участия сетей, а просто через мимолетные контакты. Однако для распространения поведения может быть необходимо у сети наличие определенных структурных характеристик (Smith, Christakis, 2008: 412). Возникла дискуссия о том, какой тип связей необходим для распространения феноменов по сетям. Классические работы показали важность слабых связей или структурных дыр в сетях, которые нужны для перемещения и материальных ресурсов, и информации (Granovetter, 1973; Burt, 2004). Слабые связи имеют ту особенность, что далеко простираются, а значит, могут достичь большего числа людей, в отличие от сильных связей, которые имеют тенденцию к кластеризации. Однако остается вопрос: достаточно ли контакта через слабые связи, чтобы произошла успешная передача? Другая гипотеза заключалась в том, что социальное поведение подразумевает сложное влияние: людям обычно нужно вступить в контакт с несколькими источниками «инфекции», прежде чем они по-

---

лись государственная статистика, опросы населения и интервью с представителями власти. Каждый из этих источников имел свои серьезные недостатки, чтобы можно было полагаться на них при изучении цензуры. Исследование Кинга строилось на анализе цензуры онлайн-записей. Сбор данных предполагал извлечение с многочисленных сайтов записей, пока они не были прочитаны цензорами и удалены (всего было собрано 3 674 698 записей). В дальнейшем отслеживалось, было ли произведено вмешательство цензора (это случилось в 13 %). Категории, которые цензурировались, — события, относящиеся к коллективному действию, критике цензоров и порнографии, тогда как категории, в которых обсуждались решения правительства, не проходили через цензуру. Государственные лидеры вряд ли рады критическим замечаниям, однако это не тревожит их до такой степени, чтобы задействовать цензуру для удаления критических записей. Что их действительно тревожит, так это события, которые могут способствовать сплочению людей (King, Roberts, 2013).

чувствуют себя готовыми перенять поведенческие образцы (Centola, 2011; Centola, 2010). Тогда успех в социальном «заражении» обеспечивается скорее сильными связями, которые «избыточны» по своему характеру.

Возможность анализировать большие сети позволила продвинуться в этом направлении. Искать ответы прежними способами было слишком дорого. Опросные инструменты строятся на выборочных механизмах, тем самым изначально связи между людьми ограничиваются дизайном исследования — уже нельзя задаться вопросом, как организовано влияние в широких сетях (Golder, Macy, 2014). Социальные ученые в сетевом анализе чаще использовали этнографические методы, собирали информацию для анализа статических сетей небольшого масштаба (McFarland, Lewis, Goldberg, 2015). Если и получалось собрать данные о связях, чтобы измерить социальное влияние, то издержки не позволяли включить в анализ значительное количество случаев. Элизабет Ботт (Bott, 1955) проводила вечера за длинными беседами, чтобы зафиксировать интенсивность связей и взаимодействий, когда изучала лондонские семьи (всего в исследовании участвовали 18 семей). В свою очередь, Б. Уэллману (Wellman, 1979) удалось собрать гораздо больше сетевых данных о канадских рабочих, однако опрос давал возможность задать довольно короткий список вопросов. В учебниках по сетевому анализу присутствуют рекомендации, что респондентов стоит просить предоставить информацию об их связях не более чем с пятью людьми.

Исследователи вынуждены были строить гипотезы, которые учитывали социальное влияние через сильные связи отдельных людей, что не позволяло схватывать структурные характеристики сетей (информацию о том, как выглядит вся сеть контактов человека). Сейчас же в силу того, что взаимодействия оставляют свой онлайн-след, есть возможность собрать для большого количества людей информацию об их телефонных звонках, электронных письмах, смс-сообщениях, адресных книгах и онлайн-взаимодействиях в социальных сетях (King, 2009). Другими словами, появились инструменты, которые настолько облегчили сбор данных об отношениях, что в своем роде открытие науки о сетях произошло заново.

Появление социальных сетей и регистрации онлайн-поведения сделали возможным проводить онлайн-эксперименты, которые позволяют контролировать большую часть условий, а также оценить эффект вмешательства на больших выборках индивидов (McFarland, Lewis, Goldberg, 2015). Один из самых выдающихся примеров основан на данных более 60 миллионов пользователей Фейсбука (Bond et al., 2012). Эксперимент тестировал возможности социального влияния при политической мобилизации на примере выборов в Конгресс. В эксперименте 2010 года участвовали все американские пользователи Фейсбука с 18 лет, которые были разделены на три группы. Первой группе (60 055 176) в новостной ленте показали «социальное сообщение»: в нем содержался призыв проголосовать, информация о месте голосования, а также показывались профили людей из числа друзей пользователя, которые уже проголосовали. В ленте второй группы (611 044) появилось информационное сообщение, в котором также была кнопка, на которую можно

было нажать и тем самым показать друзьям, что ты проголосовал; здесь также присутствовала ссылка о месте голосования, однако социальная составляющая сообщения отсутствовала. Третья группа — контрольная — вообще не получила никаких сообщений. Действия, которые потом анализировались: нажатие ярлыка «I vote», переход по информационной ссылке и голосование на выборах.

Согласно результатам, получившие социальное сообщение чаще нажимали на кнопку о том, что они проголосовали, чем те, кто получил только информационное сообщение. Этот результат повторился и на данных о реальном голосовании, то есть люди из первой группы чаще голосовали, чем пользователи из других групп эксперимента. Между контрольной группой и группой только с информационным сообщением вообще не было статистически важных различий. Это говорит о том, что одна только информация не особенно меняет поведение людей, тогда как социальное давление оказывается действенным, меняя поведение о политическом самовыражении (рассказать друзьям о том, что я проголосовал) и участии в реальном голосовании. В эксперименте также попробовали проверить, насколько влияние зависит от силы связи (частота взаимодействий в виде обмена сообщениями). Оказалось, что близкие друзья человека, который сам нажал на кнопку, также чаще сами нажимали на кнопку «I vote» и чаще голосовали, чем близкие друзья тех, кто был в контрольной группе. Остальные друзья, которые формировали с пользователем слабые связи, оказались не затронутыми влиянием — они не стали чаще сообщать о том, что проголосовали, так же как они не стали чаще действительно голосовать. Результаты подтверждаются и в других онлайн-экспериментах (Coviello et al., 2014).

В обзоре «Annual Review of Sociology» подводятся итоги о вкладе данных об онлайн-поведении в развитие социальных наук (Golder, Macy, 2014). Огромный всплеск интереса зачастую оборачивается исследованиями низкого качества. Многие статьи повторяют идеи предшествующих авторов, но на более масштабных данных, при этом без всякой отсылки к классическим работам. Создается впечатление, что сети дают такой инструмент, который позволяет построить графы почти на любых данных, что лишает его осмысленности (boyd, Crawford, 2012). Вместе с тем именно анализ больших сетей встраивается в классические социологические сюжеты о природе социального влияния, которые при этом исполняются на высоком методологическом уровне. Это направление исследований соединяет все три составляющих, о которых писал Кинг, — инновационные статистические методы, новая компьютерная наука и оригинальные теории отдельных областей знания.

Далее мы увидим, что новые возможности для социологии появляются не только с доступом к данным, которые раньше были слишком дорогостоящи или вовсе отсутствовали, но и с развитием инструментов работы с данными, доступ к которым существовал всегда.

## Новые методы анализа текстовых данных

Новые данные превосходят старые в своем объеме, разнообразии и глубине, но обычно они существуют совсем не в том виде, в котором готовы для анализа. Преобразование сырых данных в нужный для исследователей формат требует специальных компетенций из области компьютерной науки. Исследователи перечисляют целый арсенал методов: математическое и статистическое моделирование; динамический анализ сетей; автоматическое генерирование гипотез; методы интеграции мультимодальных данных; возможности обработки естественного языка и машинное обучение (Golder, Macy, 2014). Социологам нужны люди, которые умеют программировать не только для того, чтобы извлекать данные, но и для того, чтобы их анализировать. Решение этих задач привело к успехам — авторы пишут о четырех прорывах в анализе данных. Первый связан с большими массивами текстовых данных и отсылает к области вычислительной лингвистики, второй развивает сетевой анализ, третий опирается на достижения машинного обучения, наконец, четвертый использует возможности онлайн-экспериментов (McFarland, Lewis, Goldberg, 2015). Из этого списка особенного внимания заслуживают инструменты из области вычислительной лингвистики. Появление тематического моделирования описывается как шаг революционного значения, который на данный момент пока не оценен социологами в должной мере (Evans, Aceves, 2016). Главные области применения — это социология науки и социология культуры, ведь именно в этих областях исследователи имеют дело с текстами.

Первая социологическая работа, в которой использовалось тематическое моделирование, относилась к социологии науки (Moody, Light, 2006). Однако сейчас мы видим, что основной интерес к этому методу присутствует в социологии культуры. Исследователи считают, что социология культуры всегда отличалась тем, что развитие теории опережало развитие методов:

Социологи, которые изучают культуру, сформулировали многочисленные теоретические гипотезы и концепты, которые обещают глубокое понимание культурных изменений, но им все еще не хватает инструментов для операционализации концептов. Мы предполагаем, что с помощью тематического моделирования будет возможно операционализировать такие ключевые концепты, как фреймирование, полисемия, гетероглоссия и реляционный характер значений. (DiMaggio, Nag, Blei, 2013: 571)

Вероятно, в силу того, что смыслы всегда методически изучать гораздо сложнее, в социологии культуры был период, когда исследовалась не столько сама культура, сколько то, как она производится (Peterson, Anand, 2004). Отсылающие к смыслам концепты — символические границы (М. Ламонт), культурные инструменты (Э. Суидлер), когнитивные схемы (П. ДиМаджио) и культурные фреймы (Р. Бенфорд и Д. Сноу) — развивались на основе «маленьких» данных, которые

подразумевали технику «медленного чтения» (close reading) транскриптов интервью и проведение контент-анализа ключевых текстов (Bail, 2014).

Действительно, обычно социологи анализировали тексты тремя способами (DiMaggio, Nag, Blei, 2013: 577). Первый основан на интерпретативном чтении, без какой-либо формализации. Второй способ строится на контент-анализе, при котором исследователь заранее создает систему категорий и кодов, согласно которым затем кодируется текст. Ограничением метода оказывается трудоемкость, что делает его малопригодным для анализа большого корпуса текста. При этом заранее нужно хорошо представлять, что можно найти в тексте (DiMaggio, Nag, Blei, 2013: 577). И, наконец, третья стратегия заключается в том, чтобы с помощью программы определить набор ключевых слов, а затем сравнить, как часто в разных частях текста встречаются эти слова. Эта стратегия не совсем устраивала именно социологов, которые изучают культуру, так как слова извлекались без учета смыслового контекста, в который они встроены. Две последние стратегии в большей степени подходят для анализа небольших корпусов текстов, с заранее продуманными запросами (DiMaggio, Nag, Blei, 2013: 577). Нужен был новый метод, лишенный недостатков прежних. Таким методом, по мнению социологов, является тематическое моделирование, так как именно оно отвечает условиям анализа больших массивов текста.

В чем его преимущества? Этот подход носит эксплицитный характер, то есть массив данных доступен для всех, и анализ можно воспроизвести; подход является автоматическим, что дает возможность работать с текстами больших объемов; он позволяет обрабатывать текст до заранее разработанной схемы; принимает во внимание реляционный характер значений. В рамках тематического моделирования корпус текста автоматически кодируется по нескольким категориям, которые называют темами (topics). Алгоритм может это делать при минимальном участии человека, тем самым метод является индуктивным по своей природе: «Вместо того чтобы начать с заранее определенных смысловых кодов или категорий (как те, которые мы создаем, когда вручную кодируем текст), исследователь задает количество тем, которые должен найти алгоритм. Программа затем находит это заданное количество тем и показывает вероятности слов, используемых в теме, так же как предоставляет распределение тематик по всему корпусу текста» (Mohr, Bogdanov, 2013: 546).

При этом не требуется предварительное близкое знакомство с текстом или заранее разработанная схема кодирования. Инструмент сам создает кластеры, скрытые темы на основе статистических моделей. Сохраняется контекстуальность, так как слова приписываются кластеру на основе их появления рядом с другими словами, так же как и многозначность смыслов, так как слова могут одновременно принадлежать разным кластерам (Mutzel, 2015: 2). Несмотря на то что для такого исследования требуются знания в компьютерной науке и статистике, их невозможно проводить без человека, знакомого с той областью, к которой относится текст. Тем самым в использовании новых инструментов для анализа текста наблю-

дается фундаментальное смещение с предварительной работы по созданию категорий и системы кодирования к интерпретации постфактум, которая запускается, когда алгоритм нашел тематические категории и нужно решить, имеют ли они какое-либо значение. В этом и заключается важное преимущество такого метода, ведь если сначала происходит разработка системы кодирования, то когда она закончена и начался сам анализ текста, сложно вернуться обратно (Mohr, Bogdanov, 2013: 562). Тем самым исследователь значительно более ограничен в процедуре, и ему обязательно нужно глубокое знание поля еще до того, как начать анализ. Кроме того, с новыми инструментами исследователь может найти тематические категории, про которые он и не думал, что они присутствуют в тексте, — в контент-анализе такой возможности нет. Соответственно, есть возможность исследовать и открывать новые паттерны (DiMaggio, Nag, Blei, 2013).

Конкретные области в социологии культуры, которые могут получить развитие в связи с появлением больших данных и новых техник анализа, перечислены в статье К. Бейла. Среди них — картографирование культурного окружения или систем значений, классификация культурных элементов (таких как фреймы или схемы внутри систем), прослеживание изменений в культурных процессах за длительный период времени. Многие вопросы в рамках социологии культуры требуют макроанализа, то есть взгляда сверху на все культурное пространство. Бейл призывает активно пользоваться онлайн-данными в рамках социологии культуры, так как зачастую в руках исследователя могут оказаться не только текстовые данные, которые интересуют как совокупность каких-то значений, но и социальная информация об акторах, что позволяет ставить более интересные вопросы (Bail, 2014).

Важно понимать, что использование тематического моделирования — это зачастую только начало. Как пишут социологи: «В анализе культуры целью моделирования является понимание структуры данных, чтобы иметь возможность выявить тематические кластеры («голоса» или «фреймы»), которые основываются на данных и поддаются интерпретации. В дальнейшем ученые могут использовать их для постановки более фокусированных вопросов» (DiMaggio, Nag, Blei, 2013: 602–603). Например, в процитированной работе П. ДиМаджио и его коллег анализировалось, как в газетных статьях представлено искусство. Тематическое моделирование позволило увидеть темы, затем исследователи задались вопросом о связи фреймирования искусства в массовой прессе с разнообразными способами его финансирования. Для ответа на этот вопрос уже понадобились техники регрессионного анализа.

Инструменты компьютерной науки развивают новые методы анализа, которые вовсе не обязательно применять только на больших данных. Они могут дать интересные результаты даже на сравнительно маленьких данных, которые раньше анализировались традиционными методами. Например, исследователи считают, что компьютерный анализ лучше работает, чем интерпретативное чтение. Статья Дж. Мора и его соавторов иллюстрирует применение возможностей компьютер-

ного анализа текста к данным небольшого масштаба (Mohr et al., 2013). Они предлагают обратиться к новой стратегии компьютерного чтения текстовых сообщений с использованием аналитической модели, разработанной на основе концептов Кеннета Берка. В исследовании анализируются тексты о стратегии национальной безопасности США с 1990 по 2010 год — это открытые документы, которые публикуются ежегодно. Авторы искали в тексте структуру риторики на более глубоком уровне, чем простое чтение текста. Тексты стратегий являются не самым большим массивом данных, исследователю было бы по силам их все прочитать, однако, по мнению авторов, применение автоматических методов дает лучшие результаты для выявления риторики документа и его прагматического контекста.

В исследовании использовались три разных способа автоматического анализа текста — для идентификации агентов и акторов применялся метод естественной обработки языка; семантические техники — для поиска «актов» через поиск сказуемых, связанных с акторами; машинное обучение позволило проанализировать «сцены» в терминах Бёрка, в рамках которых располагались акторы и их действия. Всего было обнаружено десять тематических групп, которые концептуализировались как «сцены» Бёрка (терроризм, угрозы, права человека, экономическое развитие, энергия и другие). Заземление списка найденных акторов и их действий позволило сфокусированно работать с текстом, причем не просто показать, как темы меняются со временем, но как одни и те же акторы присутствуют в разных тематических группах, или действия, которые первоначально возникли в одной сцене, переносятся в другие. Так, авторы обнаружили, что после атаки 9/11 «акторы» и «акты», которые относились к сцене «терроризма», стали распространяться на другие «сцены», относящиеся, например, к вопросам энергетических ресурсов (Mohr et al., 2013).

Среди главных ограничений работы с большими данными называют доступ к ним (Golder, Масу, 2014). Есть те, кто производит данные, — самые обычные люди, которые оставляют электронные следы. Есть те, кто имеет возможность агрегировать данные и получить к ним доступ. Но самые влиятельные — это те, кто имеет возможность их анализировать. Обойти ограничения можно, создавая специальную инфраструктуру, что, однако, требует больших финансовых вложений<sup>6</sup>. Впрочем, есть и более простой путь — обратиться к анализу данных, доступ к которым открыт для всех. Мы можем предположить, что особую роль новые данные будут играть в тех областях, где нет серьезных ограничений к их доступу. Среди них социология культуры, значительная часть данных для которой можно

---

6. К примеру, в 2011 году на базе Школы инженерных и прикладных наук Колумбийского университета появился Институт анализа данных, в создании которого большую роль сыграла городская администрация Нью-Йорка. Она предоставила университету 15 миллионов долларов. Институт расположился на 44 000 квадратных футах нового кампуса, были наняты десятки исследователей. Сейчас в Институте функционируют нескольких центров: Центр науки о данных, Центр кибербезопасности, Центр финансовой и бизнес-аналитики, Центр анализа данных о здоровье, Центр новых медиа, Центр «Умные города». Все, что можно отнести к анализу поведения человека с помощью больших данных, сосредоточено в рамках работы Центра новых медиа.

представить в виде текстов, для анализа которых уже сейчас имеются современные инструменты компьютерной науки.

Беспрецедентные возможности наблюдения за поведением людей в реальном времени привлекают ученых, которые не имеют бэкграунда в социальных науках, но обладают достаточными навыками для анализа таких данных. Они нередко считают, что в социальных науках с приходом больших данных и инструментов компьютерной науки должны случиться радикальные перемены, в первую очередь связанные с отменой социальной теории. Социологи, вероятно опасаясь колонизации со стороны инженерных наук, предлагают обновленный вариант социологии. На заключительных страницах обзора мы рассмотрим разные варианты будущего социологии как академической дисциплины.

## Версии дисциплинарного будущего

### *Юрисдикция социологии и новые претенденты*

Позиция крайнего эмпиризма представлена в статье аналитика Криса Андерсона, который раньше возглавлял журнал «Wired». В 2008 году он провозгласил «конец теории» и необходимость отказа от научного метода в его прежнем виде.

Сейчас существует лучший путь. Петабайты позволяют нам сказать: «Хватит с нас корреляций». Мы можем анализировать данные без гипотез о том, какие связи должны в них присутствовать. Мы можем поместить все эти цифры в самые большие компьютеры, какие только известны миру, и позволить статистическому алгоритму найти паттерн там, где его не видит наука... Корреляция заняла место каузальности, и наука может развиваться даже в отсутствие когерентных моделей, унифицированных теорий или любого существующего механического объяснения. Нет никакой причины цепляться за прошлое. (Anderson, 2008, цит. по: Kitchin, 2014: 4)

С этой точки зрения социальные науки должна сменить новая атеоретическая наука о данных. Социологи и политологи должны уступить свое место аналитикам данных, которые не обременены теоретическим багажом социальных наук. Аналитики зачастую убеждены, что можно обойтись без заранее продуманных теорий, моделей или гипотез — алгоритмы могут заставить «данные говорить сами за себя». Если раньше исследователи нужны были для генерации данных, то сейчас в этом нет необходимости. Дисциплинарная компетенция менее важна по сравнению с техническими навыками. Данные смогут дать ответы на какие-либо вопросы только после определенных компьютерных манипуляций, соответственно, необходимой является ученая степень в области компьютерных наук, а не в социологии.

Об угрозе для юрисдикции социологии писали еще до того, как большие данные взорвали Интернет. В 2007 году вышла статья с названием, которое говорит

само за себя: «Наступающий кризис эмпирической социологии» (Burrows, Savage, 2007). Ее авторы были озабочены тем, что коммерческие компании имеют дело с данными, которые мечтают заполучить многие социологи. Коммерческая социология, по их мнению, существует как ответ на рефлексивный характер современного капитализма, которому нужны знания и информация, чтобы извлекать еще больше прибыли. Уже тогда социологи увидели в этом опасность: «Мы были обеспокоены, так как расценили это как еще один гвоздь в крышку гроба академической социологии и ее притязаний на юрисдикцию знания о социальном» (Burrows, Savage, 2014: 2). Раньше методы вносили свой вклад в уникальный характер дисциплины, сейчас данные могут появиться без расчета выборки, проведения интервью или фокус-группы.

Информация о признанных исследователях в области анализа больших данных дает возможность увидеть, насколько серьезны опасения по поводу колонизации социальных дисциплин инженерными науками. Список был получен на основе программ нескольких ключевых конференций, которые проводились в области вычислительной социальной науки<sup>7</sup>. Этот список не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим в данной области, однако его достаточно, чтобы оценить количество исследователей помимо социологов. Здесь нужно обратить внимание на область знания, в которой участниками была получена ученая степень: чуть меньше половины — в области социальных наук, другая половина защитила диссертации в области естественных, инженерных и компьютерных наук. Сейчас они аффилированы не только с самыми разными университетскими структурами, но и с индустрией (Facebook, Microsoft). Собственно университетские департаменты также представлены примерно в равных пропорциях: в области социальных наук их чуть меньше — 17, из них 7 — по социологии. За небольшим исключением, если исследователь имеет ученую степень в области технических или естественных наук, то и работать в дальнейшем он будет также в структурах в рамках этих направлений.

Разделение на разные области знания сохраняется и в публикациях. Конечно, в выборе журнала авторы свободнее, чем в выборе места работы. Авторы из нашей выборки часто публиковали статьи в междисциплинарных журналах. При этом в социологических изданиях в основном появляются исследователи из социальных наук. Список основных журналов: «Social Networks» — 17, «American Journal of Sociology» — 7, «Social Forces» — 4, «American Sociological Review», «Journal of Mathematical Sociology», «Social Science Research» — по 3 статьи. Мы не видим ни одного автора из нашего списка, который получил бы техническое образование, на сегодняшний день работает в профильном департаменте и при этом публикуется в социологических журналах. Все авторы без социологического бэкграунда, изучающие социальное поведение, выбирают для публикаций престижные междисци-

---

7. Список конференций: International Conference on Computational Social Science (Helsinki, June 8–11 2015), Computational Social Science Summit (Northwestern University, May 15–17 2015); 2nd Annual International Conference on Computational Social Science (Northwestern University, June 23–26 2016); Quantifying Science (Tempe, October 1 2015).

плинарные издания — «Nature», «Science», «Plos One», «PNAS», «Scientific Reports». Таким образом, можно говорить о том, что юрисдикция социологии действительно оспаривается со стороны других областей знания. Однако пока это не затрагивает собственно социологические рабочие позиции и журналы, концентрируясь в специальном пространстве, предназначенном для междисциплинарных исследований. В силу этого большая часть социологов может не замечать процесс колонизации или не придавать ему серьезного значения. Но есть несколько исключений, о которых дальше пойдет речь.

### *Доказательная социальная наука и ее призыв «идти от данных»*

Исследователи полагают, что производство знания в социологии должно измениться в силу того, что другие дисциплины также стали использовать данные о социальных транзакциях. Как пишет Кинг, «сейчас социальные науки претерпевают исторически важные изменения, когда их большая часть движется от производства знания, свойственного гуманитаристике, к естественным наукам в том, что касается исследовательского стиля, инфраструктуры, доступности данных, эмпирических методов, содержательного понимания и возможности для быстрого и заметного роста» (King, 2013: 165). О каких изменениях идет речь? Господствующий ныне научный стиль американской социологии сформировался к концу 1970-х годов, и сейчас он доминирует на страницах ведущих социологических журналов. Главное его отличие — это применение опросных инструментов и статистики для проверки заранее сформулированных гипотез. Считается, что в исследованиях американской социологии теория предшествует этапу сбора данных, который направлен на поиск статистической поддержки заранее сформулированных гипотез (McFarland, Lewis, Goldberg, 2015; Pontille, 2003). Изначальная формулировка гипотез при таком стиле имеет огромное значение, ведь нет возможности собрать какие угодно данные. Поскольку сейчас данные появляются не в результате усилий исследователей, соответственно, можно ожидать изменений в принятом порядке действий социологического исследования.

Все больше можно встретить работ, посвященных противопоставлению теоретико-ориентированной науки (theory-driven) исследованиям, которые занимают эмпирицистскую позицию «идти от данных» (data-driven science). В таких исследованиях гипотезы могут возникнуть из характера доступных данных (Kitchin, 2014: 6). Эти работы призывают перестать делать вид, что гипотезы формулируются до того, как исследование было начато и окончено (Goldberg, 2015; McAbee, Landis, Burke, 2017). Во многих случаях гипотезы появляются по мере проведения исследования, но в итоговом тексте исследователь создает иллюзию, что гипотезы появляются на основе всех прочитанных источников и направляют действия исследователя. А. Голдберг справедливо пишет о том, что едва ли найдется исследование, автор которого признается, что пока он искал ответ на один вопрос, нашел ответ на совсем другой. Существующий формат статьи задает логику линейного

изложения, которой следуют в силу принятых норм. Данные должны получить необходимое теоретическое оформление, доказывающее, что гипотезы управляли ходом исследования.

Это довольно изящно продемонстрировал М. Теплицкий, когда сравнил, как изменялись тексты социологов от варианта развернутого доклада на конференции до статьи в научном журнале (Teplitskiy, 2016). Помимо прочего, у него была возможность увидеть, на что чаще всего направлена критика рецензентов, меняют ли они теорию или их замечания в большей степени относятся к анализу данных. Если бы социологические исследования действительно запускались теоретически обоснованным вопросом, Теплицкий вряд ли бы обнаружил, что после процедуры рецензирования главным образом меняется теоретическое обрамление статьи, тогда как анализ данных остается без заметных изменений. Казалось бы, между теорией, исследовательским вопросом, данными и анализом должна существовать более-менее устойчивая связь, соответственно, в случае смены теории должен поменяться и анализ данных. Однако в большинстве социологических статей теория меняется, а анализ остается прежним, что позволяет говорить скорее о теоретическом обрамлении, чем о полноценной опоре на теорию.

Возможно, роль данных и их анализа и раньше была более самостоятельной в исследовании, чем это фиксировалось на риторическом уровне. Главным фактором, почему исследование состоялось, вполне мог быть доступ к данным, а не зазор в теоретическом знании, который и подсказал идею исследования. Но именно сейчас ученые призывают отказаться от *Sharking* (*Secretly Hypothesizing After Results Are Known*) и начать следовать *Tharking* (*Transparently Hypothesizing After Results Are Known*), то есть перестать скрывать, как осуществлялось исследование (Hollenbeck, Wright, 2016). Важно, что *Tharking* не является *data-mining*, когда без всяких идей изучаешь данные и просто получаешь закономерности. Речь идет о появлении гипотез, когда данные обнаруживают новые паттерны, дают новые идеи для рассуждений.

В том, чтобы эмпирико-ориентированная социальная наука стала более легитимной, может способствовать использование новых данных. В силу того, что данные создаются без исследователя, в них обнаруживается большой потенциал именно для индуктивного способа анализа (McAbee, Landis, Burke, 2017). Авторы пишут, что нет необходимости противопоставлять такие исследования дедуктивному способу, скорее нужно стремиться к их большей легитимности. Для их обозначения используется специальное наименование — *доказательная социальная наука* (*forensic social science*), в которой должны объединиться дедуктивный и индуктивный подходы. Исследователи не должны заниматься проверкой данных на наличие всех возможных связей, они также не должны фокусироваться полностью на проверке гипотез, так как можно упустить неожиданные эмпирические находки. Для того чтобы доказательная социальная наука стала полноценной наукой, которая создает и развивает теории, «исследователи должны работать с данными,

находить важные паттерны, а затем делать шаг назад к построению осмысленных аналитических конструкторов» (McFarland, Lewis, Goldberg, 2015).

Социологов не впечатляют одни лишь паттерны, поэтому они готовы внести коррективы в исследовательский стиль социологии, однако не собираются отказываться от необходимости развивать социальную теорию и предлагать социологические объяснения. Новые данные могут быть полезны для обнаружения закономерностей, но главное в социальных науках — это их объяснение. В таком случае большие данные могут дать те самые эмпирические загадки, которые должны присутствовать в исследованиях: «Методы больших данных не являются конечной целью, они только часть движения к объяснительной теории» (Halavais, 2015: 587).

Исследователь может не знать заранее, какой он обнаружит паттерн на основе больших данных, однако чрезвычайно важно, чтобы его исследовательские амбиции диктовали ему не останавливаться на одном только паттерне. Например, техники тематического моделирования использовались для реконструкции связей между дисциплинами через анализ импорта и экспорта языка друг друга. Связи строились на основе 1 000 000 диссертаций, написанных с 1980 по 2010 год в 157 американских университетах. Авторы обнаружили, что методологические (статистика, математика), технологические (компьютерные науки) и абстрактные тематические категории работают на экспорт — их достижения используются в ряде других дисциплин, тогда как сами эти области замкнуты и редко заимствуют язык других наук. Было также подсчитано количество слов, относящихся к внутреннему и к внешнему языку. Оказалось, что социология со временем демонстрирует заметное снижение доли внутреннего языка и увеличение внешнего. На основе этого авторы сделали вывод о том, что социология является типом науки, которая всегда остается в стадии открытий. Эта стадия характеризуется более заметной ролью внешнего языка. Другие науки также могут опираться на внешний язык, однако их собственный продолжает активно развиваться (Macfarland et al., 2013). Исследование выполнено на основе больших текстовых данных, которые анализируются продвинутыми инструментами. Это прекрасная возможность получить интересные результаты об изменениях языка дисциплин и их связей друг с другом. Результаты могут стать отправной точкой, поводом задаться вопросами, почему доминирует внешний или внутренний язык или почему их соотношение меняется со временем. Как пишет Китчин: «Одно дело — найти паттерн, другое — его объяснить. Это требует глубокого знания социальной теории и контекста. По существу, паттерн — это не конечная точка, а начальная для дополнительного анализа, который почти наверняка потребует новых данных» (Kitchin, 2014: 8).

Существует и более радикальное предложение — развернуть социологию от казуальных объяснений в сторону описаний. М. Сэвидж и Р. Берроуз не просто призывают инкорпорировать большие данные в свои работы, но предлагают заняться исследованиями, в которых будет больше паттернов, чем объяснений (Savage, 2009; Burrows, Savage, 2007). Социологи должны серьезно задуматься о причинах

угасающего интереса широкой публики к собственным исследованиям. Предложение Сэвиджа и Берроуза заключается в отказе от каузальности, поскольку социологии так и не удалось предложить убедительных объяснений. Лучшее, чем социология может сейчас заняться, это делать хорошие описания, используя новые методы и данные. В своих рассуждениях Сэвидж опирается на идеи Э. Эбботта о дисциплинарном проекте, в рамках которого социология могла бы существовать без того, чтобы ставить каузальность на первое место, как это возможно в других дисциплинах:

Одна из главных причин, почему публика перестала интересоваться социологией, это наше снисходительное отношение к описанию. Публика жаждет описания, но мы слишком презираем этот жанр. Сосредотачиваясь на одной только каузальности, мы отказываем в публикации статьям с чистым описанием, даже если описание выполнено с использованием количественных методов и имеет важные содержательные выводы. В то же время коммерческие фирмы платят миллионы за такую работу, получается, что наше общество фактически «описывается» самым детальным образом частными маркетинговыми компаниями. Но мы, хотя и любим считать, что ответственны за публичное знание об обществе, презираем и описания и методы, которые обычно используются для количественных исследований. Наши социальные индикаторы представляют собой почти случайный набор переменных, пригодных для каузального анализа. (Abbott, 2001: 121)

Для Эбботта социология никогда не будет восприниматься всерьез как наука о социальной жизни, пока она не возьмется за описания. Социология все еще не сделала полный разворот в эту сторону, однако, возможно, большие данные приближат его. Первый шаг в эту сторону был сделан, когда ученые начали рассуждать об исследовании, которое идет от данных с нелинейной последовательностью шагов, как о легитимном варианте дисциплинарного будущего социологии.

## Заключение

Не сложно найти массу примеров полезности больших данных для внешнего мира<sup>8</sup>. Однако можно ли уже говорить о достигнутых успехах в социологии? Есть мнение, что пока мы чаще имеем дело с рассуждениями о применении больших данных в социальных науках, чем действительно с исследованиями, которые строятся на их анализе (Halavais, 2015). Социологи до сих пор чаще критикуют возможности больших данных, чем их используют. Среди десяти самых употребляемых

---

8. Найденные предсказания могут позволить добиться улучшения не только в коммерческой сфере. Один из самых цитируемых примеров — использование поисковых запросов для информации о реальном распространении заболеваний. Обычно в Европе и США информация о гриппе собирается на основе визитов к врачу, данные публикуются каждую неделю с запаздыванием в 1–2 недели. Поисковые запросы дают возможность отслеживать заболевание быстрее, причем можно заранее получить информацию, которая будет соответствовать реальному поведению (Ginsberg et al., 2009).

ключевых слов в статьях, посвященных большим данным, половина относится к обсуждению вызовов и возможностей их использования — *challenge, revolution, opportunity, value, application, future*<sup>9</sup>. Возможно, стоит согласиться, что содержательный прорыв и важные научные результаты ожидают нас впереди. С другой стороны, именно сейчас принципиально важно обсудить, что может измениться в социологии при переориентации исследователя со сбора данных на постановку вопросов к уже существующим массивам.

Наибольшее внимание исследователей пока сосредоточено на том, чтобы определить отличия новой социальной науки, исследования в которой далеко не всегда носят линейный характер. Гораздо реже обсуждается вопрос об эпистемологическом статусе нового типа данных. В статьях почти по умолчанию считается, что большие данные — подлинные и объективные. Если они не создавались по запросу исследователя, то якобы обладают большей надежностью. Однако стоит помнить, что в случае больших данных «исследователь не только лишен возможности влиять на инструмент, но и нередко не может наблюдать его в действии» (Волков, Скугаревский, Титаев, 2016: 51). В создании новых данных большую роль играют электронные механизмы, которые, заметим, создаются и обслуживаются людьми. В этом смысле как никогда важно продолжить задаваться вопросом, с какими же данными мы имеем дело и о чем они могут нам рассказать. Таким образом, один из необходимых шагов исследования должен заключаться в критической оценке производства данных, что поможет избежать ситуации выявления и описания ложных зависимостей (Там же: 53).

## Литература

- Волков В., Скугаревский Д., Титаев К. (2016). Проблемы и перспективы исследований на основе Big Data (на примере социологии права) // Социологические исследования. № 1. С. 48–57.
- Сивков Д. (2017). Большие данные в этнографии: вызовы и возможности // Социология науки и технологий. Т. 8. № 1. С. 56–68.
- Abbott A. (2001). *Time Matters*. Chicago: Chicago University Press.
- Austin C., Fred K. (2016). The Application of Big Data in Medicine: Current Implications and Future Directions // *Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology*. Vol. 47. № 1. P. 51–59.
- Bearman P. (2015). Big Data and Historical Social Science // *Big Data & Society* Vol. 2. № 2. P. 1–5.
- Bail C. A. (2014). The Cultural Environment: Measuring Culture with Big Data // *Theory and Society*. Vol. 43. № 3. P. 465–524.
- Bond R., Fariss C., Jones J., Kramer A., Marlow C., Settle J., Fowler J. (2012). A 61-Million-Person Experiment in Social Influence and Political Mobilization // *Nature*. Vol. 489. № 7415. P. 295–298.

---

9. По данным Web of Science, на основе 989 статей.

- Bott E.* (1955). Urban Families: Conjugal Roles and Social Networks // *Human Relations*. Vol. 8. № 4. P. 345–384.
- boyd d., Crawford K.* (2013). Critical Questions for Big Data // *Information, Communication & Society*. Vol. 15. № 5. P. 37–41.
- Burrows R., Savage M.* (2007). The Coming Crisis of Empirical Sociology // *Sociology*. Vol. 41. № 5. P. 885–899.
- Burrows R., Savage M.* (2014). After the Crisis? Big Data and the Methodological Challenges of Empirical Sociology // *Big Data & Society*. Vol. 1. № 6. P. 1–7.
- Burt R.* (2004). Structural Holes and Good Ideas // *American Journal of Sociology*. Vol. 110. № 2. P. 349–399.
- Connelly R., Playford C. J., Gayle V., Dibben C.* (2016). The Role of Administrative Data in the Big Data Revolution in Social Science Research // *Social Science Research*. Vol. 59. P. 1–12.
- Centola D.* (2010). The Spread of Behavior in an Online Social Network Experiment // *Science*. Vol. 329. № 5996. P. 1194–1197.
- Centola D.* (2011). An Experimental Study of Homophily in the Adoption of Health Behavior // *Science*. Vol. 334. № 6060. P. 1269–1272.
- Christakis N. A., Fowler J. H.* (2013). Social Contagion Theory: Examining Dynamic Social Networks and Human Behavior // *Statistics in Medicine*. Vol. 32. № 4. P. 556–577.
- Coviello L., Sohn Y., Kramer A., Marlow C., Franceschetti M., Christakis N., Fowler J.* (2014). Detecting Emotional Contagion in Massive Social Networks // *Plos One*. Vol. 9. № 3. P. 1–6.
- DiMaggio P., Nag M., Blei D.* (2013). Exploiting Affinities between Topic Modeling and the Sociological Perspective on Culture: Application to Newspaper Coverage of U.S. Government Arts Funding // *Poetics*. Vol. 41. № 6. P. 570–606.
- Einav L., Levin J. D.* (2013). The Data Revolution and Economic Analysis // *Lerner J., Stern D.* (eds.). *Innovation Policy and the Economy*. Chicago: University of Chicago Press. P. 1–24.
- Evans J. A., Aceves P.* (2016). Machine Translation. Mining Text for Social Theory // *Annual Review of Sociology*. Vol. 42. P. 21–50.
- Frizzo-Barker J., Chow-White P. A., Mozafari M., Ha D.* (2016). An Empirical Study of the Rise of Big Data in Business Scholarship // *International Journal of Information Management*. Vol. 36. № 3. P. 403–413.
- Goel S., Hofman J. M., Lahaie S., Pennock D. M., Watts D. J.* (2010). Predicting Consumer Behavior with Web Search // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. Vol. 107. № 41. P. 17486–17490.
- Golder S. A., Macy M. W.* (2014). Digital Footprints: Opportunities and Challenges for Online Social Research // *Annual Review of Sociology*. Vol. 40. P. 129–152.
- Goldberg A.* (2015). In Defense of Forensic Social Science // *Big Data & Society*. Vol. 2. № 2. P. 1–3.
- Ginsberg J., Mohebbi M. H., Patel R. S., Brammer L., Smolinski M. S., Brilliant L.* (2009). Detecting Influenza Epidemics Using Search Engine Query Data // *Nature*. Vol. 457. № 7232. P. 1012–1014.

- Granovetter M.* (1973). The Strength of Weak Ties // *American Journal of Sociology*. Vol. 78. № 6. P. 1360–1380.
- Halavais A.* (2015). Bigger Sociological Imaginations: Framing Big Social Data Theory and Methods // *Information, Communication & Society*. Vol. 4462. P. 1–12.
- Hollenbeck J. R., Wright P. M.* (2016). Harking, Sharking, and Tharking // *Journal of Management*. Vol. 43. № 1. P. 5–18.
- Iliadis A., Russo F.* (2016). Critical Data Studies: An Introduction // *Big Data & Society*. Vol. 3. № 2. P. 1–7.
- King G.* (2013). Restructuring the Social Sciences: Reflections from Harvard's Institute for Quantitative Social Science // *PS: Political Science & Politics*. Vol. 47. 1. P. 165–72.
- King G., Roberts M. E.* (2013). How Censorship in China Allows Government Criticism but Silences Collective Expression // *American Political Science Review*. Vol. 107. № 2. P. 326–343.
- King G.* (2009). The Changing Evidence Base of Social Science Research // *King G., Scholzman K., Nie N.* (eds.). *The Future of Political Science: 100 Perspectives*. New York: Routledge. P. 91–93.
- Kitchin R.* (2014). Big Data, New Epistemologies and Paradigm Shifts // *Big Data & Society*. Vol. 1. № 1. P. 1–12.
- Kitchin R., McArdle G.* (2016). What Makes Big Data, Big Data? Exploring the Ontological Characteristics of 26 Datasets // *Big Data & Society*. Vol. 3. № 1. P. 1–10.
- Koonin S. E., Holland M. J.* (2014). The Value of Big Data for Urban Science // *Lane J., Stodden V., Bender S., Nissenbaum H.* (eds.). *Privacy, Big Data, and the Public Good*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 137–153.
- Lazer D., Pentland A., Adamic L., Aral S., Barabasi A-L., Brewer D., Christakis N., Contractor N., Fowler J., Gutmann M., Jebara T., King G., Macy M., Roy D., Van Alstyne M.* (2009). Computational Social Science // *Science*. Vol. 323. № 5915. P. 721–723.
- McAbee S. T., Landis R. S., Burke M. I.* (2017). Inductive Reasoning: The Promise of Big Data // *Human Resource Management Review*. Vol. 27. № 2. P. 277–290.
- Manovich L.* (2011). Trending: The Promises and the Challenges of Big Social Data // *Gold M. K.* (ed.). *Debates in the Digital Humanities*. Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 469–475.
- McFarland D. A., Lewis K., Goldberg A.* (2015). Sociology in the Era of Big Data: The Ascent of Forensic Social Science // *American Sociologist*. Vol. 47. № 1. P. 12–35.
- McFarland D. A., Ramage D., Chuang J., Heer J., Manning Ch. D., Jurafsky D.* (2013). Differentiating Language Usage through Topic Models // *Poetics*. Vol. 41. № 6. P. 607–625.
- Mohr J. W., Bogdanov P.* (2013). Introduction-Topic Models: What They Are and Why They Matter // *Poetics*. Vol. 41. № 6. P. 545–569.
- Mohr J. W., Wagner-Pacifi R., Breiger R. L., Bogdanov P.* (2013). Graphing the Grammar of Motives in National Security Strategies: Cultural Interpretation, Automated Text Analysis and the Drama of Global Politics // *Poetics*. Vol. 41. № 6. P. 670–700.
- Moody J., Light R.* (2006). A View from Above: The Evolving Sociological Landscape // *American Sociologist*. Vol. 37. № 2. P. 67–86.

- Mützel S. (2015). Facing Big Data: Making Sociology Relevant // *Big Data & Society*. Vol. 2. № 2. P. 1–4.
- Pontille D. (2003). Authorship Practices and Institutional Contexts in Sociology: Elements for a Comparison of the United States and France // *Science Technology Human Values*. Vol. 28. № 2. P. 217–243.
- Peterson R. A., Anand N. (2004). The Production of Culture Perspective // *Annual Review of Sociology*. Vol. 30. № 1. P. 311–334.
- Savage M. (2009). Contemporary Sociology and the Challenge of Descriptive Assemblage // *European Journal of Social Theory*. Vol. 12. № 1. P. 155–174.
- Smith K., Christakis N. A. (2008). Social Networks and Health // *Annual Review of Sociology*. Vol. 34. P. 405–429.
- Teplitskiy M. (2016). Frame Search and Re-search: How Quantitative Sociological Articles Change During Peer Review // *American Sociologist*. Vol. 47. № 2. P. 264–288.
- Wellman B. (1979). The Community Question: The Intimate Networks of East Yorkers // *American Journal of Sociology*. Vol. 84. № 5. P. 1201–1231.
- Zwitter A. (2014). Big Data Ethics // *Big Data & Society*. Vol. 1. № 2. P. 1–6.

## Big Data in Sociology: New Data, New Sociology?

*Katerina Guba*

PhD in Sociology, Junior Research Fellow, Institute for the Rule of Law, European University at Saint Petersburg  
Address: Shpalernaya str., 1, Saint Petersburg, Russian Federation 191187  
E-mail: kguba@eu.spb.ru

Recently, we are witnessing an aspiration in the social sciences to collect and analyze the data about human behavior that is being produced with an unprecedented depth and scale. In this article, we discuss how this new data may impact sociology. Big Data has been defined in various ways in literature. Some of the latest works reveal that the key definitional boundary marker is not the volume of data produced, but the traits of velocity and exhaustivity. The differences of this new type of data are that it is not created for research purposes, that it covers the entire population, and that it is produced in real-time. There are two ways to answer the question of key changes in sociology in the era of Big Data. First, new online-data can greatly improve traditional sociological subfields which were prevented from being developed because of a lack of data. Now, there are new results based on online-data which shed light on the causal effect of social influence. Big data can also enable the development of new lines of research because of rapidly-developing computational techniques. This is especially important for those research areas which deal with large bodies of text, and most importantly, new techniques can greatly improve the sociology of culture where empirical research has been less developed when compared with theoretical ideas. Secondly, new data can have an impact on the disciplinary project of sociology. The article ends with the discussion of how Big Data can be used to support data-driven sociology, which differs from mainstream sociology where hypotheses are offered a priori, data is collected, and analyses are conducted to determine the degree to which the hypotheses are supported.

**Keywords:** Big Data, computational social science, forensic social science, data-driven sociology, network analysis, topic models

## References

- Abbott A. (2001) *Time Matters*, Chicago: Chicago University Press.
- Austin C., Fred K. (2016) The Application of Big Data in Medicine: Current Implications and Future Directions. *Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology*, vol. 47, no 1, pp. 51–59.
- Bearman P. (2015) Big Data and Historical Social Science. *Big Data & Society*, vol. 2, no 2, pp. 1–5.
- Bail C. A. (2014) The Cultural Environment: Measuring Culture with Big Data. *Theory and Society*, vol. 43, no 3, pp. 465–524.
- Bond R. M. et al. (2012) A 61-Million-Person Experiment in Social Influence and Political Mobilization. *Nature*, vol. 489, no 7415, pp. 295–298.
- Bott E. (1955) Urban Families: Conjugal Roles and Social Networks. *Human Relations*, vol. 8, no 4, pp. 345–384.
- boyd d., Crawford K. (2013) Critical Questions for Big Data. *Information, Communication & Society*, vol. 15, no 5, pp. 37–41.
- Burrows R., Savage M. (2007) The Coming Crisis of Empirical Sociology. *Sociology*, vol. 41, no 5, pp. 885–899.
- Burrows R., Savage M. (2014) After the Crisis? Big Data and the Methodological Challenges of Empirical Sociology. *Big Data & Society*, vol. 1, no 6, pp. 1–7.
- Burt R. (2004) Structural Holes and Good Ideas. *American Journal of Sociology*, vol. 110, no 2, pp. 349–399.
- Connelly R., Playford C. J., Gayle V., Dibben C. (2016) The Role of Administrative Data in the Big Data Revolution in Social Science Research. *Social Science Research*, vol. 59, pp. 1–12.
- Centola D. (2010) The Spread of Behavior in an Online Social Network Experiment. *Science*, vol. 329, no 5996, pp. 1194–1197.
- Centola D. (2011) An Experimental Study of Homophily in the Adoption of Health Behavior. *Science*, vol. 334, no 6060, pp. 1269–1272.
- Christakis N. A., Fowler J. H. (2013) Social Contagion Theory: Examining Dynamic Social Networks and Human Behavior. *Statistics in Medicine*, vol. 32, no 4, pp. 556–577.
- Coviello L., Sohn Y., Kramer A., Marlow C., Franceschetti M., Christakis N., Fowler J. (2014) Detecting Emotional Contagion in Massive Social Networks. *Plos One*, vol. 9, no 3, pp. 1–6.
- DiMaggio P., Nag M., Blei D. (2013) Exploiting Affinities between Topic Modeling and the Sociological Perspective on Culture: Application to Newspaper Coverage of U.S. Government Arts Funding. *Poetics*, vol. 41, no 6, pp. 570–606.
- Einav L., Levin J. D. (2013) The Data Revolution and Economic Analysis. *Innovation Policy and the Economy* (eds. J. Lerner, S. Stern), Chicago: University of Chicago Press, pp. 1–24.
- Evans J. A., Aceves P. (2016) Machine Translation. Mining Text for Social Theory. *Annual Review of Sociology*, vol. 42, pp. 21–50.
- Frizzo-Barker J., Chow-White P. A., Mozafari M., Ha D. (2016) An Empirical Study of the Rise of Big Data in Business Scholarship. *International Journal of Information Management*, vol. 36, no 3, pp. 403–413.
- Ginsberg J., Mohebbi M. H., Patel R. S., Brammer L., Smolinski M. S., Brilliant L. (2009) Detecting Influenza Epidemics Using Search Engine Query Data. *Nature*, vol. 457, no 7232, pp. 1012–1014.
- Goel S., Hofman J. M., Lahaie S., Pennock D. M., Watts D. J. (2010) Predicting Consumer Behavior with Web Search. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, vol. 107, no 41, pp. 17486–17490.
- Golder S. A., Macy M. W. (2014) Digital Footprints: Opportunities and Challenges for Online Social Research. *Annual Review of Sociology*, vol. 40, pp. 129–152.
- Goldberg A. (2015) In Defense of Forensic Social Science. *Big Data & Society*, vol. 2, no 2, pp. 1–3.
- Granovetter M. (1973) The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, vol. 78, no 6, pp. 1360–1380.
- Halavais A. (2015) Bigger Sociological Imaginations: Framing Big Social Data Theory and Methods. *Information, Communication & Society*, vol. 4462, pp. 1–12.
- Hollenbeck J. R., Wright P. M. (2017) Harking, Sharking, and Tharking. *Journal of Management*, vol. 43, no 1, pp. 5–18.

- Iliadis A., Russo F. (2016) Critical Data Studies: An Introduction. *Big Data & Society*, vol. 3, no 2, pp. 1–7.
- King G. (2013) Restructuring the Social Sciences: Reflections from Harvard's Institute for Quantitative Social Science. *PS: Political Science & Politics*, vol. 47, no 1, pp. 165–172.
- King G., Roberts M. E. (2013) How Censorship in China Allows Government Criticism but Silences Collective Expression. *American Political Science Review*, vol. 107, no 2, pp. 326–343.
- King G. (2009) The Changing Evidence Base of Social Science Research. *The Future of Political Science: 100 Perspectives* (eds. G. King, K. Scholzman, N. Nie), London: Routledge, pp. 91–93.
- Kitchin R. (2014) Big Data, New Epistemologies and Paradigm Shifts. *Big Data & Society*, vol. 1, no 1, pp. 1–12.
- Kitchin R., McArdle G. (2016) What Makes Big Data, Big Data? Exploring the Ontological Characteristics of 26 Datasets. *Big Data & Society*, vol. 3, no 1, pp. 1–10.
- Koonin S.E., Holland M. J. (2014) The Value of Big Data for Urban Science. *Privacy, Big Data, and the Public Good* (eds. J. Lane, V. Stodden, S. Bender, H. Nissenbaum), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 137–153.
- Lazer D., Pentland A., Adamic L., Aral S., Barabasi A-L., Brewer D., Christakis N., Contractor N., Fowler J., Gutmann M., Jebara T., King G., Macy M., Roy D., Van Alstyne M. (2009) Computational Social Science. *Science*, vol. 323, no 5915, pp. 721–723.
- McAbee S.T., Landis R. S., Burke M. I. (2017) Inductive Reasoning. The Promise of Big Data. *Human Resource Management Review*, vol. 27, no 2, pp. 277–290.
- Manovich L. (2011) Trending: The Promises and the Challenges of Big Social Data. *Debates in the Digital Humanities* (ed. M. K. Gold), Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 469–475.
- McFarland D. A., Lewis K., Goldberg A. (2015) Sociology in the Era of Big Data: The Ascent of Forensic Social Science. *American Sociologist*, vol. 47, no 1, pp. 12–35.
- McFarland D. A., Ramage D., Chuang J., Heer J., Manning Ch. D., Jurafsky D. (2013) Differentiating Language Usage through Topic Models. *Poetics*, vol. 41, no 6, pp. 607–625.
- Mohr J. W., Wagner-Pacifici R., Breiger R. L., Bogdanov P. (2013) Graphing the Grammar of Motives in National Security Strategies: Cultural Interpretation, Automated Text Analysis and the Drama of Global Politics. *Poetics*, vol. 41, no 6, pp. 670–700.
- Mohr J. W., Bogdanov P. (2013) Introduction-Topic Models: What They Are and Why They Matter. *Poetics*, vol. 41, no 6, pp. 545–569.
- Moody, J., Light R. (2006) A View from Above: The Evolving Sociological Landscape. *American Sociologist*, vol. 37, no 2, pp. 67–86.
- Mützel, S. (2015) Facing Big Data: Making Sociology Relevant. *Big Data & Society*, vol. 2, no 2, pp. 1–4.
- Pontille D. (2003) Authorship Practices and Institutional Contexts in Sociology: Elements for a Comparison of the United States and France. *Science Technology Human Values*, vol. 28, no 2, pp. 217–243.
- Peterson, R. A., Anand N. (2004) The Production of Culture Perspective. *Annual Review of Sociology*, vol. 30, no 1, pp. 311–334.
- Savage M. (2009) Contemporary Sociology and the Challenge of Descriptive Assemblage. *European Journal of Social Theory*, vol. 12, no 1, pp. 155–174.
- Sivkov D. (2017) Bol'shie dannye v jetnografii: vyzovy i vozmozhnosti [Big Data and Ethnography: Challenges and Opportunities]. *Sociology of Science and Technology*, vol. 8, no 1, pp. 56–68.
- Smith K., Christakis N. A. (2008) Social Networks and Health. *Annual Review of Sociology*, vol. 34, pp. 405–429.
- Teplitskiy M. (2016) Frame Search and Re-search: How Quantitative Sociological Articles Change During Peer Review. *American Sociologist*, vol. 47, no 2, pp. 264–288.
- Volkov V., Skugarevsky D., Titaev K. (2016) Problemy i perspektivy issledovaniy na osnove Big Data (na primere sociologii prava) [Problems and Prospects of the Studies Based on Big Data (the Case of the Sociology of Law)]. *Sociological Studies*, vol. 1, pp. 48–57.
- Wellman B. (1979) The Community Question: The Intimate Networks of East Yorkers. *American Journal of Sociology*, vol. 84, no 5, pp. 1201–1231.
- Zwitter A. (2014) Big Data Ethics. *Big Data & Society*, vol. 1, no 2, pp. 1–6.

# Экономическая стратификация: об определении границ доходных групп\*

*Василий Аникин*

Кандидат экономических наук, PhD, доцент, старший научный сотрудник  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
Старший научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: [vanikin@hse.ru](mailto:vanikin@hse.ru)

*Юлия Лежнина*

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
Старший научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: [jlezhnina@hse.ru](mailto:jlezhnina@hse.ru)

Статья представляет собой обзор зарубежных и российских источников, затрагивающих проблему доходной стратификации, и систематизацию существующих подходов. Ее актуальность обуславливается отсутствием обзорных работ, в которых бы обобщался накопленный опыт исследований в области одномерной стратификации по доходу, несмотря на то что и отечественные ученые, и их зарубежные коллеги активно используют одномерные классификации индивидов, основанные на шкале доходов в социально-экономических исследованиях. В работе рассмотрены и систематизированы результаты исследований, выполненных как в духе абсолютного, так и относительного подхода к выделению групп на основе доходного распределения. Ни в зарубежной, ни в российской традиции до сих пор не сложилось единого понимания того, как должна выглядеть шкала доходов при построении модели доходной стратификации в странах с индустриально развитой экономикой. Это связано во многом с тем, что исследователей, работающих со шкалами доходов, как правило, интересуют конкретные социальные группы (бедные, средний класс, верхние слои общества), а не общество в целом и его структура; более того, ученые по-разному понимают доходные границы этих групп. Вместе с тем показано, что работы социологической направленности отдают предпочтение относительному подходу (особенно в такой его версии, как медианный подход). По отдельным «порогам» на шкале доходов в рамках этого подхода достигнут даже хрупкий консенсус. Относительное единодушие касается прежде всего интервала 0,75–1,25 медианы, который позволяет выделить в индустриально развитых обществах средний класс «по доходам». Большинство же исследователей сходятся во мнении, что доходы более 2 и менее 0,5 медианы представляют собой пороги, отсекающие полярные группы — верхи и низы — общества. Работа носит во многом междисциплинарный характер и может быть полезна не только социологам,

---

© Аникин В. А., 2018

© Лежнина Ю. П., 2018

© Центр фундаментальной социологии, 2018

DOI: 10.17323/1728-192X-2018-1-237-273

\* Статья подготовлена в рамках проекта 17-03-00290 «Динамика модели доходной стратификации российского общества в социологическом измерении (1992–2017 гг.)», реализуемого при поддержке РФФИ.

Авторы выражают признательность Н. Е. Тихоновой и Е. Д. Слободенюк за их неоценимый вклад на этапе подготовки данной статьи.

но также экономистам, демографам и специалистам в области социально-экономической статистики.

*Ключевые слова:* доходная стратификация, доходное неравенство, границы доходных групп, относительный подход, медиана, средний класс, бедные, богатые

Дифференциация доходов населения и уровень неравенства входят в число наиболее острых социально-экономических проблем в современных обществах и зачастую формируют политическую повестку стран. Неудивительно, что и в академической литературе они находятся в зоне внимания исследователей. При этом изучение распределения доходов, с одной стороны, позволяет обнажать проблемные точки в жизни населения, которые на практике требуют решения мерами социальной политики, чаще всего государственной. С другой стороны, оно дает дополнительные возможности для исследования социальной структуры общества (Esping-Andersen, 1990), так как доходы традиционно являются одним из основных индикаторов уровня жизни, учитываемых при построении соответствующих моделей.

Доходы — не единственный монетарный индикатор уровня жизни для одномерной стратификации. Их альтернативой могут выступать расходы как показатель характеристик потребления (Banerjee, Duflo, 2008) или накопленное богатство (например, в: Credit Suisse, 2015). Нам кажется более перспективным изучение именно доходов индивидов и домохозяйств — ведь доходы свидетельствуют не только о реальном уровне жизни и возможностях в сфере потребления, но и о перспективах сберегательного и инвестиционного поведения людей в долгосрочной перспективе. В то же время расходы больше говорят о выбранном образе жизни с учетом имеющихся ограничений, а накопленное богатство — как финансовое, так и нефинансовое — дифференцирует лишь небольшую часть населения.

Стратификация по уровню доходов является на первый взгляд одним из наиболее простых подходов к анализу структуры общества в рамках шкалы «бедные-богатые». Такая модель позволяет получить количественные оценки наименее и наиболее благополучных в финансовом отношении групп населения, их динамики, определить степень доходного неравенства в обществе, выявить изменения доходов разных социальных групп под влиянием экономической рецессии или экономического роста. В силу того, что основным индикатором для ее построения является универсальный показатель уровня доходов, именно такая модель стратификации удобна для международных сравнений. Велика ее роль и в сфере социальной политики, где на основании показателя доходов определяются группы бедных и нуждающихся, которые становятся объектом социальной поддержки.

Необходимость углубленных исследований доходной стратификации была артикулирована еще более четверти века назад учеными, рассматривавшими доходное распределение как одно из важнейших оснований социальной стратификации (Esping-Andersen, 1990; Lenski, 1984; Rytina, Form, Pease, 1970; Townsend, 1979)

и много сделавшими в этом направлении. Тем не менее потребность в таких исследованиях актуальна и сегодня (Ceriani, Verme, 2014), в том числе для современной России (O'Brien, Wegren, Patsiorkovsky, 2007; Townsend, 2013; Wegren, Patsiorkovski, O'Brien, 2006; Григорьев, Салмина, 2013; Тихонова, 2017а, 2017б). Более того, эта проблематика вызывает интерес различных специалистов, хотя самые заметные «игроки» здесь — социологи и экономисты. Для экономистов доходы и доходное неравенство являются неотъемлемыми атрибутами концепции располагаемых возможностей («capabilities»), основанной на экономических теориях благосостояния и справедливого распределения. Этот традиционный для них подход к измерению благосостояния базируется на сравнении уровней доступных индивидам ресурсов (Sen, 1992). При этом развитие проблематики доходных неравенств экономистами часто пересекается с ключевыми для концепций социальной стратификации и теории социальной структуры в целом темами. Это справедливость, неравенство, бедность, средний класс; в меньшей степени проработана в литературе в этом контексте проблематика богатства (Brzezinski, 2011; Eisenhauer, 2011). При этом в целом опыт выделения тех или иных доходных групп в академической литературе независимо от ее отраслевой принадлежности значительно чаще связан с изучением отдельных элементов социальной структуры (соответственно, бедных, среднего класса и т. д.), чем с описанием моделей социальной стратификации общества в целом.

Междисциплинарное продвижение в изучении доходной стратификации значительно осложняет путаница в понятиях, а именно то, что, например, социологи и экономисты по-разному трактуют базовые понятия социальной структуры, в частности — группы, страты, слои и классы. Несмотря на то что в социологии сложилась традиция анализа социальных групп, берущая свое начало еще в работах Г. Зиммеля (Simmel, 1898), экономисты активно используют это понятие для описания выделяемых ими доходных категорий и рангов, не учитывая традиционные критерии выделения групп в социологии. Исключение составляют случаи, когда за основу разбиения населения берется отношение индивидов или домохозяйств к тому или иному доходному процентилю или индексные методики доходной стратификации (Yitzhaki, Lerman, 1991), когда деление населения на группы заведомо основано скорее не на социальной теории, а на практических нуждах исследования (например, необходимости контролировать нелинейность анализируемых процессов). Социологи же редко используют подобные формальные деления, отдавая предпочтение теоретически более проработанным классификациям, например, классовым схемам Дж. Голдторпа и его коллег (Erikson, Goldthorpe, 1992; Goldthorpe, McKnight, 2006), Э. Райта (Wright, 1989, 1997), Д. Груски и его коллег (Liu, Grusky, 2013; Weeden, Grusky, 2005), Д. Треймана (Treiman, 1977) или даже вообще выражают скепсис по поводу попыток увязать дифференциацию населения по доходу с логикой социальной стратификации (Wodtke, 2016).

Тем не менее задача взаимоувязывания социальной стратификации и доходного неравенства, согласно текущим исследованиям социально-экономического

неравенства и стратификации, в России по-прежнему сохраняет свою значимость, причем не только практическую, но и теоретическую (Anikin et al., 2016; O'Brien et al., 2007; Wegren et al., 2006; Козырева, Смирнов, 2016; Тихонова, 2017b; Тихонова, Слободенюк, 2014; Шкаратан, 2009). И хотя стратификация исключительно на основе доходов несколько ограничена в своих эвристических возможностях при анализе социальной структуры в целом, она может красноречиво свидетельствовать о происходящих в этой области социально-экономических процессах, их тенденциях и масштабах. При этом сами доходные группы формируют упорядоченную однокритериальную схему классификации общества<sup>1</sup>, пусть и простую, но уже закрепившуюся как отдельная традиция в структурной социологии (Grusky, 2001; Parsons, 1940).

С методологической точки зрения построение шкалы доходной стратификации и выбор рангов доходного распределения для обеспечения отражения реальной неоднородности общества не является тривиальной задачей. Наибольшие вопросы вызывает то, где именно должны проходить границы различных доходных групп, чтобы обеспечивать их относительную гомогенность и дифференцировать их между собой. Для определения этих порогов могут использоваться различные подходы, основные среди которых — абсолютный и относительный. В рамках *абсолютного* подхода границы дохода различных социально-экономических групп задаются конкретной денежной суммой, а в рамках *относительного* подхода отправной точкой анализа выступают средние (реже) или медианные (чаще) показатели дохода, а также децильные распределения (или иное распределение по процентиям).

Целесообразность применения для России как самих этих подходов, так и определенных доходных границ в их рамках может быть различной, поскольку они разрабатывались для разных целей и для стран, находящихся на разных этапах экономического и социального развития. Поэтому выбор оптимальной методики — важная отдельная задача.

### Абсолютный подход к доходной стратификации

Абсолютный подход к выделению тех или иных доходных групп в значительной степени является экстраполяцией на доходную стратификацию общества в целом опыта определения бедности через выделение ее количественной (и при этом монетарной) границы. Для национальных статистик величина черты бедности в основном определяется через прожиточный минимум (ПМ), т. е. стоимость товаров и услуг, обеспечивающих удовлетворение базовых потребностей, а также обяза-

---

1. Говорить о доходной стратификации как отражении реальной структуры общества возможно, только если доходные группы выделены не случайным, формальным образом, а на основе содержательных критериев, отражающих реальную разницу их возможностей и ресурсов, различий в устойчивости их положения и определяющих его факторах. Именно такой подход использован в данной статье.

тельных платежей. Также зачастую в потребительской корзине нормативно устанавливается доля непродовольственных товаров. В этой логике для целей государственной статистики бедные выделяются обычно посредством сравнения доходов населения с прожиточным минимумом. Соответствующая практика типична для статистических служб многих стран с разным уровнем развития и национального дохода. Ее использует и Россия, и статистический комитет СНГ (Ясинский, 2014), и даже такая развитая страна, как США, хотя в США стандарты потребления крайне высоки и не ограничиваются возможностями физического воспроизводства населения, поэтому при расчете черты бедности учитывается, что доля расходов на продукты питания в минимальной потребительской корзине должна составлять не более трети всех расходов<sup>2</sup>. Это заметно ниже, чем, например, в современной России (50 %).

Определение национальных черт бедности учитывает географическую, экономическую, культурную и другую специфику стран. Соответственно, они характеризуют порой принципиально разные наборы товаров и услуг, что затрудняет международные сопоставления реального уровня жизни населения. В этих условиях построение шкал доходной стратификации на основании абсолютных значений и последующее их сравнение требует аккуратного учета таких показателей, как этап индустриализации страны, уровень ее модернизированности и т. д., что означает дифференцирование соответствующих границ для населения стран с разным этапом социально-экономического развития (Cowell, 2011).

Еще одним вариантом определения национальных линий бедности может выступать размер доходов/расходов, соответствующих потреблению определенного количества калорий (в основном 2100 или 2400 в сутки, хотя существуют и иные варианты [Government of India Planning Commission, 2014]). Однако поскольку одно и то же количество калорий может обеспечиваться принципиально разными продуктовыми корзинами с разной стоимостью, этот вариант расчета черты бедности не особенно популярен.

Альтернативой, избегающей денежных измерений, является практика выделения социальных групп через границы долей дохода, затрачиваемых на питание. Подобные методики разрабатывались для развивающихся стран (в частности, Латинской Америки, где они широко используются до сих пор). По большей части при выделении группы бедного населения в их рамках учитываются различные относительные доли расходов на питание (например, 80 % общего бюджета домохозяйств для крайне бедных, 60 % — для бедных и 40 % — для уязвимых) (см., например: Hall, 2014; Levine, Roberts, 2008).

На фоне ограничений обозначенных выше подходов значительно более широкое распространение — в первую очередь для сравнительных исследований — получила методика определения черты бедности, разработанная экономистами Всемирного банка, в частности, М. Раваллионом и его коллегами (Montalvo, Ravallion,

2. Более подробно методику выделения группы бедного населения см. на официальном сайте Бюро переписи населения США (<https://www.census.gov/topics/income-poverty/poverty/about.html>).

2010; Ravallion, 2010, 2011, 2016), а также ее разновидности. Доходные границы в рамках этой методики, которую сами авторы определяют как скорее «слабо от-носительную» (Chen, Ravallion, 2013), выделены на базе национальных границ бедности отдельных стран выборки, с которой работает Всемирный банк (всего 126 стран). Эта методика разрабатывалась и используется в основном для анализа ситуации в развивающихся странах. Поэтому именно их официально установленные пороги бедности (22 страны) легли в основу соответствующей демаркационной линии в методике в целом. Изначально в качестве порога бедности в развивающихся странах Всемирный банк рассматривал сумму, равную 1 доллару в день по паритету покупательной способности (ППС)<sup>3</sup>. Именно этот показатель условно аппроксимировал значение национальных границ бедности изучаемых Всемирным банком развивающихся стран. При этом методика «1 доллара» была ориентирована только на страны таких регионов, как Африка, Южная Азия, Восточная Азия и страны Тихоокеанского бассейна. Для среднедоходных стран (Европа и Центральная Азия, Латинская Америка и страны Карибского бассейна, Северная Африка и Ближний Восток) изначальный порог бедности устанавливался на уровне 2 долларов, что примерно соответствовало медианному показателю черт бедности для всех развивающихся стран, которые находились в зоне изучения Всемирного банка. Россия по классификации Всемирного банка входит в число стран с доходами выше среднего<sup>4</sup>, т. е. черта бедности в ней должна заведомо находиться выше этой медианы.

Впоследствии, с начала 1980-х годов, по мере расширения выборки стран, используемых для международных сопоставлений и с учетом инфляции в США, эти показатели неоднократно претерпевали изменения. К 2017 году в качестве границ бедности вместо показателей в 1 и 2 доллара стали использоваться показатели в 1,9 и 3,1 доллара в день (в ценах 2011 года) соответственно. В целом же в рамках методики «1 доллара» Всемирного банка в исследованиях разных лет применялись такие варианты этих границ, как 1 доллар; 1,25 доллара; 1,45 доллара; 2 доллара; 2,5 доллара и т. д. Удвоение границы бедности рассматривается как порог уязвимости к бедности, т. е. ее высоких рисков.

Логика Всемирного банка по определению черты бедности транслируется в рамках абсолютного подхода к доходной стратификации и в практиках выделе-

3. Определение ППС методически достаточно нетривиально, что приводит к множеству вариантов его расчета. Всемирный банк для расчета ППС использует свою Программу международных сопоставлений (ПМС, 199 стран-участниц): обследования проводятся каждые шесть лет для сбора данных о ценах и расходах для целого ряда конечных товаров и услуг, которые включены в ВВП, в том числе потребительских товаров и услуг, государственных услуг и пр. (более подробно см. на официальном сайте Всемирного банка: <http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?o,2>). В настоящее время доступны данные ППС Всемирного банка на 2011 год. Анализ доходных распределений, построенных с учетом ППС, существенно отличается от аналогичных расчетов на базе обменных валютных курсов. Так, например, для России стоимость доллара по ППС соответствовала на 2011 год 17,35 руб., в то время как по используемому ВМ обменному курсу — 29,35 руб.

4. Источник данных: официальная статистика Всемирного банка (<http://data.worldbank.org/country/russian-federation>).

ния в развивающихся странах среднего класса. Безусловно, понятие «класс» при доходной стратификации корректно использовать только в рамках одноступенчатого классового анализа, существующего наряду с веберийским и марксистским подходами к социальной стратификации (Breen, 2005; Wright, 2005). Согласно ему классы выделяются в рамках вертикальной стратификации на базе жизненных шансов в сфере потребления, т. е. уровня их благосостояния: от бедности к богатству. Несмотря на упрощенный характер этого подхода к классовой структуре, он находит распространение не только в рамках маркетинговых, но и академических исследований (см. подробнее: Тихонова, 2014).

М. Раваллион (Ravallion, 2010) определяет нижнюю границу среднего класса развивающихся стран (включая как собственно средний, так и верхний средний класс) на уровне черты бедности (2 доллара), а верхнюю (13 долларов) — как границу бедности в США, показывая тем самым, что средний класс в развивающихся странах — это те, кто уже не беден, согласно стандартам этих стран, но беден в стандартах развитых или богатых стран. Он также отмечает целесообразность выделения в этом классе в развивающихся странах верхнего среднего сегмента с нижней границей его доходов в 9 долларов, что соответствует самой высокой черте бедности среди развивающихся стран, анализировавшихся в рамках соответствующего исследования, — в Уругвае. Для попадания в «западный средний класс», по мнению Раваллиона, необходимо как минимум пересечь черту доходов, равную черте бедности США.

При сохранении логики определения границ среднего класса и применения ее к иным регионам соответствующие значения дохода в долларах и даже набор анализируемых «классов» меняются (Dang, Ianchovichina, 2016; Vakis, Jamele, Lucchetti, 2016). Так, для России при выделении среднего класса Всемирным банком используется практика его дробления на 2–3 подгруппы<sup>5</sup>. При этом применение этой методики к условиям России оставляет вопросы, поскольку она, в отличие от большинства развивающихся стран, с процессами индустриализации и урбанизации столкнулась значительно раньше, соответственно, и преуспела в них в значительно большей мере.

Б. Миланович и Ш. Ицхаки (Milanovic, Yitzhaki, 2002), фокусировавшиеся на выделении мирового среднего класса, определяли верхнюю границу его дохода (50 долларов) как размер среднего дохода в Италии, наименее богатой из развитых стран в группе G7. Нижняя граница (12 долларов) определялась ими как средний доход населения Бразилии. Согласно альтернативной методике (Kharas, 2010), нижний порог доходов среднего класса в развивающихся странах (10 долларов в день) равен среднему размеру черты бедности для двух развитых стран с наиболее строгими в этом отношении показателями (Италии и Португалии)<sup>6</sup>. В Китае

5. См. в таблице 1 источники: Всемирный банк, 2014; World Bank, 2015.

6. Верхнюю границу (100 долларов) автор выделяет на ином основании — как удвоенную медиану дохода Люксембурга — самой богатой из развитых стран.

Таблица 1. Границы доходов социальных слоев в рамках абсолютного подхода в отдельных исследовательских работах, в долларах США на человека в день по ППС\*

Авторы, год	Низкодоходные			Среднедоходные			Высоко- доходные	География применения методики
	Глубоко бедные	Бедные	Уязвимые	Нижний СК	Средний класс	Верхний СК		
Ravallion (2016)		1,25			2–9	9–13		Развивающиеся страны
Vakis et al. (2016)	до 2,5	2,5–4	4–10		10–50			Страны Латинской Америки и Карибского бассейна
Dang, Ianchovichina (2016)		До 2	2–4,9		Более 4,9			Middle East and North Africa
Доклад об экономике России 31... (2014)		До 5,1	5–10		10–50	От 50		Россия, страны Европы и Центральной Азии
Russia Economic Report 33... (2015)		До 5**	5–10	10–25	25–50	От 50		Россия
Milanović, Yitzhaki (2002)					12–50			Глобальный средний класс, 1993 год
Banerjee, Duflo (2008)				2–4	4–6	6–10		11 развивающихся стран***
Kharas (2010); Cárdenas, Kharas, Henaar (2011)					10–100			Глобальный средний класс; Латинская Америка
Bhalla (2009)					Около 11****			Индия и Китай
Lopez-Calva, Ortiz-Juarez (2014)					10–50			Чили, Мексика, Перу
Исследовательский центр PEW		До 2	2,01–10		10,01–20	20,01–50	Более 50	Весь мир
Подход McKinsey			9	9–15	15–40	40–77	Более 77	Развивающиеся страны, включая РФ и Польшу

\* В связи с фокусом внимания различных авторов на разных социальных слоях и/или построении социальной структуры общества с разным набором ее элементов таблица имеет незаполненные ячейки — по позициям, оставшимся за рамками рассмотрения в соответствующих публикациях. Соотнесение доходных групп исследователей с представленной в таблице классификацией произведено авторами данной статьи.

\*\* В качестве порогового значения бедности для России обычно отмечается показатель 4 доллара в день по ППС (Статистика СНГ, 2015). В то же время для оценки крайней бедности и бедности во всех странах региона «Европа и Центральная Азия», к которому Всемирный банк причисляет Россию, используются два унифицированных верхних граничных показателя — соответственно, 2,5 доллара в день и 5 долларов в день.

\*\*\* Авторы использовали для классификации показатели расходов, а не доходов.

\*\*\*\* Определено через 3900 долларов в год — порог, который определил сам С. Бхалла.

и Индии средний класс определяется как население с годовыми доходами, соответствующими 10 долларам в день (Bhalla, 2009; Kharas, 2010).

Верификация границ дохода среднего класса в развивающихся странах опирается иногда и на их сравнение с иными подходами к стратификации — например, относительным, о котором подробнее будет сказано ниже. Так, средний класс может определяться как промежуточная группа (Banerjee, Duflo, 2008) между бедными этих стран и средним классом развитых стран (США, например). В этой связи они устанавливали границы его расходов как 2–10 долларов в день на человека, дифференцируя средний класс на три группы: с доходами 2–4, 4–6 и 6–10 долларов на человека в день.

В некоторых работах встречаются и содержательные обоснования используемых границ доходов отдельных доходных групп. Так, при выделении среднего класса Л. Лопес-Калва и Е. Ортис-Хуарес (Lopez-Calva, Ortiz-Juarez, 2014) определяли нижнюю границу среднего класса как доход, соответствующий максимально допустимому уровню экономической нестабильности для среднего класса. Как индикатор уязвимости при этом они рассматривали 10 %-ную вероятность попадания индивида в число бедных на пятилетнем интервале. Это соответствовало среднему уровню бедности в таких странах, как Аргентина, Колумбия, Коста-Рика, но было чуть меньше, чем в регионе Латинской Америки в целом<sup>7</sup>.

Отдельно стоит упомянуть и о традиции доходной стратификации в маркетинговых исследованиях. Коммерческие аналитические службы строят доходные шкалы, опираясь обычно на разработки Всемирного банка и отдельные научные результаты<sup>8</sup>, поэтому опыт выделения ими различных социальных слоев в рамках абсолютного подхода для международных сравнений базируется в основном на методологии «1 доллара» (1,9 доллара с 2015 года) и «2 долларов» (3,1 доллара с 2015 года) Всемирного банка.

Всемирный банк также предпринимает попытки построения общей доходной шкалы, беря во внимание свой опыт выделения бедных и среднего класса. Например, для стран Европы и Центральной Азии, включая РФ, в рамках «Доклада об экономике России» (Всемирный банк, 2014), были выделены следующие элементы социальной структуры, в основе модели которой лежит критерий дохода:

- *верхний средний класс* (50 или более долларов в день);
- *средний класс* (10–50 долларов);
- *уязвимые* (5–10 долларов);
- *бедные* (5 и менее долларов).

---

7. Для получения показателя дохода, соответствующего этому уровню незащищенности, авторами изучалось то, какой уровень дохода с ним ассоциируется. Эта задача решалась посредством построения модели, учитывающей демографические и трудовые характеристики, а также шоки, с которыми сталкивается домохозяйство.

8. См. примеры: The American Middle Class Is Losing Ground: No Longer the Majority and Falling behind Financially. Washington: Pew Research Center, 2015 ([http://www.pewsocialtrends.org/files/2015/12/2015-12-09\\_middle-class\\_FINAL-report.pdf](http://www.pewsocialtrends.org/files/2015/12/2015-12-09_middle-class_FINAL-report.pdf)), а также публикации компании Маккинзи (Court D., Narasimhan L. [2010]. Capturing the World's Emerging Middle Class [[http://www.mckinsey.com/insights/consumer\\_and\\_retail/capturing\\_the\\_worlds\\_emerging\\_middle\\_class](http://www.mckinsey.com/insights/consumer_and_retail/capturing_the_worlds_emerging_middle_class)]).

Таким образом, полного консенсуса в вопросах о границах доходов различных социальных слоев в академическом дискурсе не существует. При этом значения предельных доходов низкодходных слоев и нижней границы доходов среднего класса имеют в работах разных авторов больше пересечений, нежели их предложения о верхней границе доходов среднего класса и высокодходных слоев. При этом обоснования этих границ практически всегда вызывают вопросы, так как эти пороги либо просто постулируются авторами соответствующих методик, либо ориентированы на условия определенных стран или регионов мира.

В целом же нерелевантность стандартов жизни развивающихся стран для массовых слоев населения развитых стран оставляет низкие шансы на формирование единой шкалы доходной стратификации в мировом масштабе. Для экономически более благополучных стран (например, для Европы и Средней Азии) используется либо мультипликация абсолютных показателей дохода, либо принципиально иные подходы (для высокодходных стран), так как для развитых стран более актуальны вопросы исключенности населения из жизни общества, чем вопросы физического выживания, как, например, в ряде стран Африки. Поэтому в таких странах для определения доходного статуса используется относительный подход, а не абсолютный, как применительно к развивающимся странам.

### Относительный подход к доходной стратификации

Альтернативой абсолютному подходу определения границ групп при доходной стратификации выступает *относительный* подход. В его рамках границы дохода групп выделяются в основном на базе либо процентильного распределения, либо соотношения со средним или медианным доходом в рамках страны или иной пространственной единицы. Такая процедура позволяет «нормировать» положение объектов (индивидов или домохозяйств) относительно существующих в региональных или локальных сообществах стандартов, в данном случае — стандартов доходов.

Выделение процентилей населения по какому-либо показателю уже само по себе задает определенную стратификацию всей совокупности объектов. В этой связи построение «процентильной» шкалы заметно проще для оперирования по сравнению с абсолютными шкалами, описанными выше. При этом такие стратификационные линейки на основе процентилей имеют симметричное распределение и ровные границы. Данный подход активно применяется и при построении общей шкалы стратификации, и для определения лишь отдельных элементов социальной структуры. Так, например, срединные ранги (терминологически в рамках доходных стратификаций в отношении них применяется зачастую термин «средний класс») определяются как зона вокруг центральных процентилей/децилей/квинтилей и т. д. У. Истерли (Easterly, 2001) и Р. Барро (Barro, 2000) относят к среднему классу всех членов второго-четвертого доходных квинтилей (т. е. с 21-го по 80-й процентиля). Те же границы среднего класса использованы

и у У. Даллингера, который предлагает использовать квинтили и для того, чтобы «уловить внутреннюю дифференциацию социального среднего» (Dallinger, 2013: 88). У него «средний» средний класс в узком смысле слова является серединными 20 % доходного распределения (квинтиль 3), ниже лежит «нижний» средний класс (квинтиль 2), а над ним — «высший» средний класс (квинтиль 4). Для других авторов (Partridge, 1997) средним классом является только «средний» средний класс У. Даллингера (3 квинтиль). Определение в качестве среднего класса нецентральных квинтилей также имеет место в академической литературе, но встречается относительно реже. Одни (Alesina, Perotti, 1996; Bellettini, Ceroni, 2007) относят к нему 3–4 квинтили, другие (Solimano, 2008) — 3–9 децили.

Границы доходов самых благополучных групп — значительно более дискуссионный вопрос доходной стратификации для установления демаркационных черт (Drewnowski, 1978). А. Пейхль и Н. Пестель (Peichl, Pestel, 2013) устанавливают границу на уровне 80-го процентиля, что соответствует большинству работ других авторов, рассматривающих в качестве нижней границы доходов высокодоходных групп верхнюю границу доходов среднего класса (табл. 2). Распространены в литературе и подходы, относящие к высокодоходным слоям (которые подчас к тому же делятся на подгруппы) значительно меньшую долю населения — от 0,5 до 10 % населения. Так, одни (Carroll, 2002; Dynan, Skinner, Zeldes, 2004; Weicher, 1997; Wolff, 2010) называют в качестве их границ 1 % и 5 %, другие (Feenberg, Poterba, 2000) — 0,5 %. Впрочем, четкой аргументации по вопросу своего выбора авторы не приводят.

Преимущества выделения социальной структуры через проценти́ли дохода выражаются в основном в простоте использования такого подхода. При этом, несмотря на широкое применение методики равных рангов к доходному распределению, такой подход критикуется исследователями, чаще экономистами, занимающимися проблематикой доходной стратификации (например, Birdsall, Graham, Pettinato, 2000; Chauvel, 2013; Eisenhauer, 2011). Достоинство этого инструмента является его же недостатком. Так, авторы (Birdsall et al., 2000) критикуют выделение среднего класса через проценти́ли дохода за то, что такой метод по определению предполагает группировки фиксированного размера. В качестве альтернативы авторы предлагают использовать «медианный подход» при группировке доходного распределения, преимущества которого они видят в следующем: 1) возможность сравнивать размер групп между странами и внутри страны на протяжении времени; 2) относительная легкость выделения групп внутри страны в целях социальной политики<sup>9</sup>.

---

9. Авторы позволяют себе критиковать социологическое (многокритериальное) определение среднего класса, указывая на то, что медианный подход позволяет избежать проблемы «устаревания» определения среднего класса, строящегося на основе родов занятий, в ситуации динамичных изменений профессиональной структуры в рамках индустриализации и наблюдаемой сегодня информационной революции в индустриально развитых странах. Не вдаваясь в полемику на этот счет, стоит отметить, что профессиональная структура может быть более ригидной и стабильной, чем доходное распределение. Опыт России периода экономического бума 2000-х годов показывает, что изменения

И действительно, в попытке избежать такой изначальной «заданности» размеров доходных групп многие авторы часто прибегают к попыткам построить шкалу доходной стратификации с опорой на показатели среднего или медианного дохода или (реже) черты бедности<sup>10</sup>.

Чаще всего в основе относительных шкал доходной стратификации лежит медиана (Townsend, 2013), поскольку доходное распределение зачастую смещено вправо и медианный показатель дохода практически всегда ниже среднего. Соответственно, чувствительность медианы к глубине неравенства доходов, в том числе в верхних слоях населения, заметно ниже, чем у показателя среднего дохода.

Популяризация медианного подхода к доходной стратификации началась с социологических работ по изучению социально-экономической сущности феномена бедности и экономического труда. Л. Туроу (Thurow, 1987) один из первых предложил определение среднего класса в терминах относительного подхода к доходам. Впрочем, и иные социальные группы также находят свое определение через медианный доход в литературе. Так, по методологии ОЭСР, активно используемой различными европейскими статистическими службами, относительная черта бедности оценивается как 50 % медианного эквивалентного денежного дохода<sup>11</sup> (хотя в целом допускается и использование показателей в 40 %, 60 % и 70 %). Европейское статистическое агентство (Евростат) рассчитывает долю населения с доходами менее 60 % медианного дохода в стране как границу доходов для тех, кто подвергается бедности<sup>12</sup>. Эти показатели активно используются научным сообществом при определении индикаторов бедности.

К среднему классу в рамках данной традиции относятся обычно те, чьи доходы лежат «вокруг медианы» — в интервале от 0,75 до 1,25 медианы (Pressman, 2007; Pressman, Scott, 2009; Thurow, 1987). Эту несколько «механически» определенную зону расширяют Э. Аткинсон и А. Брандолини (Atkinson, Brandolini, 2013). Они, рассматривая 0,6 медианы доходов как черту бедности<sup>13</sup>, определяли нижнюю границу доходов среднего класса как эту величину, увеличенную на 25 %, т. е. 0,75 медианы, для обеспечения избегания риска бедности «с комфортным запасом». Логика выделения верхней границы, 1,25 медианы, не так очевидна, если не считать ее симметричности к 0,75 по отношению к медиане. Поэтому, обосновывая ее, авторы больше апеллируют к удачному опыту использования такой границы у С. Прессмана (Pressman, 2007), чем к собственным расчетам. Кроме того, авто-

---

в доходном распределении опережают изменения в профессиональной структуре. Более того, само по себе соотношение доходного распределения и профессиональной структуры является самостоятельным и сложным научным вопросом.

10. В рамках этих разновидностей относительного подхода сама черта бедности также часто определяется через медианный показатель дохода.

11. Более подробно методику выделения см. на официальном сайте ОЭСР (<https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm>).

12. Более подробно методику выделения группы бедных см. на официальном сайте Евростата (<http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tesovo16>).

13. Автор использует термин «at-risk-of-poverty line», т. е. черту риска бедности, но, по сути, речь идет о черте бедности.

ры выделяют примыкающие к среднему классу нижний и верхний средние классы (0,6–0,75 медианы и 1,25–1,67 медианы), границы которых рассчитываются из логики превышения верхней границы над нижней на четверть.

В исследованиях французского социолога Л. Шавеля (Chauvel, 2006) при определении нижних и верхних границ доходов среднего класса используется более широкий коридор — от 0,50 до 2 медиан относительных скорректированных<sup>14</sup> располагаемых доходов. В своих более поздних работах Шавель (Chauvel, 2013), основываясь на исследованиях упомянутых выше коллег<sup>15</sup>, а также анализируя кривую распределения эквивалентных располагаемых доходов, делает выводы о гетерогенности среднего класса, необходимости повышения его верхней границы и дифференциации «нижнего» (0,75–1,25 медианы), «среднего» (1,25–1,5 медианы) и «верхнего» (1,5–2,5 медианы) его сегментов<sup>16</sup>. Другие исследователи применительно к Германии (Grabka, Frick, 2008) используют границы 0,7–1,5 медианы доходов. Для США этот диапазон традиционно шире. Так, еще в литературе 1980-х годов предлагался диапазон доходов среднего класса в 0,6–2,25 медианы (Blackburn, Bloom, 1985).

Американский исследовательский центр PEW<sup>17</sup> определяет средний класс (или население «со средним уровнем дохода») как тех, чей годовой доход на домохозяйство из трех человек (целого числа ближайшего к среднему размеру домохозяйства США, который был 2,5 в 2015 году) составляет от двух третей до удвоенной национальной медианы<sup>18</sup>.

Практики выделения в логике относительного медианного подхода наиболее благополучного населения, как и в логике остальных подходов, наиболее дискуссионны. Верхняя граница доходов среднего класса, которая призвана играть роль нижней границы доходов наиболее обеспеченных групп, не имеет консенсусного определения, а размах вариантов таких границ крайне велик (Peichl, Schaefer, Scheicher, 2010) — от двух, трех и даже четырех медиан, либо верхних 10 % или даже 1 % (Brzezinski, 2011).

Существуют и вариации границ богатства в рамках относительного подхода без опоры на медианные показатели дохода. В отдельных случаях, например, в качестве отправной точки соотнесения доходов используется не медианный доход в стране, а черта бедности. Так, С. Роуз (Rose, 2016) в попытке построения доход-

14. Общий чистый доход за вычетом налогов и трансфертов, скорректированный на размер домохозяйства с применением в качестве шкалы эквивалентности квадратного корня количества резидентов домохозяйства.

15. В первую очередь источники: Pressman, 2007; Atkinson, Brandolini, 2013.

16. Автор фокусируется только на полярных подгруппах среднего класса.

17. Fry R., Kochhar R. (2016). Are You in the American Middle Class? Find Out with Our Income Calculator // Factank. News in the Numbers. 2016/05/11 (<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/05/11/are-you-in-the-american-middle-class/>).

18. Более подробно о методике выделения среднего класса в рамках указанного подхода см. в техническом описании исследования Current Population Survey (CPS) на официальном сайте Бюро переписи населения США (<http://www.census.gov/programs-surveys/cps/technical-documentation/complete.html>).

ной стратификации населения США в 2014 году выделяет доход бедных на уровне 1,5 официальной национальной черты бедности (до 30 тыс. долларов эквивалентного дохода для семьи из трех человек), а богатых — по полученным в ходе опросов оценкам населения о численности этой группы (1–2 %, что соответствует доходу в 350 тыс. долларов, которые, в свою очередь, приблизительно равны 10 тыс. долларов США в месяц на человека и в 10–12 раз выше черты, отделяющей низкодходные группы). Население с доходами между этими показателями отнесено к среднему классу: верхнему (от 100 тыс. как 5-кратный размер официальной национальной черты бедности для соответствующих домохозяйств до 350 тыс. долларов), среднему (50–100 тыс. долларов) и нижнему (30–50 тыс. долларов) его сегментам.

Согласно М. Медейросу (Medeiros, 2006), черта высокообеспеченности может быть определена на уровне четырех стандартных отклонений сверх среднего дохода. Другие исследователи (Danziger, Gottschalk, Smolensky, 1989; Rank, Hirschl, 2001) обращаются к 8-, 10- и 12-кратным национальным чертам бедности. Существуют и другие версии выделения высокодоходных слоев и построения моделей доходной стратификации общества.

Тем не менее медиана как «точка отсчета» все-таки является наиболее популярным методическим базисом для построения моделей доходной стратификации, хотя и у основанных на ней методиках есть свои изъяны. К числу главных недостатков метода медианного дохода в рамках одной страны Даллинггер (Dallinger, 2013), например, относит то, что в результате его применения обычно получается очень широкий средний класс (хотя это характерно далеко не для всех типов обществ и тем более стран).

Стоит отметить, что неочевидность границ доходов наиболее благополучных слоев населения требует относительно большего внимания к обоснованию выбора того или иного их варианта. Поэтому попытки содержательного насыщения границ доходов групп в рамках относительного подхода к доходной стратификации в большей степени свойственны работам, ориентированным на выделение именно высокодоходных слоев. Так, по мнению Э. Аткинсона и А. Брандолини (Atkinson, Brandolini, 2013), необходимо учитывать, что эта часть населения должна иметь возможность нанять работников для удовлетворения отдельных своих нужд, например, няню, помощника по хозяйству и т. д., причем доля расходов на услуги этого работника в общем бюджете домохозяйства не должна быть такой, чтобы привести семью к бедности<sup>19</sup>. Подбирая параметры соотношения расходов на работника и на собственные нужды с учетом доли расходов на него в семейном бюджете, эти авторы предлагают в качестве верхней границы доходов среднего класса 2 и 3 медианы, но не делают заключений об их релевантности.

М. Медейрос (Medeiros, 2006) обосновывает черту высокообеспеченности как уровень доходов, владельцы которых через их перераспределение могут разре-

19. Бедность при этом определяется авторами в рамках относительного подхода как наличие дохода ниже 0,6 медианы этого показателя.

шить проблему бедности (доходов ниже определенной монетарной черты бедности) в рассматриваемом социуме. Этот опыт в качестве отправной точки анализа рассматривает не медианный доход, а установленную черту бедности. На данных Бразилии 1999 года при черте бедности на уровне доходов 33 процентиля населения черта обеспеченности превысила ее в 26,8 раза (1142 доллара в качестве ежемесячного дохода домохозяйства, цены 1999 года). Й. Эйзенхауэр (Eisenhauer, 2011) в качестве обеспеченных определяет тех, кто без учета трудовых доходов имеет ликвидные активы, доходность которых по безрисковым ценным бумагам после уплаты налогов превысит черту бедности.

Существуют также и попытки усилить методики выделения высокодоходных групп, дополнив доходные границы показателями накопленного состояния. Так, Р. Хаузер и И. Беккер, рассуждая о Германии 1998 года, к удвоенной медиане эквивалентного чистого дохода добавляли необходимость наличия 1 млн немецких марок на члена семьи (Hauser, Becker, 2002).

В таблице 2 представлены сводные данные об опыте доходной стратификации и выделении отдельных социальных групп на основании дохода в рамках относительного подхода. Как видно, эта традиция, имеющая в качестве отправной точки анализа отсылку к некоторому стандарту, характерному для изучаемого социума, в наибольшей степени свойственна попыткам построения моделей доходной стратификации в развитых странах.

В целом же в рамках относительного подхода, как, впрочем, и абсолютного, у авторов не только нет единства в определении границ групп при построении доходной стратификации, но зачастую нет даже аргументации своей позиции, что часто вызывает вопросы и критику. Кроме того, и в рамках относительного подхода потенциал возможностей межстрановых сопоставлений достаточно непрозрачен (Ferreira et al., 2013). Это, естественно, создает проблемы и при выборе оптимального для российских условий метода доходной стратификации. Тем не менее поскольку Всемирный банк относит Россию к странам с доходами выше среднего, а также учитывая опыт анализа доходной стратификации для этого типа стран, имеющийся в мировой научной литературе, можно предположить, что именно относительный подход окажется более перспективным для построения модели доходной стратификации российского общества. Более того, мировой опыт применения относительного подхода при рассмотрении доходной стратификации показывает, что именно методика, основанная на медианном доходе, является достаточно гибкой и, как следствие, наиболее востребованной среди ученых, изучающих проблему доходной стратификации.

## **Доходная стратификация в работах исследователей российского общества**

Проблематике доходной стратификации современного российского общества уделяется пока недостаточное внимание, несмотря на то что вопрос о качественных

Таблица 2. Границы доходов социальных слоев в рамках относительного подхода в отдельных исследовательских работах\*

Авторы, год	Низкодоходные			Среднедоходные			Высокодоходные		География применения методики
	Глубоко бедные	Бедные	Уязвимые	Нижний СК	Средний класс	Верхний СК	Обеспеченные	Состоятельные	
На основе квинтилей или процентилей, квинтили/процентили									
Alesina, Perotti (1996); Bellettini, Ceroni (2007)					3–4 квинтили				71 страна мира; 22 страны (ОЭСР)
Partridge (1997)					3 квинтиль				США
Barro (2000); Easterly (2001)					2–4 квинтили				84 страны мира; 175 стран мира
Solimano (2008)					3–9 децили				129 стран мира
Peichl, Pestel (2013)							5 квинтиль		Германия
Dynan et al. (2004)								Верхние 1 % и 5 %	США
Feenberg, Poterba (2000)								Верхние 0,5 %	США
Carroll (2002); Weicher (1997); Wolff (2010)								Верхние 1 %	США
Dallinger (2013, p. 88)				2 квинтиль	3 квинтиль	4 квинтиль			19 (пост)индустриальных стран

\* В связи с фокусом внимания различных авторов на разных социальных слоях и/или выделении структуры общества в различных конфигурациях таблица имеет незаполненные ячейки — по позициям, оставшимися за рамками рассмотрения в соответствующих публикациях. Соотношение доходных групп, выделенных различными исследователями, с представленной в таблице классификацией произведено по усмотрению авторов данной статьи, поскольку в самих работах использованы свои классификации.

На основе медианы, коэффициент мультипликации										
ОЭСР		0,5								
Евростат		0,6								
Blackburn, Bloom (1985)						0,60-2,25				США
Davis, Huston (1992)						0,5-1,5				США
Thurrow (1987); Birdsall et al. (2000); Pressman (2007); Pressman, Scott (2009)						0,75-1,25				США; 30 стран, в т.ч. с высоким доходом, с переходной экономикой и страны Латинской Америки; 11 развитых стран (LIS)
Chauvel (2013)				0,75-1,25			1,5-2,5			Франция, Италия, Норвегия, США
Grabka, Frick (2008)		Менее 0,5	0,5-0,7	0,7-0,9	0,9-1,1+ 1,1-1,34*		1,3-1,5	1,5-2	Более 2	Германия
Peichl et al. (2010)		0,6						2		Германия
Eisenhauer (2011)		0,6							Расчетная черта богатства	Италия
Smeeding (2006)		0,5								11 развитых стран, включая США
Kangas (2001)		0,5						3		21 страна мира
Brzezinski (2011)								2, 3 и 4		Польша
Atkinson, Brandolini (2013)				0,6-0,75	0,75-1,25		1,25-1,67	2 или 3		11 европейских стран, США, Канада, Тайвань, Мексика
Исследовательский центр PEW			Менее 2/3		От 2/3 до 2			Более 2		США
На основе черты бедности, коэффициент мультипликации										
Burkhauser, Smeeding, Merz (1996)					2-5 и 0,75-5					США и Германия
Rose (2016)		1,5		1,5-2,5	2,5-5		5-17,5		1-2 %	США
Medeiros (2006); Rank, Hirschl (2001)									8, 10 и 12	США

\* В целом авторы выделяют 8 доходных групп, но т.к. мы структурируем распределения в рамках различных подходов до 8 собственных категорий, нами произведено объединение этих двух групп.

«порогах» между социально-экономическими группами давно интересует российских ученых, и ими уже многое сделано в этом направлении. Так, комплексной проработкой вопросов, связанных с выделением доходных групп в рамках экономической стратификации, занимаются в современной России всего несколько научных центров, и почти все из них находятся в Москве: Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН (ИСЭПН РАН), Всероссийский центр уровня жизни (ВЦУЖ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). За пределами столичного региона традиции комплексного анализа экономической стратификации и изучения ее динамики в постсоветской России развиваются представителями Новосибирской экономико-социологической школы (НЭСШ), ядро которой составляют сотрудники ИЭОПП СО РАН. Разумеется, авторы данной работы отдают себе отчет в том, что этот перечень не является полным, однако он сознательно ограничен наиболее крупными научными центрами, системно занимающимися проблематикой доходной стратификации.

Помимо научных центров ряд показателей доходных неравенств отслеживают и статистические органы страны. При этом ФСГС РФ в публикуемых данных использует как абсолютный подход (при выделении бедных, оценке динамики численности групп с абсолютными интервалами доходов и т. д.), так и относительный (приводя данные о доходах представителей разных квинтилей и децилей, динамике численности групп с разным уровнем доходов по отношению к медиане и т. п.).

Тем не менее в ключевом вопросе — выделении бедных — ФСГС РФ придерживается абсолютной методики измерения бедности (Росстат, 2015: 105–107), применяя в качестве порогового значения величину прожиточного минимума, высчитываемого на основе стоимости минимальной потребительской корзины. Соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания в российской потребительской корзине с 2013 года составляет 50 %<sup>20</sup>. Для аналитических задач<sup>21</sup> группа с доходами ниже прожиточного минимума определяется как малоимущие, а группа с доходами в два и более раз ниже прожиточного минимума — как «крайне бедные».

---

20. См. Федеральный закон от 03.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».

21. Аналитические задачи ФСГС РФ по выделению этих групп решаются на основе данных ежеквартального выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ), охватывающего все регионы РФ. ОБДХ (47,8 тыс. домашних хозяйств) нацелено на анализ структуры их расходов и потребления. Данные фиксируются дневниковыми записями о текущих расходах, интервьюированием членов домохозяйств и впоследствии дооцениваются на генеральную совокупность, а также корректируются (перевзвешиваются) по причине непредставленности высокодоходных групп населения в обследовании. Денежные расходы представляют собой сумму фактических затрат домохозяйства и включают в себя как потребительские, так и прочие расходы. Несмотря на то что данные о доходах, полученные таким путем, характеризуются существенными неточностями, они активно используются для оценки общей ситуации с динамикой доходов населения и расчета показателей, позволяющих (в некоторых случаях напрямую, в некоторых — косвенно) оценить доходную стратификацию российского общества и провести международные сравнения.

Этот подход для определения наименее благополучной группы населения типичен и конвенционален для академического дискурса по проблемам бедности (Л. Овчарова [Овчарова, 2012], М. Можина [Можина, 2001], В. Бобков [Бобков, 2012], К. Абанокова и М. Локшин [Абанокова, Локшин, 2014] и др. [Лукьянова, 2009, 2013]), что несколько размывает значимость и развитие относительного подхода к доходной стратификации в современной России, в основе которого, как уже отмечалось выше, также лежит обычно выделение бедных, но в рамках иной теоретико-методологической и методической традиции.

Некоторый дрейф в сторону относительного подхода к доходной стратификации в среде российских экономистов проходит пока в основном через практики выделения доходных децилей (Гришина и др., 2016; Шевяков, 2010) и квинтилей (Овчарова и др., 2017). При этом оперирование децилями производится в различных комбинациях их укрупнения. Так, одними и теми же авторами к крайним группам могут относиться и полярные 10 %, и 20 % (Жеребин, Романов, 2002). Однородность получаемых категорий не проблематизируется и, соответственно, не подвергается более детальному анализу.

Стоит отметить, что деление общества на равные доходные группы (например, по 10 % или 20 %) может приводить к затушевыванию реальной картины социальной структуры. В этой связи попытки ухватить суть структурных изменений, происходящих в России с середины 1990-х годов, посредством иных моделей и шкал доходной стратификации пусть редко, но предпринимались. Так, Н. Римашевская из ИСЭПН РАН (Римашевская, 1997) представила модель экономической стратификации общества, состоящую из пяти доходных страт, в том числе богатых и очень богатых (5 %), состоятельных или высокообеспеченных (7 %), среднеобеспеченных (18 %), малообеспеченных (20 %) и бедных (50 %), пятую часть которых составило социальное дно. Другие представители ИСЭПН РАН, в частности М. Можина (Можина, 2001), наряду с рассмотрением 1-го, 5-го и 10-го децилей доходного распределения как маркерных для анализа стратификации по доходу групп, строила модель доходной стратификации, отталкиваясь от прожиточного минимума, когда к низкодоходным (бедным) группам относились семьи с душевым совокупным доходом не более одного прожиточного минимума, среднедоходным — от одного до трех, а к высокодоходным — более трех прожиточных минимумов. В российской литературе такой подход, весьма характерный для отечественных ученых, получил название «проминимумного». Несмотря на то что с точки зрения методологии построение доходной стратификации в рассматриваемом ключе является совмещением абсолютного и относительного подходов, в своей основе он является преимущественно абсолютным, поскольку итоговая стратификация строится на базе абсолютного значения.

Модификацию этого же инструмента — прожиточного минимума, хотя и в специфической форме «бюджета прожиточного минимума» (далее БМП), —

используется и в работах представителей ВЦУЖ, в частности В. Бобковым<sup>22</sup>, предложившим на основе БМП две модели доходной стратификации (таблица 3). При этом в зависимости от дополнительных характеристик немонетарного характера разных групп им проводилось их дальнейшее внутреннее дробление.

Таблица 3. Доходная стратификация на основании бюджетов прожиточного минимума (БМП)<sup>23</sup> по версии В. Бобкова (в двух версиях)

Доходные группы	Уровень доходов (1-й вариант)	Уровень доходов (2-й вариант)
Наиболее нуждающиеся	менее БМП	менее БМП
Низкообеспеченные	1–3	1–2
Обеспеченные ниже среднего уровня	3–7	2–4
Среднеобеспеченные	7–11	4–11
Высокообеспеченные	более 11 БМП	более 11 БМП

Представители НЭСШ используют несколько отличный о версии ВЦУЖ вариант проминимумного подхода к экономической стратификации. В частности, Т. Богомолова и В. Тапилина (Богомолова, Тапилина, 1997, 2001, 2006) предлагают рассматривать 10 доходных страт (со следующими границами: до 0,5 ПМ; 0,51–1,0; 1,01–1,5; 1,51–2,5; 2,51–3,5; 3,51–4,5; 4,51–7,0; 7,01–10,0; 10,01–15,0; 15,01 и выше). Т. Богомолова (Богомолова, 2011) использует также укрупненный вариант данной модели стратификации, рассматривая мобильность между четырьмя основными экономическими слоями: низшим (1 ПМ и меньше), нижним средним (1–2 ПМ), верхним средним (2–4 ПМ), а также высшим (более 4 ПМ). Как видно, укрупненная версия доходной стратификации, предложенная Богомоловой, практически совпадает со вторым вариантом экономической стратификации, предложенной Бобковым, что отражает наличие *определенного консенсуса в рядах российских исследователей, работающих в рамках проминимумного подхода*.

Что касается *классической версии относительного подхода*, основанной на соотношении подушевого дохода в домохозяйстве с медианным доходом в социуме, то, будучи столь популярной в зарубежной литературе, в России она представлена чаще в работах социологов, чем экономистов, хотя и у социологов встречается достаточно редко. Единственная известная нам попытка комплексного рассмотрения доходной стратификации в рамках этой традиции, причем с использованием предложенной классификации в сравнительных кросс-национальных исследованиях, среди российских социологов была сделана Л. Хахулиной и М. Тучеком

22. Согласно определению В. Бобкова, «бюджеты прожиточного минимума», которые «представляют собой балансы минимальных доходов и расходов населения и работодателей, а также средства государственной финансовой системы, обеспечивающие удовлетворение наиболее насущных потребностей и позволяющие компенсировать затраты легкого, ненпряженного, простого труда, не требующего профессиональной подготовки» (Бобков, 2009: 62).

23. Таким образом, БМП — это, по сути, и есть прожиточный минимум.

(Хахулина, Тучек, 1995). Ими была предложена модель доходной стратификации, включающая шесть групп, в т.ч.: 1) нищие — меньше 0,25 среднедушевого дохода по выборке; 2) бедные — от 0,25 до 0,5; 3) нуждающиеся — от 0,5 до 0,75; 4) россияне со средней обеспеченностью — от 0,75 до 1,25; 5) россияне с относительным достатком — от 1,25 до 2; 6) состоятельные или богатые россияне — свыше 2 среднедушевых доходов по выборке.

Авторы данной стратификационной модели уделяют недостаточное внимание социолого-статистическому обоснованию границ выделяемых доходных групп. Более того, из всех перечисленных выше исследователей этот вопрос хоть как-то проработан пока лишь у представителей НЭСШ. Так, верификацию границ доходных групп десятичленной стратификационной схемы, предложенной Т. Богомоловой и В. Тапилиной, осуществлял их коллега П. Ростовцев на основе одновыборочного метода Колмогорова—Смирнова.

Таким образом, относительный подход к экономической стратификации российского общества пока не получил массового распространения и дальнейшего развития в последующих исследованиях российской системы доходной стратификации. Так называемый «промедианный» подход используется при исследовании экономического неравенства (Тапилина, Ростовцев, Богомолова, 2002), в то время как в стратификационных исследованиях его применение ограничивается задачами выделения той или иной социальной группы, в основном бедных или среднего класса, с применением критерия дохода. Так, эту методику неоднократно использовали ученые Института социологии РАН при выделении среднего класса (когда в качестве одного из «фильтров» при его выделении использовался медианный уровень доходов [Горшков, Тихонова, 2014]), а также отдельными учеными при выделении в качестве границы бедных и небедных слоев населения показателя 50 %, 60 %, 66 % и т.п. медианы доходов/расходов (Давыдова, 2003; Овчарова и др., 2014; Тихонова, 1999; Шевяков, 2010). Однако комплексное применение этой методики для построения стратификационных шкал дохода и выделения модели доходной стратификации российского общества в работах отечественных авторов пока еще не популярно.

В общем и целом для российских ученых характерно с недоверием относиться к исключительно монетарным измерителям неравенства и использованию показателя доходов как основного для стратификационных исследований<sup>24</sup>. Предпочтение отдается ими, особенно социологами, либо субъективным измерителям дохода, либо комплексным показателям, связанным с уровнем жизни, потреблением и материальным положением семьи, хотя доход при этом, конечно, учитывается.

---

24. Главная причина тому состоит в том, что в условиях России существуют значительные расхождения между доходом и реальным уровнем жизни, на что неоднократно указывали отечественные исследователи (Богомолова, Тапилина, 1997; Гордон, 2001; Горшков, 2007; Давыдова, Седова, 2004; Овчарова и др., 2017; Овчарова и др., 2014; Тихонова, 2013, 2014; Черныш, 2014).

## Методические вопросы расчета дохода для вопросов стратификации в литературе

Оперирование доходами как источником данных для анализа соответствующей версии социальной стратификации не сводится только к вопросу о том, какой подход необходимо выбрать — абсолютный или относительный. Вне зависимости от подхода требуется предварительная работа по выбору типа доходов, а подчас — и по их корректировке.

Во-первых, для исследований доходной стратификации необходимо определиться с тем, что считать единицей наблюдения — индивида или домохозяйство. В зависимости от задач исследований выбор может быть сделан в пользу того или иного инструмента. Тем не менее в целом учет индивидуальных доходов будет больше свидетельствовать о потенциальных возможностях индивидов, а среднедушевых доходов в рамках домохозяйства — учитывать также объективные семейные ограничения этих возможностей, так как жизненный выбор человека, проживающего совместно с другими членами семьи, часто диктуется общими интересами. Чаше для целей определения особенностей уровня жизни и потребления населения используются показатели дохода домохозяйства в противовес индивидуальным.

С. Кузнец, положивший начало исследованиям доходных неравенств в экономике, также отмечал, что единицами наблюдения, для которых данные по доходам собираются и группируются, должны выступать наблюдения на уровне домохозяйств. Автор указывал, что это лучше, чем опираться лишь на индивидов, получающих доходы, для которых «отношения между получением дохода и его использованием могут быть очень размытыми» (Kuznets, 1955: 1). При этом Кузнец считал, что наблюдения, в которых основные кормильцы учатся или уже вышли на пенсию, должны отбрасываться, равно как и доходы тех, кто находится в неполной занятости; однако это зависит от целей конкретного исследования.

Достаточно полно в литературе освещены и вопросы, касающиеся того, что доход должен определяться в соответствии со статистическим его пониманием, т. е. оцениваться после налогообложения и до государственных трансфертов (Chauvel, 2013). Некоторые авторы считали также, что доход должен определяться за минусом рент и других доходов, получаемых на активы (Kuznets, 1955). Однако это спорно и зависит от целей исследования и социально-экономического контекста. Так, вряд ли применительно к России можно не учитывать при построении модели доходной стратификации пенсионеров, живущих на такие государственные трансферты, как пенсии, или не учитывать в их доходах поступления от сдачи (например, на лето) своих квартир.

Во-вторых, доходы домохозяйства требуют адекватной коррекции на количество членов семьи (Kuznets, 1955: 1), что заставляет как минимум принимать во внимание не совокупные, а среднедушевые показатели дохода. При этом в связи с дифференциацией потребностей членов домохозяйства (например, в зависимо-

сти от возраста, состояния здоровья и т. д.), а также наличия эффекта масштаба в первую очередь при потреблении общих для всего домохозяйства благ (жилье, товары длительного пользования и т. д.) исследователями и аналитическими службами иногда используются так называемые шкалы эквивалентности, позволяющие скорректировать арифметический показатель среднедушевого дохода в домохозяйстве. Соответствующие традиции сложились преимущественно в рамках экономических исследований, но постепенно перекочевали и в широкий пласт социальных исследований в целом.

Сегодня существуют разные вариации шкал эквивалентности доходов (Овчарова, 2009). В эмпирических исследованиях долгое время широко применялась шкала ОЭСР, или «Оксфордская шкала». Согласно ей, доходу главы домохозяйства придается вес, равный единице; вклад каждого дополнительного взрослого учитывается с весом 0,7; вклад каждого молодого члена домохозяйства в возрасте 14 лет и ниже — с весом 0,5. Для более популярной в последнее время модифицированной шкалы ОЭСР эти коэффициенты равны 1, 0,5 и 0,3 соответственно, а для шкалы ОЭСР для международных сопоставлений 1, 0,4 и 0,3. В международных сравнениях также широко используется практика взвешивания через квадратный корень размера домохозяйства<sup>25</sup>.

Применим в качестве меры эквивалентности и логарифм размера домохозяйства. Однако на практике разница, получаемая при использовании разных схем применения весов, небольшая (Castellani, Parent, 2010). Кроме того, в России большинство респондентов говорят о равном вкладе взрослых в бюджет домохозяйства, а главное, количество членов в нем мало сокращает расходы для подавляющего большинства населения. Это связано и со спецификой ситуации в жилищной сфере, и с высокой долей неэластичных индивидуальных расходов (питание, одежда, транспорт, лекарства и т. д.), и с другими факторами. Все это дает возможность не ранжировать иждивенческую нагрузку семьи по весам, а учитывать вклад каждого члена семьи с равной долей, т. е. говоря в математических терминах, брать обычное среднее, а не взвешенное. Социологическая логика такого решения видится в том, что в типичных для России семьях с общим бюджетом все доходы суммируются и расходы на иждивенцев определяются исходя из их текущих нужд; в семьях же с отдельными бюджетами, практически отсутствующими в массовых слоях населения, относительный вес членов семьи становится еще менее очевидным.

В-третьих, ряд вопросов посвящен тому, как учитывать гетерогенность доходного распределения, обусловленную неравенством, существующим между населенными пунктами разных типов и между регионами страны или неравенствами в разные периоды времени и т. д. Для современной России в этой связи особенно высокую значимость имеет региональная дифференциация, которая имела место в советской России позднего периода (Zaslavsky, 1982) и сохраняется сегодня

---

25. Преобразование на основе квадратичного корня (англ. — Square root scale).

(Овчарова, Попова, Рудберг, 2016). При этом массовых опросов, репрезентирующих население страны по регионам и доступных широкому кругу исследователей в России, очень мало<sup>26</sup>. Помимо региональных особенностей характер доходной стратификации в России, как и других стран БРИКС, также может в значительной степени варьироваться в зависимости от отраслевых и профессиональных неравенств (Akerman et al., 2013; Castellano, Manna, Punzo, 2016; Khakhulina, Tucek, 1996), поселенческих различий (Kuznets, 1955; O'Brien et al., 2007), религиозно-этнической (John, Mutatkar, 2005) и социально-демографической дифференциации (Goldthorpe, 2010).

## Заключение

Итак, к настоящему моменту ни в зарубежной, ни в российской традиции не сложилось единого понимания того, как должна выглядеть шкала доходов при построении модели доходной стратификации в странах с индустриально развитой экономикой. Это связано во многом с тем, что исследователей, работающих со шкалами доходов, как правило, интересуют конкретные социальные группы (бедные, средний класс, верхние слои общества), а не общество в целом и его структура. Более того — среди ученых до сих пор нет единства даже в том, какой подход стоит использовать при выделении доходных групп. Несмотря на очевидные преимущества и завоевания относительного подхода при выделении отдельных доходных групп в индустриально развитых обществах, ряд зарубежных ученых, прежде всего имеющих отношение к Всемирному банку, до сих пор придерживаются абсолютного подхода. Абсолютного подхода придерживается в основном и ФСГС РФ, что затрудняет развитие относительного подхода к доходной стратификации в современной России. Российская специфика научных исследований в области экономической стратификации состоит в том, что авторы придерживаются в основном так называемого «проминимума» подхода, предполагающего комбинацию абсолютного и относительного подходов.

Вместе с тем именно относительный подход (особенно в такой его версии, как медианный подход) хорошо зарекомендовал себя при изучении отдельных элементов доходной стратификации. В рамках медианного подхода по отдельным «порогам» на социальной шкале доходов достигнут даже хрупкий консенсус среди российских и зарубежных исследователей. Относительное единодушие касается прежде всего интервала 0,75–1,25 медианы, который позволяет выделить в индустриально развитых обществах средний класс «по доходам». Большинство же исследователей сходятся и во мнении, что доходы более 2 и менее 0,5 медианы представляют собой пороги, отсекающие полярные группы — верхи и низы — общества. При этом часть ученых предлагает дальнейшую дифференциацию этих

---

26. Например, стоит упомянуть Комплексное исследование условий жизни домохозяйств (КОУЖ), осуществленное ФСГС РФ в 2011, 2014 и 2016 гг., а также Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ) органов государственной статистики РФ.

групп, в качестве критерия которой предлагается уровень в 0,25 и в 4 медианы. Что же касается доходного интервала в 1,25–2 медианы, то в отношении него наблюдаются наибольшие разногласия. Возможно, причиной их выступает то, что, если социологический смысл медианной группы абсолютно ясен — ее жизнь формирует типичный для соответствующего общества стандарт, некую «социальную норму» (Townsend, 2013), — как ясен и социологический смысл «верхов» и «низов» общества, то жизнь группы с доходами на уровне 1,25–2 медианы (и ее дифференциация внутри себя на отдельные подгруппы) может различаться в разных странах очень значительно.

## Литература

- Абаноква К. Р., Локишин М. М. (2014). Влияние эффекта масштаба в потреблении домохозяйств на бедность в России // *Экономический журнал Высшей школы экономики*. Т. 18. № 4. С. 620–644.
- Бобков В. Н. (2009). Каким быть региональному неравенству качества и уровня жизни? // *Мир России*. Т. 18. № 3. С. 61–84.
- Бобков В. Н. (2012). 20 лет капиталистических трансформаций в России: влияние на уровень и качество жизни // *Мир России*. Т. 21. № 2. С. 3–26.
- Богомолова Т. Ю. (2011). Экономическая мобильность населения России в пространстве «бедность-небедность»: траектории переходов в 1990-е и 2000-е гг. // *SPERO*. № 14. С. 41–56.
- Богомолова Т. Ю., Тапилина В. С. (1997). Экономическая стратификация: объективное и субъективное измерения // *Социологические исследования*. № 9. С. 28–40.
- Богомолова Т. Ю., Тапилина В. С. (2001). Экономическая стратификация населения России: динамический аспект // *Социологические исследования*. № 6. С. 32–43.
- Богомолова Т. Ю., Тапилина В. С. (2006). Бедность в современной России: измерение и анализ // *Социология*: 4М. № 22. С. 90–113.
- Всемирный банк. (2014). Доклад об экономике России 31: кризис доверия обнажает слабость экономики. М.: Всемирный банк.
- Гордон Л. А. (2001). Бедность, благополучие, противоречивость: материальная дифференциация в 1990-е годы // *Общественные науки и современность*. № 3. С. 5–21.
- Горшков М. К. (ред.). (2007). Свобода. Неравенство. Братство: социологический портрет современной России. М.: Российская газета.
- Горшков М. К., Тихонова Н. Е. (ред.). (2014). Бедность и бедные в современной России. М.: Весь Мир.
- Григорьев Л. М., Салмина А. А. (2013). «Структура» социального неравенства современного мира: проблемы измерения // *Социологический журнал*. № 3. С. 5–21.
- Гришина Е. Е., Денисова И. А., Дормидонтова Ю. А., Казакова Ю. М., Ляшок В. Ю. (2016). Анализ причин и факторов неравенства заработных плат в России. М.: РАНХиГС.

- Давыдова Н. М. (2003). Депривационный подход в оценках бедности // Социологические исследования. № 6. С. 88–96.
- Давыдова Н. М., Седова Н. Н. (2004). Материально-имущественные характеристики и качество жизни богатых и бедных // Социологические исследования. № 3. С. 40–50.
- Жеребин В. М., Романов А. Н. (2002). Уровень жизни населения. М.: ЮНИТИ-ДАНА.
- Козырева П. М., Смирнов А. И. (2016). Социальная безопасность среднедоходных групп в России // Вестник Института социологии. № 19. С. 94–120.
- Лукиянова А. Л. (2009). Чьи заработки растут быстрее: мобильность по относительным заработным платам в России (2000–2005 гг.) // Экономический журнал Высшей школы экономики. Т. 13. № 2. С. 217–242.
- Лукиянова А. Л. (2013). Использование безусловных квантильных регрессий при оценке влияния неформальности на неравенство // Прикладная эконометрика. № 32 (4). С. 3–28.
- Можина М. А. (2001). Распределительные отношения: доходы и потребление населения (из научного наследия). М.: Гайнуллин.
- Овчарова Л. Н. (2009). Теоретические и практические подходы к оценке уровня, профиля и факторов бедности: российский и международный опыт. М: М-Студิโอ.
- Овчарова Л. Н. (2012). Теоретико-методологические вопросы определения и измерения бедности // SPERO. № 16. С. 15–38.
- Овчарова Л. Н., Попова Д. О., Рудберг А. М. (2016). Декомпозиция факторов неравенства доходов в современной России // Журнал новой экономической ассоциации. № 3. С. 170–185.
- Овчарова Л. Н., Бирюкова С. С., Селезнева Е. В., Абаноква К. Р. (2017). Доходы, расходы и социальное самочувствие населения России в 2012–2016 годах. Доклад на XVIII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва, 11–14 апреля 2017 г.).
- Овчарова Л. Н., Бурдяк А. Я., Пишняк А. И., Попова Д. О., Попова Р. И., Рудберг А. М. (2014). Динамика монетарных и немонетарных характеристик уровня жизни российских домохозяйств за годы постсоветского развития: аналитический доклад. М.: Либеральная миссия.
- Римашевская Н. (1997). Население России и социальная трансформация: взгляд в XXI век // Власть. № 12. С. 24–31.
- Росстат. (2015). Социальное положение и уровень жизни населения России. М.: Росстат.
- Тапилина В. С., Ростовцев П. С., Богомолова Т. Ю. (2002). Влияние мобильности населения по доходам на изменение неравенства // Экономическая социология. Т. 3. № 1. С. 72–86.
- Тихонова Н. Е. (1999). Феномен городской бедности в современной России. М.: Летний сад.

- Тихонова Н. Е. (2013). Бедность в современной России: ключевые проблемы // Мау В. А., Клячко Т. Л. (ред.). Развитие человеческого капитала — новая социальная политика. М.: Дело. С. 297–317.
- Тихонова Н. Е. (2014). Социальная структура России: теории и реальность. М.: Новый хронограф.
- Тихонова Н. Е. (2017а). Стратификация по доходам в России на фоне других стран // *Общественные науки и современность*. № 3. С. 26–41.
- Тихонова Н. Е. (2017б). Стратификация по доходу в России: специфика модели и вектор изменений // *Общественные науки и современность*. № 2. С. 23–35.
- Тихонова Н. Е., Слободенюк Е. Д. (2014). Гетерогенность российской бедности через призму депривационного и абсолютного подходов // *Общественные науки и современность*. № 1. С. 36–49.
- Хахулина Л. А., Тучек М. (1995). Распределение доходов: бедные и богатые в постсоциалистических обществах (некоторые результаты сравнительного анализа) // *Мониторинг общественного мнения*. № 1. С. 18–22.
- Черныш М. Ф. (2014). Справедливость заработной платы в российском контексте // *Социологические исследования*. № 8. С. 78–89.
- Шевяков А. Ю. (2010). Социальное неравенство: тормоз экономического и демографического роста // *Уровень жизни населения регионов России*. № 5. С. 38–52.
- Шкаратан О. И. (2009). Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной России. М.: ОЛМА Медиа Групп.
- Ясинский А. (2014). Обзор методов и источников данных для измерения бедности в странах Содружества. Минск: Галатея.
- Akerman A., Helpman E., Itshhoki O., Muendler M.-A., Redding S. (2013). Sources of Wage Inequality // *American Economic Review*. Vol. 103. № 3. P. 214–219.
- Alesina A., Perotti R. (1996). Income Distribution, Political Instability, and Investment // *European Economic Review*. Vol. 40. № 6. P. 1203–1228.
- Anikin V. A., Lezhnina Y. P., Mareeva S. V., Slobodenyuk E. D., Tikhonova N. N. (2016). In: Income Stratification: Key Approaches and Their Application to Russia. Higher School of Economics research paper № WP BRP 02/PSP/2016. Moscow: HSE.
- Atkinson A. B., Brandolini A. (2013). On the Identification of the Middle Class // *Gornick J., Jäntti M. (eds.). Income Inequality: Economic Disparities and the Middle Class in Affluent Countries*. Stanford: Stanford University Press. P. 77–100.
- Banerjee A. V., Duflo E. (2008). What is Middle Class about the Middle Classes around the World? // *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 22. № 2. P. 3–41.
- Barro R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries // *Journal of Economic Growth*. Vol. 5. № 1. P. 5–32.
- Belletini G., Ceroni C. B. (2007). Income Distribution, Borrowing Constraints and Redistributive Policies // *European Economic Review*. Vol. 51. № 3. P. 625–645.
- Bhalla S. (2009). The Middle Class Kingdoms of India and China. Washington: Peterson Institute for International Economics.
- Birdsall N., Graham C., Pettinato S. (2000). Stuck in Tunnel: Is Globalization Muddling the Middle? Center on Social and Economic Dynamics working paper № 14.

- Blackburn M., Bloom D. E. (1985). What is Happening to the Middle Class? // *American Demographics*. Vol. 7. № 1. P. 18–25.
- Breen R. (2005). Foundations of a Neo-Weberian Class Analysis // *Wright E. O. (ed.). Approaches to Class Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 31–50.
- Brzezinski M. (2011). Variance Estimation for Richness Measures. LIS working paper № 11.
- Burkhauser R. V., Smeeding T. M., Merz J. (1996). Relative Inequality and Poverty in Germany and the United States Using Alternative Equivalence Scales // *Review of Income and Wealth*. Vol. 42. № 4. P. 381–400.
- Cárdenas M., Kharas H., Henao C. (2011). Latin America's Global Middle Class. Research Paper. Washington: Brookings Institution.
- Carroll C. D. (2002). Portfolios of the Rich // *Guiso L., Haliassos M., Jappelli T. (eds.). Household Portfolios*. Cambridge: MIT Press. P. 389–430.
- Castellani F., Parent G. (2010). Social Mobility in Latin America. Paris: OECD Development Centre.
- Castellano R., Manna R., Punzo G. (2016). Income Inequality between Overlapping and Stratification: A Longitudinal Analysis of Personal Earnings in France and Italy // *International Review of Applied Economics*. Vol. 30. № 5. P. 567–590.
- Ceriani L., Verme P. (2014). The Income Lever and the Allocation of Aid // *Journal of Development Studies*. Vol. 50. № 11. P. 1510–1522.
- Chauvel L. (2006). *Les classes moyennes à la dérive*. Paris: Seuil.
- Chauvel L. (2013). Welfare Regimes, Cohorts and the Middle Classes // *Gornick J., Jäntti M. (eds.). Income Inequality: Economic Disparities and the Middle Class in Affluent Countries*. Stanford: Stanford University Press. P. 115–141.
- Chen S., Ravallion M. (2013). More Relatively-Poor People in a Less Absolutely-Poor World // *Review of income and wealth*. Vol. 59. № 1. P. 1–28.
- Cowell F. (2011). *Measuring Inequality*. Oxford: Oxford University Press.
- Credit Suisse. (2015). Global Wealth Report. Switzerland: Institute C.S.R. URL: <https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=F2425415-DCA7-80B8-EAD989AF9341D47E> (дата доступа: 13.01.2018).
- Dallinger U. (2013). The Endangered Middle Class? A Comparative Analysis of the Role Played by Income Redistribution // *Journal of European Social Policy*. Vol. 23. № 1. P. 83–101.
- Dang H.-A. H., Ianchovichina E. (2016). Welfare Dynamics with Synthetic Panels: The Case of the Arab World in Transition. Policy research working paper WPS 7595. Washington: World Bank Group.
- Danziger S., Gottschalk P., Smolensky E. (1989). How the Rich Have Fared, 1973–87 // *American Economic Review*. Vol. 79. № 2. P. 310–314.
- Davis J. C., Huston J. H. (1992). The Shrinking Middle-Income Class: A Multivariate Analysis // *Eastern Economic Journal*. Vol. 18. № 3. P. 277–285.
- Drewnowski J. (1978). The Affluence Line // *Social Indicators Research*. Vol. 5. № 1. P. 263–278.

- Dynan K. E., Skinner J., Zeldes S. P. (2004). Do the Rich Save More? // *Journal of Political Economy*. Vol. 112. № 2. P. 397–444.
- Easterly W. (2001). The Middle Class Consensus and Economic Development // *Journal of Economic Growth*. Vol. 6. № 4. P. 317–335.
- Eisenhauer J. G. (2011). The Rich, the Poor, and the Middle Class: Thresholds and Intensity Indices // *Research in Economics*. Vol. 65. № 4. P. 294–304.
- Erikson R., Goldthorpe J. H. (1992). *The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies*. Oxford: Clarendon Press.
- Esping-Andersen G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Feenberg D. R., Poterba J. M. (2000). The Income and Tax Share of Very High-Income Households, 1960–1995 // *American Economic Review*. Vol. 90. № 2. P. 264–270.
- Ferreira F. H., Messina J., Rigolini J., López-Calva L.-F., Lugo M. A., Vakis R., Ló L. F. (2013). *Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class*. Washington: World Bank.
- Goldthorpe J. H. (2010). Analysing Social Inequality: A Critique of Two Recent Contributions from Economics and Epidemiology // *European Sociological Review*. Vol. 26. № 6. P. 731–744.
- Goldthorpe J. H., McKnight A. (2006). The Economic Basis of Social Class // *Morgan S. L., Grusky D. B., Fields G. S. (eds.). Mobility and Inequality: Frontiers of Research in Sociology and Economics*. Stanford: Stanford University Press. P. 109–137.
- Government of India Planning Commission. (2014). Report of the Expert Group to Review the Methodology for Measurement of Poverty. New Delhi: Government of India Planning Commission. URL: [http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/pov\\_repo707.pdf](http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/pov_repo707.pdf) (дата доступа: 13.01.2018).
- Grabka M. M., Frick J. R. (2008). The Shrinking German Middle Class: Signs of Long-Term Polarization in Disposable Income? // *Weekly Report*. Vol. 4. № 4. P. 21–27.
- Grusky D. B. (2001). The Past, Present, and Future of Social Inequality // *Grusky D. B. (ed.). Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*. Boulder: Westview Press. P. 3–51.
- Hall S. (2014). A Study of Poverty, Food Security and Resilience in Afghan Cities: Kabul. URL: <http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2014/11/DRC-PIN-Urban-Poverty-Report.pdf> (дата доступа: 13.01.2018).
- Hauser R., Becker I. (2002). Inequalities between Income and Wealth // *Glatzer W. (ed.). Rich and Poor: Disparities, Perceptions, Concomitants*. Dordrecht: Kluwer. P. 33–43.
- John R. M., Mutatkar R. (2005). Statewise Estimates of Poverty among Religious Groups in India // *Economic and Political Weekly*. Vol. 40. № 13. P. 1337–1345.
- Kangas O. (2001). For Better or for Worse: Economic Positions of the Rich and the Poor: 1985–1995. LIS working paper № 248. URL: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/160920/1/lis-wps-248.pdf> (дата доступа: 13.01.2018).
- Khakhulina L. A., Tucek M. (1996). Income Distribution: The Poor and the Rich in Post-socialist Societies (Some Results of a Comparative Analysis) // *Sociological Research*. Vol. 35. P. 20–32.

- Kharas H.* (2010). The Emerging Middle Class in Developing Countries. OECD Development Centre working paper № 285. Paris: OECD.
- Kuznets S.* (1955). Economic Growth and Income Inequality // *American Economic Review*. Vol. 45. № 1. P. 1–28.
- Lenski G.* (1984). Income Stratification in the United States: Toward a Revised Model of the System // *Research in Social Stratification and Mobility*. Vol. 3. P. 173–205.
- Levine S., Roberts B.* (2008). A Review of Poverty and Inequality in Namibia. Windhoek: Central Bureau of Statistics N. P. C. URL: [http://www.mof.gov.na/documents/27827/169990/Analysis\\_of\\_2003\\_04\\_NHIE\\_data.pdf/76807c4c-5d55-41cd-893a-49e980d72aao](http://www.mof.gov.na/documents/27827/169990/Analysis_of_2003_04_NHIE_data.pdf/76807c4c-5d55-41cd-893a-49e980d72aao) (дата доступа: 13.01.2018).
- Liu Y., Grusky D. B.* (2013). The Payoff to Skill in the Third Industrial Revolution // *American Journal of Sociology*. Vol. 118. № 5. P. 1330–1374.
- Lopez-Calva L. F., Ortiz-Juarez E.* (2014). A Vulnerability Approach to the Definition of the Middle Class // *Journal of Economic Inequality*. Vol. 12. № 1. P. 23–47.
- Medeiros M.* (2006). The Rich and the Poor: The Construction of an Affluence Line from the Poverty Line // *Social Indicators Research*. Vol. 78. № 1. P. 1–18.
- Milanovic B., Yitzhaki S.* (2002). Decomposing World Income Distribution: Does the World Have a Middle Class? // *Review of Income and Wealth*. Vol. 48. № 2. P. 155–178.
- Montalvo J. G., Ravallion M.* (2010). The Pattern of Growth and Poverty Reduction in China. // *Journal of Comparative Economics*. Vol. 38. № 1. P. 2–16.
- O'Brien D. J., Wegren S. K., Patsiorkovsky V. V.* (2007). Income Stratification in Russian Villages from Profession to Property // *Problems of Post-communism*. Vol. 54. № 1. P. 37–46.
- Parsons T.* (1940). An Analytical Approach to the Theory of Social Stratification // *American Journal of Sociology*. Vol. 45. № 6. P. 841–862.
- Partridge M. D.* (1997). Is Inequality Harmful for Growth? Comment // *American Economic Review*. Vol. 87. № 5. P. 1019–1032.
- Peichl A., Pestel N.* (2013). Multidimensional Affluence: Theory and Applications to Germany and the Us // *Applied Economics*. Vol. 45. № 32. P. 4591–4601.
- Peichl A., Schaefer T., Scheicher C.* (2010). Measuring Richness and Poverty: A Micro Data Application to Europe and Germany // *Review of Income and Wealth*. Vol. 56. № 3. P. 597–619.
- Pressman S.* (2007). The Decline of the Middle Class: An International Perspective // *Journal of Economic Issues*. Vol. 41. № 1. P. 181–200.
- Pressman S., Scott R. H.* (2009). Who Are the Debt Poor? // *Journal of Economic Issues*. Vol. 43. № 2. P. 423–432.
- Rank M. R., Hirschl T. A.* (2001). Poverty across the Life Cycle: Evidence from the PSID // *Journal of Policy Analysis and Management*. Vol. 20. № 4. P. 737–755.
- Ravallion M.* (2010). The Developing World's Bulging (but Vulnerable) Middle Class // *World Development*. Vol. 38. № 4. P. 445–454.
- Ravallion M.* (2011). A Comparative Perspective on Poverty Reduction in Brazil, China, and India // *World Bank Research Observer*. Vol. 26. № 1. P. 71–104.

- Ravallion M. (2016). *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*. New York: Oxford University Press.
- Rose S. J. (2016). *The Growing Size and Incomes of the Upper Middle Class*. Urban Institute research report. URL: <http://www.urban.org/sites/default/files/alfresco/publication-pdfs/2000819-The-Growing-Size-and-Incomes-of-the-Upper-Middle-Class.pdf> (дата доступа: 13.01.2018).
- Rytina J. H., Form W. H., Pease J. (1970). Income and Stratification Ideology: Beliefs About the American Opportunity Structure // *American Journal of Sociology*. Vol. 75. № 4. P. 703–716.
- Sen A. (1992). *Inequality Reexamined*. Oxford: Clarendon Press.
- Simmel G. (1898). The Persistence of Social Groups // *American Journal of Sociology*. Vol. 3. № 5. P. 662–698.
- Smeeding T. (2006). Poor People in Rich Nations: The United States in Comparative Perspective // *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 20. № 1. P. 69–90.
- Solimano A. S. (2008). *The Middle Class and the Development Process*. Santiago: CEPAL.
- Thurow L. C. (1987). A Surge in Inequality // *Scientific American*. Vol. 256. № 5. P. 30.
- Townsend P. (1979). *Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living*. Berkely: University of California Press.
- Townsend P. (2013). *International Analysis of Poverty*. New York: Routledge.
- Treiman D. J. (1977). *Occupational Prestige in Comparative Perspective*. New York: Academic Press.
- Vakis R., Jamele R., Lucchetti L. (2016). *Left Behind: Chronic Poverty in Latin America and the Caribbean*. Washington: World Bank.
- Weeden K. A., Grusky D. B. (2005) The Case for a New Class Map // *American Journal of Sociology*. Vol. 111. № 1. P. 141–212.
- Wegren S. K., Patsiorkovski V. V., O'Brien D. J. (2006). Beyond Stratification: The Emerging Class Structure in Rural Russia // *Journal of Agrarian Change*. Vol. 6. № 3. P. 372–399.
- Weicher J. C. (1997). The Rich and the Poor: Demographics of the Us Wealth Distribution // *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*. July/August. P. 25–37.
- Wodtke G. T. (2016). Social Class and Income Inequality in the United States: Ownership, Authority, and Personal Income Distribution from 1980 to 2010 // *American Journal of Sociology*. Vol. 121. № 5. P. 1375–1415.
- Wolff E. N. (2010). Recent Trends in Household Wealth in the United States: Rising Debt and the Middle-Class Squeeze — an Update to 2007. LEI working paper № 589.
- World Bank. (2015). *Russia Economic Report 33: The Dawn of a New Economic Era?* Washington: World Bank Group.
- Wright E. O. (1989). A General Framework for the Analysis of Class Structure // Wright E. O. et al. *The Debate on Classes*. New York: Verso. P. 269–348.
- Wright E. O. (1997). *Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wright E. O. (2005). Foundations of a Neo-Marxist Class Analysis // Wright E. O. (ed.). *Approaches to Class Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 4–30.

- Yitzhaki S., Lerman R. I. (1991). Income Stratification and Income Inequality // Review of income and wealth. Vol. 37. № 3. P. 313–329.
- Zaslavsky V. (1982). The Neo-Stalinist State. Armonk: M. E. Sharpe.

## Income Stratification: Putting a Spotlight on the Boundaries

*Vasiliy A. Anikin*

PhD, Associate Professor, Senior Research Fellow, National Research University Higher School of Economics  
Senior Research Fellow, Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences  
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000  
E-mail: vanikin@hse.ru

*Yulia Lezhnina*

PhD, Associate Professor, National Research University Higher School of Economics  
Senior Research Fellow, Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences  
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000  
E-mail: jlezhnina@hse.ru

The paper aims to deliver an extended review of both Russian and international studies that have contributed considerably to the income stratification discourse. The very importance of the given research is justified by the lack of systematic studies in the field of the one-dimensional stratification of the Russian society, although applied socio-economic research uses broadly one-dimensional classifications based on income. The given paper considers and systemizes the results of income groups classifications developed both within the absolute and relative approaches. At the present time, neither international nor Russian studies propose a conventional view on the boundaries between income groups while at the same time developing a model of income stratification applicable to industrially-advanced societies. The main reason is that researchers dealing with income scales are normally focused on specific social groups such as the poor, the middle class, the affluent, and the rich rather than the whole society and its structure. Furthermore, we have shown that sociological papers are more likely to support the relative approach, and particularly a median approach. Researchers have even reached a fragile consensus regarding some of the boundaries of this scale, that is, they seem to agree that the interval of 0,75–1,25 of median incomes allows for the determination of the economic middle class for industrially advanced societies. The majority of scholars are in agreement that incomes exceeding the 2 and below the 0,5 medians represent the boundaries that distinguish opposing social groups, that is, the top and bottom of a society, correspondingly. The present study has a multidisciplinary focus so that it might be of interest to sociologists, economists, demographers, and applied statisticians.

**Keywords:** income stratification, income inequality, relative approach, median, middle class, poor, affluence line, rich

## References

- Abanokova K., Lokshin M. (2014) Ukрупnenie razmera kak mehanizm adaptatsii domohozjajstv k krizisu [Growing Size of a Household as a Mechanism of Adaptation to Crises]. *HSE Economic Journal*, vol. 18, no 4, pp. 620–644.
- Akerman A., Helpman E., Itskhoki O., Muendler M.-A., Redding S. (2013) Sources of Wage Inequality. *American Economic Review*, vol. 103, no 3, pp. 214–219.
- Alesina A., Perotti R. (1996) Income Distribution, Political Instability, and Investment. *European Economic Review*, vol. 40, no 6, pp. 1203–1228.

- Anikin V. A., Lezhnina Y. P., Mareeva S. V., Slobodenyuk E. D., Tikhonova N. N. (2016). Income Stratification: Key Approaches and Their Application to Russia. HSE research paper No WP BRP 02/PSP/2016. Moscow: HSE.
- Atkinson A. B., Brandolini A. (2013) On the Identification of the Middle Class. *Income Inequality: Economic Disparities and the Middle Class in Affluent Countries* (eds. J. Gornick, M. Jäntti), Stanford: Stanford University Press, pp. 77–100.
- Banerjee A. V., Duflo E. (2008) What Is Middle Class About the Middle Classes around the World? *Journal of Economic Perspectives*, vol. 22, no 2, pp. 3–41.
- Barro R. J. (2000) Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of Economic Growth*, vol. 5, no 1, pp. 5–32.
- Belletтини G., Ceroni C. B. (2007) Income Distribution, Borrowing Constraints and Redistributive Policies. *European Economic Review*, vol. 51, no 3, pp. 625–645.
- Bhalla S. (2009) *The Middle Class Kingdoms of India and China*, Washington: Peterson Institute for International Economics.
- Birdsall N., Graham C., Pettinato S. (2000) Stuck in Tunnel: Is Globalization Muddling the Middle? Center on Social and Economic Dynamics working paper No 14.
- Blackburn M., Bloom D. E. (1985) What is Happening to the Middle Class? *American Demographics*, vol. 7, no 1, pp. 18–25.
- Bobkov V. (2009) Kakim byt' regional'nomu neravenstvu kachestva i urovnya zhizni? [What is Regional Inequality of Life Quality and Standard of Living?]. *Mir Rossii*, vol. 18, no 3, pp. 61–84.
- Bobkov V. (2012) 20 let kapitalisticheskikh transformatsiy v Rossii: vliyaniye na uroven' i kachestvo zhizni [20 Years of Capitalistic Transformations in Russia: Their Impact on Standard of Living and Life Quality]. *Mir Rossii*, vol. 21, no 2, pp. 3–26.
- Bogomolova T. (2011). Ekonomicheskaya mobil'nost' naseleniya Rossii v prostranstve "bednost'-nebednost'": trayektorii perekhodov v 1990-ye i 2000-ye gg [Economic Mobility of the Population of Russia in the Scope Poverty-Non-poverty: Transitions Trends between the 1990s and 2000s]. *SPERO*, vol 14, pp. 41–56.
- Bogomolova T., Tapilina V. (1997) Ekonomicheskaya stratifikatsiya: ob'yektivnoye i sub'yektivnoye izmereniye [Economic Stratification: Objective and Subjective Dimensions]. *Sociological Studies*, no 9, pp. 28–40.
- Bogomolova T., Tapilina V. (2001) Ekonomicheskaya stratifikatsiya naseleniya Rossii: dinamicheskiy aspekt [Economic Stratification of the Russian Population: Dynamics]. *Sociological Studies*, no 6, pp. 32–43.
- Bogomolova T., Tapilina V. (2006) Bednost' v sovremennoy Rossii: izmereniye i analiz [Poverty in Contemporary Russia: Measurement and Analysis]. *Sociology 4M*, vol. 22, pp. 90–113.
- Breen R. (2005) Foundations of a Neo-Weberian Class Analysis. *Approaches to Class Analysis* (ed. E. O. Wright), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 31–50.
- Brzezinski M. (2011) Variance Estimation for Richness Measures. LIS working paper No 11.
- Burkhauser R. V., Smeeding T. M., Merz J. (1996) Relative Inequality and Poverty in Germany and the United States Using Alternative Equivalence Scales. *Review of Income and Wealth*, vol. 42, no 4, pp. 381–400.
- Cárdenas M., Kharas H., Henao C. (2011) Latin America's Global Middle Class. Research paper. Washington: Brookings Institution.
- Carroll C. D. (2002) Portfolios of the Rich. *Household Portfolios* (eds. L. Guiso, M. Haliassos, T. Jappelli), Cambridge: MIT Press, pp. 389–430.
- Castellani F., Parent G. (2010) *Social Mobility in Latin America*, Paris: OECD Development Centre.
- Castellano R., Manna R., Punzo G. (2016) Income Inequality between Overlapping and Stratification: A Longitudinal Analysis of Personal Earnings in France and Italy. *International Review of Applied Economics*, vol. 30, no 5, pp. 567–590.
- Ceriani L., Verme P. (2014) The Income Lever and the Allocation of Aid. *Journal of Development Studies*, vol. 50, no 11, pp. 1510–1522.
- Chauvel L. (2006) *Les classes moyennes à la dérive*, Paris: Seuil.
- Chauvel L. (2013) Welfare Regimes, Cohorts and the Middle Classes. *Income Inequality: Economic Disparities and the Middle Class in Affluent Countries* (eds. J. Gornick, M. Jäntti), Stanford: Stanford University Press, pp. 115–141.

- Chen S., Ravallion M. (2013) More Relatively-Poor People in a Less Absolutely-Poor World. *Review of Income and Wealth*, vol. 59, no 1, pp. 1–28.
- Chernysh M. F. (2014) Spravedlivost' zarabotnoy platy v rossiyskom kontekste [Equity of Earnings in Russia]. *Sociological Studies*, no 8, pp. 78–89.
- Cowell F. (2011) *Measuring Inequality*, Oxford: Oxford University Press.
- Credit Suisse (2015) Global Wealth Report. Available at: <https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=F2425415-DCA7-80B8-EAD989AF9341D47E> (accessed 31 January 2018).
- Dallinger U. (2013) The Endangered Middle Class? A Comparative Analysis of the Role Played by Income Redistribution. *Journal of European Social Policy*, vol. 23, no 1, pp. 83–101.
- Dang H.-A. H., Ianchovichina E. (2016) Welfare Dynamics with Synthetic Panels: The Case of the Arab World in Transition. Policy research working paper WPS 7595. Washington: World Bank Group.
- Danziger S., Gottschalk P., Smolensky E. (1989) How the Rich Have Fared, 1973–87. *American Economic Review*, vol. 79, no 2, pp. 310–314.
- Davis J. C., Huston J. H. (1992) The Shrinking Middle-Income Class: A Multivariate Analysis. *Eastern Economic Journal*, vol. 18, no 3, pp. 277–285.
- Davydova N. (2003) Deprivatsionnyy podkhod v otsenkakh bednosti [Deprivation-Based Approach in Poverty Studies]. *Sociological Studies*, no 6, pp. 88–96.
- Davydova N., Sedova N. (2004) Material'no-imushchestvennyye kharakteristiki i kachestvo zhizni bogatykh i bednykh [Wealth and Life Quality of Rich and Poor]. *Sociological Studies*, no 3, pp. 40–50.
- Drewnowski J. (1978) The Affluence Line. *Social Indicators Research*, vol. 5, no 1, pp. 263–278.
- Dynan K. E., Skinner J., Zeldes S. P. (2004) Do the Rich Save More? *Journal of Political Economy*, vol. 112, no 2, pp. 397–444.
- Easterly W. (2001) The Middle Class Consensus and Economic Development. *Journal of Economic Growth*, vol. 6, no 4, pp. 317–335.
- Eisenhauer J. G. (2011) The Rich, the Poor, and the Middle Class: Thresholds and Intensity Indices. *Research in Economics*, vol. 65, no 4, pp. 294–304.
- Erikson R., Goldthorpe J. H. (1992) *The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies*, Oxford: Clarendon Press.
- Esping-Andersen G. (1990) *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Cambridge: Polity Press.
- Feenberg D. R., Poterba J. M. (2000) The Income and Tax Share of Very High-Income Households, 1960–1995. *American Economic Review*, vol. 90, no 2, pp. 264–270.
- Ferreira F. H., Messina J., Rigolini J., López-Calva L.-F., Lugo M. A., Vakis R., Ló L. F. (2013) *Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class*, Washington: World Bank.
- Goldthorpe J. H. (2010) Analysing Social Inequality: A Critique of Two Recent Contributions from Economics and Epidemiology. *European Sociological Review*, vol. 26, no 6, pp. 731–744.
- Goldthorpe J. H., McKnight A. (2006) The Economic Basis of Social Class. *Mobility and Inequality: Frontiers of Research in Sociology and Economics* (eds. S. L. Morgan, D. B. Grusky, G. S. Fields), California: Stanford University Press, pp. 109–137.
- Gordon L. A. (2001) Bednost', blagopoluchiye, protivorechivost': material'naya differentsiatsiya v 1990-ye gody [Poverty, Affluence, Contradiction: Wealth Differentiation]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 3, pp. 5–21.
- Gorshkov M. (ed.) (2007) *Svoboda, neravenstvo, bratstvo: sotsiologicheskii portret sovremennoy Rossii* [Liberty, Inequality, Fraternity: Sociological Profile of the Contemporary Russia], Moscow: Rossiyskaya gazeta.
- Gorshkov M., Tikhonova N. (eds.) (2014) *Bednost' i bednyye v sovremennoy Rossii* [Poverty and Poor in Contemporary Russia], Moscow: Ves Mir.
- Government of India Planning Commission (2014) Report of the Expert Group to Review the Methodology for Measurement of Poverty. Available at: [http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/pov\\_repo707.pdf](http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/pov_repo707.pdf) (accessed 31 January 2018).
- Grabka M. M., Frick J. R. (2008) The Shrinking German Middle Class: Signs of Long-Term Polarization in Disposable Income? *Weekly Report*, vol. 4, no 4, pp. 21–27.
- Grigoriev L., Salmina A. (2013) "Struktura" sotsial'nogo neravenstva sovremennogo mira: problemy izmereniya [The "Structure" of Social Inequality of the Contemporary World: Measurement Issues]. *Journal of Sociology*, no 3, pp. 5–21.

- Grishina E., Denisova I., Dormidontova Y., Kazakova Y., Lyashok V. (2016) *Analiz prichin i faktorov neravenstva zarabotnykh plat v Rossii* [Study on the Causes and Factors of Wages Inequality in Russia], Moscow: Delo.
- Grusky D. B. (2001) The Past, Present, and Future of Social Inequality. *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective* (ed. D. B. Grusky), Boulder: Westview Press, pp. 3–51.
- Hall S. (2014) A Study of Poverty, Food Security and Resilience in Afghan Cities. Available at: <http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2014/11/DRC-PIN-Urban-Poverty-Report.pdf> (accessed 31 January 2018).
- Hauser R., Becker I. (2002) Inequalities between Income and Wealth. *Rich and Poor: Disparities, Perceptions, Concomitants* (ed. W. Glatzer), Dordrecht: Kluwer, pp. 33–43.
- John R. M., Mutatkar R. (2005) Statewise Estimates of Poverty among Religious Groups in India. *Economic and Political Weekly*, vol. 40, no 13, pp. 1337–1345.
- Kangas O. (2001) For Better or for Worse: Economic Positions of the Rich and the Poor: 1985–1995. LIS working paper No 248. Available at: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/160920/1/lis-wps-248.pdf> (accessed 31 January 2018).
- Khakhulina L., Tucek M. (1996) Raspredelenie dohodov: bednye i bogatyie v postsocialisticheskikh obshchestvakh (nekotorye rezul'taty sravnitel'nogo analiza) [Income Distribution: The Poor and the Rich in Postsocialist Societies (Some Results of a Comparative Analysis)]. *Monitoring of Public Opinion*, no 1, pp. 18–22.
- Kharas H. (2010) The Emerging Middle Class in Developing Countries. OECD Development Centre working paper No 285, Paris: OECD.
- Kozyreva P., Smirnov A. (2016) Social Security for Groups of Russians with Average Income. *Bulletin of the Institute of Sociology*, no 19, pp. 94–120.
- Kuznets S. (1955) Economic Growth and Income Inequality. *American Economic Review*, vol. 45, no 1, pp. 1–28.
- Lenski G. (1984) Income Stratification in the United States: Toward a Revised Model of the System. *Research in Social Stratification and Mobility*, vol. 3, pp. 173–205.
- Levine S., Roberts B. (2008) A Review of Poverty and Inequality in Namibia. Available at: [http://www.mof.gov.na/documents/27827/169990/Analysis\\_of\\_2003\\_04\\_NHIE\\_data.pdf/76807c4c-5d55-41cd-893a-49e980d72aa0](http://www.mof.gov.na/documents/27827/169990/Analysis_of_2003_04_NHIE_data.pdf/76807c4c-5d55-41cd-893a-49e980d72aa0) (accessed 31 January 2018).
- Liu Y., Grusky D. B. (2013) The Payoff to Skill in the Third Industrial Revolution. *American Journal of Sociology*, vol. 118, no 5, pp. 1330–1374.
- Lopez-Calva L. F., Ortiz-Juarez E. (2014) A Vulnerability Approach to the Definition of the Middle Class. *Journal of Economic Inequality*, vol. 12, no 1, pp. 23–47.
- Lukiyanova A. (2009) Ch'i zarabotki rastut bystreye: mobil'nost' po otnositel'nykh zarabotnym platam v Rossii (2000–2005 gg.) [Whose Earnings are Growing Faster: Mobility Regarding Relative Wages in Russia (2000–2005)]. *HSE Economic Journal*, vol. 13, no 2, pp. 217–242.
- Lukiyanova A. (2013) Ispol'zovaniye bezuslovnykh kvantil'nykh regressiy pri otsenke vliyaniya neformal'nosti na neravenstvo [The Impact of Informality on Earnings Inequality: Unconditional Quantile Regressions]. *Applied Econometrics*, no 4, pp. 3–28.
- Medeiros M. (2006) The Rich and the Poor: The Construction of an Affluence Line from the Poverty Line. *Social Indicators Research*, vol. 78, no 1, pp. 1–18.
- Milanovic B., Yitzhaki S. (2002) Decomposing World Income Distribution: Does the World Have a Middle Class? *Review of Income and Wealth*, vol. 48, no 2, pp. 155–178.
- Mozhina M. (2001) Raspredelitel'nyye otnosheniya: dokhody i potrebleniye naseleniya (iz nauchnogo naslediya) [Distributional Relations: Incomes and Consumption of the Population], Moscow: Gaynullin.
- Montalvo J. G., Ravallion M. (2010) The Pattern of Growth and Poverty Reduction in China. *Journal of Comparative Economics*, vol. 38, no 1, pp. 2–16.
- O'Brien D. J., Wegren S. K., Patsiorkovsky V. V. (2007) Income Stratification in Russian Villages from Profession to Property. *Problems of Post-communism*, vol. 54, no 1, pp. 37–46.
- Ovcharova L. (2009) *Teoreticheskiye i prakticheskiye podkhody k otsenke urovnya, profilya i faktorov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt* [Theoretical and Applied Approaches to the Measurement of the Level, Profile, and Causes of Poverty: Russian and International Studies], Moscow: M-Studio.

- Ovcharova L. (2012). Teoretiko-metodologicheskiye voprosy opredeleniya i izmereniya bednosti [Theoretical and Methodological Issues of Poverty Detection and Measurement]. *SPERO*, no 16, pp. 15–38.
- Ovcharova L., Popova D., Rudberg A. (2016) Dekompozitsiya faktorov neravenstva dokhodov v sovremennoy Rossii [Decomposition of Causes of Income Inequality in Contemporary Russia]. *Journal of the New Economic Association*, vol. 3, no 31, pp. 170–185.
- Ovcharova L., Biryukova S., Selezneva E., Abanokova K. (2017) Dokhody, raskhody i sotsial'noye samochuvstviye naseleniya Rossii v 2012–2016 godakh [Incomes, Expenses and Social Health of the Population of Russia in 2012–2016]. Paper presented at XVIII April International Academic Conference On Economic and Social Development (Moscow, April 11–14, 2017).
- Ovcharova L., Burdyak A., Pishnyak A., Popova D., Popova R., Rudberg A. (2014) *Dinamika monetarnykh i nemonetarnykh kharakteristik urovnya zhizni rossiyskikh domokhozyaystv za gody postsovetetskogo razvitiya: analiticheskiy doklad* [Dynamics of Monetary and Non-monetary Characteristics of the Living Standards of Russian Households during the Years of Post-Soviet Development: Analytical Report], Moscow: Liberal mission.
- Parsons T. (1940) An Analytical Approach to the Theory of Social Stratification. *American Journal of Sociology*, vol. 45, no 6, pp. 841–862.
- Partridge M. D. (1997) Is Inequality Harmful for Growth? Comment. *American Economic Review*, vol. 87, no 5, pp. 1019–1032.
- Peichl A., Pestel N. (2013) Multidimensional Affluence: Theory and Applications to Germany and the Us. *Applied Economics*, vol. 45, no 32, pp. 4591–4601.
- Peichl A., Schaefer T., Scheicher C. (2010) Measuring Richness and Poverty: A Micro Data Application to Europe and Germany. *Review of Income and Wealth*, vol. 56, no 3, pp. 597–619.
- Pressman S. (2007) The Decline of the Middle Class: An International Perspective. *Journal of Economic Issues*, vol. 41, no 1, pp. 181–200.
- Pressman S., Scott R. H. (2009) Who are the Debt Poor? *Journal of Economic Issues*, vol. 43, no 2, pp. 423–432.
- Rank M. R., Hirschl T. A. (2001) Poverty across the Life Cycle: Evidence from the Psid. *Journal of Policy Analysis and Management*, vol. 20, no 4, pp. 737–755.
- Ravallion M. (2010) The Developing World's Bulging (but Vulnerable) Middle Class. *World Development*, vol. 38, no 4, pp. 445–454.
- Ravallion M. (2011) A Comparative Perspective on Poverty Reduction in Brazil, China, and India. *World Bank Research Observer*, vol. 26, no 1, pp. 71–104.
- Ravallion M. (2016) *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*, New York: Oxford University Press.
- Rimashevskaya N. (1997) Naseleniye Rossii i sotsial'naya transformatsiya: vzglyad v XXI vek [Russia's Population and Social Transformation: A Look into the 21st Century]. *Vlast*, no 12, pp. 24–31.
- Rose S. J. (2016) The Growing Size and Incomes of the Upper Middle Class. Urban Institute research report. Available at: <http://www.urban.org/sites/default/files/alfresco/publication-pdfs/2000819-The-Growing-Size-and-Incomes-of-the-Upper-Middle-Class.pdf> (accessed 31 January 2018).
- Rosstat (2015) *Sotsial'noye polozheniye i uroven' zhizni naseleniya Rossii* [Social Profile and Living Standards of the Population of Russia], Moscow: Rosstat.
- Rytina J. H., Form W. H., Pease J. (1970) Income and Stratification Ideology: Beliefs About the American Opportunity Structure. *American Journal of Sociology*, vol. 75, no 4, pp. 703–716.
- Sen A. (1992) *Inequality Reexamined*, Oxford: Clarendon Press.
- Shevyakov A. (2010) Sotsial'noye neravenstvo: tormoz ekonomicheskogo i demograficheskogo rosta [Social Inequality: An Obstacle to Achieving Economic and Demographic Growth]. *Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii*, no 5, pp. 38–52.
- Simmel G. (1898) The Persistence of Social Groups. *American Journal of Sociology*, vol. 3, no 5, pp. 662–698.
- Smeeding T. (2006) Poor People in Rich Nations: The United States in Comparative Perspective. *Journal of Economic Perspectives*, vol. 20, no 1, pp. 69–90.
- Solimano A. S. (2008) *The Middle Class and the Development Process*, Santiago: CEPAL.
- Tapilina V., Rostovtsev P., Bogomolova T. (2002) Vliyaniye mobil'nosti naseleniya po dokhodam na izmeneniye neravenstva [Influence of Population Mobility by Incomes on Inequality Changes]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 3, no 1, pp. 72–86.

- Tikhonova N. (1999) *Fenomen gorodskoj bednosti v sovremennoj Rossii* [Urban Poverty in Contemporary Russia], Moscow: Letniy sad.
- Tikhonova N. (2013) Bednost' v sovremennoy Rossii: osnovnyye problemy [Poverty in Contemporary Russia: The Main issues]. *Razvitiye chelovecheskogo kapitala — novaya sotsial'naya politika* [Human Capital Development is a New Social Policy] (eds. V. Mau, T. Kliatchko), Moscow: Delo, pp. 297–317.
- Tikhonova N. (2014) *Sotsial'naya struktura Rossii: teorii i real'nost'* [Social Structure of Russia: Theory and Reality], Moscow: Novyj khronograf.
- Tikhonova N. (2017) Stratifikatsiya po dokhodam v Rossii na fone drugikh stran [Income Stratification in Russia in Comparison with Other Countries]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 3, pp. 26–41.
- Tikhonova N. (2017) Stratifikatsiya po dokhodu v Rossii: spetsifika modeli i vektor izmeneniya [Income Stratification in Russia: The Model's Specificity and the Vector of Changes]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 2, pp. 23–35.
- Tikhonova N., Slobodenyuk E. (2014) Geterogenost' rossiyskoy bednosti cherez prizmu deprivatsionnogo i absol'yutnogo podkhodov [Heterogeneity of the Russian Poverty through the Lens of Deprivation-Based and Absolute Approaches]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 1, pp. 36–49.
- Thurow L. C. (1987) A Surge in Inequality. *Scientific American*, vol. 256, no 5, pp. 30.
- Townsend P. (1979) *Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living*, Berkely: University of California Press.
- Townsend P. (2013) *International Analysis of Poverty*, New York: Routledge.
- Treiman D. J. (1977) *Occupational Prestige in Comparative Perspective*, New York: Academic Press.
- Vakis R., Jamele R., Lucchetti L. (2016) *Left Behind: Chronic Poverty in Latin America and the Caribbean*, Washington: World Bank.
- Weeden K. A., Grusky D. B. (2005) The Case for a New Class Map. *American Journal of Sociology*, vol. 111, no 1, pp. 141–212.
- Wegren S. K., Patsiorkovski V. V., O'Brien D. J. (2006) Beyond Stratification: The Emerging Class Structure in Rural Russia. *Journal of Agrarian Change*, vol. 6, no 3, pp. 372–399.
- Weicher J. C. (1997) The Rich and the Poor: Demographics of the US Wealth Distribution. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, July/August, pp. 25–37.
- Wodtke G. T. (2016) Social Class and Income Inequality in the United States: Ownership, Authority, and Personal Income Distribution from 1980 to 2010. *American Journal of Sociology*, vol. 121, no 5, pp. 1375–1415.
- Wolff E. N. (2010) Recent Trends in Household Wealth in the United States: Rising Debt and the Middle-Class Squeeze — an Update to 2007. LEI working paper No 589.
- World Bank (2014) *Doklad ob ekonomike Rossii 31: krizis doveriya obnazhayet slabost' ekonomiki* [Russia Economic Report 31: Crisis of Trust Reveals a Weakness of the Economy], Moscow: World Bank.
- World Bank (2015) *Russia Economic Report 33: The Dawn of a New Economic Era?* Washington: World Bank Group.
- Wright E. O. (1989) A General Framework for the Analysis of Class Structure. *The Debate on Classes*, New York: Verso, pp. 269–348.
- Wright E. O. (1997) *Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wright E. O. (2005) Foundations of a Neo-Marxist Class Analysis. *Approaches to Class Analysis* (ed. E. O. Wright), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 4–30.
- Yasinsky A. (2014) *Obzor metodov i istochnikov dannykh dlya izmereniya bednosti v stranakh sodruzhestva* [A Review of Methods and Data Sources for Measuring Poverty in CIS], Minsk: Galateya.
- Yitzhaki S., Lerman R. I. (1991) Income Stratification and Income Inequality. *Review of Income and Wealth*, vol. 37, no 3, pp. 313–329.
- Zaslavsky V. (1982) *The Neo-Stalinist State*, Armonk: M. E. Sharpe.
- Zherebin V., Romanov A. (2002) *Uroven' zhizni naseleniya* [Standards of Living], Moscow: YUNITI-DANA.

## (Со)знание как инструмент «устроения миров»: мультидисциплинарная перспектива

*Денис Подвойский*

Кандидат философских наук, доцент кафедры социологии

Российского университета дружбы народов

Ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН

Адрес: ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Москва, Российская Федерация 117198

E-mail: [dpodvoiski@yandex.ru](mailto:dpodvoiski@yandex.ru)

Проблематика знания и сознания является мультидисциплинарной. В истории наук о человеке она традиционно разделялась между различными научными и, шире, интеллектуальными «цеховыми» сообществами. В философии, социологии, психологии, биологии, науках о языке и коммуникации etc. разрабатывались (порой независимо друг от друга) многочисленные подходы к изучению данного, весьма обширного, тематического поля, обладающие тем не менее рядом сходств. Конструктивизм — своего рода условный «зонтичный термин», объединяющий целую группу «субъектоцентричных» теорий, дающих определенный «парадигмально очерченный» ответ на вопрос о функции (со)знания в его отношении к миру. С точки зрения конструктивизма субъективный инструментарий знаний и сознания используется людьми для «создания» и «когнитивно-практического освоения» окружающего их природного и социального универсума (или «множественных» миров опыта). В статье предпринята попытка анализа теоретических предпосылок и генезиса конструктивизма как особой мультидисциплинарной программы социальных и гуманитарных наук, концептуализирующей идею об активной роли индивидуального и/или коллективного сознания в процессе образования повседневных и научных «картин мира», определяющих в значительной мере направление действий социальных акторов. Охарактеризованы «осевые» линии аргументации и своеобразие некоторых концепций конструктивистского толка, а также выявлена степень их изоморфизма и потенциальной комплементарности. Среди прочего внимание сосредоточено на конструктивистских мотивах ряда концепций, получивших известность в истории философской и научной мысли XX столетия (неокантианство, конвенционализм в философии и методологии науки, плюралистическая концепция «создания миров» Н. Гудмена, теория аутопоietических систем У. Матураны и Ф. Варелы, психология когнитивных процессов, в том числе теория личностных конструктов Дж. Келли и теория категоризации Дж. Брунера, и др.).

*Ключевые слова:* конструктивизм, «создание миров», эпистемология, «субъектоцентричные» философии, неокантианство, конвенционализм, когнитивная психология, процессы категоризации, социология знания

Мы делаем звезды, как мы делаем созвездия, складывая их части вместе и отмечая их границы. Короче говоря, мы не делаем звезды, как мы делаем кирпичи; не всякое созидание требует месить глину. Создание миров... производится не руками, а умами, или скорее языками или другими символическими системами.

Нельсон Гудмен. «О создании звезд»

### Субъект в царстве опыта: маленький демиург с большими амбициями

Проблемы знания и сознания<sup>1</sup> находятся в самой сердцевине обширного предметного поля наук о человеке. Историю «гуманитарно-гуманистического» дискурса в европейской мысли условно открывает Сократ, после которого греческая философия, расширяя свои границы, перестает быть по преимуществу космологией и становится также антропологией. Тогда же другой возмутитель интеллектуального спокойствия — Протагор озвучил свой знаменитый, весьма провокативный даже по афинским меркам тезис: человек есть мера всех вещей. Продвинутому уму уже на заре истории идей станет ясно, что пути познания мира пролегают через познание человеком самого себя, а тайна макрокосма хотя бы отчасти сокрыта в микрокосме. Апофеозом такого подхода станет впоследствии декартовское *ego cogito*, а еще через несколько столетий продолжающий данную традицию Э. Гуссерль завершит свои «Картезианские размышления» августиновским «*poli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas*» («Не стремись к внешнему, возвратись в себя, во внутреннем человеке обитает истина») (Гуссерль, 1998: 292). Немного грубовато, но зато рельефно можно выразить близкую по сути мысль: чтобы понять, как устроен мир, мы должны сперва понять, как устроено человеческое сознание (включая и аппарат чувственного восприятия), потому что мир дается нам и познается нами через посредство и при помощи сознания (и чувств), и никак иначе.

Активного носителя сознания и знаний, а также в ряде случаев интенционального, осмысленного и целенаправленного действия (в том числе практического) философия будет величать «субъектом», хотя этот «почетный» статус не всегда будет распространяться на простого человека, например, решившего в один прекрасный момент встать со стула, побриться и сходить в магазин за покупками.

Провозглашенная И. Кантом «коперниканская революция» в философии поставила субъекта в центр, сделала его «солнцем», отодвинув мир на периферию. Разум выстраивает миры по правилам, заключенным в нем самом; эти правила

---

1. Словесный конструкт «(со)знание», фигурирующий в названии статьи, не претендует здесь на дополнительные аллюзии, в том числе отсылающие к социальному измерению ментально-когнитивных процессов (со-знание, со/знание, общее или коллективное сознание, знания, разделяемые с другими, и т. п.), но представляет собой лишь искусственное объединение двух обширных — пересекающихся, но не тождественных — семантических множеств, маркируемых понятиями «знание» и «сознание» ((со)знание = знание + сознание).

не произвольны и не случайны, они универсальны, обладают свойствами необходимости и всеобщности<sup>2</sup>; они имманентны, заданы субъекту его когнитивной организацией, а не почерпнуты из внешнего источника. Пространство и время, причинность, нравственный закон, красота (та, про которую немцы говорят, что она «в глазу смотрящего») берутся не из мира. Их продуцирует сознание в его специфическом *отношении* к миру. Они суть способы организации опыта, средства упорядочения его бесконечного, экстенсивного разнообразия. Так Кант — легко и непринужденно — занимает одно из почетных мест в иконостасе современного конструктивизма.

Форм «субъектоцентричных» философий и связанных с ними школ и направлений гуманитарных наук минувший XX век произвел великое множество. Всех их с известной долей условности можно именовать «конструктивистскими», если не придавать этой номинации узко доктринального или (открыто и оттеночно) негативно коннотированного значения<sup>3</sup>. В извечном споре со своими противниками — «реалистами-объективистами» субъективисты используют один трудноотводимый аргумент: мир сам по себе, как таковой никогда не дан нам непосредственно, но всегда лишь нашему сознанию и органам чувств<sup>4</sup>, и то, что мы знаем о нем, мы знаем благодаря специфической организации нашего более или менее изолированного когнитивного аппарата, за пределы которого выйти невозможно. Таким образом, онтологический статус внешнего мира и его «объективных» свойств всегда остается под вопросом (при этом сам факт его существования нет необходимости категорически отрицать). А субъект, оперирующий данными опыта и вооруженный арсеналом разнообразных естественных и искусственных когнитивных средств — от устройства глаза, слухового канала, барабанной перепонки, сенсорики кожных покровов до способностей к классификации и анализу, логическому и математическому выводу... от увеличительного стекла до индикатора радиационного фона... — кажется величиной более определенной.

В своих суждениях о «действительных» свойствах вещей и событий человек (в том числе убежденный «объективист», сторонник концепции отражения и корреспондентской теории истины) всегда остается заложником собственных «субъективных» (не обязательно сугубо индивидуальных, и не обязательно эксплицитных) структур мироориентации. Нельсон Гудмен формулирует законный вопрос к фундаменталистскому взгляду, основанному на вере, что единственным источником достоверных знаний о мире является сама «объективная» реальность: «Если я спрашиваю о мире, вы можете предложить мне рассказать, каков он в од-

---

2. Так, во всяком случае, думал Кант.

3. Например, признанный авторитет среди поклонников социального конструктивизма Томас Лукман в одном из интервью выступал резко против квалификации собственных взглядов, а также взглядов своего учителя А. Шюца как конструктивистских (Здравомыслова, Лукман, 2002: 7–8).

4. В деле освоения мира сознанию и органам чувств могут помогать, причем довольно существенно, их рукотворные дополнения и усилители — аппаратура, приборы, компьютеры и т. п., что, однако, принципиальным образом ситуации не меняет, так как фундаментальная привязанность акта познания к субъекту сохраняется.

ной или во многих системах координат; но если я настаиваю, чтобы вы сообщили мне, каким он является вне всех систем координат, то что вы можете сказать? Что бы мы ни описывали, мы всегда связаны способами описания» (Гудмен, 2001: 119–120).

Субъектоцентричные философии традиционно обвинялись их противниками в онтологическом солипсизме и эпистемологическом и/или (что еще хуже) этическом релятивизме. Но подобные упреки скорее отражали эмоциональную реакцию растерянного, обескураженного сознания, не желающего оставаться без реальности, без твердой почвы под ногами и надежных знаний о мире: если знания являются «человекозависимыми», то, мол, грош им цена! Однако опасения были по большей части напрасными. Настоящий солипсизм предполагает признание действительно существующим лишь отдельно взятого индивидуального сознания, но такая концепция едва ли могла бы объяснить многое в мире культурной жизни. Язык, наука, религия, искусство, идеология создаются не субъектом, но субъектами, в их взаимодействии, по традиции или вопреки ей, но всегда в некоторой связи с тем, что уже было сделано *до нас*. Т.е. возводимые человеком мироконструкции никогда не строятся «на пустом месте». «В любом случае мы начинаем с некоторой прежней версии или с некоторого прежнего мира, который находится у нас под рукой» (Гудмен, 2001: 212).

Что же касается релятивизма, то и здесь дело обстоит не столь уж удручающе для тех, кто склонен опасаться за прочность основ мироздания. Лишь манифестации самых крайних версий конструктивистской установки мысли, идейно родственных постмодернистской стратегии деконструкции<sup>5</sup>, звучат откровенно вызывающе, как, например, фейерабендовское *anything goes* («все дозволено, все сойдет, все сгодится») (Фейерабенд, 1986). Скажем, Гудмен, характеризующий свою позицию как «релятивизм со строгими ограничениями», замечает:

---

5. Конструктивизм и деконструктивизм условно объединяет лишь признание того факта, что все или почти все в мире людей является «конструктом», продуктом человеческой активности, «искусственным» творением. Однако из этого вовсе не следует, что конструкции надо непременно разрушать. Деконструктивизм обычно деструктивен, а конструктивизм — не обязательно. Это различие ориентаций точно подметил Б. Латур: «Отношение „конструкции“ к „деконструкции“ выглядит... как экологическое отношение добычи к хищнику. Произнесите слово „конструкция“, и вместо того, чтобы подумать, какие имеются средства и ресурсы для сохранения или реставрации постройки, Злой Волчище сразу зачавкает деконструктивистской пастью в страстном предвкушении. Дело в том, что сторонники критицизма разделяют со своими жестокими врагами, фундаменталистами, как минимум одну общую предпосылку: они тоже полагают, что если нечто создано, это само по себе является доказательством такой его неполноценности, что его следует деконструировать до тех пор, пока не будет достигнут удобный им идеал, а именно то, к чему вообще не приложены человеческие руки» (Латур, 2006: 384). Конструктивизм не таков, напротив, его усилия часто направлены на «сохранение и поддержание хрупких жилищ» (Там же: 386–387).

Вместе с тем очевидно, что «массовые злоупотребления» конструктивистской аргументацией в публично-интеллектуальной среде второй половины XX — начала XXI в. привели к частичной компрометации самого понятийного маркера «конструктивизма», что также провоцировало его серьезную и во многом обоснованную критику. Один из наиболее известных образцов такой критики представлен в книге канадского философа Яна Хакинга «Социальное конструирование чего?» (Hacking, 2003).

Готовность принимать бесчисленные альтернативные истинные и правильные версии миров означает не то, что все возможно, что небывлицы так же хороши, как быть, что истина больше не отличается от лжи, но только то, что истина должна пониматься иначе, нежели соответствие некоему готовому миру. Хотя мы делаем миры, делая их версии, все же складывая символы наугад, мы преуспеем в создании мира не в большей степени, чем плотник, который делает стул, произвольно скрепляя куски дерева. (Гудмен, 2001: 209)

Или, иначе и короче говоря, «признание множественных альтернативных мировых версий не означает политики *laissez-faire*» (Там же: 222).

Вовлеченное в «общее дело» сознание выстраивает миры с усердием и методичностью социального насекомого. Мягкий материал, используемый в процессе строительства, как слюна термитов, смешанная с землей и песком, быстро застывает. Надежность постройки обеспечивается не только тем фактом, что строительство носит *коллективный* характер, но и тем, что оно осуществляется *по правилам*, которые не могут быть просто так отброшены или проигнорированы. Степень свободы действия всегда существует, но никогда не является безграничной. Собственно социологическая тема в многоголосии конструктивистского дискурса<sup>6</sup> начинает звучать, становясь различимой, когда приходит понимание того, что люди конструируют миры не поодиночке, каждый наедине с самим собой, а сообща, не из ничего, а с опорой на усилия предшествующих поколений, в преемственной исторической перспективе.

### Создание миров — игра по правилам

Процедуру создания миров можно условно описать при помощи витгенштейновской идеи «языковых игр», столь полюбившейся интеллектуалам второй половины XX века (Витгенштейн, 2010; Волков, Хархордин, 2008). Игры бывают разные. Наука и искусство — это разные игры, их нельзя конвертировать друг в друга, так как они держатся на разных ценностно-смысловых основаниях<sup>7</sup>. В строительстве могут использоваться одни и те же или *как бы* одни и те же компоненты-ингредиенты (хотя и использоваться в разных своих качествах и с применением альтернативных «технологий»). Картинки реальности в результате также будут получаться неодинаковыми: «в Птолемеевой системе Земля всегда покоится», в системе Коперника-Кеплера вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси, а в «системе Стравинского—Фокина... танцует партию Петрушки» (Гудмен, 2001: 226–227).

Внутри больших игровых универсумов играют более частные игры. Игры физиков отличаются от игр литературоведов. То же — в искусстве: «Композиция, которая неправильна в мире Рафаэля, может быть правильной в мире Сера, подобно тому, как описание движения бортпроводницы, которое является непра-

6. См., напр., обзорные работы: Коркюф, 2002; Burr, 2003; Lock, Strong, 2010.

7. Хотя история идей, и не только на новейшей стадии, свидетельствует, что, по-видимому, возможны и игры «контаминированного» типа, в стиле mix или fusion.

вильным с контрольной вышки, может быть правильным с пассажирского кресла»; причем «такая относительность не должна быть принята за субъективность<sup>8</sup> ни в одном из этих случаев...» (Гудмен, 2001: 255).

Сколько игр — столько миров. Но у каждой языковой игры есть правила. Иногда они четко обозначены, иногда просто подразумеваются. Но чисто приватного языка, как и сугубо индивидуальных игр, не существует, а на страже правил как общего достояния стоит коллектив. В шахматах можно начинать партию защитой Филидора или королевским гамбитом, но пешки, кони и прочие фигуры передвигаются по полю вполне определенным образом и никак иначе. Если в преферансе вы играете шесть пик, то оба ваших партнера должны играть «стоя», «в закрытую», т. е. вистовать. Вы можете писать по-французски, как Рабле, Мольер, Бальзак, Пруст или Камю, петь, как Ив Монтан или Джо Дассен, но ударение при произношении фраз здесь всегда будет окситональным — на последний слог последнего слова фонетического ряда. Индивидуальный произвол в любой игре всегда ограничен, поскольку игра — дело серьезное, и вместе с тем коллективное предприятие. Нарушающих правила обычно наказывают или выводят из игры.

Идея, что реальность может представлять в совершенно разных цветах и красках, или даже сильнее, — просто быть организованной по-разному, в зависимости от установки сознания субъекта, косвенным образом уже содержалась в кантианской методологической программе. Три кантовских «Критики» дают три разных взгляда на мир, или, быть может, даже три разных мира — чистый разум (науку), практический разум (мораль) и суждения эстетического вкуса (фундирующие искусство). Собственно, из этого различия вырастает суровая сентенция М. Вебера, что истина не всегда сочетается с добром, добро с красотой, а красота с истиной. В этом же корень его концепции ценностного политеизма и метафоры «войны богов», развертываемых в «Науке как призвании и профессии» (Вебер, 1990). Пути крутящегося дервиша и борца за веру под зеленым знаменем Пророка, монаха-бикшу и брахмана, благочестиво почитающего традиции и предков последователя конфуцианства и галилейского рыбака, оставляющего дом и семью, рвущего все мирские связи во имя обретения милости мира нездешнего, созерцательного «мистика» и деятельного «аскета»... прочерчены в разных культурных измерениях, и среди этих путей нет «объективно» правильного или искаженного. Каждый служит «своим богам» и обосновывает преимущества собственной жизненной стратегии особым образом (главное — чтобы самого себя убеждало!).

Вполне отчетливой конструктивистская интенция мысли становится в неокантианстве. На мир, — говорят «баденцы» Г. Риккерт и В. Виндельбанд, — можно смотреть через разные очки, используя разные «способы образования понятий». Когда мы смотрим на него номотетически (стремясь узреть в нем черты законосообразности), мы получаем «природу», когда взираем идиографически (пытаясь

8. Под «субъективностью» в данном отрывке подразумевается «произвольность», «случайность», «бесконтрольность» мысли или действия.

сосредоточиться на уникальном и неповторимом), получаем «историю» (Риккерт, 1997, 1998).

Э. Кассирер на место кантовских априорных форм чувственности и категорий рассудка ставит символические формы, конституирующие в человеческом сознании различные «миры». При этом стартовая позиция рассуждений с адресацией к Канту проговаривается достаточно четко: «„Революция в образе мышления“, произведенная Кантом... началась с идеи радикального изменения общепринятого отношения познания к своему предмету. Вместо того чтобы исходить из предмета как из чего-то известного и данного, следует, наоборот, начинать с закона познания как на самом деле единственно доступного и первично достоверного...» (Кассирер, 2001: 15).

Согласно Кассиреру, миф, религия, искусство, наука

живут в самобытных образных мирах, где эмпирически данное *не столько отражается, сколько порождается* [курсив наш. — Д. П.] по определенному принципу. Все они создают свои особые символические формы... Каждая из этих форм несводима к другой и невыводима из другой, ибо каждая из них есть конкретный способ духовного воззрения: в нем и благодаря ему конституируется своя особая сторона «действительности»... Познание, язык, миф, искусство — все они не просто зеркала, отражающие... бытие, внешнее или внутреннее, таким, какое оно есть; они — не индифферентные опосредования, а скорее источники света, условия видения и начала всякого формообразования... Каждая из этих смысловых взаимосвязей — язык, научное познание, искусство и миф — обладает собственным конститутивным принципом, который накладывает на все виды формообразования свою особую печать. (Кассирер, 2001: 15, 28, 32)

Будучи противником сенсуализма и ассоцианизма и солидаризуясь, скорее, с гештальтпсихологией, Кассирер полагает, что представления о мире, чувственно воспринимаемых данных не собираются в конечном счете исключительно из конкретных элементарных частиц впечатлений, но вписываются в «априорные» системы, комплексы символических формообразующих структур, без которых все рассыпалось бы в сознании.

Хорошо известно, что с начала XX века версии всевозможных «идеализмов» стали исподволь проникать в методологию естественных наук<sup>9</sup>. Наивное представление о работе естествоиспытателя, (будто бы) ориентированной на поиск и обнаружение закономерностей, заключенных в самой «объективной» реальности природного мира, было отчасти подорвано. Тот же Кассирер, характеризуя особенности когнитивных практик точных наук и ссылаясь попутно (видимо, для большей убедительности) на высказывания Г. Герца, отмечает:

---

9. Что особенно возмущало «стойких защитников научно-материалистического мировоззрения» вроде В. И. Ленина (см. его «Материализм и эмпириокритицизм»).

Предмет нельзя полагать в качестве простого «бытия в себе» независимо от существенных категорий естествознания — он может быть представлен только в этих категориях, конституирующих его собственную форму... При таком критическом подходе наука расстается с надеждой и претензией на «непосредственное» восприятие и воспроизведение действительности... Понятия, которыми... оперирует [физик. — Д. П.], — пространства и времени, массы и силы, материальной точки и энергии, атома или эфира — это свободные «призрачные образы», конструируемые познанием, чтобы овладеть чувственным опытом и обозреть его как закономерно упорядоченный мир, однако в непосредственных чувственных данных нет ничего, что бы им соответствовало. (Кассирер, 2001: 13, 21)

Сходные суждения, также подкрепляемые «авторитетными именами», находим у Дж. Брунера:

Вселенная — это множество перспектив, построенных учеными для того, чтобы понять — и по мере возможности сделать предсказуемыми — совокупности наблюдений. Всякий, кто знаком с «Описанием мира Резерфорда» по лекциям Р. Оппенгеймера или рассказом М. Вертгеймера о его беседах с Эйнштейном по поводу специальной и общей теории относительности, не может не поразиться, насколько в современной теоретической физике господствуют представления о конструктивном и существенно субъективном характере научной деятельности. (Брунер, 1977: 235)

Конструктивистская идея о том, что наука в действительности занимается не столько открытием, сколько изобретением научных фактов, не является детищем антисциентистского критицизма постмодернистской эпохи. Она гораздо старше и содержится в достаточно зрелой форме уже в конвенционалистских теориях, например, у А. Пуанкаре, Р. Карнапа и К. Айдукевича (Пуанкаре, 1990; Карнап, 1959; Ajdukiewicz, 1978; Айдукевич, 1996). Конвенционализм не пытался «вывести науку на чистую воду» или разоблачить миф о стерильности и безупречности научного мышления как эталона познавательной деятельности. Конвенционализм, в отличие от постмодернистского деконструктивизма, скорее симпатизирует науке. Демонстрируя «субъектозависимость» в работе ученого, он лишь стремился к описанию того, как на самом деле совершается процесс научного исследования, и умеряет пыл и амбиции наивного сциентистского объективизма.

Принцип так называемого «радикального конвенционализма» гласит:

Суждения, которые мы принимаем и которые образуют картину мира, не определяются однозначно данными опыта, но зависят от выбора понятийного аппарата, с помощью которого мы интерпретируем эти данные... Опытные данные не навязывают нам абсолютным образом никакого артикулированного суждения. [Они] вынуждают нас признать некоторые суждения, если мы находимся в рамках данного понятийного аппарата, но если мы изменим этот понятийный аппарат, то можем, несмотря на наличие одних и тех же опытных данных, воздержаться от признания тех же суждений... (Айдукевич, 1996: 231, 238)

Иначе говоря, «наука не приходит к своим утверждениям в результате простой регистрации опыта, но творит из сырого материала опыта „факты науки“ путем их языково-понятийной обработки» (Айдукевич, 1996: 251–252).

Конвенционализм предъявляет к научному знанию приблизительно такие же требования, какие прагматизм, инструментализм и эволюционная эпистемология предъявляют к знанию как таковому (включая обыденное мышление). Вопрос о том, соответствуют ли положения и выводы научной теории какой-то реальности, может быть снят как непринципиальный или метафизический. Теории никогда не выводятся непосредственно из опыта, главное, чтобы они были достаточно эвристичны, чтобы успешно объяснять его. Теория должна быть по возможности проста и «изящна», понятна, «удобна в употреблении», логически непротиворечива, пригодна к потенциальному практическому применению и эффективна в своих предсказаниях. Если все это есть, с ней можно работать. И теорий, удовлетворяющих указанному ряду условий, может быть несколько, или даже много, и если они направлены на объяснение одной и той же группы фактов, они будут конкурировать между собой или стремиться к поглощению конкурента. Теории, предлагающие «плохо работающие» модели объяснения, естественным образом выбраковываются.

В науке условным продуктом «соглашения», «договоренности» можно считать и теорию, включая базовые аксиомы и постулаты (и их в первую очередь, так как они не доказываются, но принимаются за точку отсчета в производных от них построениях), и язык описания, и понятия, и методы, и способы анализа и обработки данных, и модели экспериментов, и используемые шкалы, единицы измерения, системы эмпирических индикаторов и т. д., и т. п. Хотя конвенции эти не обязательно явные, многие из них принимаются как само собой разумеющиеся, используются по устоявшейся традиции в научном сообществе, т. е. некоторые свои, особенно «философски не очевидные», когнитивные предпосылки наука не осознает и не «проговаривает». Научное мышление, оперирующее элементами мироздания, всегда осуществляет определенный отбор и сортировку фактов, поэтому важно понимать, как совершаются процессы обработки информации в сознании ученого. Общим местом в методологии науки XX столетия становится признание так называемой «теоретической нагруженности наблюдений». В определенных кругах сегодня модным становится высказывание, что «на свете вообще нет ничего, кроме теорий». И это означает, что те или иные «теории», представляющие собой явные или латентные «способы интерпретации» опыта, уже вмонтированы в факты и не подлежат полному элиминированию. Устранение такой умышленной или неумышленной «теоретической» фокусировки было бы тождественно погружению мира во тьму.

Конвенционалистский взгляд на характер и содержание труда ученых вовсе не посягал на «когнитивный порядок» царства науки, он лишь переопределил источник этого порядка — сместив его ближе к субъекту научного знания. Ведь конвенции (эксплицитные или имплицитные) суть правила, которые «в норме», «более

или менее» разделяются всеми претендующими на участие в когнитивной игре. И если в первой половине и середине XX века философия науки размышляла по преимуществу о логико-языковых аспектах конструирования научной картины (точнее, картин) мира<sup>10</sup>, то позднее, с появлением постпозитивистских концепций (теория научных парадигм Т. Куна и др.) и «социологии научного знания» (Д. Блур и др.) актуализируется дискуссия о культурно-исторических факторах и социальных механизмах названных процессов (Кун, 2015; Летов, 2011; Bloog, 1998; Блур, 2002; Моркина, 2012)<sup>11</sup>.

За «спиной» у любой научной конвенции, как и вообще любой устойчивой и повторяющейся когнитивной и поведенческой практики, стоят авторитет и сила сообщества, а следовательно, для ее поддержания и воспроизводства во времени используются все типичные рычаги социальной регуляции и регламентации, включая заботу коллектива об интернализации доминирующих паттернов, поощрение конформизма, негативное санкционирование девиаций, хотя бы частичную рутинизацию и ритуализацию некоторых компонентов в структурах мышления и деятельности и т. п. Знания, в том числе знания научные, как и ценности, верования, мнения, убеждения, т. е. все то, что Э. Дюркгейм называл «коллективными представлениями», всегда циркулируют в том или ином, широком или узком сообществе, являясь до известной степени *социально принудительными* (в полном соответствии с классическим дюркгеймовским определением «социального факта»).

Культурный релятивизм, при всей безапелляционности многих его содержательных утверждений, также внес немалый вклад в продвижение тезиса о плюрализме миров, производимых сознанием человека в длительной перспективе цивилизационного развития. В этом смысле О. Шпенглер с его эпатазирующим «сколько существует культур, столько существует математик, физик и т. д.» фактически реализует тот самый подход, который впоследствии в методологии науки получит известность как «принцип несоизмеримости» (Шпенглер, 1993).

Но даже если вопрос о несоизмеримости различных путей и результатов конструирования миров (в пределах ли одной культуры в разных регионах опыта, или же в разных культурах) может и должен оставаться открытым, сама его постановка свидетельствует: человеческие знания обладают в значительной степени автономной, самопорождающей логикой, проливают собственный свет и отбрасывают собственные причудливые тени на то «мутно-расплывчатое полотно неопределен-

---

10. Подход К. Айдукевича в данном отношении вполне показателен. Он, по справедливому замечанию В. Н. Поруса, «предпочел остановиться на полпути в ревизии теории научной рациональности, не рискуя оставить надежную почву логической семантики и методологической прагматики ради скользких троп социологического, социально-психологического или историко-научного подходов к этой теории» (Порус, 1996: 267). А между тем «скользкие тропы» со временем превратились в настоящее «многополосное шоссе».

11. Ср.: как констатирует Д. Блур (Bloog, 1993), «„то, что в языке и логике является ограничениями, есть ограничения, наложенные на нас другими людьми“... Социальная группа, строящая собственную картину мира, по Блуру, достигает одновременно как цели построения такой картины, так и целей социального регулирования» (Моркина, 2012: 151).

ной текстуры», которое мы привыкли в просторечии называть «объективной реальностью». Подобная констатация как бы сама собой располагает к приостановке разговоров о «реальности» и продолжению разговоров о знаниях.

Вместе с тем ясно, что наука как специфическое «средство производства» образов мироздания представляет собой лишь «частный случай». Можно показать, как по другим законам жанра мира производят искусство, религия, практическое сознание и т. д. С искусством это было бы даже проще сделать, ведь оно, в общем, и не оспаривает того, что создает иные миры, прибегая к помощи конструктивной силы творческого воображения (или даже порой утверждает, что это является его основной задачей).

Однако в любом случае ни о какой анархии или абсолютной произвольности в делах когнитивного миропроизводства говорить не приходится, так как из процессов конструирования реальности (в каких бы сферах опыта оно ни совершалось) могут быть выявлены, экстрагированы определенные «правила и нормы», независимо от того, осознаются ли они как таковые самими «строителями миров» или нет. О природе, источниках и происхождении, статусе и механизмах действия данных правил разные дисциплины могут рассуждать по-разному (Bloog, 2002; Волков, Хархордин, 2008: 84–102; Подвойский, 2016а). Лингвистика и семиотика и примыкающие к ним направления философии (особенно англо-американской) будут настаивать на значимости языковых структур, организующих ментальный и когнитивный опыт субъекта (см., напр.: Searle, 1997). Биологи будут говорить о роли нервной системы как программного центра управления психикой и поведением, психологи — об устройстве перцептивного аппарата и интеллекта как средств обработки информации, совершаемой отдельно взятым индивидом на разных стадиях онтогенеза, а социологи — о социальных условиях и контексте процессов миропроизводства, так как последние фактически всегда протекают в обществе и имеют выраженный коллективный характер. Перечисленные аналитические перспективы по существу не противоречат друг другу, но находятся в отношениях потенциальной взаимодополняемости. Правда, к сожалению, создание комплексной и интегральной концептуализации<sup>12</sup> указанных процессов в современной ситуации дисциплинарных размежеваний и предельной научной специализации было бы, вероятно, «малопопулярным делом».

## Инструментальная сумка сознания и ее содержимое

Остановимся теперь на некоторых значимых трансдисциплинарных особенностях конструктивистских теорий и формулируемых в их рамках представлений о том, как работают знания и сознание в мире человеческого опыта.

Примечательно, что в теориях подобного рода сам концепт «знания» употребляется предельно широко. «Живые системы — это когнитивные системы,

---

12. Концептуализации, которая принимала бы во внимание приблизительно в равной мере все обозначенные аспекты и «устраивала бы всех».

а жизнь как процесс представляет собой процесс познания» (Матурана, 1995). С этим высказыванием Умберто Матураны согласились бы и сторонники философской и биологической ветвей эволюционной эпистемологии, и идеологи «радикального конструктивизма» Э. Глазерсфельд и П. Вацлавик (см., напр.: Watzlawick, 2011), и психологи-когнитивисты (Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Дж. Келли), и социологи феноменологической ориентации, идущие по пути, проложенному А. Шюцем, П. Бергером и Т. Лукманом, и корифеи прагматизма У. Джемс и Дж. Дьюи. Понятие познания будет включать в себя при таком расширительном подходе кроме рационально-дискурсивного также чувственно-перцептивный уровень, как и любую деятельность организма, направленную на «субъективный мониторинг» среды и выстраивание отношений с ней.

Как учил Дж. Г. Мид, механизм человеческого познания в качестве предпосылки действия аналитически укладывается в промежуток, отделяющий «стимул» от «реакции» (Мид, 2009). При этом четкое решение вопроса, стоит ли за словами «среда», «окружение» и т. п. какая-то «объективная реальность» либо мы можем редуцировать таковую к потоку или набору неких «возмущений», улавливаемых организмом и определяемых как «внешние» сигналы, — не столь принципиально. Важно, что «знания» живой системы позволяют ей более или менее<sup>13</sup> «эффективно» действовать, приспосабливаться к тому, что принято называть «условиями существования», или же приспосабливать, «подгонять» их по возможности к своим нуждам, запросам и наклонностям, или — и то, и другое.

Старая дилемма — возникают ли знания из (чувственного) опыта (эмпиризм, сенсуализм) или предшествуют ему (априоризм, рационализм), над которой гносеология билась многие столетия, скорее всего должна быть отодвинута, так как однозначно правого в этом ветхом споре нет. По-видимому, вопрос просто не стоило ставить ребром (или/или). Знания от опыта «просто так» отделить нельзя. Знания не существуют без их содержательного наполнения, поскольку они всегда суть «знания о», предполагают собственный предмет, имеющий обычно то или иное отношение к опытному миру (свойство интенциональности сознания, зафиксированное Гуссерлем). Но и опыт оказывается всегда уже так или иначе «преобразованным», «проинтерпретированным», «освоенным» познающим субъектом, т. е. всякий опыт есть обязательно *чей-то* опыт («факты можно увидеть только глазами наблюдателей») (Келли, 2000: 48). В фактических когнитивных ситуациях, которые только и стоит объяснять, знания и опыт всегда даны вместе, подразумевают наличие друг друга. Если же знания конституируются в ситуациях столкновения, контакта субъекта с опытными данными, то вполне достаточным было бы уяснение того, *как работает* сознание, оперирующее фрагментами собственного внутреннего и внешнего опыта.

Чем радикальней конструктивистская установка теоретика, тем большее внимание в объяснительной модели уделяется собственно структурам «познаватель-

13. «Более или менее» значит — не обязательно идеально, но хотя бы минимально приемлемо для поддержания жизни.

ной» активности. Показательный пример здесь — концепция аутопойетических систем У. Матураны и Ф. Варелы (Матурана, 1995; Матурана, Варела, 2001; Варела, Матурана, Урибе, 2000; Варела, 2000). Самореферентная живая система не столько конструирует мир, сколько конструирует в первую очередь *саму себя*, а через это и свой специфический способ отношения к миру, среде, окружению. «Организация и структура живой системы (включая и ее нервную систему) определяют в ней некую «точку зрения», уклон или установку, в перспективе которой она взаимодействует, определяя в любое мгновение возможные отношения, доступные ее нервной системе» (Матурана, 1995). Для системы существует лишь тот мир, который доступен ее когнитивно-перцептивному аппарату. У системы с иным внутренним устройством этот мир будет отличаться, вернее, она будет жить в другом, *своем* мире. В логике данной теории система, лишенная определенных каналов контакта с реальностью, могла бы, наверное, «заявить» (если бы знала, чего она лишена, и при этом еще умела бы говорить): «и зря вы меня пытаете (огнем или льдом...), я все равно ни жары, ни холода не чувствую».

Любимый эвристический пример Матураны: сравнение организма с пилотом самолета или капитаном подводной лодки, который успешно решает поставленные перед ним задачи: осуществляет навигацию, садится или всплывает, где нужно, лишь следуя показаниям приборов, без непосредственного контакта со средой за бортом. Наша «внутренне детерминированная», эволюционно сформированная сенсорика — это наш перископ, наше полузапотевшее окно в мир. А наши образцы мышления и деятельности — переключатели скоростей, рычаги, кнопки панели управления, помогающие хоть как-то совладать с темнотой и хаосом реальности.

В когнитивистских теориях XX века традиционное философское различие чувств и разума было фактически преодолено, так как и восприятие, и мышление стали рассматриваться как этапы одного и того же процесса освоения предметного мира, причем не отделенные друг от друга жесткой перегородкой, но плавно переходящие друг в друга. По Пиаже, интеллект, осуществляющий высшие мыслительные функции, вырастает из сенсомоторных и перцептивных способностей, но перерастает их, надстраиваясь над ними. Если считать процессы субъективной мироориентации также процессами конструирования реальности, то можно утверждать, что подобное конструирование осуществляется *как чувствами, так и разумом*. И хотя закономерности этих фаз и стадий конструирования очевидно различаются, они, по-видимому, имеют и ряд важных сходств — и мышление, и память, и восприятие, и установка «работают по схеме», как «фильтры», они селективны, осуществляют отбор и сортировку когнитивного материала. Распознавание объектов в их типичности, их идентификация и удержание в памяти, внимание к одним и невнимание к другим, отождествление, различение и сравнение, классификация, специфическая фокусировка одних аспектов и сторон действительности и игнорирование прочих, операции установления причинно-следственных связей между явлениями, обобщение и анализ, многочисленные логические

операции — все это звенья одной цепи, состоящей из разных процедур, помогающих людям делать их миры пригодными для обитания.

Предварительное представление об «универсальных», «формальных» принципах (правилах) работы сознания дают когнитивистские психологические теории, например, вполне сопоставимые между собой концепции Джерома Брунера и Джорджа Келли. То, что Брунер описывает как процесс *категоризации*, Келли определяет при помощи ключевого термина «*личностного конструкта*». Конструкты и осуществляемая ими категоризация служат простейшими инструментами когнитивного производства миров.

Как сознание борется с одолевающим его ежесекундно хаосом, привносимым в жизнь необработанными данными опыта? Естественной установкой адаптивной стратегии организма, и не только человеческого, является «стремление к минимизации неожиданности происходящего» (Брунер, 1977: 58–59). Мы хотим, чтобы мир был предсказуемым, а наши рецепты действий работали успешно. Но что для этого нужно? Нужно, чтобы в нем «содержались» (вернее, выделялись восприятием и сознанием) черты порядка, постоянства и повторяемости.

Всякое «восприятие предполагает акт категоризации», утверждает Брунер. Человек «осуществляет отбор, отнесение воспринимаемого объекта к определенной категории, в отличие от иных категорий» (например, «этот предмет круглый, шероховатый на ощупь, оранжевого цвета и такой-то величины — следовательно, это апельсин; дайте-ка я проверю остальные свойства для большей уверенности») (Там же: 13–14). Все события в конечном счете уникальны и неповторимы, но в таком виде с ними сложно было бы иметь дело: «Если бы какое-нибудь восприятие оказалось не включенным в систему категорий, то есть свободным от отнесения к какой-либо категории, оно было бы обречено оставаться недоступной жемужиной, жар-птицей, погребенной в безмолвии индивидуального опыта» (Там же: 16). Категоризация предполагает идентификацию простых и сложносоставных элементов реальности, т. е. «независимо от характера задачи, стоящей перед индивидом, он (или его нервная система) приходит к решению, что воспринимаемый объект есть та, а не иная вещь окружающего мира» (Там же: 29). Когда объект распознан, идентифицирован как «такой-то и такой-то», он оказывается «подписан», маркирован и занимает свое место на когнитивной карте.

По Келли, упорядочивание элементов опыта осуществляется благодаря структурам, именуемым личностными конструктами: «Человек смотрит на мир сквозь прозрачные трафареты или шаблоны, которые он сам создает... Однако без таких шаблонов мир предстает перед ним в виде настолько неразличимой однородности [или же, наоборот, бесконечной разнородности. — Д. П.], что он не в состоянии извлечь из него никакого смысла. Для любого человека даже плохая пригонка своих шаблонов к реальности<sup>14</sup> полезнее их полного отсутствия» (Келли, 2000: 18).

14. С точки зрения Келли, в конечном счете именно конструкты «подгоняются» под мир, а не наоборот (и это утверждение становится своего рода «ограничителем» уровня радикализма его конструктивистской аргументации). Келли, правда, признает существование «недостаточно гибких»

Конструкты как «способы истолкования мира» используются индивидами для предсказания будущих событий.

При этом Келли постоянно указывает на принципиальное сходство когнитивных практик простых людей и ученых<sup>15</sup> (при интересе прежде всего к первым): «Как ученый, человек пытается предсказывать и тем самым контролировать ход событий», «...наши антиципации повседневных событий, хотя им и недостает научной точности, все же окружают нашу жизнь аурой смысла. Поскольку жизнь не похожа на сплошной каприз, мы подготовлены нашими личными системами истолкования к тому, чтобы каждый день успешно справляться с новым опытом» (Там же: 30). Здесь, вероятно, следовало бы также добавить, перевертывая формулировку, что жизнь именно потому и не похожа на каприз, что перед нашими конструктами стоит задача приемлемым образом справляться с новым опытом, а сделать это можно лишь при помощи упорядочивающих реальность ментально-перцептивных схем, вернее, благодаря их естественному (обычно латентному) функционированию.

Как осуществляются предсказания? Позиция Келли на сей счет такова:

Конкретный человек антиципирует события путем истолкования их повторений... Истолкование — это способ видения событий, который заставляет их выглядеть регулярными... Очевидный признак регулярности — повторение, но, разумеется, не простое повторение идентичных событий... а повторение некоторой характерной особенности, которую можно абстрагировать из каждого события и пронести неповрежденной во времени и пространстве. Истолковывать — значит слышать шепот повторяемых тем в событиях... Благодаря самому процессу идентифицирования события как чего-то повторяемого мы подразумеваем, что оно может произойти вновь. Или, точнее, мы предполагаем, что его повторяемые качества могут вполне появиться вновь в другом событии. (Там же: 70, 102, 157)

Поскольку «взятые конкретно, новые события неповторимы», «только абстрагируя их, человек обнаруживает то, что в них повторяется» (Там же: 99).

Откуда берутся конструкты, как они образуются, «происходят из наблюдений за повторяющимися паттернами событий»? (Первин, Джон, 2001: 397). Если и так,

---

конструктов, которые подминают под себя реальность и мешают человеку жить. Собственно, на «размягчение» подобных субъективных ментально-поведенческих структур и была направлена психотерапевтическая модель конструктивного альтернативизма. Человек, по Келли, не должен становиться рабом собственных застарелых и плохо работающих конструктов, хотя в реальности, следует признать, он очень часто таковым является. И это неудивительно, ведь, как отмечает сам Келли, по сути, любая действующая «система истолкования устанавливает пределы возможностям восприятия и понимания. Конструкты каждого человека являются регуляторами-ограничителями его перспективы» (Келли, 2000: 168). Хотя «мы вольны познавательно конструировать события, но наши интерпретации связывают нас по рукам и ногам» (Первин, Джон, 2001: 380).

15. Думается, данное сравнение можно было бы проводить в обе стороны: верно не только то, что *просто люди* в своих познавательных устремлениях *похожи на ученых*, но и то, что ученые в их стратегиях мироориентации воспроизводят когнитивные модели, отчасти сходные с теми, которые используются на уровне повседневности обычными людьми.

то все же речь не идет о случайном и ненаправленном «индуктивном» выводе закономерностей протекания событий из бескрайнего многообразия впечатлений. Этому должна предшествовать сама возможность ментального и логического оперирования данными опыта, заключенная в структурах человеческого сознания и актуализирующаяся в процессе психического созревания и умственного развития индивида. Иными словами, выводы из опыта, наивные или не очень, может делать лишь интеллектуально активное существо, обладающее способностью к его упорядочивающей когнитивной организации.

Объект подводится под *тип*, и при этом определенная, ограниченная совокупность его качеств выступает как типобразующая. Некоторые свойства предмета (одушевленного или нет), события или ситуации принимаются как существенные для решения задач категоризации, а прочие — отбрасываются как нерелевантные. Так, не всякий небольшой оранжевый шарик, как в брунеровском примере, будет признан апельсином. Апельсин не следует путать с мандарином (потому что тот обычно меньше и иной на вкус), лимоном (который желтый, продолговатый и гораздо кислее), ярким теннисным мячиком (скорее всего, несъедобным). В то же время отличающийся по цвету мякоти «сицилийский» апельсин будет квалифицирован именно в указанной родовой категории, как и те фрукты (в особом, но схватываемом «компетентным» наблюдателем смысле), в которых обитают принцессы Линетта, Николетта и Нинетта («Любовь к трем апельсинам» Гоцци — Прокофьева). И из всего этого должен следовать какой-то прагматически ценный вывод: те объекты, которые мы называем апельсинами, обычно пригодны для таких-то и таких-то действий (выжимания соков, изготовления цукатов, освобождения принцесс, ведения *battaglia delle arance* или праздничных «апельсиновых битв» (если Вы оказались в Пьемонте в период карнавала)... и т. п.), и не пригодны — для других (использования в качестве наживки для рыбной ловли, чистки светлой одежды... и т. п.), к ним можно предъявлять такие-то ожидания, а иные, по-видимому, не стоит.

Типологизирующее абстрагирование играет здесь первостепенную роль. Брунер формулирует важный вопрос: «При каких условиях организм усваивает (кодирует) объекты столь обобщенным способом, что обеспечивает максимальную приложимость приобретенного знания к новым ситуациям?» (Брунер, 1977: 222). И отвечает на него: «Процесс нахождения обобщенного характера данной ситуации, облегчающий подход ко всем подобным ситуациям, которые возникают в дальнейшем, и позволяющий находить их решения без утомительных поисков способов усвоения заново каждой ситуации, основан, по существу, на способности к выделению определяющих признаков того класса событий, к которому данная ситуация относится» (Там же: 233).

При этом важнейшим инструментом типологического абстрагирования как способа когнитивной ориентации субъекта является язык, точнее, способность к мышлению в языковых формах. На роль языка как средства понятийной маркировки и аналитической обработки данных перцептивного и интеллектуального

опыта указывал, в частности, Л. С. Выготский. Конкретно-образное (внеязыковое) мышление плохо приспособлено для решения задач типологизации. Обобщения «живут» только в понятиях и при помощи понятий. Без языка невозможна или как минимум затруднительна трансляция опыта внутри отдельного сознания и, разумеется, его сохранение и передача другим.

Недостаток образной, конкретной формы мышления с биологической точки зрения заключается в том, что решение конкретной единичной задачи относится только к данной наличной ситуации; мы не имеем здесь возможности сделать обобщение, раз решенная задача не является уравниванием, которое позволило бы перенести результат решения на всякую задачу с другими объектами... То, что ребенок называет отдельные предметы, имеет величайшее значение... [Он] начинает расчленять бессвязную массу впечатлений, которые слились в один клубок... выделяет, расчленяет глыбу синкретических впечатлений, которую нужно расчленить для того, чтобы между отдельными частями установить какую-то... связь. Не мысля словами, ребенок видит целую картину, и мы имеем основание предположить, что он видит жизненную ситуацию глобально, синкретически... Слово, которое отрывает один предмет от другого, является единственным средством для выделения и расчленения синкретической связи. (Выготский, 2005: 486)

Таким образом, благодаря языковым, «номинирующим» средствам фиксации компонентов опыта, человек населяет свой мир «названными», «обозначенными», «подписанными» объектами, совокупность которых принимает вид относительно упорядоченного, внутренне классифицированного множества, состоящего из людей и «не-людей», «грешников» и «праведников», соотечественников и иностранцев, собак и кошек, берез и елок, пальм и кактусов, вещей «полезных» и «вредных»... типических событий, ситуаций, случаев, определенным образом поименованных, а значит — аналитически «опознанных» и в этой их «опознанности» наделяемых определенными эмпирически (и прагматически) значимыми свойствами и качествами.

В традиции мысли, восходящей к Локку и Юму, процессы обработки практическим сознанием опытных данных, включая и механизмы чувственного восприятия, выступали как важная тема и предмет, достойный теоретизирования. И шла ли речь о роли «привычки» и «веры в регулярность событий» как средств организации опыта (как полагали британские сенсуалисты и их последователи), или же — об априорной настроенности разума на усмотрение порядка в природе и формирование внутренне структурированных образов мироздания (как думали континентальные философы), в обоих случаях сама идея активного когнитивного конструирования субъектом картин реальности была налицо.

Если фрагменты опыта идентифицируются, категоризируются и типологизируются, если работают идеализации «и так далее», и «я могу это снова» (Э. Гуссерль, А. Шюц), транслирующие прошлый опыт в будущее, поток жизни приобретает черты размеренности, прогнозируемости, правило- и законосообразности.

Когнитивное освоение мира является предпосылкой для выстраивания стратегий практического действия («в похожей ситуации я уже находился, с людьми такого сорта я уже имел дело... я поступил тогда так-то, и это, помнится, плохо закончилось — учтем!»; или: «я тогда повел себя так-то — улыбнулся, нахамил, промолчал, дал взятку, поцеловал, пригрозил, что подам в суд... и это имело успех, значит, стоит повторить — может, опять повезет...»<sup>16</sup>).

В универсуме *повторяющихся* тем, сюжетов и мотивов можно ориентироваться.

Уильям Джемс, — отмечает Брунер, — довольно живописно описал этот процесс, заметив, что познавательная деятельность начинается с того момента, как индивид способен воскликнуть: «Ага! Опять этот, как бишь его?!» [т.е. вот опять эта вещь или предмет, апельсин... и т.д., или про человека — он опять делает то же, что и раньше, возьмем на заметку, т.е. события повторяются. — Д. П.]. Приспособительное значение этой способности к группировке на основе общего признака, без сомнения, огромно. Если бы на каждое событие нам приходилось реагировать особым образом и каждый раз заново учиться, что с ним делать и даже как его называть, то мы вскоре захлебнулись бы в бескрайнем море нашего окружения. (Брунер, 1977: 213)

Действующее, работающее сознание постоянно вбрасывает в мир определенные гипотезы, заключающие в себя эксплицитные и имплицитные ожидания того, что события в будущем, ближайшем или отдаленном, будут развиваться определенным образом (более или менее как в прошлом, в сходных ситуациях). Гипотеза есть «весьма обобщенное состояние готовности и избирательной реакции на те или иные классы событий окружающей среды... Воспринимающий организм определенным образом настроен на воспринимаемое. Мы предполагаем, что установка при восприятии никогда не бывает случайной, произвольной, что мы, напротив, всегда в какой-то степени подготовлены к тому, чтобы видеть, слышать, чувствовать какой-то запах или вкус определенных вещей или классов вещей» (Брунер, 1977: 84–85, 86). Если гипотеза систематически не подтверждается, возникают условия для ее пересмотра и модификации<sup>17</sup> (хотя подобные изменения совершаются не с неизбежностью, поскольку многие когнитивные гипотезы обла-

16. Разумеется, подобного рода мыслительные ходы не обязательно раскручиваются (бывают представлены) в сознании актора в явном виде, в режиме внутреннего диалога.

17. Оптимизм Келли и Брунера в отношении способности человека к позитивной психологической самореконструкции, включающей умение и готовность учиться на собственных (и чужих) ошибках и извлекать полезные уроки из дурного опыта, инспирированный, вероятно, хотя бы отчасти самим духом американской культуры, кажется слишком обнадеживающим, чтобы быть чистой правдой: «Последовательность событий во времени непрестанно подвергает систему истолкования процессу проверки на правильность. Истолкования, накладываемые человеком на события, представляют собой рабочие гипотезы, которым предстоит пройти испытание опытом. По мере того как его антиципации или гипотезы проверяются и пересматриваются друг за другом в свете разворачивающейся последовательности событий, система истолкования претерпевает прогрессивное изменение. Человек перестраивается» (Келли, 2000: 97). Между тем нередко приходится наблюдать как раз обратное: реализацию в действии удивительной склонности индивида «наступать на одни и те же грабли» (т.е. не-

дают значительной долей инерционности, как бы «прикипая к мозгам»). Если гипотеза подтверждалась в прошлом неоднократно, демонстрируя тем самым свою эффективность, ее можно считать «сильной» — и от этой гипотезы или конструкта индивиду будет не так-то просто отказаться (даже в свете новых жизненных обстоятельств)...

Насколько обозначенные простейшие механизмы когнитивной обработки данных опыта можно считать «универсальными», «общечеловеческими»? Ответ психологов выглядит скорее утвердительным<sup>18</sup>, с той важной оговоркой — если речь идет именно и только лишь об элементах «формально-процедурной логики» конструирования устойчивых картин реальности в сознании, т. е. о том, *как* осуществляется деятельность сознания, а не о том, *что конкретно* в результате всего этого получается (у разных людей, разных возрастов и уровней интеллектуального развития, представителей разных социальных групп и культур). Восприятие как бы ближе к биологии, а мышление — ближе к культуре. Глаз у разных людей, при прочих равных условиях, «в норме», *работает одинаково, а видит разное*. Брунер выражается на сей счет достаточно определенно: «...носители разных культур различаются не перцептивными сигналами, которые они способны воспринимать, а теми выводами, которые они бессознательно делают на основе этих сигналов... при наличии комплекса входных сигналов принципы отбора изменяются от культуры к культуре», и добавляет (в пику крайним релятивистам и глашатаям принципа несоизмеримости): «...совсем исключается, по-видимому, возможность того, чтобы разные культуры порождали совершенно различные и несопоставимые типы мышления...» (Брунер, 1977: 323, 354–355).

Двумя важнейшими разрядами детерминант, формирующими «культурозависимые» различия в процессах мышления, являются, согласно Брунеру, ценностные и языковые факторы. Например, богатство цветовой гаммы, доступной человеческому зрению (и в этом смысле универсальной), носители разных языков сортируют при помощи разных словесных маркеров и группировок, более или менее детализированных, — так лингвистические различия влияют на структурирование потока мировосприятия в красках. К этому прибавляется и воздействие ценностей: символика радужного флага одинаково небезразлична для ЛГБТ-активиста и индейца Южной Америки, хотя и отсылает их к разным культурным мирам, вызывает разные идеи, чувства и ассоциации... Но ценности и язык суть факторы общественного происхождения — индивидуальное сознание их самостоятельно не продуцирует.

Теоретические и экспериментальные изыскания психологов когнитивистской школы хорошо стыкуются с некоторыми версиями микросоциологии зна-

---

гативный опыт и его «рационально-критическая» или «эмоциональная» оценка сами по себе, автоматически не приводят к переписыванию плохо работающей когнитивно-поведенческой программы).

18. В целом психология как дисциплина в своем взгляде на сознание традиционно демонстрировала более универалистский подход — в сравнении, скажем, с культурной антропологией, отчасти тяготеющей к релятивизму и акцентировавшей внимание, скорее, на различиях в протекании ментальных процессов у представителей конкретных народов, племен, этнических сообществ.

ния и практического действия, в первую очередь феноменологического или интеракционистского толка. Психология познавательных процессов, интеллекта и восприятия имеет дело де-факто с эмпирическим человеческим сознанием, не изолированным и не выращенным в пробирке, т. е. с психической жизнью как социально фундированной структурой. Законы и алгоритмы, в соответствии с которыми работает мышление, теоретическое или обыденное, имеют социальный генезис и социальную среду бытования. «Сама логика не является... только системой независимых операций: она воплощается в совокупности состояний сознания, интеллектуальных чувств и поведений с такими характеристиками, социальную природу которых трудно оспаривать, независимо от того, первична она или производна. Если рассматривать логику под этим углом зрения, то очевидно, что ее содержание составляют общие правила или нормы: она является моралью мысли, внушенной и санкционированной другими» (Пиаже, 1969: 217). При такой фокусировке исследовательской оптики дверь в царство человеческого мышления для социологии оказывается широко открытой.

## Общество — артель по строительству миров

Социология на протяжении всей своей истории — в той мере, в какой она претендовала на изучение форм коллективного сознания и/или коллективно детерминированных форм индивидуального сознания — явно или неявно тяготела к обрисованной выше перспективе мысли<sup>19</sup>. Это происходило даже тогда, когда сам статус «объективной» реальности, в том числе реальности общества, складывающейся из фактических отношений между людьми (социально-структурных связей, власти, собственности и т. д.), не подвергался сомнению. Для социологов, работавших в широкой конструктивистской стилистике, основная задача заключалась в стремлении выявить «специфически социальные» условия и предпосылки процессов «создания миров» в различных сферах человеческого опыта. При этом субъектом такого конструирования полагался уже не индивид, а коллектив/группа как автономный творец «универсума», подчиняющий себе и направляющий все частные, партикулярные и индивидуальные способы и стратегии «мироопределения» (в дюркгеймианской традиции<sup>20</sup>), либо — индивиды, находящиеся в состоянии перманентных интерактивных и коммуникационных обменов, развивающихся на (квази)онтологической площадке совместного опыта и аксиоматически фундированных признанием или верой в существование «общего мира»,

19. «Мало-мальски репрезентативный» обзор многообразных версий конструктивистских концепций, оформившихся в разных дисциплинах, порой без прямого взаимного влияния, как и более прицельная характеристика специфически социологических импликаций рассматриваемой здесь общей темы, не входили в задачи настоящей статьи. Некоторые сюжеты и подходы, намеренно оставленные здесь без внимания, были затронуты автором в: Подвойский, 2015.

20. За условную точку отсчета здесь можно было бы принять хрестоматийный для социологии знания текст «О некоторых первобытных формах классификации» (1902/1903) (Дюркгейм, Мосс, 2011). Хотя самого термина «социология знания» тогда еще не существовало.

разделяемого с Другими (в социологических модификациях методологического индивидуализма, в социальной феноменологии, символическом интеракционизме и родственных им идейных направлениях) (Thomason, 1985; Подвойский, 2016б).

Перед социологией (со)знания как особой субдисциплиной или специфическим исследовательским подходом вырисовывалось по меньшей мере<sup>21</sup> два круга проблем. Первый — это выявление социально-групповой обусловленности и вариативности систем «коллективных представлений», и в частности «картин мира», производимых индивидами как членами определенных больших и малых сообществ (семьи, профессии, этноса, конфессии, нации, цивилизации и т. д.). Иными словами, речь шла о попытке дать логически непротиворечивый и эмпирически обоснованный ответ на вопрос: почему *разные категории* людей думают *по-разному*, одни так, а другие — по-иному, и *что именно* и *как* они думают, а также... выражают свои мысли, говорят, чувствуют, *когда* и *о чем* молчат и т. д. Под *различиями* и *сходствами* людей в данном случае понимались не различия/сходства психотипов, темпераментов и прочих сугубо психологических характеристик, но различия и сходства, производные от координат акторов в социальном пространстве, особенностей социально форматированных биографических ситуаций индивидов, влияющих на их жизненную позицию, убеждения, ценностные ориентации, предпочтения, вкусы и т. п.

Второй круг проблем, попадавший в поле интереса социологии знания и максимально приближавший ее к традиционно философскому дискурсу, предполагал аналитическое описание *общих принципов организации опыта* «познающего» и «сознающего себя» субъекта (не трансцендентального, но эмпирического, т. е. как носителя «обыденного сознания», «простого человека с улицы»). Эти, казалось бы, чисто эпистемологические проблемы требовали включения социологической оптики, поскольку большинству крупных мыслителей XX века, развивавших классическую линию философии познания, стало ясно, что опыт когнитивного и практического отношения человека к миру носит принципиально «интерсубъективный» характер и конституируется, среди прочего, понятием Другого (Гуссерль, 1998; Хайдеггер, 2011; Рикёр, 2008; Шюц, 2004; Баньковская, 2007; Подвойский, 2016б). В рамках собственно социологии данная тенденция достигает апогея, приобретая в то же время особую дидактическую четкость звучания в «Социальном конструировании реальности» П. Бергера и Т. Лукмана (Бергер, Лукман, 1995).

Достоинством «больших», или «синтетических», социологических концепций «конструктивистского или полуконструктивистского толка» (Бергер, Лукман, Бурдье, Гидденс) является то, что они стремятся, по возможности, выйти за пределы односторонних, радикально-идеалистических интерпретаций процессов коллек-

---

21. На самом деле их гораздо больше. Так, значительный интерес представляют перспективы социологической «де/ре-конструкции» (не в негативном значении этого термина) обыденных и научных представлений о «естественном», в которых при ближайшем рассмотрении оказывается немало «искусственного», или, иначе говоря, компонентов, имеющих выраженное социокультурное и социально-историческое происхождение (Столярова, 2012).

тивного сотворения миров. Диалектическая «петля», условно примиряющая конструктивизм и реализм/объективизм, выступает средством снятия противоречия, заключенного в оппозиционной диаде «субъект (агентность) — структура». Субъекты создают структурно организованные миры, а те в свою очередь воздействуют на субъектов (причем эти процессы накладываются друг на друга в реальном времени и могут быть разделены лишь аналитически)<sup>22</sup>.

Социальное конструирование реальности является инструментом институционального морфогенеза, средством производства и воспроизводства общества как совокупности «кристаллизованных», «объективированных», и в ряде случаев «реифицированных», форм межчеловеческих отношений (всегда так или иначе, в большей или меньшей степени опосредованных деятельностью сознания акторов). Отталкиваясь от известной «теоремы Томаса» (если люди определяют ситуацию как реальную, она становится реальной по своим последствиям), можно было бы продолжить: *коллективное определение* реальности, структурированное неким набором явных и латентных норм и правил разного происхождения, являющееся одновременно внешним и внутренним «фоном» для сознания индивидов и их поступков, становится частью *самой* реальности, порождая далеко идущие последствия, экстернализируясь в культуре и институтах. Коллективно разделяемый «образ реальности» (реальность *для нас*) трудно или почти не отличим от реальности *как таковой*. Картина мира, проецируемая вовне «по комбинированным законам биологии/психологии/лингвистики/социологии... etc.», выступает тем единственным миром, в котором человеку приходится жить, страдать, радоваться, думать, мечтать, надеяться, разочаровываться, действовать...

Вид на мир из окна становится похож на «гигантские, объемные, раздвижные, многослойные художественные обои», искусно наклеенные безымянным строителем на внешнюю сторону оконного стекла — картинкой вовнутрь комнаты. Отдельные люди могут то и дело, кое-где (в конкретных местах), по собственному почину — подклеивать обойные листы, за которыми скрывается пугающая пустота и темнота, «подрисовывать», частично менять или обновлять картинки для обеспечения большей эстетической привлекательности пейзажа. Но полностью переклеить или вовсе содрать холст «с нарисованным очагом» они не в состоянии. Любопытный Буратино, вознамерившийся проткнуть своим носом все слои декорации разом — если бы такое даже было возможно, — не увидел бы за пределами этой «онтологической» или «квазионтологической» многослойности ничего примечательного. Он не нашел бы там ничего, кроме пресловутой «вещи в себе», которая едва ли может кого-то сильно впечатлить. Получается, что большинство значимых событий, способных заинтересовать человека, разворачивается в самом пространстве комнаты — естественно/искусственной зоне его свободы/заточения, образующей внутренне/внешнюю «среду» его привычного обитания.

---

22. См. подробнее в: Подвойский, 2016а, 2016в.

Творцы реальности оказываются в заложниках у собственного коллективного детища, но при этом, в основной своей массе, не сильно жалуются на судьбу. Спрашивается, почему. Ответ прост: потому что «иного не дано», а условия, созданные в помещении, являются пригодными для существования.

## Литература

- Айдукевич К. (1996). Картина мира и понятийный аппарат / Пер. с нем. В. Н. Поруса // *Философия науки*. Вып. 2: Гносеологические и методологические проблемы. М.: ИФ РАН. С. 231–253.
- Баньковская С. П. (2007). Другой как элементарное понятие социальной онтологии // *Социологическое обозрение*. Т. 6. № 1. С. 75–87.
- Бергер П., Лукман Т. (1995). Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е. Д. Руткевич. М.: Медиум.
- Блур Д. (2002). Сильная программа в социологии знания / Пер. с англ. С. Гавриленко под ред. А. Толстова // *Логос*. № 5/6 (35). С. 1–24.
- Брунер Дж. (1977). Психология познания: за пределами непосредственной информации / Пер. с англ. К. И. Бабицкого. М.: Прогресс.
- Варела Ф. (2000). Автономность и аутопоэз // *Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма: традиции скептицизма в современной философии и теории познания*. München: PHREN Verlag. С. 245–258.
- Варела Ф., Матурана У., Урибе Р. (2000). Аутопоэз как способ организации живых систем: его характеристика и моделирование // *Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания*. München: PHREN Verlag. С. 234–244.
- Вебер М. (1990). Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. П. П. Гайденоко // *Вебер М. Избранные произведения*. М.: Прогресс. С. 707–735.
- Волков В. В., Хархордин О. В. (2008). Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге.
- Выготский Л. С. (2005). Психология развития человека. М.: Смысл, Эксмо.
- Витгенштейн Л. (2010). Философские исследования. М.: АСТ, Астрель.
- Гудмен Н. (2001). Способы создания миров. М.: Идея-Пресс, Логос, Практис.
- Гуссерль Э. (1998). Картезианские размышления / Пер. с нем. Д. В. Складнева. СПб.: Наука.
- Здравомыслова Е., Лукман Т. (2002). Интервью с профессором Томасом Лукманом // *Журнал социологии и социальной антропологии*. Т. 5. № 4. С. 5–14.
- Дюркгейм Э., Мосс М. (2011). О некоторых первобытных формах классификации: к исследованию коллективных представлений // *Мосс М. Общества. Обмен. Личность: труды по социальной антропологии* / Пер. с франц. А. Б. Гофмана. М.: КДУ. С. 55–124.
- Карнап Р. (1959). Значение и необходимость / Пер. с англ. Н. В. Воробьева под ред. Д. А. Бочвара. М.: Изд-во иностранной литературы.

- Кассирер Э. (2001). *Философия символических форм*. Т. 1: Язык / Пер. с нем. С. А. Ромашко. М., СПб.: Университетская книга.
- Келли Дж. (2000). *Теория личности: психология личных конструктов* / Пер. с англ. А. А. Андреева. СПб.: Речь.
- Коркюф Ф. (2002). *Новые социологии* / Пер. с франц. Е. Д. Вознесенской и М. В. Федоровой. СПб.: Алетейя.
- Кун Т. (2015). *Структура научных революций*. М.: АСТ.
- Латур Б. (2006). *Надежды конструктивизма* / Пер. с англ. О. Столяровой // *Вахштайн В. С.* (ред.). *Социология вещей*. М.: Территория будущего. С. 365–389.
- Летов О. В. (2011). *Проблема объективности в науке: от постпозитивизма к социальным исследованиям науки и техники*. М.: ИНИОН РАН.
- Матурана У. (1995). *Биология познания* / Пер. с англ. Ю. М. Мешенина. URL: <http://litresp.ru/chitat/ru/%Do%9C/maturana-umberto/biologiya-poznaniya> (дата доступа: 27.06.2017).
- Матурана У., Варела Ф. (2001). *Древо познания: биологические корни человеческого понимания* / Пер. с англ. Ю. А. Данилова. М.: Прогресс-Традиция.
- Мид Дж. Г. (2009). *Философия акта* // *Мид Дж. Г. Избранное* / Пер. с англ. В. Г. Николаева. М.: ИНИОН РАН. С. 219–289.
- Моркина Ю. С. (2012). *Социальная теория познания Д. Блура: истоки и философский смысл*. М.: Канон+.
- Первин Л., Джон О. (2001). *Психология личности: теория и исследования* / Пер. с англ. М. С. Жамкочян под ред. В. С. Магуна. М.: Аспект-Пресс.
- Пиаже Ж. (1969). *Психология интеллекта* / Пер. с франц. А. М. Пятигорского и Л. С. Ильинской // *Пиаже Ж. Избранные психологические труды*. М.: Просвещение. С. 55–231.
- Подвойский Д. Г. (2015). «Этот мир придуман не нами»? О роли знаний в конструировании реальности (классики и современники) // *Девятко И. Ф., Абрамов Р. Н., Катерный И. В.* (ред.). *Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации*. М.: Прогресс-Традиция. С. 65–95.
- Подвойский Д. Г. (2016а). Генезис «нормативных порядков» общества и оппозиция «субъект — структура»: от человека к институтам и обратно // *Вестник РУДН. Серия «Социология»*. № 3. С. 465–482.
- Подвойский Д. Г. (2016б). Мир повседневности и «аксиомы» практического сознания: социально-теоретические пролегомены // *Эпистемология и философия науки*. Т. 49. № 3. С. 178–197.
- Подвойский Д. Г. (2016в). Человек в мире институтов: о логике и механизмах социального конструирования реальности // *Социологические исследования*. № 11. С. 15–25.
- Порус В. Н. (1996). «Радикальный конвенционализм» К. Айдукевича и его место в дискуссиях о научной рациональности // *Философия науки*. Вып. 2: Гносеологические и методологические проблемы. М.: ИФ РАН. С. 254–270.
- Пуанкаре А. (1990). *О науке*. М.: Наука.

- Рикёр П. (2008). Я-сам как другой / Пер. с франц. Б. М. Скуратова. М.: Изд-во гуманитарной литературы.
- Риккерт Г. (1997). Границы естественнонаучного образования понятий: логическое введение в исторические науки. СПб.: Наука.
- Риккерт Г. (1998). Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика.
- Столярова О. Е. (ред.). (2012). Онтологии артефактов: взаимодействие «естественных» и «искусственных» компонентов жизненного мира. М.: Дело.
- Фейерабенд П. (1986). Против методологического принуждения: очерк анархистской теории познания / Пер. с англ. А. Л. Никифорова // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс. С. 125–466.
- Хайдеггер М. (2011). Бытие и время / Пер. с нем. В. В. Библихина. М.: Академический проект.
- Шпенглер О. (1993). Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 1: Образ и действительность. Новосибирск: Наука.
- Шюц А. (2004). Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН.
- Ajdukiewicz K. (1978). The Scientific World-Perspective and Other Essays, 1931–1963. Dordrecht: Reidel.
- Bloor D. (1993). Wittgenstein: A Social Theory of Knowledge. New York: Columbia University Press.
- Bloor D. (1998). Knowledge and Social Imagery. Chicago: University of Chicago Press.
- Bloor D. (2002). Wittgenstein, Rules and Institutions. London: Routledge.
- Burr V. (2003). An Introduction to Social Constructionism. London: Routledge.
- Hacking I. (2003). The Social Construction of What? Cambridge: Harvard University Press.
- Lock A., Strong T. (2010). Social Constructionism: Sources and Stirrings in Theory and Practice. New York: Cambridge University Press.
- Searle J. R. (1997). The Construction of Social Reality. London: Free Press.
- Thomason B. C. (1985). Making Sense of Reification: Alfred Schutz and Constructionist Theory. London: MacMillan.
- Watzlawick P. (ed.). (2011). The Invented Reality: How Do We Know What We Believe We Know? Contributions to Constructivism. New York: W. W. Norton.

## Knowledge and Consciousness as a “World-Constructing” Tool: A Multidisciplinary Perspective

*Denis Podvoyskiy*

PhD, associate professor, Department of Sociology, Peoples' Friendship University of Russia  
Leading research fellow, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences  
Address: Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russian Federation 117198  
E-mail: dpodvoiski@yandex.ru

The topic of knowledge and consciousness is multidisciplinary. In the human sciences, it has been studied by various scientific and intellectual communities. The sciences of philosophy, sociology, psychology, biology, and language and communication have offered (sometimes independently of each other) numerous perspectives on this wide topic while sharing many similarities. Constructivism can be considered as an umbrella term that includes a number of subject-centered theories that give a precise, paradigmatically-shaped answer to the question about the functions of knowledge and consciousness, and their perception of their world. From the constructivist perspective, subjective instrumentarium of knowledge and consciousness helps individuals in both their construction and cognitive and practical exploration of natural and social universes (or “multiple worlds of experience”). In this study, an attempt is made to analyze the theoretical prerequisites and the genesis of constructivism as a specific multidisciplinary approach in the social sciences and the humanities. This approach conceptualizes the idea that individual and/or collective consciousness plays an active role in the formation of the everyday and scientific pictures of the world shaping the actions of social actors. Successive and distinctive features of certain constructivist concepts are presented as well as the degree of their ideological relationships, and the isomorphism and potential convertibility is revealed. Particular attention is paid to the constructivist motives of a number of popular philosophic and scientific theories of the 20th century, including neo-Kantianism; conventionalism in the philosophy and methodology of science; N. Goodman's pluralistic concept of “worldmaking”; H. Maturana and F. Varela's theory of autopoiesis, in which a system is capable of reproducing and maintaining itself; cognitive psychology including G. Kelly's personal construct theory; and J. Bruner's categorization theory.

**Keywords:** constructivism, “world-making”, epistemology, “subject-centered philosophies”, neo-Kantianism, conventionalism, cognitive psychology, processes of categorization, sociology of knowledge

## References

- Ajdukiewicz K. (1978) *The Scientific World-Perspective and Other Essays, 1931–1963*, Dordrecht: Reidel.
- Ajdukiewicz K. (1996) Kartina mira i ponjatijnyj apparat [World-Perspective and the Conceptual Apparatus]. *Filosofija nauki, tom 2: gnoseologicheskie i metodologicheskie problemy* [The Philosophy of Science, Vol. 2: Epistemological and Methodological Problems], Moscow: IF RAN, pp. 231–253.
- Bankovskaya S. (2007) Drugoy kak elementarnoe ponyatie sotsial'noy ontologii [The Other as an Elementary Notion of Social Ontology]. *Russian Sociological Review*, vol. 6, no 1, pp. 75–87.
- Berger P. L., Luckmann T. (1995) *Social'noe konstruirovaniye real'nosti: traktat po sociologii znaniya* [The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge], Moscow: Medium.
- Bloor D. (1993) *Wittgenstein: A Social Theory of Knowledge*, New York: Columbia University Press.
- Bloor D. (1998) *Knowledge and Social Imagery*, Chicago: University of Chicago Press.
- Bloor D. (2002) *Wittgenstein, Rules and Institutions*, London: Routledge.
- Bloor D. (2002) Sil'naya programma v sociologii znaniya [The Strong Programme in the Sociology of Knowledge]. *Logos*, no 5/6, pp. 1–24.
- Bruner J. (1977) *Psihologiya poznaniya: za predelami neposredstvennoy informacii* [Beyond the Information Given: Studies in the Psychology of Knowing], Moscow: Progress.
- Burr V. (2003) *An Introduction to Social Constructionism*, London: Routledge.
- Carnap R. (1959) *Znachenie i neobhodimost'* [Meaning and Necessity], Moscow: Izdatelstvo inostrannoy literatury.
- Cassirer E. (2001) *Filosofiya simvolicheskikh form, Tom 1* [Philosophy of Symbolic Forms, Vol. 1], Moscow: Universitetskaya kniga.
- Corcuff Ph. (2002) *Novye sociologii* [New Sociologies], Saint Petersburg: Aleteya.
- Durkheim E., Mauss M. (2011) O nekotorykh pervobytnykh formakh klassifikacii: k issledovaniyu kollektivnykh predstavleniy [Primitive Classification]. Mauss M., *Obshchestvo. Obmen. Lichnost': trudy po social'noy antropologii* [Society. Exchange. Personality: Works on Social Anthropology], Moscow: KDU, pp. 55–124.

- Feyerabend P. (1986) *Protiv metodologicheskogo prinuzhdenija: ocherk anarhistskoj teorii poznaniya* [Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge]. *Izbrannye trudy po metodologii nauki* [Selected Works on the Methodology of Science], Moscow: Progress, pp. 125–466.
- Goodman N. (2001) *Sposoby sozdanija mirov* [Ways of Worldmaking], Moscow: Idea-Press, Logos, Praksis.
- Hacking I. (2003) *The Social Construction of What?*, Cambridge: Harvard University Press.
- Heidegger M. (2011) *Bytie i vremja* [Being and Time], Moscow: Akademicheskij proekt.
- Husserl E. (1998) *Kartezianskie razmyslenija* [Cartesian Meditations], Saint Petersburg: Nauka.
- Kelly G. (2000) *Teoriya lichnosti: psihologija lichnyh konstruktov* [A Theory of Personality: The Psychology of Personal Constructs], Saint Petersburg: Rech.
- Kuhn Th. S. (2015) *Struktura nauchnyh revoljucij* [The Structure of Scientific Revolutions], Moscow: AST.
- Latour B. (2006) *Nadezhdy konstruktivizma* [The Promises of Constructivism]. *Sociologija veshhej* [Sociology of Things] (ed. V. Vakhshayn), Moscow: Territoria budushchego, pp. 365–389.
- Letov O. (2011) *Problema obektivnosti v nauke: ot postpozitivizma k social'nyim issledovanijam nauki i tehniki* [The Problem of Objectivity in Science: From Postpositivism to Social Studies of Science and Technology], Moscow: INION.
- Lock A., Strong T. (2010) *Social Constructionism: Sources and Stirrings in Theory and Practice*, New York: Cambridge University Press.
- Maturana H. (1995) *Biologija poznaniya* [Biology of Cognition]. Available at: <http://litresp.ru/chitat/ru/%Do%9C/maturana-umberto/biologiya-poznaniya> (accessed 27 June 2017).
- Maturana H., Varela F. (2001) *Drevo poznaniya: biologicheskie korni chelovecheskogo ponimaniya* [The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding], Moscow: Progress-Traditsiya.
- Mead G. H. (2009) *Filosofija akta* [The Philosophy of the Act]. *Izbrannoe* [Selected Works], Moscow: INION, pp. 219–289.
- Morkina Y. (2012) *Social'naja teoriya poznaniya D. Blura: istoki i filosofskij smysl* [Social Epistemology of David Bloor: Origins and Philosophical Meaning], Moscow: Kanon+.
- Pervin L., John O. (2001) *Psihologija lichnosti: teoriya i issledovaniya* [Personality: Theory and Research], Moscow: Aspekt-Press.
- Piaget J. (1969) *Psihologija intellekta* [The Psychology of Intelligence]. *Izbrannye psihologicheskie trudy* [Selected Psychological Works], Moscow: Prosveshchenie, pp. 55–231.
- Podvoyskiy D. (2015) "Jetot mir priduman ne name"? O roli znaniy v konstruirovanii real'nosti (klassiki i sovremenniki) ["The World Was Invented before Us, Wasn't It"? The Role of Knowledge in the Construction of Reality (Classic and Contemporary Studies)]. *Obydennoe i nauchnoe znanie ob obshchestve: vzaimovlijanija i rekonfiguracii* [Ordinary and Scientific Social Knowledge: Interconnections and Reconfigurations] (eds. I. Deviatko, R. Abramov, I. Katerny), Moscow: Progress-Traditsiya, pp. 65–95.
- Podvoyskiy D. (2016) *Genezis "normativnyh porjadkov" obshhestva i oppozicija "sub'ekt — struktura": ot cheloveka k institutam i obratno* [Normative Social Morphogenesis and the Agency–Structure Opposition: From Individual to Institutions and Back]. *Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Series "Sociology"*, no 3, pp. 465–482.
- Podvoyskiy D. (2016) *Mir povsednevnosti i "aksiomy" prakticheskogo soznaniya: social'no-teoreticheskie prolegomeny* [The World of Everyday Life and "Axioms" of Practical Consciousness: Social Theoretical Prolegomena]. *Epistemology and Philosophy of Science*, vol. 49, no 3, pp. 178–197.
- Podvoyskiy D. (2016) *Chelovek v mire institutov: o logike i mehanizmah social'nogo konstruirovaniya real'nosti* [Man in the World of Institutions: On Logics and Mechanisms of Social Construction of Reality]. *Sociological Studies*, no 11, pp. 15–25.
- Poincaré H. (1990) *O nauke* [On Science], Moscow: Nauka.
- Porus V. (1996) "Radikal'nyj konvencionalizm" K. Ajdukevicha i ego mesto v diskussijah o nauchnoj racional'nosti [K. Ajdukiewicz's "Radical Conventionalism" and Its Place in Discussions about Scientific Rationality]. *Filosofija nauki, Tom 2: Gnoseologicheskie i metodologicheskie problemy*

- [The Philosophy of Science, Vol. 2: Epistemological and Methodological Problems], Moscow: IF RAN, pp. 254–270.
- Rickert H. (1997) *Granicy estestvennonauchnogo obrazovanija ponjatij: Logicheskoe vvedenie v istoricheskie nauki* [The Limits of Concept Formation in Natural Science], Saint Petersburg: Nauka.
- Rickert H. (1998) *Nauki o prirode i nauki o kul'ture* [Science and History: A Critique of Positivist Epistemology], Moscow: Respublika.
- Ricœur P. (2008) *Ja-sam kak drugoj* [Oneself as Another], Moscow: Izd-vo gumanitarnej literatury.
- Schutz A. (2004) *Izbrannoe: Mir, svetjashhijja smyslom* [Selected Works], Moscow: ROSSPEN.
- Searle J. R. (1997) *The Construction of Social Reality*, London: Free Press.
- Spengler O. (1993) *Zakat Evropy, Tom 1* [The Decline of the West, Vol. 1], Novosibirsk: Nauka.
- Stolyarova O. (ed.) (2012) *Ontologii artefaktov: vzaimodejstvie "estestvennyh" i "iskusstvennyh" komponentov zhiznennogo mira* [Ontologies of Artefacts: Interrelations between "Natural" and "Artificial" Components of the Lifeworld], Moscow: Delo.
- Thomson B. C. (1985) *Making Sense of Reification: Alfred Schutz and Constructionist Theory*, London: Macmillan.
- Varela F. (2000) *Autonomnost' i autopoiez* [Autonomy and Autopoiesis]. Tsokolov S., *Diskurs radikal'nogo konstruktivizma: tradicii skeptitsizma v sovremennoj filosofii i teorii poznaniya* [The Discourse of Radical Constructivism: A Tradition of Skepticism in Contemporary Philosophy and Theory of Knowledge], Munich: PHREN, pp. 245–258.
- Varela F., Maturana H., Uribe R. (2000) *Autopoiez kak sposob organizacii zhivyh sistem: ego harakteristika i modelirovanie* [Autopoiesis: The Organisation of Living Systems, Its Characterization and a Model]. Tsokolov S., *Diskurs radikal'nogo konstruktivizma: tradicii skeptitsizma v sovremennoj filosofii i teorii poznaniya* [The Discourse of Radical Constructivism: A Tradition of Skepticism in Contemporary Philosophy and Theory of Knowledge], Munich: PHREN, pp. 234–244.
- Volkov V., Kharkhordin O. (2008) *Teorija praktik* [Theory of Practices], Saint Petersburg: EU SPb.
- Vygotsky L. (2005) *Psihologija razvitiya cheloveka* [Psychology of Human Development], Moscow: Smysl, Eksmo.
- Watzlawick P. (ed.) (2011) *The Invented Reality: How Do We Know What We Believe We Know?: Contributions to Constructivism*, New York: W.W. Norton.
- Weber M. (1990) *Nauka kak prizvanie i professiya* [Science as a Vocation]. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Works], Moscow: Progress, pp. 707–735.
- Wittgenstein L. (2010) *Filosofskie issledovaniya* [Philosophical Investigations], Moscow: AST, Astrel.
- Zdravomyslova E., Luckmann Th. (2002) Interv'ju s professorom Tomasom Lukmanom [Interview with Professor Thomas Luckmann]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 5, no 4, pp. 5–14.

## Социологическая «калорийность»: кулинарное, культурное и пространственное «измерения» еды\*

*Ирина Троцук*

Доктор социологических наук, доцент кафедры социологии  
Российского университета дружбы народов  
Ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации  
Адрес: ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Москва, Российская Федерация 117198  
E-mail: [irina.trotsuk@yandex.ru](mailto:irina.trotsuk@yandex.ru)

Статья задумывалась как рецензия на книгу Кэролин Стил «Голодный город: как еда определяет нашу жизнь», однако показавшееся автору необходимым предисловие о причинах и вариациях социологического интереса к феномену еды превратило рецензию в размышление о способах (около)социологического анализа роли еды в современном обществе потребления, которая давно не сводится к простому «топливу», обеспечивающему бесперебойное функционирование человека как существа биологического. В качестве отчетливо сформировавшихся контекстов научного осмысления еды, которые могут быть интересны для социологов, в статье рассмотрены: макроэкономический подход (разнообразные трактовки продовольственной безопасности — от социально-экономической до (гео)политической, в частности, это российский государственный политизированный дискурс импортозамещения, игнорирующий реальные продовольственные практики и возможности населения); гендерно-экономический («феминизированная» версия экономической истории); кулинарно-идеологический (когда за ширмой кулинарных рецептов и моделями развития общепита скрываются идеологически нагруженные дидактические указания об обязательном образе жизни, т. е. «политическая диетология»); историко-культурно-антропологический (попытки реконструировать сокрытые в еде социокультурные коды и роль еды в эпохальных событиях прошлого) и др. Обозначение широчайших границ нынешнего научного разговора о еде позволило автору показать, что книга «Голодный город» — почти идеальный пример социологического анализа социального бытования еды во всем его многообразии (производство и транспортировка продовольствия, урбанизация и продуктовые рынки, трансформации пространства домашних кухонь и развитие системы общественного питания, социальная роль совместной трапезы и утилизация отходов, социальная справедливость и утопизм), хотя в фокусе внимания книги находится всего одна кулинарная культура (английская).

*Ключевые слова:* еда, продовольственные практики, социальное бытование еды, социологическая концептуализация, урбанизация, система общественного питания, символические коды

---

© Троцук И. В., 2018

© Центр фундаментальной социологии, 2018

DOI: 10.17323/1728-192X-2018-1-302-324

\* В данной научной работе использованы результаты проекта «Реакция, справедливость и прогресс: социальный порядок в перспективе фронетических социальных наук», выполняемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2018 году.

Пока мы живы, пища нам нужна,  
В ней сил исток, дает нам рост она.  
Когда же нужной пищи не хватает,  
Слабеем мы, и тело наше тает.

Авиценна

Слава вам, идущие обедать миллионы!  
И уже успевшие наесться тысячи!  
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны  
и тысячи блюдц всяческой пищи.

В. В. Маяковский

Пир — лучший образ счастья...

Н. Л. Трауберг

Современное общество потребления, создав в развитых странах мощнейшие индустрии питания для самых разных (по уровню доходов и предпочтениям) групп населения, породило и совершенно новое восприятие еды — это не просто «топливо», необходимое для бесперебойной работы нашего организма, но искусный фактор социально-экономической, культурной, религиозной и даже политической дифференциации, причем в различных масштабах, включая глобальный продовольственный рынок. Экономистов это измерение еды, свойственное ей во все эпохи, но особенно отчетливо проявившееся в последние десятилетия, когда вопросы продовольственного импорта/экспорта становятся разменной монетой в геополитических спорах с опорой на общественное мнение, интересует в макроаналитической оптике, поэтому они склонны использовать весьма популярное сегодня понятие «продовольственная безопасность». Это словосочетание поразительно многолико: за ним может стоять и традиционное для международных трактовок состояние гарантированности физического (в месте проживания) и экономического (стоимость продуктов питания) доступа к достаточному количеству безопасной и питательной пищи, необходимой для полноценного удовлетворения своих потребностей и ведения активного и здорового образа жизни (см., напр.: World Bank, 2008; Верген, Троцук, 2013); и отсутствие социально-экономического неравенства, этот доступ ограничивающего (см., напр.: Piontak, Schulman, 2014); и стремление к продовольственному самообеспечению и импортозамещению, столь характерное для российского официального протекционистского дискурса последнего времени (см., например: Президент РФ, 2010); и продовольственный суверенитет, в своей критической версии в духе идеологии зарубежных крестьянских движений призывающий к радикальной демократизации сельскохозяйственного производства и к борьбе против Всемирного банка и крупнейших мировых экономик за автономию местного производства и контроль гражданским обществом деятельности агросырьевых и агропродовольственных холдингов (см., напр.: Patel, 2009). И даже продовольственная справедливость, которая подразумевает, что «отдельные люди, сообщества и население могут контроли-

ровать, к каким продуктам они имеют доступ, при каких условиях и обстоятельствах» (Ковини, 2016: 122). Две последние трактовки близки, потому что связаны с деятельностью международного движения «Виа Кампесина» («Крестьянский путь»). Оно «зародилось из менее масштабных инициатив, сторонники которых признавали, что фермеры и мелкие товаропроизводители уступали свои земли более крупным корпорациям и мультинациональным предприятиям». Эти движения утверждали, что «в центре продовольственных систем — в их сердце — должны быть люди, которые производят, распространяют и потребляют продукты... Земля, вода, семена и биологическое разнообразие... необходимые, чтобы прокормить людей и сообщества, — все это должно оставаться в распоряжении самих людей» (Ковини, 2016: 131).

Данное макроэкономическое измерение еды сложно назвать увлекательным с социологической точки зрения, хотя и здесь можно обнаружить интересные сюжеты, если, скажем, в критическом ключе констатировать, что в России «при обсуждении продовольственной безопасности на первое место ставятся вопросы производства необходимого объема продовольствия внутри страны, а не обеспечения физического и экономического доступа населения к нему» (Шагайда, Узун, 2015: 6). В российском государственном дискурсе безраздельно доминирует политизированная импортозамещающая трактовка продовольственной безопасности как важнейшего элемента национальной безопасности, что совершенно уводит из фокуса государства проблему физического доступа простого человека к качественным продуктам, которые к тому же должны быть ему по карману (государство статистически замеряет свою продовольственную независимость от импорта, игнорируя реальные продовольственные практики и возможности населения). Другая интересная с социологической точки зрения задача — сопоставление реальных возможностей населения в сфере питания (которые не так радужны, как хочется считать государству, исходя из тех «норм» питания, которое оно населению навязывает через свои структуры административного надзора, апеллируя к медицинским показателям безопасности жизни и здоровья) и «продовольственного национализма», когда население считает отечественную продукцию лучшей по всем показателям, чем импортная (якобы вредная, полная «химии» и генномодифицированных компонентов), и поддерживает протекционистские решения правительства (ограничения импорта, продовольственное эмбарго и пр.), даже если таковые снижают доступность качественных продуктов питания для простого человека.

В целом экономоцентричный макровзгляд на еду не очень интересен социологу, хотя здесь встречаются занимательные аналитические подходы. Так, К. Марсал, задавая весьма прозаичный вопрос «Кто готовил Адаму Смиту?», т. е. «откуда у нас на столе берется ужин» (поскольку «большинство из нас производят лишь толику того, что мы ежедневно потребляем, а остальное покупается»), предлагает «феминизированную» версию экономической истории, чтобы устранить аналитический пробел, связанный с неучетом (мужчинами-экономистами) женского домашнего

труда в экономике. Хотя он не оплачивается и игнорируется (даже «основоположник современной экономической теории Адам Смит... забывал о собственной маме, которая заботилась о его еде каждый вечер» (Марсал, 2017: 4), хотя, видимо, зарабатывал деньги на приобретение продуктов для ее приготовления), но играет огромную роль и добавляет в классические экономические темы — о разделении труда, о невидимой руке рынка, о спросе и предложении — гуманистический акцент, отмечая влияние на экономическое поведение не только личной выгоды, жадности и страха, но также справедливости, доверия и равноправия.

Книга К. Марсал написана с легкими сатирическими нотками, но в целом автор выдерживает заданный в начале повествования фокус на критике классической экономической модели человека как существа расчетливо-эгоистичного:

Экономику называют наукой о том, как законсервировать любовь. Основная идея гласит: любви всегда в обрез. Даже ближнего любить хлопотно, что уж говорить о тех, кто немного дальше. Поэтому любовь следует экономить и не расходовать без толку. Если мы будем использовать ее на нужды общества, то на личную жизнь ничего не останется... Поэтому, решили экономисты, общество должно основываться на чем-нибудь другом. Может быть, на эгоизме? Он, кажется, всегда в избытке. (Там же: 10)

Эта модель работает, только если мы совершенно игнорируем экономический вклад женщин, потому что «экономика — это не про деньги, а про то, как мы сможем на человека» (Там же: 12).

Адам Смит точно знал — он ужинает не потому, что нравится мяснику и булочнику, а потому что они удовлетворяют свои интересы посредством товарообмена... Чтобы во времена Адама Смита мясник, булочник и пивовар смогли пойти на работу, требовалось, чтобы их жены, матери или сестры час за часом, день за днем следили за детьми, прибирались в доме, готовили еду, стирали одежду, утирали слезы и выясняли отношения с соседями... Рожать и воспитывать детей, сажать сады, готовить еду братьям и сестрам, доить корову, шить одежду или заботиться об Адаме Смите, чтобы он смог сочинить свое «Исследование о природе и причинах богатства народов», — в стандартных экономических моделях «продуктивной работой» все это не считается... Ужин на его столе появлялся в равной степени и потому, что об этом каждый вечер заботилась его мать. Сегодня мы можем сказать, что в основе экономики не только «невидимая рука», но и «невидимое сердце», что, пожалуй, есть слишком идеализированное описание обязанностей, которые общество исторически возлагало на женщин. (Там же: 17–19)

Все же чувства, альтруизм, привязанность и забота о других явно имеют большее отношение к человеку экономическому, чем считали стандартные экономические теории.

В общем, приходится констатировать, что книга Марсал будет полезна и увлекательна для представителей гендерной и/или экономической социологии: об-

ращение к проблематике еды в ее названии не свидетельствует о наличии еды в ее содержании, поскольку призвано лишь наглядно подтвердить, что на самом деле люди «не рациональные эгоистические индивиды... Мы часто благодарны, потеряны, самоотверженны, встревожены, нелогичны... Экономическое поведение во многих случаях определяется эмоционально, а не рационально, оно коллективно, а не индивидуально» (Там же: 101). Это не означает, что социологу, интересующемуся социальной «калорийностью» еды, следует впадать в другую крайность и устремляться в книжном магазине к полкам с работами по кулинарии. Впрочем, и здесь могут обнаружиться интереснейшие с социологической точки зрения образцы, например, вышедшая в 1952 году (и неоднократно переиздававшаяся) «Книга о вкусной и здоровой пище» (Молчанова и др., 1952), которая досталась и мне от бабушки и в детстве завораживала волшебными цветными иллюстрациями, которые, конечно, не были фотографиями и не отражали реалии советской жизни. Первоначально книга вышла 500-тысячным тиражом, в последующие два года был допечатан еще 1 миллион экземпляров, что ее авторы восприняли как свидетельство стремления советской домашней хозяйки готовить для семьи вкусную и здоровую пищу из разнообразных продуктов и полуфабрикатов, а нынешние читатели — исследователи книги — как свидетельство ее идеологической нагрузки, скрывающейся за ширмой признаков обычной кулинарной книги (бескомпромиссно дидактические указания, что, когда и как именно готовить, сервировать и есть согласно советскому образу жизни).

В предисловии «Книги о вкусной и здоровой пище» всячески подчеркивается стремление Коммунистической партии и советского правительства к непрерывному улучшению народного питания посредством создания передовой, мощной и технически совершенной пищевой промышленности, о чем рассказывается в другой примечательной работе о советской кухне — «Общепит: Микоян и советская кухня» (Глуценко, 2010). В ней «Книга о вкусной и здоровой пище» рассматривается как важный памятник советской эпохи с эстетической, идеологической и историко-культурной точек зрения. В одной из рецензий книга И. В. Глуценко, посвященная формированию советской кухни (и общепита) благодаря в том числе активной деятельности главы советской промышленности Анастаса Микояна, очень точно была названа «политической диетологией», потому что автор живописует повседневность высшего эшелона советской пищевой промышленности и его влияние на обыденные кулинарно-пищевые практики советского времени, реконструирует историю создания советского общепита и в определенной степени демифологизирует советское прошлое.

Представленный краткий перечень типов литературы, которые могут быть в той или иной мере полезны социологу в изучении социального содержания еды, показывает, что основной пласт почерпываемых здесь сведений имеет исторический характер. Абсолютно волшебный образчик историографического очерка и набор интереснейших кейсов о роли кулинарии (в широком смысле слова) в социально-экономическом, культурном и (гео)политическом развитии — кни-

га Т. Нилона «Битвы за еду и войны культур: тайные двигатели истории» (2017). Это невыразимо красивое издание, богато иллюстрированное изображениями из архива Британской библиотеки, в котором автор с отчетливо сатирическими нотками в описании глупости многих человеческих устремлений пытается восстановить выпавший из учебников истории важнейший аспект нашей жизни — питание. «Многое из того, что происходило на кухне, никогда не записывалось, а свидетельства съедены и забыты. Между тем история всегда была неразрывно связана с пищей: разгорались гвоздичные войны и кондитерские конфликты, в погоне за специями открывались новые континенты, империи рождались и разрушались из-за битв за еду... лимонад спас Париж от чумы, коричневый соус повлиял на поэзию Байрона, разведение карпов могло бы избавить мир от крестовых походов, а каннибализм вдохновил на создание рецепта чили кон карне» (Нилон, 2017: 6).

Нилон пытается реконструировать сокрытые в еде социокультурные коды и эпохальные события: «Пища — центральный аспект нашей жизни, однако исторические свидетельства на эту тему весьма обрывочны... Империи рождались и умирали, но ежедневной историей питания хроникеры часто пренебрегали, несмотря на то что открытия, эксплуатация и спекуляция нередко имели прямое отношение к пищевым продуктам; вспомним такие колониальные предприятия, как торговля специями, плантации сахарного тростника и программы по релокации индейцев» (Там же: 16–17). Автор ставит перед собой задачу

не превознести, но возвысить и вернуть пищу на подобающее ей место в истории, заштриховать некоторые огрехи неизвестности. В XXI веке нам кажется, что еда окружила нас, об этом свидетельствуют и рост числа кулинарных программ на телевидении, и движение против фастфуда, и повара-знаменитости, и бесконечные книги рецептов, и капкейки, и непереносимость глютена... Мы проводим время не столько за едой и ее приготовлением, сколько за созерцанием процесса приготовления. Мы не озабочены и не одержимы едой, но она обступила нас со всех сторон, и мы в ней тонем. Мы испытываем к еде тот же страстный и ненасытный интерес, с каким ипохондрик относится к собственному здоровью, потому что от количества просмотренных серий бесконечных кулинарных шоу наши желудки не становятся полнее. (Так же: 26)

В книге автор «представляет эпизоды, которые смогут начать восполнять пустоты и исправлять недоразумения кулинарной истории» (Там же).

Каждый читатель найдет среди этих эпизодов что-то особенно интересное для себя лично, но в целом перед нами социальная история еды, реконструируемая через обыденные и/или табуированные практики. Например, в главе «Все кого-то ели когда-то» автор утверждает, что столетиями Европу увлекал «допустимый каннибализм». Нужно признать, что огромное количество современных кинофильмов и книг в жанре ужасов или психологических триллеров до сих пор ставят в сложной сюжетной линии очень простой вопрос: существуют ли жизненные

обстоятельства, когда можно (конечно, вынужденно, от безысходности) съесть ближнего (или дальнего) своего, чтобы спастись от голода (кстати, нынешнее вегетарианско-веганское движение записывает в разряд табуированного ближнего все живое). Автор видит проблему в том, что «если мы присматриваемся к соседу с мыслью — не приготовить ли его на обед, то социальный контракт между нами и соседом полностью разрывается» (Там же: 88), но в истории человечества, причем не столь отдаленной, таких разрывов множество. Скажем, это одна из великих городских цивилизаций рубежа XVI века — Ацтекская империя: «Балансирующие на грани нищеты горожане с их совершенно несбалансированным питанием (ни коров, ни свиней, ни коз, ни даже морских свинок), строго иерархическое общество и гневающиеся боги, которых нужно задабривать, граждане, вкушающие прелести кукурузной диеты, — в такой ситуации богатые неизбежно должны были начать поедать бедных» (Там же: 95). В XVIII веке табуированная в западном обществе тема каннибализма обрела дозволенное символическое измерение: речь в литературе стала идти о «поедании» людей в социальном смысле (богатые «питаются» бедняками), т. е. кулинария стала служить источником метафор для политики и экономики.

Иногда в истории еда (в своем социально-коммуникативном формате) обрела революционное значение, как во Франции в конце XIX века: «Французская кухня подчеркивала неравенство, но стремление элиты сократить число сидящих за столом дало толчок развитию ресторанного дела и уводило еду в область личного... Короли не учитывали, что небольшие собрания весьма благотворны для проектирования революций — здесь людям позволяет говорить друг с другом. Молчаливые приемы пищи так и не прижились, поэтому, когда на трон взшел Людовик XVI, он получил страну на грани революции, придуманной главным образом за ужином» (Там же: 114–115). Сегодня еда вновь становится способом борьбы человека за собственную жизнь, что автор демонстрирует на примере барбекю (в российских реалиях синонимом, видимо, будет «выезд на шашлыки»):

Корпорации и правительства разрушили культуру барбекю ради иных безобразных начинаний... Все попытки взять его под контроль и превратить в товар доказывают одно — барбекю и человечество нуждаются друг в друге. Вы можете взять ситуацию в свои руки... не заказывайте готовое, а выройте яму, разведите огонь, позовите друзей, знакомых и пару врагов, приготовьте соус, маринад и сухие приправы. Поскольку наша жизнь все более состоит из мерцающих огней, эфемерных звуков и размытых представлений... умение остановить мгновение, сделать вдох и глоток м-е-д-л-е-н-н-о становится все более важным. (Там же: 181)

Нередко в историко-культурно-антропологической литературе еда выступает не столько маркером социального, сколько символом, почти очищенным от своего утилитарного предназначения. Подобные исследования еды как древнейшего культурного архетипа в фольклорно-мифологическом сознании, богословской

и богослужебной традиции, философии и художественной культуре (литературе и изобразительном искусстве), который «возвещает радость и мир, знаменует общность поверх всех человеческих разделений, собирает живых и ушедших, тем самым преодолевая „обреченность времени“», вряд ли важны для социолога, хотя исключительно интересны, как, например, сборник «Пир — это лучший образ счастья» (Панич, Языкова, 2016). Еда его авторов интересует с позиций «символизма, хорошо различимого в культурологической и антропологической перспективе» (связь библейской трапезы с культом с точки зрения системы основополагающих пищевых запретов). Так, в библейском рассказе о Самсоне сюжет «представляет собой ряд попыток кого-то что-то (или кого-то) съесть, и большей частью неудачно; часто роли переворачиваются: „едок становится едою“... если взять ситуацию в несколько расширительном смысле... метафорически» (Там же: 25).

И в древнерусской традиции трапеза воспринималась как составная часть религиозных ритуалов и маркер культурной и социальной идентификации — это «пиры князей (по легенде, именно любовь к веселым пиршествам отвратила князя Владимира от принятия ислама), игравшие важную социальную роль, христианские литургические образы трапезы, а в XVI веке мы сталкиваемся уже со стремлением совместить это вместе, представив домашнюю трапезу как некое подобие богослужения (Домострой)» (Там же: 92). Пищевая идентификация имела и более приземленные выражения в социальной дифференциации (на «своих» и «чужих» — не знающих языка), что ярко проявилось в «Лечебнике для иноземцев» начала XVIII века: он явно обращен к русским читателям и предлагает им посмеяться над глупостью «немцев», которым в качестве излечения от недугов предписаны совершенно абсурдные вещи. Вся последующая русская (и не только) литература активно использовала эмоционально-ценностное описание трапезы как «одной из устойчивых форм устройства человеческого бытия... У трапезы есть свое предназначение, цель, смысл; она кем-то создается, имеет свой порядок, или ритуал, проведения, вызывает у человека различные впечатления, мысли, чувства... может быть соотнесена с определенной религиозной, культурной традицией... рассказать о ломке традиционных типов культуры и быта, их существенной трансформации» (Там же: 220). Яркие примеры — поэзия Г. М. Державина, изобилующая образами трапезы агапической (соединяющей хозяина и гостя, поэта и читателя «в благодарном созерцании даров») в тот период, когда русская литература была если не безытной, то «безъедной», поскольку до первой трети XIX века практически не знала гастрономической темы; повсеместное упоминание трапез в «Повестях Белкина» А. С. Пушкина — «не как перечисления некоего набора кулинарных рецептов, а как неотъемлемой части образа жизни русского дворянства», «непрерывного круговорота барской жизни», нарушений которого «не любят и боятся»; внимание А. Н. Островского к застольям и трапезам как части старомосковского быта и «публичным формам поведения людей, отмеченным театральностью»; произведения С. Беккета, который использует образы еды для создания условно-социальных характеристик своих героев, и т. д.

Соотношение еды и культуры можно рассматривать и в ином, более «социологическом» ключе, что делает Дж. Ковини в книге «Гурманистика» (причины такого перевода на русский язык английского слова «Food» не вполне понятны), исследуя еду как «то, что делает человека человеком (еда меняет наше развитие и рост); как идентичность (еда играет роль культурного клея и классового разделителя); как политику (еда определяет нашу совместную жизнь в разных социальных структурах — от микрополитики семьи и местных сообществ до государственного законодательства); как индустрию (пищевая промышленность); как регулирование (формы контроля нашего питания); как окружающую среду (последствия развития пищевой промышленности); и как справедливость (кто получает сколько продуктов питания и какого качества)», т. е. как «феномен, который объединяет биологическое и символическое, эротическое и этическое, эмоциональное и рациональное... стиль жизни, режим питания, моду, маркетинг, рекламу и глобальное политическое управление» (Ковини, 2016: 4, 9). Ссылаясь на работы Ч. Бута, С. Раунтри и П. Бурдые, Ковини показывает, что еда в значительной степени определяет наше место в обществе: «и в переносном, и в прямом смысле социально мы — это то, что мы едим... Еда — не просто нечто инертное на тарелке, она сообщает значение, цель и структуру нашей социальной жизни» (Там же: 29). Важно не только то, какая именно еда нам доступна и в каком объеме (стандартный статистический критерий бедности — доля расходов на продукты питания в семейном бюджете), но и как мы, «культурально-биологические существа», предпочитаем готовить еду, в каких объемах поглощаем ее. Скажем, сегодня «полнота ставит на человеке социальное клеймо... избыточный вес „попирает“, разрушает и игнорирует многие социальные нормы, такие как умеренность в еде, осознанное отношение к здоровому телу и, что важно, проявление силы воли и самоконтроля» (Там же: 37).

Аналитическая фокусировка на еде как индустрии раскрывает три ее новых «измерения» в современной истории (Там же: 79–82): во-первых, это урбанизация — например, в нынешних семьях отсутствует «продуктовый менеджер», роль которого прежде состояла в том, чтобы «преобразовывать сырые ингредиенты в семейные блюда, и делать это регулярно», что повлекло за собой изменение ролей в семье. Во-вторых, это изменение рыночных сил и динамики, поскольку сегодня «производители и поставщики продуктов питания обладают намного меньшей властью, чем розничный сектор» (сети крупных супермаркетов стали основными игроками на этом поле). В-третьих, феноменальное значение обрели маркетинг и реклама продуктов питания, т. е. «производству товаров противопоставлены потребительские стимулы экономики», в результате чего возникает проблема чрезмерного потребления, потому что многие люди и целые семьи не могут контролировать свои пищевые привычки и потребительские практики.

Столь длинное предисловие к собственно рецензии на книгу К. Стил «Голодный город: как еда определяет нашу жизнь» (2016) может утомить читателя, но оно необходимо, чтобы показать, сколь широки сегодня границы наукообразного разговора о еде (помимо медицинско-кулинарного) и как легко можно увлечься

контекстами и тематиками, далекими от социологического дискурса, но способными обогатить его примерами из прошлого и настоящего социального бытования еды. Книга «Голодный город» — почти идеальный пример социологического анализа еды (хотя автор не устоял перед соблазном углубиться в историческую проблематику), потому что описывает, как «еда разграничивает город и деревню, влияет на транспортную инфраструктуру и систему утилизации отходов, создает новые архитектурные типологии и рабочие места, определяет планировки квартир и устройство первых этажей, задает городской ритм и наполняет городское пространство» (Стил, 2016: 4). Речь идет об английском обществе на протяжении всей его истории, однако масштабный очерк о данной кулинарной культуре снабжен развернутыми зарисовками из истории других европейских стран. В книге, кстати, не рассматривается Россия, хотя в предисловии к русскому изданию автор говорит об интересе к нашей кулинарной культуре, к тому, что россияне думают о еде, к русской даче, которая всегда казалась ей «идеальным инструментом для контакта города и горожан с природой», к пониманию того, как оформился в России «страстный интерес к еде и горячее желание перейти к более здоровой, справедливой, устойчивой системе питания» (Там же: 9–10).

Основная тема книги, обозначенная во введении, — взаимосвязь еды и города, поскольку «города, как и люди, — это то, что они едят». «День за днем мы проводим в пространствах, созданных едой, и повторяем в них действия, неизменные с тех пор, как существуют сами города... Рынки и магазины, пивные и кухни, столовые и свалки всегда были фоном городской жизни. Еда влияет на города и через них на нас так же, как и на сельский ландшафт, который нас кормит» (Там же: 13). Последующие семь глав призваны показать логику и эволюцию этого влияния, фокусируясь на том, как именно города едят.

Каждая глава начинается с зарисовки из жизни современного Лондона; в каждой анализируются исторические корни соответствующего этапа «путешествия» еды и возникающие в связи с ним вопросы. Главы посвящены сельскому хозяйству, транспортировке продовольствия, торговле продуктами питания, приготовлению еды, ее поглощению и утилизации отходов — тому, как эти процессы определяют нашу жизнь и меняют нашу планету. В заключительной главе ставится вопрос о том, как еда может помочь нам переосмыслить города, научив нас лучше планировать пространство в них и вокруг них, а следовательно, и лучше жить. (Там же: 16)

Книга читается как увлекательнейший исторический роман, изобилующий неизвестными фактами из путешествия еды по городам, странам и эпохам, поэтому бессмысленно пытаться суммировать содержание глав — обозначим лишь основополагающие идеи каждой из них. Итак, первая глава «Земля» начинается с зарисовки про английский рождественский стол, стоимость индейки на котором зависит от принципиальной позиции его хозяев: либо «счастливая» птица с фермерского рынка за полсотни фунтов (и спокойная совесть), либо индейка за

четверть этой суммы (и хозяева стараются не задумываться о том, какой была ее жизнь и смерть). Впрочем, рост потребления мяса в принципе не допускает возможности обеспечить спрос на него за счет животных, выращенных в естественных условиях — только посредством индустриальных методов. Современная пищевая промышленность в изобилии снабжает население дешевым продовольствием при минимальных видимых издержках, запустив невидимый простому человеку масштабный и сложный процесс производства, транспортировки, хранения, распределения и т. д. В доиндустриальную эпоху горожанин просто «не мог не знать, откуда берется пища: она была вокруг — хрюкала, пахла, путалась под ногами... присутствовала во всем, что бы он ни делал» (Там же: 23). Сегодня «четыре пятых наших продуктов питания мы покупаем в супермаркетах, и сильнее всего на наш выбор влияет их цена — куда больше, чем вкус, качество и польза для здоровья... Мы воспринимаем еду как топливо — бездумно „заправляемся“ чем придется, лишь бы не отвлекаться от дел. Мы привыкли, что еда стоит дешево, и мало кто задается вопросом почему» (Там же: 21). Причину автор видит в городском образе жизни в целом и в том, что британцы первыми пережили промышленную революцию в частности, т. е. очень рано утратили связь с крестьянским укладом.

Современный человек «нагло обманут», его восприятие окрестностей городов представляет собой «набор тщательно поддерживаемых фантазий» (Там же: 24–25): «сельской местности досталась роль зеленого „второго плана“, и городские власти во все эпохи делали все, чтобы оставаться хозяевами положения, опасаясь голода («синдром осажденной крепости»); нынешние города давно переросли возможности своей сельской округи и зависят от продовольственного импорта из разбросанных по всему миру «сельских окрестностей», поэтому идеализированный пасторальный образ сельской местности не соответствует реальному индустриализированному ландшафту, необходимому для продовольственного снабжения современного мегаполиса (необозримые засеянные поля, парниковые массивы, промышленные корпуса и загоны интенсивного животноводства).

Кроме того, урбанизация изменила наш рацион: в доиндустриальную эпоху в большинстве обществ мясо было привилегией богачей, в основном люди питались зерном и овощами и не воспринимали еду как нечто само собой разумеющееся, поэтому праздники древних городов были неизменно привязаны к сельскохозяйственному календарю. Однако вот уже несколько веков в рейтинге общемирового потребления мяса лидируют страны Запада, а урбанизация, индустриализация и рост благосостояния обуславливают все большее распространение мясной диеты по всему миру (самые ошеломляющие перемены происходят в Китае, который прежде питался преимущественно рисом и овощами, а теперь стал крупнейшим мировым импортером зерновых и сои и потребителем свинины). Проблема в том, что производство мяса связано с высочайшими издержками для окружающей среды: животные потребляют до трети мирового урожая зерновых, на производство килограмма говядины расходуется в тысячу раз больше воды, чем на выращивание килограмма пшеницы, и т. д.

Таким образом, в первой главе представлен исторический обзор развития земледелия/зерноводства и возникновения первых городов (в духе работ Дж. Скотта; см., напр.: Скотт, 2017); отмечено, что крушение феодального строя было предопределено неэффективностью производства продовольствия в большей степени, чем частыми крестьянскими бунтами, — как система землепользования феодализм просто не мог прокормить преимущественно сельское население Европы и обеспечить продовольственное снабжение больших городов. Для Европы всегда была характерна тесная связь города и деревни — не только в форме средневековых итальянских городов-коммун, даже в XIX веке горожане регулярно бывали в деревне и привозили ее с собой (держали в домах птицу и свиней, хранили зерно и сено), а богачи имели поместья, снабжавшие их продуктами питания. В Новое время сохранялось представление о «цивилизованности» городской жизни и «примитивности» сельской, однако в XVII — начале XVIII столетия сельские ландшафты все больше обретали рукотворный характер, чтобы удовлетворить все возрастающую потребность городов в продовольствии (осушались болота, вырубались леса, в Англии было проведено грабительское огораживание общинных земель, которое создало типично английский деревенский пейзаж). Эти тенденции сформировали две разные точки зрения на города, которые сохраняются и сегодня: с одной стороны, города открывают перед фермерами потрясающие возможности для модернизации; с другой стороны, незаслуженно и без благодарности пользуются плодами труда деревенской бедности, т.е. города — «паразитические наросты, поглощавшие все, до чего они могли дотянуться» (Стил, 2016: 52).

В Англии, как и в других странах, «последние пережитки пасторального идеализма были сметены переходом сельского хозяйства на промышленные методы» (Там же: 56). В XVIII веке появились железные плуги и подковы, в XIX — сельскохозяйственная техника; продовольствия производилось больше, а задействовано в производстве было меньше людей, поэтому безработные крестьяне устремились на заработки в города, «и социальные связи, сплачивавшие сельские сообщества, а также привязывавшие город к деревне, начали разрушаться. Дистанция между кормильцами и едоками увеличивалась на глазах... Железные дороги разорвали цепи, приковывавшие города к их сельским окрестностям. Отныне они могли получать продовольствие откуда угодно. Пищевая промышленность начала приобретать глобальный масштаб» (Там же: 56).

В результате «к середине XIX столетия вековая проблема снабжения городов продовольствием, казалось, была наконец решена. Речь шла уже не о самой возможности прокормить городское население, а о том, сколько это будет стоить» (Там же: 63). Например, скотоводство в Британии становится все менее рентабельным, и немалая часть мяса ввозится из Бразилии, Аргентины и Таиланда. Постиндустриальная фаза развития сельского хозяйства, сделавшая его полностью невидимым для общества, началась с внедрения промышленных методов в птицеводстве и животноводстве: животных стали накачивать гормонами и антибиотиками и кормить мукой из останков других животных. Проблемы накапливаются

и становятся все глобальнее: «помимо явной расточительности транспортировки продуктов на большие расстояния, пристрастие горожан к дешевой еде разрушает планету... Современный агробизнес нацелен на краткосрочную выгоду, и забота об окружающей среде ему абсолютно несвойственна» (Там же: 71) (вырубаются амазонские джунгли, пахотные земли приходят в негодность из-за засаливания почв и эрозии). За вторую половину XX века производство продовольствия выросло на 145 % (на четверть на душу населения), но 850 миллионов хронически недоедают.

Завершает первую главу вывод:

Английская аграрная революция и ее последствия — депопуляция деревни, перераспределение земли и экономия за счет масштабов производства — проложили путь к созданию современного агропромышленного комплекса... на смену традиционному смешанному земледелию приходит масштабное монокультурное производство. Крестьянство повсеместно находится на грани исчезновения... Современный агробизнес — это не просто производство продовольствия, но извлечение из него максимальной прибыли. (Там же: 76–77)

Поэтому исчезновение лесов, эрозия почв, истощение водных ресурсов и загрязнение окружающей среды не принимаются в расчет ради того, чтобы наша пища казалась дешевой, не отражала своей реальной стоимости и побочного ущерба от производства.

Представители органического движения страстно агитируют за использование естественных биосистем, а сторонники промышленных методов... настаивают: без современных технологий человечество не прокормить... Надо не гадать о том, как обеспечить себя продовольствием в будущем, а ставить под сомнение наш нынешний характер питания. На промышленно развитом Западе еда — самый девальвированный товар, поскольку мы утратили связь с ее подлинным смыслом. Живя в городах, мы научились вести себя так, будто не принадлежим к природе. (Там же: 80–81)

Вторая глава «Дорога до города» начинается с рассказа о Бродейле, где находится британская национальная фруктовая коллекция, в которой насчитывается 2300 сортов яблок. К сожалению, сегодня сохранить их можно только в искусственных условиях садоводческого коллекционирования, потому что в глобальной продовольственной экономике нет места разнообразию видов, которое порождают местные культуры в ходе многовековой борьбы крестьян за то, чтобы взять у земли самое лучшее.

Громадные бурлящие мегаполисы кормятся отнюдь не местной продукцией... им нужно бесперебойное снабжение дешевой, предсказуемой пищей... наш сегодняшний рацион определяется не местной культурой, а экономией за счет масштаба на всех стадиях производства и доставки продовольствия.

Чтобы попасть на стол горожанам, сельскохозяйственная продукция должна быть не только больше по объему, качественнее и привлекательнее, чем когда-либо, она должна соответствовать требованиям мировой распределительной системы, задача которой — обеспечить поставку все более узкого ассортимента все более широкому кругу потребителей. (Там же: 89)

Вот почему супермаркеты заполнены овощами и фруктами, которые отлично переносят хранение и транспортировку, пригодны для выращивания в разных полушариях, импортируются из стран, где тепло и солнечно круглый год, а зарплаты низки.

В прошлом обеспечением городов продовольствием занимались тысячи людей... Снабжение едой было столь важным вопросом, что в большинстве городов действовали законы, не позволявшие кому-либо монополизировать эту сферу... Сегодня дело обстоит с точностью до наоборот. Большая часть того, что мы едим, производится и распределяется гигантскими многоотраслевыми компаниями... они контролируют продовольственную систему на всем протяжении от генов до полок супермаркета... За счет слияний и поглощений они добиваются так называемой вертикальной интеграции... Конечный результат деятельности пищевых кластеров — супермаркеты. (Там же: 93).

Остается лишь вспоминать, что транспортировка продовольствия в доиндустриальную эпоху определяла устройство сельскохозяйственных окрестностей городов: «изолированный город» И. Г. фон Тюнена (Тюнен, 1926) располагался посреди плодородной земледельческой зоны, представлявшей собой серию концентрических кругов — садоводческие и молочные хозяйства, затем зерновые, в самом дальнем поясе — пастбища. Многие политические союзы древности служили двойной цели — обеспечить безопасность города (и важнейших транспортных путей) и получить доступ к зерновым ресурсам союзников (импорт продовольствия объяснялся не только скудостью почв, но и дешевизной привозных продуктов).

Дальнейшее повествование посвящено рассмотрению ряда кейсов: Рим — как «подлинный первопроходец международной логистики»; храмы Древнего Египта и Месопотамии — как «распределительные центры» (организовывали сбор урожая, хранили запасы зерна и снабжали им население); вступление Англии в колониальную гонку и роль сахара в ее истории (изменил экономическую судьбу Британии и ее социальную структуру, превратил Лондон в первое общество потребления); формирование системы продовольственного обеспечения Лондона в викторианскую эпоху на основе «невидимой руки рынка» (Британия в конце XIX века стала крупнейшим импортером зерна и консервированных и переработанных продуктов); модернизация продовольственного снабжения (железные дороги решили проблему доставки продуктов в города и победили географию) развернула урбанизацию в полную силу — «города растекались пригородами, а те, в свою очередь, сливались в агломерации; их новые жители нуждались в еде, и к тому

же усваивали привычку к безудержному потреблению» (Стил, 2016: 131). В итоге «к концу XIX века продовольствия в Лондоне было вдосталь, но не у всех лондонцев хватало денег, чтобы есть досыта... Нарождающаяся пищевая промышленность отлично справлялась с производством и транспортировкой продовольствия, но кормить городскую бедноту она не планировала» (Там же: 133–134).

Сегодня промышленно развитые страны мира, по сути, представляют собой один гигантский город, а весь остальной мир — его сельские окрестности. В этой новой «мировой деревне» мы все едим одну и ту же еду, поставляемую одними и теми же компаниями и продающуюся в одних и тех же магазинах — в таких условиях смитовские законы конкуренции перестают действовать... Если переиначить знаменитую фразу Черчилля, никогда еще в истории... столь немногие не кормили столь многих. (Там же: 135–136)

Сегодня лишь 20 % стоимости продуктов питания на розничном рынке достается сельскохозяйственным производителям, а остальное приходится на добавленную стоимость — переработку, упаковку, рекламу и прибыль.

В современной пищевой индустрии крупные концерны — это огромный хвост, виляющий совсем небольшой собакой... Цены устанавливают торговые компании, чьи решения не связаны или очень слабо связаны с природой продуктов, которые они продают, — и результаты часто бывают катастрофическими (ради «эффективности» разнообразие... сортов сокращено до опасного уровня утраты генетического разнообразия, и если эти сорта поразит какая-то болезнь, мы в беде, точнее — нам крышка). (Там же: 137)

В Британии и Америке государство делегировало контроль за продовольственным снабжением транснациональным корпорациям, сведя на нет свободную торговлю. «Большинство правительств предпочитает не применять свою силу, пока пищевая промышленность выдает на-гора огромное количество дешевого продовольствия... Правительство... создает дымовую завесу легальности над злоупотреблениями, благодаря которым еда остается такой дешевой» (Там же: 141).

В третьей главе «Рынок и супермаркет» автор обозначает причины нынешнего возрождения фермерских «праздничных» рынков после того, как в 1970–1980-е годы многие из них исчезли, потому что их роль в снабжении городов была исчерпана. Возродившиеся рынки

представляют своего рода фальсификацию, но жизнь, которую они порождают, подлинна... Там, где продовольственные рынки уцелели (торгуют по сниженным ценам, ориентируются на богатых потребителей или кулинарный туризм, обслуживают этнические меньшинства, по-прежнему готовящие еду дома из сырых ингредиентов, и т. д.), они придают городской жизни столь редкие на Западе черты: ощущение сопричастности, связи с другим людьми, своеобразие... отсылают нас к общественному укладу, характерному для давно минувших времен. Люди всегда приходили на рынок не только за покуп-

ками, но и за общением... а ведь в современной жизни таких возможностей очень мало. (Там же: 155)

По мнению автора, супермаркеты несовместимы с городами, плотно и хаотично застроенными, поэтому первые обосновывались на окраинах и вступали в противоречие с торговыми улицами и с концепцией города как такового. Супермаркеты «выхолащивают» города, потому что это «обезличенные заправочные станции, где мы делаем технические остановки, чтобы функционировать дальше... они поощряют индивидуализм, а не общность» (Там же: 162).

Анатомия типичного города доиндустриальной эпохи отражала влияние еды на его жизнь: в сердце располагались продовольственные рынки, к ним вели дороги, по которым продовольствие доставлялось; рыночные площади использовались не только в коммерческих, но и политических (ратуши, казни, народные волнения и мятежи) и комических целях (карнавалы — «праздники раблезианского излишества»). Супермаркеты вытеснили рынки и захватили монополию на продовольственную торговлю, но, в отличие от рынков, «они никак не задействованы в общественной жизни. Это деловые предприятия, нацеленные на одно — прибыль. А поскольку без еды мы обходиться не можем, торговые сети держат нас за горло... Контроль над пищей означает контроль над пространством и над людьми — эту истину хорошо понимали наши предки, но мы, похоже, подзабыли. В итоге мы можем прийти к гибели общественного пространства как такового» (Там же: 199–200). Выход автор видит в сочетании коммерческих интересов (супермаркетов) и традиционного образа жизни (национальной пищевой культуры), что удалось Барселоне.

Четвертая глава «Кухня» реконструирует историю трансформаций этого жизненного пространства в «уютной обстановке собственных домов» и в местах общественного питания. С одной стороны, почти до конца XIX века кухни, где можно было готовить что-то помимо самых простых блюд, имелись только в богатых семьях, сегодня подавляющее большинство людей может обустроить кухню по своему желанию и почти профессионально готовить домашние блюда. С другой стороны, посредством готовых блюд и полуфабрикатов

супермаркеты изгнали нас из кухни и ослабили наш контроль над тем, как производится наша еда. Покупая сырые продукты, мы можем их проверить, пощупать, понюхать... убедиться, что за свои деньги получаем именно то, что хотим. Если у нас есть свой постоянный продавец... мы превращаемся... в «сопроизводителей» — покупателей, связанных с изготовителями еды не пассивными, а двусторонними отношениями. Но чем меньше мы готовим сами, тем меньше нас интересует то, как производится наша пища... Ненасыщенные трансжиры, пальмовое масло и масса соли — вот лишь некоторые из крайне вредных продуктов, что мы, сами не замечая, употребляем годами. Но привычка к полуфабрикатам... отдаляет нас не только от еды, но и от всего, что с ней связано (лишает контакта потребителей и производителей, исчезают застолья и семейные обеды). (Там же: 222–223)

В XX веке кухня сначала стала частью семейной жизни, а затем утратила свое значение, в том числе благодаря радикальным феминисткам, которые выступили против «фальшивых богинь домашнего очага, придуманных пищевыми компаниями», но в итоге эти компании получили новые возможности — производства полуфабрикатов и готовых блюд (есть размороженную пиццу на обед стало знаком прогрессивных политических убеждений, а затем и просто приемлемым поведением в Британии и Америке). Сегодня в Британии люди, регулярно готовящие еду дома из сырых продуктов, составляют стареющее меньшинство, а кулинарные знания молодежи крайне отрывочны, поскольку «кулинарии, как речи или письму, надо учить, и подобно прочим важнейшим навыкам, она дается легко, стоит только овладеть общим принципом» (если вы регулярно готовите, то начинаете делать это почти на автопилоте) (Стил, 2016: 268). Совершенно иная ситуация в Германии, Италии и Франции, где сельские традиции оказались более прочными и способствуют сохранению местной кулинарной традиции «как у мамы»; в большинстве регионов Средиземноморья ее поддерживает и прежняя структура семьи с ежедневными общими трапезами; Франция и Италия не подверглись той массовой урбанизации, что оторвала британскую еду от ее корней, здесь сохраняется вертикальная структура национальной кухни (деревенская, региональная, любительская, профессиональная), еда остается основой образа жизни, за который люди и правительства считают нужным бороться.

Пятая глава «За столом» реконструирует историю форм и функций застолий — от древних пиров и жертвенных трапез до нынешних утонченных банкетов юридических корпораций с исключительно символическими задачами укрепления престижа и традиций. Ссылаясь на работы Г. Зиммеля, автор подчеркивает роль трапезы как мощного упорядочивающего механизма и трактует прием пищи как зашифрованное социальное высказывание:

Включение или невключение в круг сотрапезников определяет социальный статус... любая трапеза предусматривает некую иерархию, в рамках которой едоки имеют более высокий статус, чем те, кто им готовит и прислуживает... социальные и гендерные отношения, царящие на кухне, отражаются — в перевернутом виде — за столом... мы ощущаем общность с теми, с кем делим трапезу, и считаем чужаками тех, кто ест по-другому. Разграничивающий, разделяющий потенциал еды становится очевидным, если вспомнить, как часто один народ использует ее в оскорбительных прозвищах для другого: «лягушатники», «колбасники»... (Там же: 282–283)

Роль совместной трапезы как важного социального механизма определяет особое значение ее контекста и делает умение правильно есть одним из основных социальных навыков, поскольку еда подвержена ритуализации и всегда имеет идеологическую нагрузку, хотя сегодня ее сложно декодировать: подавляющее большинство наших приемов пищи не имеют скрытого смысла (мы едим, потому что пришло время завтрака/обеда/ужина или потому что проголодались); слож-

ные коннотации еды обычно скрыты под толстым слоем привычки или необходимости. В первом случае приемы пищи оказывают важное влияние на городскую жизнь в силу своей повторяемости и всеобщности — формируют социально-пространственные структуры повседневности (ежедневные городские ритмы завтраков, обедов и ужинов). Вторым обстоятельством автор объясняет нынешнюю популярность сетей быстрого питания — они создают ощущение, будто за едой мы не одиноки в условиях анонимности постиндустриального города, хотя на самом деле контакт возникает не с сотрапезниками, а с самой едой, которая «стремится стать вашим другом». «Популярность фастфуду обеспечивает именно то, чего он не может дать, — насыщение, общение, счастье... он обещает все и не дает почти ничего, заманивая „постоянных потребителей“ в заколдованный круг зависимости, которая приводит их к нему снова и снова» (Там же: 323–324).

Завершает пятую главу грустный вывод, что нынешняя глобальная проблема ожирения объясняется не только тем, что мы едим, —

это телесное выражение нашей лишенной корней, индустриализированной кулинарной культуры, в которой еду не ценят и не понимают, а значит, и злоупотребляют ею... Сто лет назад американцы превратили свое поразительное многонациональное кулинарное наследие в жуткую, кастрированную и крайне нездоровую кухню. Теперь нам надо обратить процесс вспять. Мы должны вернуть себе связь с культурой еды и вспомнить, что вообще означает еда. (Там же: 325)

Шестая глава «Отходы» показывает, как по мере разрастания городов их саморегулирующиеся экосистемы начали давать сбой: доиндустриальная модель утилизирующей утилизации отходов (мусор мог накапливаться годами и даже столетиями, прежде чем превратиться в серьезную проблему) в индустриальную эпоху потребовала смены на упреждающую. Свое обращение к проблеме отходов автор объясняет тем, что «в обществах всегда различалось отношение... ко всем побочным продуктам человеческой жизнедеятельности. То, что общество выбрасывает, напрямую, хоть и от противного, сообщает нам о том, что оно ценит» (Там же: 341). Так, сегодня большая часть отходов постиндустриального Запада — неорганические вещества, поэтому отходы превратились в «сложно устроенную отрасль экономики с собственными процессами, дилеммами и логикой» (Там же: 342).

Основная проблема и характерная черта современного образа жизни — расточительность в том, что мы потребляем и что выбрасываем (прежде всего еду, потому что приобретаем больше, чем нужно). «Нам проще выбросить еду, чем определить, не испортилась ли она... В нынешнюю эпоху стерильности и помешательства на гигиене еда внушает нам страх не только из-за ее теснейшей связи с нашим организмом, но и потому что... все, что с ней связано, чуть ли не единственный аспект сферы здоровья и безопасности, за который нам по-прежнему приходится отвечать самим» (Там же: 345). Современная пищевая промышленность в принципе нацелена на перепроизводство, супермаркеты предпочитают

списать часть товара в отходы, чем рисковать потерей клиентуры из-за пустых полок, города плохо приспособлены для повторного использования отходов, однако существуют и примеры эффективной утилизации отходов (например, Австрия).

Заключительная седьмая глава посвящена «ситопии» — возможности прокормить человечество, цenia, поддерживая и честно оплачивая крестьянский труд, признавая, что еда — «посланник деревни» и живая часть местности, где была выращена, не губя планету, кулинарные культуры и городские сообщества. Глава начинается с описания первого экокорода Дунтаня, который должен свести к минимуму воздействие на окружающую среду и будет выстроен к 2020 году согласно «принципам интегрированного урбанизма» — балансу экономического роста, общественного благополучия и экологии, хотя город невозможно будет полностью отключить от совсем не добродетельной глобальной системы снабжения. Дунтань важен для автора и потому, что строится в Китае — стране, которая повторяет урбанизационные ошибки Запада, но в большем масштабе и ускоренном темпе, и потому, что это один из первых в социальной истории утопических проектов, который имеет шанс стать реальным, эффективным и устойчивым.

К утопизму автор относится положительно — как к

лучшему в истории человечества приближению к междисциплинарному анализу нашей среды обитания. Эпоха Просвещения приучила нас мыслить дисциплинарно, и этот метод был весьма полезен до определенного предела. Два столетия дисциплинарного подхода дали нам архитектуру, городское планирование, социологию, политические и экономические науки, антропологию, географию, экологию и дорожное дело, способные функционировать сами по себе, буквально в вакууме. Но они не научили нас целостно мыслить о том, где мы живем. Утопизм представляет собой по крайней мере попытку такого целостного взгляда... Из неизменных провалов утопизма можно извлечь важнейшие уроки. Они предостерегают нас от близорукости, мании величия и однообразия... Величайший урок утопизма состоит в необходимости не терять связи с действительностью. (Там же: 397–399)

Предлагаемый «ситопический город тесно связан с окрестностями посредством полурешетки продовольственного снабжения; там найдется место оживленным рынкам, многочисленным несетевым магазинам и сильному ощущению гастрономической самобытности... Город будет гордиться едой и использовать ее для сплочения людей» (Там же: 419).

Таким образом, еда в книге — не только наше «топливо», а важнейший фактор социальной интеграции, урбанизации, региональной, территориальной, пространственной и социальной дифференциации внутри и вокруг городов. Для обоснования столь важной роли еды автор использует удачный и удобный категориальный аппарат, например: «кулинарная культура страны» (представления о хорошем питании), «геополитика питания», «вечное глобальное лето» (любые продукты сегодня доступны круглый год), «продовольственная пустыня» (по мере

закрытия местных магазинчиков бедные жилые зоны остаются без источников свежих продуктов), «гастрономический империализм» (повсеместное проникновение американского сетевого фастфуда), «столовые под открытым небом» (оживление прежде пустовавших районов благодаря приходу ресторанов и фермерских рынков), «театр тревоги» (над нашим миром вечно висит угроза со стороны тех вещей, которые необходимы для жизни, прежде всего это просроченная или опасная еда) и др.

Очевидный гуманистический пафос книги обусловлен двумя ее целями — просвещенческой и активистской. В первом случае автор на широком круге тем, связанных с обеспечением городов продовольствием (иногда даже слишком широко, как в главе про отходы), показывает основополагающее значение еды («Научившись замечать ее вокруг себя... человек начинает осознавать взаимосвязи между, казалось бы, несовместимыми явлениями» [Там же: 17]) и прослеживает эволюцию контроля над едой — от открытого и откровенного в доиндустриальную эпоху до скрытого нынешнего, когда «в глобальной продовольственной системе транснациональные корпорации обладают буквальной олигополией на целые звенья пищевой цепочки» (Там же: 10). Вторая задача книги — пропаганда и поддержка борьбы за пищевую систему, которая сделает «наше общество открытым, справедливым, здоровым и устойчивым», тем более что «за глобальной „геополитикой питания“ кроются... культуры и обычаи, более мощные, чем пищевые гиганты, стремящиеся стереть их с лица земли» (Там же: 10).

Читатель должен быть готов к тому, что книга очень мозаична: неизменно оставляя в центре внимания английскую кулинарную культуру, автор рассматривает в каждой главе особую тему, подбирая под нее массу показательных примеров из разных эпох, географических локаций и региональных кейсов. Количество зарисовок столь велико (хотя безумно увлекательно), что в голове начинается путаница, тем более что автор неоднократно повторяет свои основные идеи, этими разнообразными примерами подтверждаемые. Впрочем, во введении автор честно предупреждает, что книга — «не энциклопедический труд, а скорее введение в определенный образ мыслей» (Там же: 16). Также читатель должен постоянно напоминать себе, что речь идет об английском обществе, потому что утверждения автора, что еда в супермаркетах стоит очень дешево, что половина населения не умеет готовить и предпочитает обеды из разогретых готовых блюд или полуфабрикатов, что люди не желают видеть связи между животными и мясом на своем столе, что «теперь мы строим супермаркет в чистом поле, окружаем его жилыми домами и называем это городом» и др. не имеют отношения даже к самым урбанизированным российским реалиям (продукты в супермаркетах дороги, многие семьи готовят обеды и ужины из сырых продуктов, наличие дач и родственников в сельских районах не позволяет горожанам забывать, откуда берется еда и т. д.). В целом, несмотря на то что автор оперирует массой исторических и статистических данных, стремясь реконструировать объективную версию продовольственной истории, и даже самокритичен, характеризуя английскую (западную и гло-

бальную) манеру продовольственного потребления («тримируя и мумифицируя собственную страну, мы из-за своих кулинарных привычек загаживаем другие»), нужно признать, что книга несколько избыточно идеалистична. Скажем, автор полагает, что «самые сильные, здоровые и счастливые люди — те, кто по-настоящему ценит еду... те, кто дорожит едой и с радостью делит ее с другими, способны улучшить наш мир» (Там же: 11), но вряд ли все действительно так просто.

## Литература

- Вегрен С., Троцук И. В. (2013). Продовольственная безопасность в Российской Федерации // Никулин А. М., Пугачева М. Г., Шанин Т. (ред.). Крестьяноведение: Теория. История. Современность. Вып. 8. М.: Дело. С. 270–301.
- Глущенко И. В. (2010). Общепит: Микоян и советская кухня. М.: ГУ-ВШЭ.
- Ковини Дж. (2017). Гурманистика: культура еды и еда как культура / Пер. с англ. О. В. Гритчиной. Харьков: Гуманитарный центр.
- Марсал К. (2017). Кто готовил Адаму Смиту? Женщины и мировая экономика. М.: Альпина Паблишер.
- Молчанова О. П., Лобанов Д. И., Лифшиц М. О., Цыпленков Н. П. (ред.). (1952). Книга о вкусной и здоровой пище. М.: Пищепромиздат.
- Нилон Т. (2017). Битвы за еду и войны культур: тайные двигатели истории / Пер. с англ. А. Лаврушиной. М.: Альпина Паблишер.
- Панич С., Языкова И. (ред.). (2016). Пир — это лучший образ счастья: образы трапезы в богословии и культуре. М.: Изд-во ББИ.
- Президент РФ. (2010). Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».
- Скотт Дж. (2017). Искусство быть неподвластным: анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии / Пер. с англ. И. В. Троцук. М.: Новое издательство.
- Стил К. (2016). Голодный город: как еда определяет нашу жизнь / Пер. с англ. М. Коробочкина. М.: Strelka Press.
- Тюнен И. (1926). Изолированное государство / Пер. с нем. Е. А. Торнеус. М.: Экономическая жизнь.
- Шагайда Н. И., Узун В. Я. (2015). Продовольственная безопасность в России: мониторинг, тенденции и угрозы. М.: Дело.
- Patel R. (2009). What Does Food Sovereignty Look Like? // Journal of Peasant Studies. Vol. 36. № 3. P. 663–706.
- Piontak J. R., Schulman M. D. (2014). Food Insecurity in Rural America // Contexts. Vol. 13. № 3. P. 75–77.
- World Bank. (2008) World Development Report 2008: Agriculture for Development. Washington: World Bank.

## The “Sociological-Caloric” Value of Food: Culinary, Cultural, and Spatial “Measurements”

*Irina Trotsuk*

DSc (Sociology), associate professor, Sociology Chair, RUDN University

Leading researcher fellow, Center for Agrarian Studies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Address: Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russian Federation 117198

E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

The article was initially intended as a review of Carolyn Steel's book *Hungry City: How Food Shapes Our Lives*. However, the author's foreword on the reasons and variations of the sociological interest in food turned the review into the reflections on the ways of (or a kind of) sociological analysis of food's role in the contemporary consumer society, a role that cannot be simply reduced to a “fuel” necessary for the trouble-free operation of man as a biological creature. There are several clearly-defined contexts of the scientific analysis of food that can be of interest and importance for sociologists. These contexts include the macroeconomic approach (such as various interpretations of food security from the social-economic to the (geo)political, such as the Russian state's politicized discourse of import substitution that ignores the population's real food practices and access to food); the gender-economic approach (a ‘feminized’ version of economic history); the culinary-ideological approach (when the recipes of the usual cookbook or the model of public catering development hide the ideological didactic instructions on the mandatory way of life, i.e., “political dietology”); and the historical-cultural-anthropological approach (the attempts to reconstruct the social-cultural codes of food and its role in the epoch-making events of the past). Such wide boundaries of today's scientific interpretations of food allowed the presentation of the *Hungry City* as an almost ideal example of the sociological analysis of the social life of food in all its diverse manifestations (such as the production and transportation of food, urbanization and food markets, the transformations of home kitchens' design, the development of the public catering system, social meanings of the joint meal-and-wastes recycling, social justice and utopias), even though the book focuses on only the culinary culture of England.

**Keywords:** food, food practices, social life of food, sociological conceptualization, urbanization, public catering system, symbolic codes

### References

- Coveney J. (2017) *Gurmanistika: kultura edy i eda kak kultura* [Food], Kharkov: Humanitarian Center.
- Gluschenko I. (2010) *Obschepit: Mikojan i sovetskaja kuhnja* [Public Catering: Mikoyan and the Soviet Cuisine], Moscow: HSE.
- Marçal K. (2017) *Kto gotovil Adamu Smitu? Zhenschiny i mirovaja ekonomika* [Who Cooked Adam Smith's Dinner? A Story of Women and Economics], Moscow: Alpina.
- Molchanova O., Lobanov D., Lifshits M., Tsyplenkov N. (eds.) (1952) *Kniga o vkusnoj i zdorovoj pische* [A Book about Tasty and Healthy Food], Moscow: Pischepromizdat.
- Nilon T. (2017) *Bitvy za edu i vojny kultur: tajnye dvigateli istorii* [Food Fights and Culture Wars: A Secret History of Taste], Moscow: Alpina.
- Panich S., Yazykova I. (eds.) (2016) *Pir — eto luchshij obraz schastja: obrazy trapezy v bogoslovii i culture* [Feast is the Best Image of Happiness: Images of Meal in Theology and Culture], Moscow: BBI.
- Patel R. (2009) What Does Food Sovereignty Look Like? *Journal of Peasant Studies*, vol. 36, no 3, pp. 663–706.
- Piontak J. R., Schulman M. D. (2014) Food Insecurity in Rural America. *Contexts*, vol. 13, no 3, pp. 75–77.

- President of the Russian Federation (2010) Ukaz Prezidenta RF ot 30.01.2010 No 120 "Ob utverzhdenii Doktriny pro-dovol'stvennoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii" [Decree of the President of the Russian Federation of 30.01.2010 No 120 "On the Confirmation of the Doctrine of Food Security of the Russian Federation].
- Scott J. (2017) *Iskusstvo byt nepodvlastnym: anarhicheskaja istorija vysokogorij Jugo-Vostochnoj Azii* [The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia], Moscow: Novoe izdatelstvo.
- Shagaida N., Uzun V. (2015) *Prodovol'stvennaja bezopasnost v Rossii: monitoring, tendentsii i ugrozy* [Food Security in Russia: Monitoring, Trends, and Threats], Moscow: Delo.
- Steel C. (2016) *Golodnyj gorod: kak eda opredeljaet nashu zhizn* [Hungry City: How Food Shapes Our Lives], Moscow: Strelka Press.
- Thünen J. (1926) *Izolirovannoe gosudarstvo* [The Isolated State], Moscow: Ekonomicheskaja zhizn.
- Wegren S., Trotsuk I. (2013) Prodovol'stvennaja bezopasnost v Rossijskoj Federatsii [Food Security in the Russian Federation]. Nikulin A., Pugacheva M., Shanin T. (eds.) *Krestjanovedenie: Teorija. Istorija. Sovremennost*, Tom 8 [Peasant Studies: Theory. History. Present, Vol. 8], Moscow: Delo, pp. 270–301.
- World Bank (2008) *World Development Report 2008: Agriculture for Development*, Washington: World Bank.

## Собиратели взгляда\*

AMIN A., THRIFT N. (2017). SEEING LIKE A CITY. CAMBRIDGE: POLITY PRESS. 203 P. ISBN 978-0-745-66426-2

*Наталья Самутина*

Кандидат культурологии, ведущий научный сотрудник  
Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А. В. Полетаева  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
Доцент кафедры анализа социальных институтов факультета социальных наук  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: [nsamutina@hse.ru](mailto:nsamutina@hse.ru)

Город и «городское» (urban) находятся сегодня в центре внимания многих исследователей, занимающихся современностью, вне зависимости от того, к какой области социогуманитарных наук они принадлежат и каких методологических позиций придерживаются. Из любой дисциплинарной, а тем более междисциплинарной перспективы трудно не замечать дискуссий об актуальных городских сюжетах, то призывающих нас обратить внимание на дебаты о публичных пространствах и городской исторической культуре, то требующих концептуального самоопределения по отношению к критике неолиберальной джентрификации и утверждению «права на город», к различным концепциям «медийных», «виртуальных» и «умных» городов, к «постчеловеческому городу», «урбанистическим киборгам», городской материальности, городским сетям и так далее<sup>1</sup>. Дополнительной остроты городской проблематике добавляют множественные локальные

© Самутина Н. В., 2018

© Центр фундаментальной социологии, 2018

DOI: 10.17323/1728-192X-2018-1-325-332

\* Текст подготовлен в ходе работы в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

1. Обзор библиографии по современным урбанистическим дискуссиям мог бы составить отдельную книгу, поэтому приведем здесь всего несколько работ, которые могут служить «точками входа» в проблемы, упомянутые в этом предложении: *Mitchell D.* (1995). The End of Public Space? People's Park, Definitions of the Public, and Democracy // *Annals of the Association of American Geographers*. Vol. 85. № 1. P. 108–133; *Gandy M.* (2005). Cyborg Urbanization: Complexity and Monstrosity in the Contemporary City // *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 29. № 1. P. 26–49; *Merrifield A.* (2013). The Politics of the Encounter: Urban Theory and Protest under Planetary Urbanisation. Athens: University of Georgia Press; *Kitchin R., Perng S.-Y.* (eds.). (2016). Code and the City. London: Routledge; *Rose G.* (2017). Posthuman Agency in the Digitally Mediated City: Exteriorization, Individuation, Reinvention // *Annals of the American Association of Geographers*. Vol. 107. № 4. P. 779–793; *Трубина Е.* (2011). Город в теории: опыты осмысления пространства. М.: Новое литературное обозрение; *Максуайр С.* (2014). Медийный

городские конфликты, в которые исследователи всех уровней сегодня оказываются вовлечены не только как рефлексирующие субъекты, но как горожане или институционально, как эксперты. В этой ситуации задача ясно «видеть как город», то есть понимать и держать в голове широкую современную урбанистическую перспективу, не ограниченную только набором локальных контекстов, узких интересов или прикладных дисциплинарных задач, оказывается чрезвычайно важной и непростой. Она требует разнообразных ресурсов, широкого горизонта чтения и определенной воли к формированию и фокусировке этого междисциплинарного взгляда, который учитывал бы множество конкурирующих программ работы с городским, разнокалиберных линз, наведенных на город, и не упускал из виду ни центрального теоретического вопроса: что такое «городское», как мы сегодня определяем урбанистическую сущность современности — ни практических, или этических, требований, неизбежно возникающих даже к самым теоретическим рамкам, когда дело касается города, нашей общей судьбы.

«Видеть как город», новая совместная книга влиятельных культурных географов Эша Амина и Найджела Трифта, стремится удержать своего читателя именно на подобном уровне теоретического осмысления (в эмоциональном положительном отзыве о книге, вынесенном на обложку, Саския Сассен напоминает ее читателям об изначальном смысле слова «теория»: *видение*). Для многих поэтому книга может оказаться важным и полезным чтением, хотя предвидеть разочарованные или ироничные ремарки более дисциплинарно ориентированных профессионалов тоже получается без труда<sup>2</sup>. Это их первая совместная книга о городе с 2002 года, когда увидела свет знаменитая работа «Города: переосмысливая городское» — хотя ни писать вместе, ни писать о городе по отдельности Амин и Трифт с тех пор не переставали, и результаты других их проектов более или менее отчетливо присутствуют в тексте новой книги. Вместе с тем самим типом письма и характером постановки проблем в книге «Видеть как город» Амин и Трифт как бы возвращаются к своей предыдущей совместной работе на новом этапе, снова призывая нас переосмысливать, то есть теоретизировать, то есть более четко «видеть» городское. На этот раз — одновременно в глобальной перспективе «планетарного урбанизма» и «антропоцена», и в очень конкретной, материальной, идущей даже не с городского дна, а из-под земли, перспективе инфраструктур и сетей. Сборка такого многопланового взгляда получается, разумеется, междисциплинарная, а также, в хорошем смысле, обобщающая и обзорная. Среди значимых авторов, на которых ссылаются Амин и Трифт, не только географы, социологи, социальные теоретики и архитекторы, но и биологи, философы, представители культурных исследова-

---

город: медиа, архитектура и городское пространство / Пер. с англ. М. Коробочкина. М.: Strelka Press; Зукин III. (2015). Культуры городов / Пер. с англ. Д. Симановского. М.: Новое литературное обозрение.

2. К моменту написания этой рецензии в печати появилось слишком мало откликов на новую книгу Амина и Трифта, чтобы судить о характере ее рецепции, поэтому приведу в пример показательную критическую рецензию на предыдущую их совместную книгу «Города: переосмысливая городское»: Friedmann J. (2002). Book Review: Ash Amin, Nigel Trift, *Cities: Reimagining the Urban* (London: Polity Press, 2002) // *disP: The Planning Review*. № 151.

ний и визуальной теории; корпус цитирования, за вычетом классических работ, заметно ориентирован на разнонаправленную урбанистическую литературу последних семи-восьми лет. И даже само название книги «Видеть как город» может многое сказать о рефлексивной позиции ее авторов. Амин и Трифт спокойно игнорируют отсутствие оригинальности в этой метафоре и даже самолично приводят в предисловии список тех именитых коллег, кто уже использовал ее в заглавии. Они настаивают на том, что, несмотря на все попытки вывода «незамечаемого» на свет и в область дискуссии, мы до сих пор умудряемся не видеть в городе чего-то важного. Эту особенность нашего взгляда Амин и Трифт связывают с неумением смотреть не на город, а вместе с городом, смотреть через городское на современность — и, рекурсивным образом, на города, из которых она преимущественно состоит.

Именно такой «взгляд города» именитые географы ставят в центр обсуждения в своей новой книге. Как при этом понимается город и городское? Во-первых, как уже было сказано, максимально глобально — для разговора о городском используется ни много ни мало рамка «антропоцена» и всеобщего урбанистического порядка современной цивилизации; соответствующая антропологическая модель характеризуется как *Homo civitatis*. Во-вторых, на город и «вместе с городом» авторы призывают смотреть зрением постчеловеческим (posthuman) или нечеловеческим (non-human). То есть зрением неантропоцентричным и преимущественно машинным, предполагающим смещение центра внимания на агентность городской инфраструктуры, на множественные сети городской материальности и задаваемые ими горизонты действий (в этом смысле книга реализует основные подходы нерепрезентативной географии, решительно настраивая оптику наблюдателя не на значение и эстетику, а на материальность и автоматизмы). В-третьих, «вскрывая» невидимый порядок инфраструктур, описывая силу и витальность социотехнических систем, Амин и Трифт подчеркивают политическое измерение этого хода. Политический характер городских инфраструктур и сетей, этих «политических арен», регулирующих жизнь, определяющих ее возможности, развитие или уничтожение, «жестоких» (р. 6), но и богатых различными потенциалами и сценариями, на которые необходимо учиться влиять, — и есть то, что сами авторы называют центральным аргументом своей книги.

Иными словами, хотя многие элементы описания «городского», знакомые нам по предыдущей книге Амина и Трифта, по-прежнему так или иначе проговариваются на страницах «Видеть как город», и город, как и раньше, представляется сложнейшей комплексной системой со своей экологией (combinatorial ecology), происходящей из переплетения действий множественных агентов, с пространственным соприсутствием (throwntogetherness)<sup>3</sup> и социальной соположенностью различного в предельной близости, тем не менее принципиальное внимание в этот раз уделено именно городским инфраструктурам, их онтологии и политическому

3. Идеи Дорин Мейси, автора этого термина, несколько раз с симпатией упоминаются на страницах книги. Massey D. (2005). *For Space*. London: SAGE.

значению, их способности создавать публику, определять возможности развития и во многих случаях решать сам вопрос жизни и смерти в городе. Само понимание инфраструктуры, «видимой и скрытой машинерии городского метаболизма» (р. 5) в книге максимально широкое (возможно, даже слишком широкое, при чтении не всегда позволяющее понять, на каком уровне «материальности» сосредоточены аргументы авторов). Это не только машины, дороги, торговые сети и системы сбора мусора, уличные сенсоры и процессоры, обеспечивающие функционирование городов под землей и на поверхности, но и вертикальный слой ночного света, и виртуальная навигация и коммуникация, создающие новое измерение городской географии, и бюрократические правила и технические инструкции, и все те множественные «протезы» и вынесенные вовне инстинкты (outstincts, р. 20), которые современный человек охотно натурализует и перестает замечать, воспринимая их как норму своего городского существования, своей «зоны обитания». Опорные для книги и, может быть, наиболее интересные для читателя главы «Глядя сквозь город» и «Как города думают» создают емкую и убедительную картину этой современности развитых социотехнических систем, в которой человек и технологии переплелись до полной неразличимости. Так, интеллект, креативность и инновация (качества, о которых чаще всего говорят, описывая положительные стороны развития больших городов и прирост капитала в «world cities») «не могут быть редуцированы к каким-либо человеческим или социальным характеристикам, потому что в городе объекты, технологии и инфраструктуры — это протезы, дающие субъектам возможность думать, действовать и чувствовать» (р. 17). Одновременно Амин и Трифт обращают внимание (цитируя этнографические работы о таких разных городах, как Дели и Каир, Бейрут и Краков, Киншаса и Джакарта) на то, что «мыслящая среда обитания» вовсе не является исключительной характеристикой лидирующих по технологическому развитию городов западного мира. Технологии (в том числе пиратские) и инфраструктуры небогатых окраин; материалы и объекты, задающие ритмы и логику существования в маленьких городах, точно так же вплетены в повседневность и точно так же совокупно производят «гибридную агентность» (р. 19) разума, тела, машины и материи. Не «тупые и инертные», а «живые» инфраструктуры любых городов, города как такового становятся «технологическим лесом», или «жерлом» (aperture), заново определяющим для нас, что такое субъективность и действие, становятся одновременно «ограничением и ресурсом» современного городского развития (р. 80).

Каковы же должны быть последствия (политические последствия, не преминули бы добавить авторы книги) этой теоретической фокусировки зрения на ризоматичной «мыслящей материи» городов, что мы должны научиться делать, научившись «видеть как город» и «думать как город»? Если, конечно, предположить, что мы окажемся способны сделать «работу по поддержанию и восстановлению инфраструктуры более заметной, представить «обычное дело» необычным, переместив его в другое поле внимания» (р. 84). Много раз на протяжении книги Амин и Трифт в разных вариациях возвращаются к важным для них выводам из

предложенного «инфраструктурного переворота» (термин наш). Во-первых, это продуманная экологическая идея, вытекающая из всего, что в книге говорится об агентности других существ (non-humans) и необходимости изменения традиционного взгляда на субъектно-объектные отношения в процессе «городского метаболизма»: «В этих новых городских экологиях, или атмосферах, человеческие существа должны перестать смотреть на мир как на объект, предоставленный им в эксклюзивное пользование» (р. 83). Кроме всего прочего, этот тезис трогательно иллюстрируют включенные в книгу карандашные рисунки шведской художницы Катарины Ницш, изображающие городских животных, насекомых и различные сочетания заброшенных предметов на задворках помоек, под мостами, в клубах пыли и спутанных кабелей, и т. д.

Во-вторых, по мнению Амина и Трифта, другой взгляд на город требует другого знания о городе и, с неизбежностью, другой системы образования для профессионалов городского управления. Их образование должно быть значительно более комплексным и междисциплинарным, оно должно вбирать в себя ценности и возможности различных областей знания о городе и приводить к глубокому пониманию специфики агентности и интересов разных сил, действующих в городской среде. Амин и Трифт многократно подчеркивают необходимость понимания многофакторности и многослойности современного города. Получившие новое образование профессионалы должны уметь отстоять этот объемный взгляд на городские инфраструктуры и сопротивляться соблазнам больших, но одномерных данных, претензиям на «знание единственной истины» или попыткам жестко отрегулировать те или иные комплексные процессы — то есть, в сущности, тем факторам, воздействие которых на современное городское управление Амин и Трифт расценивают как тревожно высокое. В поэтичном абзаце в главе «Как думают города» авторы даже мечтают о «королях и королевах» городской философии — о новых поколениях инженеров, способных одновременно мыслить и действовать, исходя из «ценностей взаимной потребности и устойчивого развития, а не антиценностей банальной выгоды и последующего неизбежного повторения развала» (р. 88–89). Надо упомянуть и о том, что понятие «видеть как город» обретает на страницах книги антагониста, то подразумеваемого, а то и прямо названного — «видеть как город» означает видеть точнее, экономнее, экологичнее, чем видит государство<sup>4</sup>. Концентрация власти в крупных городах по всему миру, одно из неотъемлемых качеств урбанистической современности, не всегда означает наличие у городских властей достаточного влияния, чтобы действовать в рамках городских интересов и возможностей, что зачастую приводит к последствиям, для которых у именитых географов находится немало горьких слов (например, р. 14).

В-третьих, разумеется, Амин и Трифт уделяют много места и внимания заявленной «политичности инфраструктур» и социальным последствиям нашего неумения видеть город. Этому даже посвящена отдельная содержательная глава

---

4. Scott J. (1999). *Seeing Like a State*. New Haven: Yale University Press.

«Фреймы бедности», в которой географы демонстрируют тот самый комплексный взгляд на различные системы данных, проблематизируя устройство нашего знания о бедности в городах. Рассматривая отчеты Всемирного банка и ЮНЕСКО о состоянии жизни в трущобах беднейших городов мира (Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки) за последнее десятилетие, Амин и Трифт утверждают, что за цифрами скрывается неоднозначность и двусмысленность оценок. В то время как производство знания о городской бедности само становится инфраструктурой, обретает самодостаточность и влияет на принятие решений о размере и характере помощи, имеющиеся данные отчетов даже не позволяют, по мнению Амина и Трифта, с определенностью сказать, увеличивают города бедность или уменьшают ее (р. 127). Другой «фрейм» знания о бедности формируют этнографические исследования трущоб в беднейших городах (эта часть может быть путеводителем по интересным этнографическим работам последних лет). В них, при всех их достоинствах и многообразии представленных в них точек зрения, Амин и Трифт замечают сдвиг внимания от самой ситуации инфраструктурного неравенства к ситуативной креативности и «витальности» обитателей трущоб. Отдавая должное предприимчивости жителей беднейших городских кварталов и динамизму жизни, направленной на восполнение самых необходимых, базовых городских потребностей, неправильно упускать из виду саму ситуацию предельного неравенства, жестокости повседневного существования в трущобах и «острого дисбаланса между глубокой обездоленностью и хрупкими достижениями» (р. 138). Сравнительно большую поддержку и признание Амина и Трифта получают те «фреймы» работы с бедностью, которые выстраиваются вокруг комплексного изучения действий организаций-«посредников» и помощников в локальных ситуациях городского неравенства, с учетом конкретных — зачастую весьма значительных — последствий инфраструктурных изменений, которые эти посредники вызывают. Авторы пользуются понятием «право на базовую инфраструктуру» и рассматривают его политические импликации в мире усугубляющегося инфраструктурного неравенства, не уставая напоминать на протяжении всей книги, что город как социотехническая система, город как мыслящая инфраструктура, полнится возможностями изменения. Поэтому, даже несмотря на критическую во многих случаях интонацию и на трагичность части рассмотренных цифр и сюжетов, книга Амина и Трифта заражает проективной риторикой и уверенностью, что даже маленькие инфраструктурные изменения приводят к большим последствиям — а значит, этими изменениями недопустимо пренебрегать.

Несмотря на свой не самый большой объем и междисциплинарную задачу, то есть потенциальную открытость любому исследователю городской современности, «Видеть как город» кажется довольно трудным чтением, порой вызывающим сопротивление различной природы. Иногда письмо Амина и Трифта становится слишком насыщенным именами, обзорными отсылками, и требуется отдельная работа, чтобы развернуть этот спрессованный фрагмент. Иногда уровень рассмотрения кажется слишком общим, слишком глобальным, уходящим не только

далеко от всяческой конкретики, но и за пределы фальсифицируемости. Такова, к примеру, глава об экономике, которая показалась нам наименее интересной в книге; таковы мелькающие время от времени футурологические выкладки на тему биотехнологий. Не выглядят в итоге цельными и рассуждения об «изжившей себя» актуальной форме демократии, имеющие общие черты с другими книгами авторов, но недостаточно развернутые в книге о городе. Вызывает вопрос и зияющее отсутствие проблематики безопасности и терроризма в их соотношении с городскими инфраструктурами — вышедшей в 2017 году книге об урбанистической современности полное отсутствие этого сюжета вполне можно поставить в упрек. Несколько раз на протяжении книги в ней мелькают упоминания городов бывшего Восточного блока, и, конечно, было бы крайне интересно увидеть более развернутую дискуссию об инфраструктурном наследстве советского режима — но большинство сюжетов-примеров в книге все-таки отражают регионально-исследовательские интересы ее авторов, далекие от Восточной Европы.

И все же несмотря на глобальность и кажущуюся абстрактность некоторых частей книги, Амину и Трифту удается укоренить свой анализ в опыте читателя, подтолкнуть не только мысль, но и работу читательского воображения, вполне способного перевести их описания витальных социотехнических систем, дыхания и подземного гула городов в свой собственный опыт и в культурные образы. К этим образам, то есть не только к социальному, но и к художественному воображению, сами авторы относятся подчеркнуто одобрительно, постоянно цитируя на страницах книги то Пину Бауш, то Джона Кутзее, то всех классиков фантастической литературы разом и призывая социальное фантазирование на помощь в том, чтобы «вообразить совместное бытие с инфраструктурой» (р. 92–93). И действительно, книга Амина и Трифта меняет взгляд читателя на собственный городской опыт, заставляя по-новому взглянуть на доставку пиццы на дом, порядок получения электронных талонов к врачу или пар, поднимающийся из вентиляционной шахты метро поздним зимним вечером, и стаю бездомных собак, жмущихся к этой шахте. Описание Амином и Трифтом процессов автоматизации «городского метаболизма» заставляет вспомнить множественные подземные и наземные города японской анимации (весьма чуткой к этому сюжету), где жизнь поддерживается и регулируется роботами разной степени исправности, а инфраструктура порой выступает активным действующим лицом в сюжете (аниме «Метрополис», «Психопаспорт», «Ковбой Бибоп», «Blame!» и др.). Так же как никому из живущих в 2017 году в Москве не надо объяснять, что замена в городе плитки — это политический сюжет. «Видеть как город» оказывается в этом смысле вполне практической, действенной книгой, позволяющей собрать, сфокусировать взгляд — и побудить задуматься о том, как он может быть связан с решениями и поступками.

## Focusing the Gaze

*Natalia Samutina*

PhD in Cultural Studies, leading research fellow, Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities, National Research University Higher School of Economics

Associate professor, Faculty of Social Sciences, School of Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: nsamutina@hse.ru

Book review: Ash Amin, Nigel Thrift. *Seeing Like a City* (Cambridge: Polity Press, 2017).

# «Русские беседы» Андрея Тесли: новые разговоры с любимыми собеседниками

ТЕСЛЯ А. А. (2018). РУССКИЕ БЕСЕДЫ: ЛИЦА И СИТУАЦИИ. М.: РИПОЛ КЛАССИК. 512 С. ISBN 978-5-386-10404-7

*Мария Марей*

Кандидат философских наук, ответственный секретарь журнала  
«Философия. Журнал Высшей школы экономики»  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: [mdyurlova@hse.ru](mailto:mdyurlova@hse.ru)

Сборник «Русские беседы: лица и ситуации» — это очередной плод продуктивного сотрудничества ранее хабаровского, а ныне калининградского историка и философа Андрея Александровича Тесли и издательства «РИПОЛ классик». Ранее это издательство уже выпустило несколько книг в сериях «Перекрестья русской мысли» и «Вехи», идейным вдохновителем которых также был А. А. Тесля, помимо прочего, написавший к каждому вышедшему тому внушительную вступительную статью. В предисловии к одному из сборников он отметил, что в планах издательства выпускать избранные тексты русских и российских (по подданству, а не по самоидентификации) авторов: «философов, историков и публицистов, имеющих определяющее значение для выработки языка, понятий и формирования существующих по сей день образов, посредством которых мы осмысливаем и представляем себе Россию/Российскую империю и ее место в мире»<sup>1</sup>. Таким образом, одной из задач этих проектов становится преодоление стереотипного восприятия как хорошо известных широкой общественности интеллектуалов XIX — начала XX века, так и тех, кого мы сейчас знаем гораздо хуже, чьи имена знакомы в основном специалистам по истории общественной мысли.

Сборник «Русские беседы», представляющий собой серию очерков, заметок и рецензий, продолжает эту задумку. Собранные здесь тексты уже были опубликованы ранее, однако сейчас, под одной обложкой, они представляют собой любопытную мозаику: в каждом из них внимание автора обращено к одному или нескольким персонажам, и общий контекст эпохи очерчивается исходя из их воззрений, интеллектуальной эволюции, общественного положения и т. д. Движение мысли автора идет от конкретного, от человека — в попытке показать, что

---

© Марей М. Д., 2018

© Центр фундаментальной социологии, 2018

DOI: 10.17323/1728-192X-2018-1-333-337

1. Герцен А. И. (2017). «Наши» и «не наши»: письма русского / Под ред. А. А. Тесли. М.: РИПОЛ классик. С. IV.

«общее», «очевидное», «исторический контекст эпохи» для этих персонажей могли не совпадать. В предисловии Тесля проговаривает важную для понимания общей концепции сборника идею: «Даже если ограничиваться лишь сферой интеллектуальной истории, русский XIX век никак не может быть сведен без невосполнимых потерь к одной или даже нескольким четко прочерченным линиям развития [выделено нами. — М. М.]. Они существуют, разумеется, и хорошо известны (например, когда речь заходит о переходе «от романтизма к реализму» или от дворянской к разночинской культуре), но это движение неравномерно и, что важнее, не едино для разных групп и сообществ. Так, ориентируясь на литературные петербургские образцы 1840-х, не получится представить себе эстетические воззрения харьковчан тех же лет: они живут в другом времени, но дело не только в отставании — ведь при этом они сами знают об этой рассинхронизации и, следовательно, переживание ими «современности» включает и подобное знание. В других случаях, напротив, взгляды, вырастающие из дискуссий, давно вроде бы «пережитых» и «изжитых» в центре, возвращающиеся в него, оказываются новыми, производят неожиданные последствия — уже в силу того, что контекст, из которого воззрения вышли, и контекст, в который они попали, принципиально различны» (с. 5–6).

Эта серия очерков, не претендуя на последовательное изложение русской интеллектуальной истории XIX — начала XX века, дает возможность подробно поговорить о тех сюжетах, которые часто или остаются на периферии привычного говорения о значимых для той эпохи сюжетах, или трактуются исходя из «официальной версии» русской истории.

Тесля предлагает вспомнить об эволюции или, напротив, неизменности взглядов П. Я. Чаадаева, об истории публикации первого «Философического письма к даме» и реакции на него людей из близкого круга знакомых автора и официальных лиц; об идейной схожести и несхожести тех, кого называли «русскими консерваторами», и о том, почему К. П. Победоносцев — тоже консерватор, но совсем иного толка, чем, например, славянофилы; об издательской деятельности и проекте истории русского народа Н. А. Полевого; о замечательных представителях славянофильского и близкого к ним круга; о земской работе Д. Н. Шипова, которая была для него наилучшим воплощением его политических идей. Эти люди и их собеседники часто и много говорят «своим голосом», когда автор цитирует их письма, дневники, воспоминания и публицистику.

Все это позволяет показать, с одной стороны, их уникальность, значимость и необычность, бережно выделяемую автором, а с другой стороны, их типичность, связь со своим временем, эпохой, средой, обусловленность воспитанием, образованием, сословной принадлежностью, служебным положением, личными и семейными связями — словом, всем тем, что формировало и составляло значимую часть личности образованного человека XIX и начала XX века. Описывая это время, можно говорить о дворянской культуре и о разночинстве, о кружках — литературных или политических, — о народолюбцах и революционерах, о славянофилах и западниках, о земском движении, о Великих реформах, об этосе профес-

сионального чиновничества и т. д. Однако если отказаться на время от повторения привычных характеристик (в общем-то, верных, однако несколько стершихся от долгого употребления), вполне ожидаемо окажется, что за общественными движениями, нарождающимися политическими партиями, знакомыми из учебников по русской истории, литературе и философии событиями, которые кажутся настолько известными, что излишне пересказывать их еще раз, можно попытаться увидеть людей — настоящих, живых, — а не затертые бесконечными повторениями биографии.

Задачу сборника Тесля видит именно в этом: показать возможность смены оптики при взгляде на давно и хорошо знакомых персонажей, но, кроме того, и в том, чтобы за первым рядом известных и блестящих интеллектуалов найти тех, кто не менее интересен, кто не меньше видел и понимал о своем времени, но почему-то остался незаслуженно забыт или раз за разом оставался вне фокуса пристального внимания исследователей, получая место лишь в примечаниях, указателях имен и среди перечисленных по необходимости членов семьи или участников земского собрания.

Умение показать этих самых людей, приблизить их к нам (или нас к ним), дать возможность рассмотреть детали, несомненно, является сильной стороной книги. И очерковость, фрагментарность изложения, на которую сетует автор в предисловии, здесь скорее достоинство — если не ждать от этого сборника цельного, единого повествования.

Само заглавие — «Русские беседы» — отсылает к славянофильскому периодическому изданию, выходившему в Москве с 1856 по 1860 год. Это не продолжение славянофильских диспутов, но отчасти беседа о самом славянофильстве: о «лицах и ситуациях», о тех «положительно прекрасных русских людях» (с. 254), о которых Тесля написал уже две книги и множество статей. Споры тех лет давно утратили остроту и актуальность, однако сами персонажи остаются интересными. И не только своими идеями, политической и общественной значимостью, «местом в истории», но и сами по себе, ведь памятование не обязано быть утилитарным, а память о прошлом не едина и не обязательно дает одну-единственную, «правильную» историю».

Память, памятование, история (семейная и частная, народов и государств), забвение, сложное сочетание нарративов, несводимость исторических описаний и бытописаний друг к другу — эти темы также постоянно звучат в текстах. Во введении Тесля не пишет о том, почему эти темы так значимы для него лично, ограничиваясь следующим теоретическим пассажем: «Множественность памятей не составляет проблемы, например, для традиционного или раннемодерного европейского общества, поскольку это память разных групп и сообществ, в том числе и тех, к которым принадлежит индивид (единство его памяти утверждается в довольно ограниченном объеме — требуемом исповедью, где выстраивается «личность» и возникает отграничение «интимного» от «частного», как противостоящего «публичному»)»... «Большие нарративы» не столько конкурируют, сколько

сосуществуют друг с другом — формируемые духовенством (в виде непрерывности священной истории, переходящей в историю церкви, чтобы завершиться апокалипсисом) и светской администрацией (выстраивающей последовательность по образцу галереи, как это впервые подробно рассмотрел Арьес: последовательность персон, портретов, каталога и биографий образует цепь «мест памяти», которая затем перейдет, например, от «Царского титулярника» к суворинским и сытинским брошюрам). Однако между ними редок конфликт — уже в силу того, что каждая из этих «памятей» принадлежит своему сообществу и «припоминается» применительно к нему» (с. 11-12). Однако если история в представлении автора — это «сознающее себя искусство памяти» (с. 13), то каждый текст сборника снова и снова обращает нас к истории и историям тех, кто писал о России, ее прошлом, будущем, и тех, в чьих руках было это будущее:

к историософии Чаадаева, интересную трактовку которой предлагает автор, представляя Петра Яковлевича как рано сформировавшегося мыслителя, ранние и зрелые теоретические построения которого только внешне противоречат друг другу;

к размышлениям о русской истории, прошлом и будущем России у консерваторов разного толка, к тому, как они мыслили себя «русскими», «православными», к их национальным проектам;

к славянофилам Ю. Ф. Самарину и Д. Н. Шипову, практическая деятельность (одного в деле подготовки и реализации крестьянской реформы 1861 года, другого в Московской губернской земской управе), которых была, может быть, даже более значима, чем то, что они писали;

к «дамскому кругу» славянофильства, который, несмотря на свою непубличную роль, был очень значим для выстраивания сети контактов и влияний при дворе, к семейным связям, которые зачастую оказывались ключевыми для вхождения в этот круг — в гораздо большей степени, чем, например, идейная близость;

к политическим взглядам К. П. Победоносцева, которые, в изложении автора, оказываются не такими банально-реакционными, какими их часто представляют, — а сам он оказывается интереснейшим персонажем, наблюдателем, последовательным консерватором, действия и взгляды которого выглядели парадоксальными именно в силу последовательного, доведенного до логического предела консерватизма;

и ко многим другим сюжетам, которые сложно, да и не очень осмысленно пересказывать.

В отзыве, приведенном на обложке книги, Святослав Каспэ, один из рецензентов книги, написал, что «это травелог — хроника личных странствий автора среди античных руин и записи разговоров (собственно, бесед) со встреченными им теньями». Вероятно, это так, и личное, субъективное отношение автора к его персонажам очень чувствуется — и, возможно, именно им он руководствовался при выборе текстов, которые вошли в сборник.

Однако здесь нам кажется уместным обратиться еще и к словам одного из уже упоминавшихся персонажей книги — Ю. Ф. Самарина, — который, отвечая на упрек И. С. Аксакова в том, что он занят делом, несоразмерным его силам и дарованию (мелочами городского управления, обучению грамоте крестьянских детей и т. д.), писал: «Странно мне, что ты, в один голос с другими, повторяешь мне всякий вздор вроде того, что уж теперь довольно, дело сделано, что это все пустяки и мелочь, что другие не хуже меня доделают что нужно, что я могу делать другое, лучшее и т. д. Убедись ты в одном: дело только тогда идет хорошо, когда тот, кто к нему приставлен, по своей подготовке и по своим способностям стоит несколько выше своего призвания. Только при этом условии можно вести дело к лучшему и поднимать всю свою обстановку» (с. 224). В этом сборнике собраны очерки о людях, для которых понятия долга и призвания — не пустые слова, которые умели видеть в повседневном не только рутину, а в быте — скуку, которые понимали важность исполнения своих обязанностей, даже если обстоятельства требуют заниматься мелкой и внешне не очень значимой работой, результаты которой (опять же для внешнего наблюдателя) малы или незначительны. Практически каждый из этих персонажей — «положительно прекрасный русский человек», кроме того, отлично владеющий словом. С такими и побеседовать приятно. Пусть и заочно.

## “Russian Talks” by Andrey Teslya: New Talk with Favorite Companions

*Maria Marey*

PhD in philosophy, executive secretary of *Philosophy: Journal of Higher School of Economics*

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: mdyurlova@hse.ru

Book review: Andrei Teslya. *Russian Talks: Faces and Situations* (Moscow: RIPOL klassik, 2018).

# Еще один «Город» Макса Вебера по-русски

ВЕБЕР М. (2017). ГОРОД / ПЕР. С НЕМ. М. И. ЛЕВИНОЙ; НАУЧ. РЕД. К. А. ЛЕВИНСОН. М.: STRELKA PRESS. 250 С. ISBN 978-5-906264-64-0

*Олег Кильдюшов*

Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: [kildyushov@mail.ru](mailto:kildyushov@mail.ru)

Судя по всему, исследование «Город» является самым издаваемым по-русски текстом Макса Вебера. Если я не ошибаюсь, вместе с изданием 1923 года<sup>1</sup> выпущенная недавно Институтом «Стрелка» версия будет уже четвертым опытом обращения отечественных издателей к данной работе. Между ними были публикации в сборнике веберовских работ, вышедшем в 1994 году в известной серии «Лики культуры»<sup>2</sup>, а затем в томе «История хозяйства. Город», изданном Центром фундаментальной социологии в 2001 году в серии «LOGICA SOCIALIS»<sup>3</sup>. При этом издание ЦФС воспроизводит перевод 1923 года, выполненный Б. Н. Поповым под редакцией крупного русского историка и социолога Н. И. Кареева (1850–1931), тогда как обсуждаемая здесь книга является вариантом перевода М. И. Левиной, заново сверенным с оригиналом и исправленным ведущим научным сотрудником Института гуманитарных историко-теоретических исследований НИУ ВШЭ К. А. Левинсоном. Таким образом, в русском культурном пространстве присутствуют целых три версии «Города» М. Вебера, восходящих к одному и тому же оригиналу — к восьмой главе первого посмертного издания веберовского *opus magnum* «Хозяйство и общество»<sup>4</sup>.

Понятно, что более поздние варианты отражают произошедшие в языке изменения, прежде всего в стилистике и лексике. Более того, К. А. Левинсон в кратком послесловии «От научного редактора» указывает на ряд предпринятых им сознательных содержательных интервенций, связанных с передачей важных для Макса Вебера понятий (с. 249–250). Например, такое ключевое понятие веберовской

---

© Кильдюшов О. В., 2018

© Центр фундаментальной социологии, 2018

DOI: 10.17323/1728-192X-2018-1-338-345

1. Вебер М. (1923). Город / Пер. с нем. Б. Н. Попова под ред. Н. И. Кареева. Петроград: Наука и школа.

2. Вебер М. (1994). Город / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист. С. 309–446.

3. Вебер М. (2001). Город / Пер. с нем. Б. Н. Попова под ред. Н. И. Кареева // Вебер М. История хозяйства. Город. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле. С. 333–486.

4. Weber M. (1922). Wirtschaft und Gesellschaft. II. Teil, Kapitel VIII. Die Stadt // Weber M. Grundriss der Sozialökonomik. III. Abt. Tübingen: J. C. B Mohr. S. 513–600.

эвристики социального, как *Verband*, он переводит не с помощью устоявшегося «союз», а заменяет смелым вариантом «ассоциация» — чтобы отличить его от семантически родственных понятий *Bund* и *Bündnis*. Не вступая прямо в полемику с данной — признаем, вполне легитимной — редакторской стратегией, заметим лишь, что здесь мы явно имеем дело с американизацией русско-германского межкультурного трансфера<sup>5</sup>, ибо подобные лексические решения были предприняты именно в новых переводах трудов Вебера<sup>6</sup>, изданных относительно недавно в США в качестве альтернативы классическим переводам Талкотта Парсонса. Как известно, этот великий американский социолог, отец структурного функционализма и теории социальных систем, в свое время сыграл определяющую роль в популяризации творческого наследия Макса Вебера в Америке, тем самым обеспечив ему статус классика мировой социологии. При этом Парсонс выступал не только в роли суверенного интерпретатора идей Вебера, но и непосредственно переводил его труды: так, в его переводе в 1930 году впервые по-английски вышла «Протестантская этика и дух капитализма»<sup>7</sup>, ставшая текстологической базой триумфального шествия веберовского наследия по американским университетам. Позже при его участии вышел и первый перевод «Хозяйства и общества»<sup>8</sup>.

Аналогично замыслу рецензируемой здесь книги, сегодня в Америке издатели и редакторы также пытаются выработать новый язык для перевода текстов классика социологии. Например, современный американский переводчик и редактор работ Вебера Гордон Уэллс, отмечая, что Парсонсу удалось добиться поразительного уровня читабельности столь сложного текста, ставшего именно в его версии доступным широкой академической публике, в то же время признает, что Парсонс-переводчик во многих местах не очень успешно справился с возложенной на себя задачей. Так, он не выявил, а лишь затемнил некоторые философские и литературные коннотации многослойного веберовского текста, не смог добиться единообразия при передаче ключевых понятий и т. д. Более того, при сверке с оригиналом Уэллс обнаружил у Парсонса чудовищные ошибки — вплоть до неверного понимания некоторых слов. Например, *Ältestenamt* (должность старосты) у Вебера тот понял как *Altes Testament* (Ветхий Завет) и т. п.<sup>9</sup>

Как бы то ни было, если в качестве примера проанализировать рецепцию конкретного веберовского понятия, то в американских переводах «Хозяйства и обще-

5. См. статью «Organization or Association (Verband)» в словаре основных веберовских понятий: Swedberg R. (2005). *The Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts*. Stanford: Stanford University Press. P. 186–189.

6. В качестве примера см.: Weber M. (2002). *The Protestant Ethic and the «Spirit» of Capitalism and Other Writings* / Ed. P. R. Baehr; transl. G. C. Wells. New York: Penguin; Weber M. (2008). *Max Weber's Complete Writings on Academic and Political Vocations* / Ed. J. Dreijmanis; transl. G. C. Wells. New York: Algora.

7. Weber M. (1930). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* / Transl. T. Parsons. London: Allen and Unwin.

8. Weber M. (1968). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. New York: Bedminster Press.

9. Wells G. C. (2001). *Issues of Language and Translation in Max Weber's Protestant Ethic Writings* // *Max Weber Studies*. Vol. 2. № 1. P. 35.

ства» можно проследить следующую динамику: если Т. Парсонс переводил *Verband* как *corporate group*<sup>10</sup>, то Гюнтер Рот выбрал вариант *organization*<sup>11</sup>, тогда как в последней по времени версии «Основных социологических понятий» используется *association* и даже *corps*<sup>12</sup>.

А теперь от краткого экскурса в историю американской рецепции веберовского теоретического наследия вернемся к лексическим заменам, осуществленным в обсуждаемом здесь издании. Среди прочих редактор книги К. А. Левинсон называет *Fernhandel*, *Ortschaft*, а также *Gewerbe/gewerblich* в качестве слов, получивших в новой редакции иной перевод: «дальняя торговля» вместо «заморской», «населенный пункт» вместо «местности» и «промыслы/промысловый» вместо прежнего варианта «ремесло/ремесленный» (с. 249). Опять же здесь мы не намерены вступать в дискуссию о том, насколько удачными являются конкретные переводческие решения, поскольку исходим из того, что дело не в простом замещении одних слов другими. Особенно когда речь идет о более чем спорной замене нейтрального «горожанина» из перевода М. И. Левиной 1994 года на «бюргера», имеющего в русском отчетливо пренебрежительно-презрительные коннотации, или тем более на монструозный лексический плеоназм «гражданин города».

Далее в любой приличной рецензии на этом месте должен следовать краткий пересказ содержания книги, с указанием на систематическую значимость отдельных моментов. Однако я позволю себе отказаться от привычной драматургии и сфокусирую основное внимание на другом. Речь пойдет о ряде проблем, связанных с рецепцией нового веберовского «Города» по-русски. Во-первых, очередное издание важнейшего сочинения классика мировой социологии вновь осуществлено без сопроводительного вводного текста, который позволил бы широкому — т. е. часто неподготовленному — читателю получить представление о контексте возникновения труда, истории его написания, возможно, даже рецепции, а также о самой обсуждаемой в нем топике, представленном в систематической перспективе современной социальной теории. Более того, уверен, что русскому читателю было бы не менее интересно узнать мнение современных социологов-урбанистов о релевантности веберовских размышлений столетней давности о феномене западного города<sup>13</sup>. Ведь сегодня этот текст, по сути, является скорее памятником социально-научной мысли, нежели актуальной историко-теоретической концептуализацией городского развития на Западе. Понятно, что в случае

10. Weber M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization / Transl. A. M. Henderson and T. Parsons. New York: Oxford University Press. P. 145. N. 76.

11. Weber M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology / Ed. G. Roth and C. Wittich; transl. E. Fischhoff et al. Berkeley: University of California Press. P. 61. N. 27.

12. Whimster S. (ed.). (2004). The Essential Weber. London: Routledge. P. 380.

13. Чтобы убедиться в том, что во всем мире выходит масса таких работ, достаточно ввести в окно интернет-поиска следующие ключевые слова: Max Weber, «The City», urbanism. При этом можно встретить очень неожиданные подходы. Например, см.: Mahbub Uddin Ahmed A.I. (2004). Weber's Perspective on the City and Culture, Contemporary Urbanization and Bangladesh // Bangladesh e-Journal of Sociology. Vol. 1. № 1. P. 1–13 (<http://www.bangladeshsociology.org/Max%20Weber%20-%20Mahbub%20Ahmed,%20PDF.pdf>).

публикаций Института «Стрелка» речь идет не о научных изданиях, а о стратегии Просвещения-лайт в отношении определенной социальной среды. Однако даже с учетом средовой специфики целевой аудитории очень компактный, но при этом квалифицированный сопроводительный текст был бы не лишним. Видимо, в том числе с учетом этого просветительского мотива все выходявшие в последнее время работы М. Вебера снабжались соответствующим предисловием.

К тому же есть еще один значимый для русской интеллектуальной истории мотив, связанный с рецепцией рецензируемой здесь книги: дело в том, что «Город» уже в 1923 году, т. е. буквально через год после выхода «Хозяйства и общества», стал предметом изучения со стороны советских историков. Первую — добротную и благожелательную — рецензию на него написал будущий крупный историк-медиевист, а тогда скромный сотрудник библиотеки Социалистической академии А. И. Неусыхин. Примечательно, что отклик вышел в журнале «Под знаменем марксизма» — главном печатном органе советских философов, причем в нем лишь однажды формально упоминается Маркс, с методом которого сопоставляется веберовский способ образования идеальных типов<sup>14</sup>. Более того, в 1927 году Неусыхин опубликовал там же объемную статью о веберовской социологии, в которой отдельный параграф был посвящен «Городу»<sup>15</sup>. Можно только горько сожалеть, что в дальнейшем содержательное обсуждение данного текста в СССР стало невозможно по политическим причинам...

Возвращаясь к сегодняшней рецепции «Города», укажем на парадоксальную ситуацию проблематичности самого немецкого «оригинала», на основании которого осуществлялись русские переводы и их модификации. Дело в том, что за последние два десятилетия значительно изменилась ситуация с источниками. Это случилось благодаря завершившемуся в прошлом году грандиозному проекту по изданию полного собрания сочинений Макса Вебера — *Max-Weber-Gesamtausgabe* (MWG). При этом в силу своего выдающегося научного качества мегапроект MWG, над которым трудились многие ведущие исследователи веберовского наследия, задал совершенно новые стандарты для всего мирового вебероведения, включая переводы трудов Вебера на иностранные языки. Уже сегодня можно быть уверенным в том, что это издание надолго станет ориентиром для всех, кто занимается историей социологии. Именно в рамках MWG в самом конце прошлого века вышел 5-й подтом «Город»<sup>16</sup>, структурно являющийся частью тома 22, в который вошли ряд разделов прежнего «Хозяйства и общества»<sup>17</sup>.

14. Неусыхин А. И. (1923). Социологическое исследование Макса Вебера о городе // Под знаменем марксизма. № 8/9.

15. Неусыхин А. И. (1927). Эмпирическая социология Макса Вебера и логика исторической науки // Под знаменем марксизма. № 9. С. 113–143; № 12. С. 111–137.

16. Weber M. (1999). *Max Weber-Gesamtausgabe*. Band 22: *Wirtschaft und Gesellschaft: Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte*; Nachlass. Teilband 5: *Die Stadt* / Hrsg. von W. Nippel. Tübingen: Mohr Siebeck.

17. С точки зрения мейнстрима современного вебероведения, в случае всех предшествующих редакций «Хозяйства и общества», составленных и изданных сначала Марианной Вебер, а затем Йо-

Для более точного понимания существующей ныне ситуации с источниками, скажем несколько слов об истории возникновения и публикации сочинения «Город». Уже в веберовском плане «Очерков социальной экономики» 1914 года внутри главы 8 «Господство» присутствовал раздел с) «Нелегитимное господство. Типология городов»<sup>18</sup>. К моменту смерти Вебера он представлял собой незавершенную объемную рукопись. В рамках «Хозяйства и общества» эта часть публиковалась в последнем полутоме, поскольку не было уверенности относительно ее точного места в замысленной автором структуре всего произведения. Показательно в этом смысле, что энергично занявшаяся продвижением наследия мужа Марианна Вебер сначала исключила «Город» из состава реконструируемого ею *opus magnum* и опубликовала его отдельно в «Архиве социальной науки и социальной политики»<sup>19</sup>. Затем она вновь включила его в восьмую главу первого издания 1922 года, которая и стала основой для русских переводов данного трактата.

Таким образом, обсуждаемый нами текст не был опубликован самим Максом Вебером. Более того, он не был им завершен — об этом говорит резкое прерывание мысли на сравнении греческой и римской знати при отсутствии осмысленного вывода (с. 247–248). К сожалению, у нас нет точных данных об истории его возникновения, за исключением указания в письме самого Вебера историку Георгу фон Белову от 21 июня 1914 года, в котором излагается следующая исследовательская программа: «...то, что является *специфическим* для средневекового города, т. е. то, что история дала именно нам (и в этом мы абсолютно едины!), можно узнать лишь путем выявления того, что отсутствовало у других городов (античных, китайских, исламских), — и так дело обстоит со всем!»<sup>20</sup> Таким образом, с одной стороны, Вебер собственноручно подтверждает намерение рассмотреть город в универсально-исторической перспективе, с другой — даже если исходить из того, что сохранившийся текст «Города» изначально был предназначен для III раздела «Очерков социальной экономики» — еще не ясно, в какой форме он был бы включен в «Хозяйство и общество», если бы был завершен автором. Как показал выдающийся знаток веберовского наследия Вольфганг Шлукхтер, явная близость некоторых частей данного текста к работам классика в области социологии религии дает основание считать, что они могли быть опубликованы и в рамках «Хозяйственной этики мировых религий»<sup>21</sup>.

---

ханнесом Винкельманом, речь идет не об аутентичном веберовском произведении, а о сознательном соединении гетерогенных текстов, написанных в различные периоды времени. Подробнее об этом см. в пояснении издателей MWG: Baier H., Rainer Lepsius M., Mommsen W. J., Schluchter W. (1999). Zur Edition von «Wirtschaft und Gesellschaft»: Allgemeine Hinweise der Herausgeber der Max Weber-Gesamtausgabe // Weber. Die Stadt. S. VII–XX.

18. Weber M. (1914). Einteilung des Gesamtwerkes // Weber M. Grundriss der Sozialökonomik. Tübingen: Mohr Siebeck. S. Xf.

19. Weber M. (1921). Die Stadt: Eine soziologische Untersuchung // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Band 47. Heft 3. S. 621–772.

20. MWG II/8. Цит. по: Editorischer Bericht // Weber. Die Stadt. S. 45.

21. Schluchter W. (1988). Religion und Lebensführung: Studien zu Max Webers Religions- und Herrschaftssoziologie. Band 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 395. Anm. 34.

Поскольку в архивах отсутствует оригинальная рукопись, точная история создания и предполагаемое место дошедшего до нас текста не могут быть реконструированы на основе имеющихся данных. Скорее всего, текст в любом случае выглядел бы иначе, независимо от того, куда бы М. Вебер решил его включить — в «Хозяйство и общество», «Хозяйственную этику» или в качестве фрагментов сразу в оба. Не меньшую сложность представляет датировка сочинения, поскольку точных свидетельств о времени работы Вебера над «Городом» тоже нет. Лишь сопоставление био- и библиографических данных, а также ряда содержательных моментов позволяет примерно определить период возникновения текста. По мнению издателей соответствующего тома MWG, вероятнее всего, его значительная часть возникла после 1911 года, причем работа могла продолжаться вплоть до начала Первой мировой войны в августе 1914-го. В целом им не удалось обнаружить более поздние вставки или изменения, хотя категорически исключать таковые также невозможно<sup>22</sup>.

Все обнаруженные изменения в соответствующем разделе «Хозяйства и общества» исследователи отнесли не к правке самого автора, а к благонамеренным манипуляциям издателей. Поэтому при публикации «Города» в рамках MWG в качестве ближайшего к руке самого Вебера варианта рассматривалась именно публикация 1921 года в журнале «Архив социальной науки и социальной политики». При реконструкции максимально близкой к первичной версии исследователям, помимо сопоставления двух опубликованных редакций, пришлось обратиться к переписке вдовы классика с издательством, поскольку проблематичным является даже название сочинения, а также его членение на главы и названия последних. В первом письме от 30 июня 1920 года (Макс Вебер скончался 14 июня), в котором Марианна Вебер сообщила издателю Паулю Зибеку об обнаружении неопубликованных рукописей своего мужа, помимо прочего упоминается «большой конвюлт: формы города». Первая публикация сочинения в «Архиве» имела заголовок «Город: социологическое исследование», несмотря на то что в самом тексте социологии как раз не так много, поскольку в нем в основном типологически анализируется конкретный исторический материал и категория «социологического» не играет особой роли. Поскольку маловероятно, что несоответствующее содержанию название было выбрано самим Вебером, публикаторы академического полного собрания сочинения ограничились вариантом «Город», не вызывающим никаких сомнений. Что касается разделения текста на главы, то журнальная и книжная версии также отличаются. В первой, журнальной публикации он поделен на четыре главы: «I. Понятие и категория города»; «II. Город Запада»; «III. Город родов в средневековье и античности»; «IV. Плебейский город». При этом название четвертой главы довольно проблематично, поскольку в самом тексте выражение «плебейский город» не встречается, а «плебс» и «плеbei» упоминаются исключительно в контексте римской античности. В книжной версии 1922 года IV глава

---

22. Editorischer Bericht. S. 51.

и вовсе была разделена на две примерно равные части, в результате чего у «Города» появилась V глава «Античная и средневековая демократия». По мнению публикаторов академического издания, все изменения вроде нового членения, разбивки на параграфы и пр. также являются результатом интервенций издателей «Хозяйства и общества»<sup>23</sup>.

Благодаря усилиям издателей полного собрания сочинений Макса Вебера, попытавшихся минимизировать поздние вставки и корректуры, была (вос)создана версия «Города», гораздо более близкая к первоначальному замыслу автора. Очень жаль, что издатели и редакторы Института «Стрелка» проигнорировали ее и за основу своего издания опять взяли устаревшую редакцию. Понятно, что многие обсуждаемые нами моменты, связанные с генезисом и рецепцией данного произведения великого социолога, могут быть нерелевантны для той аудитории, которой адресуется эта публикация. Тем не менее хочется надеяться, что достижения современного социологического знания способны быть полезными и для публики, интересующейся в первую очередь проблемами урбанистического развития, а не интеллектуальной историей.

В качестве еще одного — на сей раз совсем мелкого — замечания укажу на фигурирующих в издании неких «сипотов», причем в следующем контексте: «В средневековом Константинополе времени исламского господства, то есть вплоть до XIX века, наряду с чисто военными объединениями янычар и сипотов...» (с. 47). В винкельмановском издании «Хозяйства и общества» стоит следующее: «...finden sich neben den rein militärischen Verbänden der Janitscharen und der Sipahis...»<sup>24</sup>. Это сразу меняет все дело, поскольку становится ясно, что Вебер говорит о сипахах или спагах — воинах конного ополчения в армии Османской империи, формировавшегося из числа держателей условных земельных владений. И так как я нисколько не ставлю под сомнение профессиональные компетенции историка К. А. Левинсона, то смею предположить, что это место автоматически переключало из перевода М. И. Левиной<sup>25</sup>. Конечно, этот досадный, но тем более необязательный ляп, нисколько не отменяет отменного качества текста.

Ведь даже беглое сопоставление новой версии «Города» с переводом М. И. Левиной показывает, что в нынешнем варианте исправлено немало переводческих ошибок вроде тех, чем встречались у Парсонса. При всем уважении редактора к ее труду, в ряде мест им заменены не просто отдельные слова, но и целые фразы, которые были не поняты и даже искажены переводчицей «с точностью до наоборот». Таким образом, смысл вновь проделанной работы был именно в исправлении бесспорных ошибок с благородной целью предоставить русскому читателю неискаженный веберовский текст. Но, как было показано выше, положенный в основу перевода оригинал сам является результатом манипуляций немецких издателей...

23. Editorischer Bericht. S. 51–56.

24. Weber M. (1976). *Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie* / Hrsg. von J. Winckelmann. Hbd. II. Tübingen: J. C. B. Mohr. S. 740.

25. В переиздании перевода 1923 года фигурируют привычные «сипахи»: Вебер. Город (2001). С. 359.

В заключение, чтобы у читателя не создалось впечатление о гиперкритическом отношении рецензента к обсуждаемому здесь изданию, отмечу основные позитивные моменты данного книжного проекта. Помимо стильного дизайнерского решения и качественной полиграфии, в первую очередь следует отметить «повышенную читабельность» этой версии по сравнению с двумя предыдущими. Очевидно, что это заслуга редактора, приложившего огромные усилия по сквозной сверке терминологии, а также минимизации использования лексики с чисто русскими семантическими пластами. Одним словом, можно только приветствовать выход еще одного русского «Города», да еще обращенного к совершенно новой аудитории. В конце концов, главная характеристика классики как раз и заключается в ее удивительной способности к бесконечной реактуализации в совершенно новых контекстах. Так что можно только порадоваться тому, что благодаря усилиям коллег из Института «Стрелка» молодые урбанисты и хипстеры откроют для себя имя Макса Вебера.

## Another “The City” by Max Weber in Russian

*Oleg Kildyushov*

Research fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: kildyushov@mail.ru

Book review: Max Weber, *Gorod* [The City] (Moscow: Strelka Press, 2017).